



Грав у Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.

П. Бобаркинъ



1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.



В. Д. Боборыкина

СОБРАНИЕ

РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ

П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

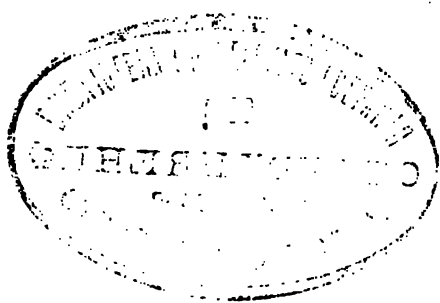
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.





ТИП. А. Ф. МАРКА, СР. БОЛГЕН. № 1.





КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ

ВЪ 5-ТИ КНИГАХЪ.



КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

Книга первая.

I.

Въ „городѣ“, на площади, противъ биржи, шла будничная дообѣденная жизнь. Выдался теплый сентябрьскій день, съ легкимъ вѣтеркомъ. Солнца было много. Оно падало столбомъ на средину площади, между громаднымъ домомъ Троицкаго подворья и рядомъ лавокъ и конторъ. Вправо оно свѣтило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широкихъ вывѣсокъ съ золотыми буквами, пестрыхъ навѣсовъ, столбовъ, выкрашенныхъ въ зеленую краску, лотковъ съ апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцвѣтными леденцами. Улица и площадь смотрѣли веселой ярмаркой. Во всѣхъ направленіяхъ тянулись возы, дроги, цѣлые обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изрѣдка проѣзжала карета, выкидывая ногами сѣрый, жирный жеребецъ въ широкой купеческой эгоисткѣ московскаго фасона. На перекресткахъ выходили безпрестанныя остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжалъ и махалъ рукой. Растерявшаяся по-купательница, не добѣжавъ до другого тротуара, роняла картузь съ чѣмъ-то съѣстнымъ и громко ахала. По острой, развѣженной мостовой грохотъ и шумъ немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла



магазиновъ. Тучки пыли летѣли отовсюду. Вozy и обозы наполняли воздухъ всякими испареніями и запахами, — то отдасть москательнымъ товаромъ, то спиртомъ, то конфетами. Или вдругъ откуда-то долетѣетъ струя, вся переполненная постнымъ масломъ, или лукомъ, или соленой рыбой. Снизу, изъ-за биржи, съ задовъ стараго гостинаго двора поползетъ цѣлая полоса воздуха, пресыщеннаго прѣснымъ откусомъ бумажнаго товара, прессованныхъ штукъ бумажен, миткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нѣтъ конца телѣгамъ и дрогамъ. Везутъ ящики каптонскаго чая въ зеленоватыхъ рогожкахъ съ таинственными клеймами, везутъ распоровшіеся, бурые, безобразнопузатые тюки бухарскаго хлопка, везутъ слитки олова и мѣди. Немилосердно терзаетъ ухо бѣшенный лязгъ и трескъ желѣзныхъ брусевъ и шинъ. Тянутся возы съ бочками бакалеи, сахарныхъ головъ, кофе. Разомъ обдадутъ зловоніемъ телѣги съ кожами. И все это обито солнцемъ и укутано пылью. Кому-то нуженъ этотъ товаръ? „Городъ“ хоронить его и распределяетъ по всей странѣ. Деньги, веселя, цѣнные бумаги точно рѣютъ промежду товара въ этомъ рыночномъ воздухѣ, гдѣ все жаждетъ наживы, гдѣ дня нельзя дышать безъ того, чтобы не продать и не купить.

На возахъ и въ обозахъ, рядомъ и позади телѣгъ, ломовой, въ измятой шляпенкѣ или засаленномъ картузѣ, съ мощной спиной, въ красной жилеткѣ и пудовыхъ сапогахъ, шагаетъ съ переваломъ невозмутимо-стойко, съ трудовой лѣнью, покрививая, ругаясь, похлестываетъ кнутъ своего чалаго, широкогрудаго и всегда опоеннаго мерина. подъ раскрашенной дугой. Вотъ лучъ солнца, точно отдѣлившись отъ огненнаго своего снопа, пронизываетъ облако пыли и падаетъ на возъ съ чѣмъ-то темнымъ и рыхлымъ, прикрытымъ рогожей, насквозь промоченной и обтрепанной по краямъ. На возу покачивается парень безъ шапки, съ желтыми, плоскими волосами, красный, въ веснушкахъ, въ пестрядинной рубашкѣ съ разстегнутымъ воротомъ, открывающимъ бѣлую грудь и мѣдный тѣльникъ. Глаза его жмурятся отъ солнца и удовольствія. Онъ широко растянулъ ротъ и засовываетъ въ него кусокъ папушника, держа его обѣими руками. На папушникѣ намазана желтая икра, перемѣшанная съ кусочками крошеннаго лука, промозгло-соленая, тронутая тепломъ.

Но глаза парня совсѣмъ закатились отъ наслажденія. Онъ облизывается и вкусно чмокаетъ, а тѣмъ временемъ незаметно сползаетъ все по скользкой и смрадной рогожкѣ. Съ воза обдаетъ его гнилью и газами разложенія. Зубы щелкаютъ, щеки раздулись; онъ объедаетъ сладко и подосталь.

А за нимъ, снизу отъ Ножовой Линіи, сбоку изъ Черкаскаго переулка, сверху отъ Ильинскихъ воротъ ползетъ товаръ, и надъ этой колышущейся полосой изъ лошадей, экипажей, возовъ, людскихъ головъ стоитъ стопъ; рубль купца, спина мужика поютъ свою нескончаемую пѣсню...

II.

У биржи полеговку собираются мелкіе „зайцы“ — жидки, восточники, шустрые маклаки изъ ярославцевъ, греки... Два жандарма, поставленные тутъ за тѣмъ, чтобы не было толкотни и недозволеннаго торга и чтобы именитые купцы могли безпрепятственно подъѣзжать, похаживаютъ и, нѣтъ-нѣтъ, да и ткнутъ въ воздухъ рукой. Но дѣла идутъ своимъ порядкомъ. И на тротуарѣ, и около легковыхъ извозчиковъ, на площади и ниже, къ старымъ рядамъ, стоятъ кучки; юркіе чуйки и пальто перебѣгаютъ отъ одной группы къ другой. Двое смѣльчаковъ присосѣдились даже къ жирандоли около колонны тяжелаго фронтона. Потомъ они отошли къ углу дома Троицкаго подворья, стали въ двухъ шагахъ отъ подъѣзда и продолжали свои переговоры. Они со всѣхъ сторонъ были освѣщены. Одинъ, въ бѣлой папахѣ и длинной черкескѣ желтобурого цвѣта, при кинжалѣ и въ узкихъ штанахъ съ позументомъ, глядѣлъ на своего собесѣдника — скопца разбойничьими, круглыми и глупыми глазами и все дергалъ его за бортъ длиннаго скюртука. Скопецъ немного подавался назадъ, про себя вздыхалъ и часто вскидывалъ глазами къверху.

Кругомъ мальчишки выкрикивали уличный товаръ. Куски краснаго арбуза вырѣзывались издали. А тамъ вонъ, на лоткахъ — золотистыя кисти винограда, вперемежку съ темнокраснымъ, наливнымъ, крымскимъ, величиной въ добрую сливу, и съ подрумяненной антоновкой. Разносчики газетъ забѣгали съ тротуара на средину площади и совали прохожимъ подъ носъ номера листовъ съ яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазинъ,

съ параднымъ подъѣздомъ и щеголеватой вывѣской, придавалъ нижнему этажу монументальнаго дома богатыхъ монаховъ европейскій видъ. На углу куполь башни, въ новомъ заграничномъ стилѣ, прихорашивалъ всю эту кучу тяжелыхъ, приземистыхъ каменныхъ ящичковъ, уходить въ небо, напоминая каждому, что старыя времена прошли, пора пускать и приманку для глазъ, давать архитекторамъ хорошія деньги, чтобы весело было господамъ купцамъ платить за трактиры и лавки.

А тамъ, дальше, видѣлся кусокъ теплыхъ „рядовъ“. Лѣстница съ аркой, переходы, мостики, широкія окна манили покупателя прохладой лѣтомъ, убѣжищемъ отъ дождя и тепломъ въ трескучіе морозы. Узкій переулочъ уходилъ вдоль, къ Никольской, точно коридоръ съ низкимъ, въ одинъ этажъ, коридоромъ, по лѣвую руку. Церковь съ старинными очертаніями главъ и реберъ крыши выглядывала сбоку изъ-за домовъ. Вся небольшая площадь улыбалась точно ядреная купчиха, надѣвшая всѣ свои кольца и серьги; только на волосахъ у ней „головка“, а остальное все по модѣ, куплено у нѣмца, и дорогой цѣной. Свѣтъ особенно ласково игралъ въ зеркальныхъ стеклахъ дома, гдѣ нѣтъ кое-какихъ лавокъ, а каждое помѣщеніе оплачивается многими тысячами. Домъ, сдавленный, четырехэтажный, по цвѣту какъ будто изъ цѣльнаго камня, не испортилъ бы и лондонскій „Cheapside“ или гамбургскій Jungfer-Stieg. Онъ смотритъ на своего сосѣда и радуется. Такого сосѣдства не стыдно. Но тамъ все-таки трактиръ, служатъ молодцы въ рубашкахъ: а въ немъ все на благородный аршинъ и покрой. Швейцары въ ливреяхъ, массивныя двери, чугуныя лѣстницы, гляпцовитыя конторки, за конторками тихій, благообразный и выученный народъ, хоть въ любой всемірно-извѣстный домъ, хоть къ самому Ротшильду. Правда, деньги на рукахъ у артельщиковъ; но артельщики сидятъ за рѣшетками, ихъ не видно, да и они, по благообразію, подходятъ къ дубовымъ рамамъ съ блистающими стеклами.

Только въ одномъ углу площади запоздалые мостовщики разворотили цѣлыхъ полдесятны, стѣсняють ѣзду и шутиво перекликаются съ ломовыми и кучерами. Они отдѣлили себя бечевкой и полдничаютъ, сидя на кучѣ голышей вокругъ деревянной чашки, куда они въ квасъ *накрошили* огурцовъ, луку, вяленой рыбы, и хлебають не

спѣша, вытянувши поги, окутанныя въ тряпки поверхъ лаптей. Имъ любо! Солнышко щекочетъ имъ загривки. Дождя, знать, не будетъ до ночи, и то слава Богу!

III.

Въ банкѣ, вверхъ по Ильинкѣ, съ монументальной чугунной лѣстницей и сажеными зеркальными окнами, все въ движеніи. Длинная, въ цѣлый манежъ, зала, съ пролетными арками въ обѣ стороны, наполнена гуломъ головъ, ходьбой, шелканьемъ счетовъ, скрипомъ перьевъ. Ясеневаго дерева перила и толстыя балясины празднично блестятъ. На нихъ пріятно отдыхаетъ глазъ. Надъ каждымъ отдѣленіемъ вывѣшены доски съ золотыми буквами: „учетъ векселей“, „пріемъ вкладовъ“, „текущіе счета“. За рѣшеткой столько же жизни, какъ и въ узковатой полосѣ, гдѣ толчется и проходитъ публика. Контористы, иные съ моднымъ проборомъ, иные подъ гребенку, всѣ въ хорошо спитыхъ сюртукахъ и визиткахъ, мелькаютъ за конторками: то встанутъ съ огромной книгой и перебѣгаютъ съ мѣста на мѣсто, то точно ныряютъ, только головы ихъ видны на нѣсколько секундъ. Всего больше народа у вкладовъ и выдачи денегъ по текущимъ счетамъ.

Сквозь кучку, гдѣ выдѣлялся священникъ съ большимъ наперснымъ крестомъ, въ шоколадной рясѣ, и дама съ кожанымъ мѣшкомъ, немного тугая на ухо и безтолковая, ловко протискался, шикого особенно не задѣвъ, лѣтъ подъ тридцать, не красавецъ, но замѣтной и своеобразной наружности: плотный, широкій въ плечахъ, повыше средняго роста, съ перехватомъ въ талѣ длиннаго двубортнаго сюртука, видимо вышедшаго изъ мастерской француза. Голова его, небольшая, круглая, выпуклая въ бокахъ, съ крутымъ лбомъ, сидѣла на туловищѣ чрезвычайно свободно, поворачивалась часто и легко. Волосы пепельнаго цвѣта, мягкіе, некурчавые, лежали на лбу широкой прядью, какъ на бюстахъ императора Траяна. Борода, немного потемнѣе, такъ же какъ и усы, расчесана была посрединѣ, гдѣ образовался точно вѣеръ съ цѣлой градаціей отѣнковъ, начиная отъ ярко-бѣлокураго на самомъ проборѣ. Губы полускрывали тонкіе усы, пичѣмъ не смазанные. Носъ утолщился книзу. Посрединѣ его шелъ желобокъ, дѣлавшій его шире и некрасивѣе. Свѣтло-каріе глаза смотрѣли возбужденно. Въ нихъ были видны: и юркость, и сознаніе здоровья и силы, и наклонность все осмотрѣть, взвѣсить



и оцѣнить, въ то время какъ легкія складки вдоль носа и приподнятые углы рта улыбались снисходительно, а при случаѣ и вкрадчиво.

Въ посадкѣ этого мужичицы, въ томъ, какъ сидѣлъ на немъ сюртукъ, какъ онъ былъ застегнутъ, въ походкѣ и покроѣ панталонъ,—опытный глазъ отличилъ бы бывшаго военнаго, даже кавалериста. Звали его Палтусовъ.

Онъ протянулъ руку къ контористу,—тотъ въ эту минуту подавалъ дамѣ книгу расписаться,—и чуть-чуть дотронулся до его плеча.

— Енграфъ Петровичъ въ директорской?—спросилъ онъ теноровымъ голосомъ, скоро, тономъ своего человѣка, умѣющаго дѣлать вопросы служащимъ и не мѣшать имъ.

— Какъ же, пожалуйста! — отвѣтилъ контористъ съ улыбкой.

Палтусовъ незамѣтно пріосанился, передалъ низкую поярковую шляпу изъ правой руки въ лѣвую и пошелъ къ стекляннмъ дверямъ кабинета, гдѣ сидятъ обыкновенно директора.

Навстрѣчу попался ему въ пріемной—тамъ стоялъ диванъ и столъ съ двумя креслами—совсѣмъ круглый человѣкъ, молодой, не старше Палтусова, съ вихромъ на лбу, весь въ черномъ; его веселые темные глаза такъ и бѣгали.

— Ба! Андрей Дмитричъ! Ко мнѣ? По дѣлу?

— Переводецъ простой... Зашелъ посмотрѣть на васъ,—сказалъ ласково Палтусовъ.

— Сію минуточку. Присядьте. И я тоже здѣсь примохусь. Я—духомъ!

Круглый директоръ присѣлъ на кончикъ дивана. Палтусовъ помѣстился по-сую сторону стола. Онъ и не замѣтилъ, что тутъ уже сталъ контористъ съ цѣлой пачкой разныхъ печатныхъ бланковъ, ордеровъ всякихъ цвѣтовъ, длины и рисунка.

— Вы посидите, голубчикъ,—кидалъ слова директоръ, а самъ все подмахивалъ,—я мигомъ. Нынче—каторжный день! Такіе задаются... Это что?

— Въ учетный-съ.

— Ладно... Я васъ самъ сведу къ контролеру. Онъ у насъ строгій. Пожалуй, придерется, скажетъ, личность неизвѣстна.

— Знаетъ меня.

— Придерется! А малый—золото! Формалистъ. Въ контроль служилъ... Это еще что?

— Это Федоръ Карлычъ просили подписать,—доложилъ контористъ.

— А ежели проврежся?

— Они говорятъ, что ничего.

— Ну, коли ничего, такъ я подпишу.

Маленькая бѣлая рука директора такъ и летала по бланкамъ. Подпишетъ вдоль, а потомъ поперекъ, и въ третьемъ мѣстѣ еще что-то отмѣтитъ. Палтусовъ любовался, глядя на эту наметанность. Въ головѣ круглаго человѣка происходило два теченія мыслей и фактовъ. Онъ внимательно осматривалъ каждый ордеръ и подписывалъ все съ однимъ и тѣмъ же замысловатымъ росчеркомъ, а въ то же время продолжалъ говорить, улыбался, не успѣвалъ выговаривать всего, что высказывало у него въ головѣ.

— Довольно?—спросилъ онъ, и вздохнулъ.

— Пока все-съ,—отвѣтилъ контористъ.

— Ну, грядите съ миромъ. Дайте передышку.

Контористъ вышелъ. Они остались вдвоемъ.

IV.

— Очень радъ, что зашли,—началъ еще радушнѣе директоръ. Подсаживаясь къ Палтусову, онъ потрепалъ его по плечу и заглянулъ въ глаза.

Тотъ всталъ.

— Боялся помѣшать вамъ.

— Намъ вѣдь всегда некогда. Наше дѣло: чикъ, чикъ, чикъ перомъ, и только пронесите, святыя угодники! А то и подмахнешь ордерокъ на полмилліончика... іудейской фабрикаціи. А потомъ и печатай портретъ въ „Кладдерадачъ“!..

И онъ захохоталъ визгливой дробью.

Палтусовъ вторилъ ему легкимъ барскимъ смѣхомъ.

— Вы захаживайте... Не надолго... Да вѣдь вамъ гдѣ же... Все около женскаго пола...

— Какое!

— Да нечего!.. Куда ни пойдешь, а ужъ Андрей Дмитричъ ведетъ подъ руку то Марью Орестовну, то Людмилу Петровну, то Анну Серафимовну. А супругъ сзади парадсю волочить... И все какихъ! Перваго разбора, милліоны все подъ ними трещать! Съ золотымъ обрѣзомъ!

Они вышли въ общую залу. Директоръ поддерживалъ Палтусова подъ правое плечо, смѣялся, мигалъ и заглядывать въ лицо. Палтусовъ только качалъ головой.



— Все балагурите, Елграфъ Петровичъ.

— Куда ни пойдешь — вездѣ онъ кавалеромъ, и руку сейчасъ согнетъ. И въ Кунцовѣ, и въ Сокольникахъ на кругу, и въ Люблинѣ, опять въ Паркѣ... А зимой! И въ маскарадѣ-то по двѣ маски разомъ... Мы тоже вѣдь имѣемъ наблюдение...

— А сами-то?

— Что жъ?.. я маскарады лю-блю-ю,—протянулъ директоръ и быстро опустилъ голову внизъ, къ груди Палтусова.—Люблю. Это развлеченіе по мнѣ. День-деньской здѣсь въ банкѣ-то этой, сострилъ онъ, — ровно рыжикъ въ укусѣ болтаешься; одурь возьметъ!.. Ни на какое путное дѣло не годишься. Ей-ей! Въ карты я не играю. Ну и завернешь въ маскарадъ. Мужчина я нетронутый... Женихъ въ самой порѣ. Только еще тоски не чувствую.

Онъ остановилъ Палтусова въ проходѣ, противъ лѣстницы, и взялъ его своими короткими руками за бока.

— Что жъ не сватаетесь?

— Говорю, тоски еще не чувствую. Надъ нами не каплетъ. Что жъ, это вы хорошо дѣлаете, что промежду нашимъ братомъ — купеческимъ сыномъ обращаетесь. Онъ сталъ говорить тише. — Давно пора. Вы—бравый! И на войну ходили, и учились, знаете все... Такихъ намъ и нужно. Да что же вы въ гласные-то?

— Не собственникъ...

— Эка! Промысловое свидѣтельство! Табачную лавочку!—Пустое дѣло. А вѣдь они у насъ глупятъ такъ, что нѣтъ никакой возможности. Я и ѣздить нынче пересталъ; кричали въ тѣ поры: не надо намъ бартъ, не надо ученыхъ, давай простецовъ. Сами рѣчи имѣемъ говорить... Вотъ и договорились!

Директоръ опять подхватилъ Палтусова подъ правое плечо. Палтусовъ улыбался и думалъ въ эту минуту въ отвѣтъ на то, что ему говорилъ круглый человечекъ. Онъ почти всегда думалъ о себѣ, потому тихая усмѣшка такъ часто и всплывала на его лицѣ.

V.

— Вотъ и контрольная,—довелъ его директоръ до широкой двойной конторки за перилами.

Директору поклонился сухощавый блондинъ съ лысиной, въ цвѣтномъ галстукѣ. Палтусовъ уже видѣлъ его, но по имени не зналъ.

— Вотъ имъ переводецъ,—сказалъ директоръ контролеру.

— Очень хорошо-съ!—отвѣтилъ тотъ однимъ духомъ, и нахмурилъ брови.

У него въ рукахъ было нѣсколько листовъ, за ухомъ торчало перо, во рту—карандашъ. Онъ что-то искалъ. Щеки его покраснѣли. Нервно перебрасывалъ онъ ворохъ векселей, телеграммъ съ переводами, ордеровъ—и не находилъ. Его нервность сказывалась въ порывистыхъ движеньяхъ рукъ, головы и даже всего корпуса. Онъ то и дѣло вертѣлся на каблучкахъ. Выхватить одинъ бланкъ, отбросить, потомъ опять схватить и насадить на мѣдный крючокъ, висѣвшій на стѣнѣ за его спиной, начнетъ снова швырять и выдувать воздухъ носомъ, а лѣвой рукой ерошить себѣ рѣдкіе волосы, около лысины.

Кругомъ барьера дожидалось человѣкъ пять, больше артельщики.

— Павелъ Павлычъ!—окликнулъ еще разъ директоръ.— Пожалуйста, не задержите Андрея Дмитриевича.

И онъ своими глазками указывалъ Палтусову, какъ торموшится контролеръ.

— Позвольте-съ,—кинулъ тотъ Палтусову, и съ сердцемъ насадилъ на крючокъ еще два бланка.

Палтусовъ досталъ переводъ изъ большого гладкаго портфеля вѣской работы, въ видѣ пакета. Онъ передалъ сизый листокъ директору. Тотъ сейчасъ же схватилъ глазами сумму.

— Выиграли, что ли, перваго сентября?—спросилъ онъ прищурившись.—Или тетенька какая Богу душу отдала?

— Ни то, ни другое. Такъ, оставались деньжонки...

Вексель былъ на нѣсколько тысячъ рублей.

Контролеръ вручилъ одному изъ артельщиковъ четыре листка разныхъ цвѣтовъ, перечеркнутые и помѣченные и карандашомъ, и чернилами, и сказалъ вслухъ, такъ что директоръ и Палтусовъ слышали:

— И все отъ несоблюденія правилъ! А тутъ и задерживай публику!

Директоръ протянулъ ему вексель Палтусова.

— Золото человѣкъ!—сказалъ онъ шопотомъ, отдавъ Палтусова въ уголъ.—Дорогого стѣнть, а копуга. А вы, голубчикъ, къ намъ на текуцій? Вѣдь вы—у насъ?

— Да, пускай лежать...

— Бумагъ не будете покупать?



— Можетъ-быть...

— Мы этихъ не промышляемъ. Вотъ и биржа... Смотришь на такого русскаго молодца, какъ вы, и озоръ беретъ. Что ни маклеръ—нѣмчура. Отъ папенки досталось. А нѣмцы, какъ собаки, вездѣ снюхаются!..

Оба расхохотались.

— Помилуйте,—продолжалъ горячиться директоръ. — Карлушка какой-нибудь паршивый, пара галстуконъ была у него да кальсоны вязаные, состоятъ на побѣгущахъ у жида въ Зарядьѣ, а глядишь, годика черезъ три—биржевой маклеръ. Нѣмцы выклянчили—въ двадцати тысячахъ дохода... За невѣстой кушъ беретъ... Сами вы плошаєте, господа!

— Дайте срокъ!—вырвалось у Палтусова.

И онъ поправилъ тотчасъ же булавку на галстукѣ, точно хотѣлъ сдержать себя.

— Евграфъ Петровичъ!—тиховыговорилъ уже другой контористъ, не тотъ, что былъ въ директорской.—Ждутъ-сь...

И онъ протягивалъ пачку ордеровъ.

— Ну, заболтался; прощайте, голубчикъ, увидимся! Въ первомъ же маскарадѣ, октябрь на дворѣ. Павелъ Павлычъ!—крикнулъ директоръ черезъ спины и головы артельщиковъ.—Не задержите господина Палтусова—прошу!

Ножки его засѣменили. Молоденькій контористъ еле успѣвалъ догонять его. Директоръ на-ходу обернулся и сдѣлалъ Палтусову ручкой.

Исполнительный контролеръ спустилъ свою публику скоро, совалъ имъ въ руки листы съ суровой поспѣшностью. Палтусова онъ отличилъ почтительнымъ приглашеніемъ:

— Пожалуйста въ кассу. Первая вправо-сь!

Касса, гдѣ Палтусову пришлось получить деньги, которыя онъ тутъ же перевелъ на текущій счетъ—расчетную книжку онъ захватилъ—помѣщалась около той, куда вносили. Пока вносили ему сумму и переводили деньги изъ одной кассы въ другую, Палтусовъ, облокотившись о дубовый выступъ кассы, смотрѣлъ на то, какъ считали пачки ассигнацій въ сторонѣ, за небольшимъ желтымъ столомъ, устланнымъ листками розовыхъ и бѣлыхъ бланковъ. Считало нѣсколько молодцовъ въ чуйкахъ и длиннополыхъ сибиркахъ, посланные хозяевами. Онъ съ особымъ выраженіемъ оглядывалъ и мальчишекъ лѣтъ двѣнадцати, десяти, чумазыхъ, въ рваныхъ полшубкахъ,

присланныхъ за кушами или съ кушами въ десятки тысячъ. Они брали пачки, перевязанныя веревочками, развязывали ихъ, мусолили грязные пальцы и принимались считать. Иные и совсѣмъ не считали, а просто доставали пачки изъ холщовыхъ мѣшковъ и накладывали ихъ на прилавокъ, передъ рѣшеткой кассира, безъ всякой бережи, точно картофель или рѣпу. Въ глазахъ Палтусова такъ и рябило. Тысячныя пачки сторублевокъ, выданныя изъ банка и аккуратно сложенныя, возвышались стопками на столѣ и похожи были издали на кипы книжекъ. На текущій счетъ приносили большіе засаленныя бумажки, и мальчишки комкали ихъ, укладывая па прилавокъ. Въ десять минутъ передъ глазами Палтусова пропестрѣли сотни тысячъ. И онъ все не могъ надивиться тому, что дѣтямъ, неграмотнымъ, безъ всякой опаски и контроля, поручаютъ капиталы.

— Въ такой странѣ и не нажиться?—говорили его разбѣгающіеся каріе глаза.—Да надо быть кретиномъ!

VI.

Внизу, у подъѣзда, стояла его пролетка. Онъ ѣздилъ съ мѣсячнымъ извозчикомъ на красивой, но павшей на ноги, сѣрой лошади. Пролетка была новая, полуторная. Работнику онъ приплачивалъ шесть рублей въ мѣсяцъ; подарилъ ему три пары замшевыхъ перчатокъ и два бѣлыхъ платка на шею. Платилъ онъ за экипажъ восемьдесятъ рублей.

Палтусовъ получилъ обратно свою расчетную книжку. Когда швейцаръ подаль ему очень длинное коричневое пальто, однобортное, съ круглымъ, широкимъ воротникомъ-шалью, онъ инстинктивно ощупалъ въ правомъ карманѣ сюртука и портфель, и книжку. Швейцарамъ онъ вездѣ—и въ банкахъ, и въ амбарахъ у богатыхъ купцовъ, и въ присутственныхъ мѣстахъ—давалъ часто и много на водку.

Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ выбѣжалъ на подъѣздъ и крикнулъ:

— Подайвай!..

Другой подаль Палтусову его мохнатое, лиловое съ чернымъ одѣяло, которымъ онъ прикрывалъ ноги. Онъ это дѣлалъ и любилъ теплоту, и оберегалъ ноги отъ летучаго ревматизма, схватчиваго, какъ онъ говорилъ, въ Болгаріи, во время перехода черезъ Балканы.

Пролетка стала подъѣзжать; но ее задержалъ цѣлый обозъ, ѣхавшій изъ переулка съ ящиками макаронъ и вермишели. Кучеръ Палтусова выругался; но взглянувъ на барина — замолчалъ. Баринъ степенно натягивалъ на правую руку сѣрую шведскую перчатку и поглядывалъ по сторонамъ, вдыхалъ въ себя свѣжесть улицы, все еще недостаточно нагрѣтой сентябрьскимъ солнцемъ.

Ему давно нравился „городъ“. Онъ чувствовалъ художественную красу въ этомъ скопищѣ азіатскихъ и европейскихъ зданій, улицъ, закоулковъ, перекрестковъ. Ему были по душѣ: это шумное движеніе цѣнностей, обозы, выѣски, амбары, склады, суета и напряжение огромнаго промыслового пункта.

„Тутъ сила,—думалось ему всегда, какъ только онъ попадалъ въ „городъ“,—мошна, производительность!..“

Не на вѣтеръ летять тутъ деньги, а идутъ на какое-нибудь новое дѣло. И жизнь подходила къ рамкѣ. Для такого рынка такіе нужны и ряды, и церкви, и краска на штукатуркѣ, и трактиры, и выѣски. Орда и Византия и скопидомная московская Русь глядѣли тутъ изъ каждой старой трещины.

Глаза Палтусова обернулись въ сторону яркаго краснаго пятна—церкви „Никола большой крестъ“, раскинувшейся на цѣлый кварталъ. Аллая краска ярѣла на солнцѣ, бѣлая украшенія карнизовъ, арокъ, оконъ, куполовъ придавали игривость, легкость храму, стоящему у входа въ главную улицу, точно за тѣмъ, чтобы сейчасъ же всякій иноземецъ понималъ, гдѣ онъ, чего ему ждать, чѣмъ любоваться.

Палтусовъ заглядѣлся на одну изъ боковыхъ главокъ. Весело у него стало на сердцѣ. Деньги, хоть и небольшія, есть, лежатъ вонъ тамъ, наверху, связи растутъ, охоты и выдержки не мало... двадцать восемь лѣтъ, воображеніе играетъ и поможетъ ему найти теплое мѣсто въ тѣни громадныхъ горъ изъ хлопка и миткаля, промежду миллионнаго склада чая и невзрачной, но денежной лавочки серебряника-мѣнялы.

Провезли, наконецъ, макароны и вермишель. Палтусова усадилъ швейцаръ, подоткнувъ съ обѣихъ сторонъ одѣяло, и низко поклонился.

Кучеръ сдѣлалъ головой полуоборотъ и дотронулся до жда лошади синей вожжей.

— Въ трактиръ!—приказалъ баринъ.



Пролетка повернула на Варварку, проѣхала мимо церкви около Великомученицы Варвары, съ ея окраской свѣжаго зеленого сыра, и лихо остановилась у подъѣзда двухъ-этажнаго трактира, ничѣмъ не отличающагося на видъ отъ перваго попавшагося заведенія средней руки.

Спертый, влажный воздухъ, съ запахомъ табачнаго дыма, кипятка, половиковъ и приностей обдалъ Палтусова, когда онъ всходилъ по лѣстницѣ. Направо, въ просторномъ акваріумъ-садкѣ, вертѣлась или лѣниво двигалась рыба. Этотъ трактирный акваріумъ тоже нравился Палтусову. Онъ всегда подходилъ къ нему и разглядывалъ какую-нибудь матерую стерлядь. Изъ-за буфета выставилась голова приказчика въ нѣмецкомъ платьѣ и кланялась ему.

— Калакуцкій здѣсь?—звонко спросилъ Палтусовъ у молодца при сбереженіи платья.

Молодецъ затруднился. Подскочилъ приказчикъ.

— Калакуцкаго знаете, Сергѣя Степановича?—переспросилъ Палтусовъ.

Приказчикъ закрылъ на секунду глаза и выговорилъ почти на ухо:

— Не примѣтилъ. На врьдъ ли-съ.

Палтусовъ поблагодарилъ его наклоненіемъ головы и взялъ сначала вправо, въ угловую комнату съ каминомъ, гдѣ больше завтракаютъ, чѣмъ пьютъ чай. Тамъ было еще немного народу. Онъ вернулся и прошелъ черезъ рядъ комнатъ налѣво, набитыхъ мелкимъ торговымъ людомъ. Крайнія, почище и попросторнѣе, извѣстна тѣмъ, что тамъ пьютъ чай и завтракаютъ воротилы стараго гостинаго двора. Около часу всегда можно слышать голосъ Пантелея Ивановича, перваго „прядильщика“, разсуждающаго, поплеывая и шепелявя, о политическихъ дѣлахъ. И половые въ этой комнатѣ служатъ иначе, ходятъ чуть слышно, обращаются къ гостямъ съ почтительной сладостью. Чай и завтраки часто затягиваются, разговоръ хозяевъ переходитъ къ своимъ дѣламъ. Въ воздухѣ запахнеть сотнями тысячъ. Половые, у притолоки или въ сторонѣ у печки, слушаютъ съ неподвижными и напряженными, потѣющими лицами.

И въ этой комнатѣ не было того господина. Они согласились завтракать въ особой комнатѣ, въ „сосновой“ или „березовой“. Палтусовъ освѣдомился, нѣтъ ли Калакуцкаго въ одной изъ нихъ. И тамъ его не было.

Часы показывали десять минутъ перваго.

— Проводи меня въ березовую, наверхъ,—сказалъ Палтусовъ мальчику-половому, блѣднолицому парню лѣтъ четырнадцати, въ короткихъ бѣлыхъ штанахъ и съ длинными волосами, густо смазанными коровьимъ масломъ.

Мальчикъ провелъ его въ дверь налѣво отъ буфета. Они миновали узкій коридоръ. Мальчикъ началъ подниматься по лѣсенкѣ съ раскрашенными деревянными перилами и привелъ на вышку, гдѣ дверь въ березовую комнату приходится противъ лѣстницы. Онъ отворилъ дверь и сталъ у притокови. Палтусовъ оглянулся. Онъ только мелькомъ видѣлъ эту свѣтелку, когда ему разъ, послѣ обѣда, показывали особенности трактира.

— Пошли кого-нибудь пограмотить,—сказалъ онъ мальчику,—и скажи тамъ швейцару, чтобы господина Калауцкаго проводить сюда.

Подростокъ поклонился по-деревенски, тряхнулъ волосами и затворилъ дверь.

Свѣтелка, всею обшита некрашенымъ березовымъ тесомъ, приняла его точно въ колыбель. Въ ней чувствовалась свѣжесть дерева; свѣтъ смягчался матовымъ тономъ березы. Самая тѣспота этого чуланчика возбуждала веселость. Стулья, съ высокими спинками изъ рѣзной березы, съ подушками изъ тисненой красной кожи, зеркало, карнизы, отдѣлка оконъ и дверей перенесли Палтусова къ дѣтскимъ годамъ. Ему казалось, что онъ въ игрушечномъ домикѣ и начнетъ сейчасъ играть съ этой бѣлой мебелью. Изъ окна надъ столомъ, занимающимъ двѣ трети свѣтелки, видъ на Зарядье и Москву-рѣку тѣшилъ глазъ яркостью и пестротой цвѣтныхъ пятенъ: — крыши и куполы, главки, башенки, а дальше муравейникъ синѣющего Замоскворѣчья — и превращалъ трактирный чуланчикъ въ теремъ.

Палтусовъ любилъ все, отзывающееся старой Москвой, любилъ не одинъ „городъ“, но разныя урочища Москвы, находилъ ее живописной и богатой эффектами, выискивалъ уголки, пригорки, пункты, откуда открывается какая-нибудь красивая и своеобразная картина. Но мысль его не могла долго оставаться на художественной сторонѣ предмета. Въ этой трактирной свѣтелкѣ чутье его обоняло и нѣчто другое. И даже крыши и главы подъ его ногами говорили ему все о той же бытовой и промышленной жизни. Онъ точно чуялъ въ воздухѣ ростъ капиталовъ и продуктовъ. Въ воображеніи его поднимались его

собственные палаты, въ прекрасномъ старо-московскомъ стилѣ, съ золоченой рѣшеткой на крышѣ, съ изразцами, съ рѣзьбой полотенецъ и столбовъ. Настоящія барскія палаты, но не такія низменныя и темныя, какъ тутъ вотъ, почти рядомъ, на Варваркѣ, хоромы бояръ Романовыхъ, а въ пять, въ десять разъ просторнѣе. Какая будетъ у него столовая! Вся въ изразцахъ и въ стѣнной живописи. Печку монументальную, по рисункамъ Чичагова, закажетъ въ Бельгіи. Одна печка будетъ стоить пять тысячъ рублей. Поставцы изъ темнаго вѣкового дуба. Какіе жбаны, енды, блюда съ эмалью будутъ выглядывать оттуда. Вѣдь есть же здѣсь внизу, въ этомъ самомъ трактирѣ, „русская палата“, гдѣ всякій ножъ, каждый стаканъ сдѣланъ по рисунку! Но все-таки это трактиръ. Тутъ нѣтъ своего, барскаго, тонкаго вкуса, нѣтъ любви къ вещамъ, заработаннымъ умомъ, бойкимъ умомъ и знаніемъ людей, ихъ душевной немощи и гризи, ихъ глупости, скарденности, алчности... Славно!

VII.

Мечты его прервалъ половой лѣтъ за тридцать, съ подстриженной рыжеватой бородкой и впалой грудью, — доверенный молодецъ, умѣющій служить хорошимъ гостямъ въ отдѣльныхъ комнатахъ.

— Ну, вотъ что, голубчикъ, — скоро заговорилъ Палтусовъ, отвернувшись отъ окна, — закусочки намъ сначала, но, знаешь, основательной... Балыкъ долженъ быть теперь свѣжей получки отъ Макарія?

— Самолучшій.

— Не забудь хрищей. Соленыхъ хрищей... Недурно бы фаршированный калачъ; да это долго.

— Минутъ пятнадцать!

— Такъ не надо. Листовка у васъ хороша ли?

— Особенная!

Такъ обсуждены были и другія водки и закуски. Половой отвѣчалъ кратко, но впопадъ, съ наклопеніемъ всего туловища и усиленнымъ миганіемъ сѣрыхъ, большихъ глазъ.

И процессъ заказыванья въ трактиръ нравился Палтусову. Онъ любилъ этихъ ярославцевъ, признавалъ за ними большой умъ и тактъ, считалъ самую тонкою, пріятною и оригинальною прислугой; а онъ жилъ и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ. Ему хотѣлось всегда потолковать



съ половымъ, видѣть складъ его ума, чувствовать связь съ этимъ мужикомъ, способнымъ превратиться въ радчика, въ фабриканта, въ желѣзнодорожнаго концессионера. Фамиллярности онъ не допускалъ, да ея никогда и не было со стороны прославца. Всего больше лакомился онъ чувствомъ мѣры у такого бѣлорубашника, остриженнаго въ кружало. Онъ вамъ и скандальную новость сообщить, и дѣльный торговый слухъ, и статейку рекомендуетъ въ „Вѣдомостяхъ“, — и все это кстати, сдержанно, какъ хорошій дипломатъ и полезный собесѣдникъ.

— Съ Богомъ! — отпустилъ Палтусовъ полового. — Тебя какъ звать?

— Алексѣемъ-съ.

— Такъ вотъ, голубчикъ Алексѣй, скажи тамъ внизу, чтобы не прозѣвали Калакуцкаго.

— Сергѣя Степаныча?

— Ты знаешь его?

— Помилуйте!..

Алексѣй не досказалъ; но его блѣдныя большія губы говорили: „миѣ не знать господина Калакуцкаго?“ Онъ отворилъ дверь. Палтусовъ остановилъ его движеніемъ руки.

— Карту винъ принеси съ закуской, и шампанское заморозить.

— Редерь? — больше утвердительно, чѣмъ звукомъ вопроса выговорилъ Алексѣй.

— Н-да; Редерь все лучше остальныхъ... рѣшилъ Палтусовъ и опустился на диванъ, когда шаги Алексѣя послышались внизъ по лѣстницѣ.

Ему захотѣлось глубоко и сладко вздохнуть. Славное житье въ этой пузатой и сочной Москвѣ!.. Въ Петербургѣ физически невозможно такъ себя чувствовать. Глазъ прищипывается. Вездѣ линія — прямая, тягучая и тоскливая. Дождь, изморось, туманъ, желтый, грязный свѣтъ сквозь свинцовыя тучи и облака. Ыдешь — все тѣ же дома, тотъ же „прешпектъ“. У всѣхъ геморой и катаръ. Въ ресторанахъ — татары въ засаленныхъ фракахъ, въ кабинетахъ темно, холодно, пахнетъ вчерашней попойкой; Ыда — безвкусная; оббитые диваны. Ничего характернаго, своего, не привознаго. Нигдѣ не видно, какъ работаетъ, наживаетъ деньги, охорашивается, выдумываетъ яства и питья коренной русскій человѣкъ... То ли дѣло здѣсь!

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда

какую-то записку, перечелъ се, чмокнулъ губами, потомъ расчесалъ бороду передъ зеркаломъ маленькимъ гребешкомъ въ серебряной оправѣ и снова опустился на диванъ. Долго разсматривалъ онъ свою расчетную книжку. Сумма теперь округлилась. Въ головѣ идутъ расчеты—быстрые, въ цифрахъ. Онъ поправляетъ ихъ и замѣняетъ другими, приводитъ разныя соображенія. Отдѣлать квартиру необходимо. Правда, у него номеръ прекрасный, въ двѣ комнаты; но все-таки—номеръ. Квартира—клади двѣ тысячи. Надо бы и лошадь. Это выгодноѣ. Онъ платитъ восемьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. На это можно держать пару. Вотъ выпадетъ снѣгъ. Онъ и начнетъ съ саней—это втрое дешевле хорошей пролетки или одноконнаго фаэтона. Платья не нужно.

Дверь шумно отворилась. Все пространство ея занялъ очень высокій, вершковъ двѣнадцати, широкій, но не толстый баринъ въ сѣрой шляпѣ, на половину покрытой трауромъ. Онъ похожъ былъ на отставного французскаго генерала или хозяина цирка: длинныя съ просьдью усы, совсѣмъ падающіе на галстукъ, бритое, продолговатое лицо, чуть замѣтная мушка подъ нижней губой, густыя, русыя брови, лысая голова, подъ гребенку остриженная тамъ, гдѣ еще росли волосы. Баринъ одѣтъ былъ живописно: съ отложнымъ широкимъ воротникомъ рубашки, въ черномъ, короткомъ, плотно застегнутомъ пиджакѣ, безъ талии, и панталонахъ-шароварахъ, къ сапогамъ уже. На груди болталось золотое *pinse-nez* на широкой лентѣ.

VIII.

— *C'est parfait!*—захрипѣлъ онъ.—А я внизу васъ ищу!

Патусовъ поднялся и, подскочивъ къ Калакуцкому, протянулъ ему обѣ руки и пожалъ его свободную правую руку. Во всѣхъ этихъ движеніяхъ проскользнула искательность; но улыбающееся благообразное лицо сохраняло достоинство.

— Пожалуйте, пожалуйста, Сергѣй Степановичъ. Я ужъ распорядился закуской! Развѣ васъ не сейчасъ же провели? Я приказалъ...

— Провели...

Калакуцкій немного отдувался и оглянулъ комнату своими тусклыми глазами на выкатѣ съ навислыми вѣками.

— Да мы здѣсь задохнемся!...

— Можно отворить окно...

— Ничего... А веселенькій ватерклозетик!..

Онъ размѣялся задыхающимся смѣхомъ. Палтусовъ ему вторилъ. Онъ усадилъ барина на диванъ. Тотчасъ же пришло двое половыхъ. Столъ въ минуту былъ уставленъ бутылками съ пятью сортами водки. Балыкъ, провѣсная бѣлорыбца, икра и всякая другая закусочная ѣда заиграли въ лучахъ солнца своимъ жиромъ и янтаремъ. Не забыты были и затребованные Палтусовымъ соленые хрящи. Калакуцкій заказалъ завтракъ: паровую севрюжку, котлеты изъ пуларды съ трюфелями и разварныя груши съ рисомъ. Указано было и красное вино.

— Какой номеръ-съ?—спросилъ Алексѣй.

— Да все тотъ же. Я другого не пью.

И Калакуцкій ткнулъ пальцемъ въ большую карту винъ.

Кушанья поданы были скоро и старательно. Они еще не успѣли покончить съ солеными хрящами и осетровымъ балыкомъ, какъ на столѣ уже шипѣла севрюжка въ серебряной кастрюлѣ. За закуской Калакуцкій выпилъ разомъ двѣ рюмки водки, забилъ себѣ куски икры и бѣлорыбцы, засовалъ за ними рожокъ горячаго калача и потомъ больше мычалъ, чѣмъ говорилъ. Но онъ ѣлъ умѣренно. Ему нужно было только притупить первое ощущение голода.

Тутъ онъ сдѣлалъ передышку:

— Измучился я, mon bon, долженъ былъ лазить по лѣсамъ... Канальи!.. Безъ своего глаза пропадешь, какъ шведъ подъ Полтавой...

Рѣчь шла о стройкѣ. Калакуцкій давно занимался подрядами и стройкой домовъ, и все шелъ въ гору. На Палтусова онъ обратилъ вниманіе, знакомилъ его съ дѣлами. Наканунѣ онъ назначилъ ему быть на Варваркѣ въ трактирѣ и хотѣлъ потолковать съ нимъ „посурьезнѣе“ за завтракомъ.

Но Палтусовъ самъ не начиналъ разговора о себѣ. У него былъ на это расчетъ. Калакуцкій — для первыхъ ходовъ — казался ему самымъ лучшимъ рычагомъ. Нюхъ говорилъ Палтусову, что онъ нуженъ этому „ловкачу“, такъ онъ называлъ его про себя, и подъ этой кличкой даже заносилъ въ записную книжку о Калакуцкомъ.

— Такъ вы совсѣмъ москвичемъ дѣляетесь?—спросилъ его Калакуцкій за севрюжкой.



— Дѣлаюсь.

— Штука любезная. Мы въ молодыхъ людяхъ нуждаемся, такихъ вотъ, какъ вы. Очень ужъ овчиной у насъ разить. Никого нельзя ввести въ операцію... Или выжига, или хамъ!..

— Мнѣ нравится Москва.

— Сундукъ у ней хорошъ, да не сразу его отопрешь, голубчикъ. Хамство ужъ очень меня одолеваетъ иной разъ, — даже самъ-то овчиной провоняешь... Честной человѣкъ!.. Вечеромъ прїѣдешь—такъ и разить отъ тебя!..

Онъ тоже не начиналъ безъ подхода. Говорилъ онъ одно, а думалъ другое. Онъ мысленно осматривалъ Палтусова. Малый, кажется, на всѣ руки, и съ достоинствомъ: такое выраженіе у него въ лицѣ; а это—главное съ купцами, особенно если изъ старовѣровъ, и съ иностранцами. Денегъ у него нѣтъ, да ихъ и не нужно. Однако, все лучше, если водится у него пятокъ-десятокъ тысячъ. Заручиться имъ надо, предложить пай.

— Вы, я слышу, *mon cher*,—заговорилъ онъ, такъ, между прочимъ, пропуская стаканчикъ лафиту, — все съ купчиками?..

— Кое-кого знаю,—сказалъ Палтусовъ, чуть-чуть улыбувшись, и отеръ усы салфеткой.

— Это хорошо! Продолжайте! Надо завязать связи. У Марьи Орестовны бываете?

— Какъ же.

— Эта изъ мужа веревки вьетъ. Онъ тоже хамъ и самолюбивое животное. Но его надо ручнымъ сдѣлать. Вы этого не забывайте. Вѣдь онъ постъ занимаетъ. Да что же это я все вамъ не скажу толкомъ... Вы вѣдь знаете,—Калакуцкій наклонился къ нему черезъ локоть,—вы знаете, что у меня теперь для большихъ строекъ... товарищество на вѣрѣ ладится?

— Слышалъ,—отвѣтилъ Палтусовъ ласково и сдержанно.

— А знаете, что я въ прошломъ году, когда у насъ было простое компаньонство, предоставилъ моимъ товарищамъ?

— Въ точности не знаю.

— Семьдесятъ процентиковъ! *Joli? N'est ce pas?*

— *Joli*,—повторилъ Палтусовъ.

Онъ не любилъ французить; но выговоръ былъ у него гораздо лучше, чѣмъ у Калакуцкаго.



— Мнѣ бы хотѣлось и васъ примостить. Въ карманѣ и къ вамъ не залѣзаю...

— У меня крохи, Сергѣй Степановичъ,—выговорилъ съ благородной усмѣшкой Палтусовъ.

— Ничего. Когда совѣмъ налажу, скажу вамъ. Что будетъ—тащите. Не на текущемъ же счету по два процента получить!

Палтусовъ понялъ тотчасъ же, почему Калакуцкій сдѣлалъ ему такое предложеніе. Это его не заставило попятиться. Напротивъ, онъ нашелъ, что это умно и толково. Онъ зналъ, что Калакуцкій зарабатываетъ большія деньги, и всѣ говорятъ, что черезъ три-четыре года онъ будетъ самый крупный строитель-подрядчикъ.

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ довѣрчивымъ тономъ и сейчасъ же сообщилъ Калакуцкому, какія у него есть деньжонки, не скрылъ и того, въ какомъ онъ банкѣ лежать, и сколько ему нужно, чтобы обзавестись квартирой.

Калакуцкій все это одобрилъ. Они подходили другъ къ другу. Строитель былъ человѣкъ малограмотный, нигдѣ не учился, вышелъ въ офицеры изъ юнкеровъ, но родился въ барской семьѣ. Его прикрывалъ плохой французскій языкъ и лоскъ, вывозили смѣтка и смѣлость. Но ему нуженъ былъ на время пособникъ въ такомъ родѣ, какъ Палтусовъ, гораздо образованнѣе, повѣе, тоньше его самого.

IX.

Послѣ котлетъ принесли шампанскаго. Палтусовъ угощалъ имъ. Калакуцкій принялъ; но счетъ завтрака они раздѣлили пополамъ. Подали кофе и ликеры. Половые ушли, поставивъ три раскрытыхъ ящика съ сигарами.

— Такъ вотъ, любезнѣйшій Андрей Дмитричъ,—заговорилъ Калакуцкій, и его глаза уставились на Палтусовъ,—я хочу васъ нанимать, или съ вами союзъ заключить.

— Въ какомъ смыслѣ?—спросилъ Палтусовъ.

Вина онъ выпилъ довольно; но языкъ его былъ такъ же сдержанъ, какъ и въ началѣ завтрака. Только щеки стали розовѣе. Онъ очень отъ этого похорошѣлъ.

— Да въ томъ, сударь мой, что вамъ надо быть моимъ тайнымъ агентомъ.

— Агентомъ?—переспросилъ Палтусовъ, переставивъ удареніе.

— Именно! Ха-ха! Я не въ сыщикъ васъ беру. Разу-

дите — вы мнѣ уже говорили, что желали бы присмотрѣться къ дѣламъ и выбрать себѣ, что на руку. Ну, не пойдете же вы ко мнѣ въ конторщики или паридчики?.. Компаньономъ — у васъ капитала нѣтъ... Пай предложу вамъ съ удовольствіемъ. Но этого мало. Вы можете быть весьма и весьма полезны нашимъ операціямъ и теперь, и послѣ... У меня въ головѣ много прожектвъ. Я цѣлые дни занятъ, разрываюсь какъ каторжный, и страшно отъ этого теряю... Тутъ надо человѣка отыскать, туда заѣхать, тамъ понюхать. Вотъ и необходимъ агентъ! Но какой? Вы не обижайтесь... такой, чтобы стоилъ компаньона.

— Понимаю, понимаю,—тихо повторялъ Палтусовъ и глядѣлъ въ стаканъ съ шампанскимъ, точно любовался, какъ иглы тонкаго льда мигали въ винѣ и гнали наверхъ пузырьки газа.

— И не побрезгуете?

— Идея хороша!

— И тянуть нечего. Проволочка всякому дѣлу — капуть!.. А положеніе простое — процентъ. Вамъ небось сказывали, что я умѣю платить и дѣлиться? Это — первое. Примите добрый совѣтъ...

Тутъ глаза Палтусова слегка покраснѣли.

— Идея прекрасная, Сергѣй Степановичъ! — выговорилъ онъ и всталъ со стаканомъ въ рукѣ. Глаза его обѣжали и свѣтелку съ видомъ на пестрый коверъ крышъ и церковныхъ главъ, и то, что стояло на столѣ, и своего собесѣдника, и себя самого, насколько онъ могъ видѣть себя. — У васъ есть инициатива! — уже горячѣе воскликнулъ онъ и поднялъ стаканъ, приблизивъ его къ Калакуцкому.

— Безъ ученыхъ словъ, голубчикъ!..

— Нѣтъ, позвольте его повторить, Сергѣй Степановичъ! Инициатива! По-русски починъ, если вамъ угодно! Отчего мы, дворяне, люди съ образованіемъ, хорошихъ фамилій, уступаемъ всѣмъ этимъ... какъ вы выражаетесь — хамамъ? Отчего? Оттого, что почина нѣтъ. А хамъ — уменъ, Сергѣй Степановичъ!

— Плуть! — вырвалось у Калакуцкаго.

— Уменъ, — повторилъ Палтусовъ. — Я его не презираю. Такой же русакъ, какъ и мы съ вами... Я говорю о мужикѣ; вотъ объ такомъ Алексѣѣ, что служить намъ, о радчикѣ, десятникѣ, штукатурѣ... Мы должны съ ними сладиться и сказать купецкой мошнѣ: пора тебѣ съ нами дѣлиться, а не хочешь, такъ мы тебя подъ пожку.



— Отлично! Да вы ораторъ! Разумѣется, намъ слѣдуетъ выкуривать бороду. Я это и дѣлаю...

— За эту идею позвольте чокнуться, — протянулъ Палтусовъ стаканъ къ Калакуцкому.

Тотъ тоже привсталъ. Они чокнулись и три раза поцѣловались. Это сдѣлалось какъ-то само собой.

И Калакуцкій началъ рассказывать анекдоты изъ своей практики: какъ онъ начиналъ, чему выучился, сколько разъ висѣлъ на волоскѣ. Онъ привиралъ, певольно, въ жару разговора, увеличивалъ цифры убытковъ и барышей, щеголялъ своей смѣткой и дѣловой неустрашимостью. Все это отлично схватывалъ Палтусовъ; но хвастливыя рѣчи строителя, возбужденныя виномъ, пары шампанскаго, ароматъ ликеровъ, дымъ дорогихъ сигаръ образовалъ вокругъ Палтусова атмосферу, въ которой его воображеніе опять заиграло. Вѣдь вотъ этотъ подрядчикъ не Богъ знаетъ какого ума, безъ знаній, съ грубоватой натурой, а ведетъ же теперь чуть ли не миллионныя дѣла! И надо поклониться ему за это. Онъ — первый изъ „піонеровъ“ — дворянъ пошелъ на развѣдки и сталъ выхватывать куски изъ рта толстобрюхихъ лавочниковъ и цѣловальниковъ. Явится онъ, Палтусовъ, а за нимъ и другой, и третій — люди тонкіе, культурные, все понимающіе, и почнутъ прибирать къ рукамъ этотъ купецкій „городъ“, доберутся до его кубышекъ, складовъ и амбаровъ, настроятъ дворцовъ и скупятъ у обанкротившихся кушцовъ ихъ дома, фабрики, лавки, конторы.

И ему казалось, точно онъ не въ свѣтелкѣ трактира, а на воздушномъ шарѣ поднялся на двѣсти сажень отъ земли и смотритъ оттуда на Москву, на Цѣлинку, на ряды и площади, на толкотню и ѣзду чуть замѣтныхъ насѣкомыхъ-людей.

— А сегодня, mon cher, — захрипѣлъ опять Калакуцкій, — не угодно ли вамъ будетъ исполнить два порученьица?

Палтусовъ не удивился этой американской быстротѣ осуществленія плана. Онъ выслушалъ внимательно, записалъ, что нужно, переспросилъ скоро и точно, и незамѣтно, прощаясь съ строителемъ, привелъ его къ размѣрамъ процента за свои услуги.

— Видите, — сказалъ Калакуцкій, выпрямляя грудь. — Дѣлъ у меня нѣсколько. Тѣ идутъ своимъ чередомъ. А вотъ по новому товариществу на вѣрѣ. Расходы, положимъ,

въ триста пятьдесятъ рублей,—протянулъ онъ,—и десять процентовъ съ чистой прибыли. Ça vous va?..

Палтусовъ молча поклонился и пожалъ руку Калакуцкому. Въ головѣ его ужъ сидѣло черновое нотаріальное условіе, которое онъ на-дняхъ и подброситъ патрону.

Онъ такъ и назвалъ его мысленно „патронъ“. Это ему не очень понравилось. Онъ не хотѣлъ бы ни отъ кого зависѣть. Но развѣ это зависимость? Это—купля-продажа—не больше.

Калакуцкій сѣлъ въ дрожки, запряженные парой чубарыхъ лошадокъ, съ пристяжкой, и поскакалъ къ Варварскимъ воротамъ. Палтусовъ остался въ городѣ и велѣлъ кучеру „трогать“ въ Славянской Базаръ.

Х.

Ресторанъ Славянскаго Базара доѣдалъ свои завтраки. Оставалась четверть до двухъ часовъ. Зала, передѣланная изъ трехъэтажнаго базара, въ этотъ ясный день поражала прѣзжихъ изъ провинціи, да и москвичей, кто въ ней рѣдко бывалъ, своимъ просторомъ, свѣтомъ сверху, движеніемъ, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы и помость, выступающій посрединѣ, съ купидонами и завитушками, наполняли пустоту огромной машины, останавливали на себѣ глаза, щекотали по-своему смутное художественное чувство даже у зако-рузлыхъ обывателей откуда-нибудь изъ Чухомы или Варнавина. Идущій оваломъ рядъ широкихъ оконъ второго этажа, съ бюстами русскихъ писателей въ простѣнкахъ, показывалъ изнутри драпировки обои подъ изразцы, фигурный двери, просвѣты площадокъ, оконъ, лѣстницъ. Басейнъ съ фонтанчикомъ прибавлялъ къ смягченному топоту ногъ по асфальту тонкое журчаніе струекъ воды. Отъ нихъ шла свѣжесть, которая говорила какъ будто о присутствіи зелени или грота изъ мшистыхъ камней. По стѣнамъ пологіе диваны темно-малиноваго трипа успокаивали зрѣніе и манили къ себѣ за столы, покрытые свѣжимъ, глянцево выглаженнымъ бѣльемъ. Столики поменьше, разставленные по обѣимъ сторонамъ помоста и столбовъ, сгущали трактирную жизнь. Черный съ украшеніями буфетъ подъ часами, занимающій всю заднюю стѣну, покрытый сплошь закусками, смотрѣлъ столкомъ богатой лабораторіи, гдѣ разставлены разноцвѣтные препараты. Справа и слѣва въ переднихъ стояли сумерки. Служители



въ голубыхъ рубашкахъ и казакиныхъ съ сборками на талиѣ, молодцоватые и степенные, молча вѣшали верхнее платье. Изъ стеклянныхъ дверей виднѣлись обширныя сѣни съ лѣстницей наверхъ, завѣшанной триповой веревкой съ кистями, а въ глубинѣ мелькала ѣзда Никольской, блестя ли выѣски и подъѣзды.

Большими деньгами дышалъ весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не такъ старательно содержимый, но хлесткій, бросающійся въ носъ своимъ московскимъ комфортомъ и убранствомъ.

Зала ресторана еще не начала пустѣть. Это былъ часъ биржевыхъ маклеровъ и зайцевъ почище, часъ раннихъ обѣдовъ для пріѣзжихъ „изъ губерній“ и позднихъ завтраковъ для тѣхъ, кто любитъ проводить цѣлые дни за трактирной скатертью. Нѣмцевъ и евреевъ сейчасъ можно было признать по носамъ, цвѣту волосъ, короткимъ бакенбардамъ, конторской франтоватости. Они вели за отдѣльными столами бойкіе разговоры, пили немного, но угощали другъ друга, поглядывали на часы, охорашивались, разсказывали случаи изъ практики, часто хохотали разомъ, дѣлали нѣмецкіе „виды“. За большимъ столомъ, около самаго бассейна, помѣстилось дворянское семейство, только что пріѣхавшее: отецъ при солдатскомъ Георгіи на коричневомъ пиджакѣ, съ двойнымъ подбородкомъ, мать — въ туалетѣ, гувернантка, штукъ пять подростковъ, родственница-дѣвица, бойкая и сердитая, успѣвшая уже наговорить непріятностей суетливому лакею, тыча ему въ носъ мѣстоименіе „вы“, къ которому, видимо, не была привычна съ прислугою. Они завтракали на цѣлый день, отправляясь осматривать грановитую палату, царь-пушку, соборы, по дорогѣ синодальную типографію, отслушать молебень у Иверской, поѣсть пирожковъ у Филиппова на Тверской и до обѣда попасть въ Голофѣевскую галлерею, гдѣ родственница должна непременно купить себѣ подвязки и пару ботинокъ и надѣть ихъ до театра. А билеты разсчитывали добыть у барышниковъ. Ближе къ буфету, за столикомъ, на одной сторонѣ, выдѣлялось двое военныхъ: драгунъ съ воротникомъ персиковаго цвѣта и гусаръ въ свѣтло-голубомъ ментикѣ съ серебромъ. Они „душили“ портеръ. По правую руку, одинъ съ газетой, кончалъ завтракъ сѣдой, высохшій старикъ съ желтымъ лицомъ и плотно-остриженными волосами — изъ Петербурга, большой баринъ. Онъ ѣлъ медленно и брезгливо, вино пилъ съ



водой и, потребовавъ себѣ полосканье, вымылъ руки изъ графина. Лакей говорилъ ему: „ваше сіятельство“. Въ одной изъ нишъ два купца-рыбопромышленника крестились, вставая изъ-за стола. Каждый далъ лакею по мѣдному пятаку. Они потребовали одну порцію селянки помосковски и выпили по три рюмки травнику. Купидоны имъ понравились.

XI.

Палтусовъ вошелъ въ ресторанъ, остановился спиной къ буфету и оглянулъ залу. Его быстрые, дальнзоркіе глаза сейчасъ же различили на противоположномъ концѣ, у дверей въ комнату, замыкающую ресторанъ, группу человѣкъ въ пять биржевиковъ, и между ними того, кто ему былъ нуженъ.

Подвернувшемуся лакею, съ длинными жидкими бакенбардами, онъ сказалъ ласково:

— Не трудитесь, голубчикъ, и прошель черезъ всю залу. Прислугѣ во фракахъ онъ вездѣ говорилъ „вы“.

Онъ нажѣтилъ у стола биржевиковъ молодого брюнета съ лицомъ, какія попадаются въ магазинахъ бѣлья и женскихъ модъ, въ узкихъ бакенбардахъ, съ прической „капльчикомъ“, въ темно-красномъ шарфѣ, перехваченномъ матовымъ золотымъ кольцомъ. Пиджакъ изъ англійскаго шевіота сидѣлъ на немъ гладко и выказывалъ его округленныя, падающія, какъ у женщины, плечи.

— Карлъ Христьянычъ!—окликнулъ его Палтусовъ. Ему и нужно было этого самаго маклера.

Биржевикъ привсталъ и направилъ на него простоватыя масляные глаза.

— Почтеніе!—сказалъ онъ съ умышленной интонаціей русскаго нѣмца - шутника, подражающаго „купецкому“ жанру.

И руку подаль нарочно ребромъ, а не ладонью.

Палтусовъ отвѣтилъ ему въ тонъ.

— Изволили откушать?

— Какъ же! Побаловались. Пора и пошабашить.

— Можно на пару словъ?

— Съ нашимъ удовольствіемъ.

И обратившись къ остальнымъ, маклеръ сказалъ имъ по-нѣмски:

— Kinder! Auf Wiedersehen! Precise.

Тѣ почему-то загоготали.



„Карлуша“—такъ его звали пріятели—отряхнулся, далъ лакею на чай, поправилъ галстукъ и взялъ Палтусова подъ руку. Они пошли, не снѣша, въ угловую комнату, гдѣ никого уже не было.

Разговоръ длился не больше десяти минутъ. Маклеръ стоялъ, а Палтусовъ присѣлъ на конецъ дивана.

Слышны были слова: „най“, „новый корпусъ“, „самъ Сергій Степановичъ“, „пустить въ ходъ“, „куртажъ“. Нѣмчикъ только кивалъ головой да игралъ цѣпочкой, и раза два сказалъ:

— Безъ сумлѣнья. Въ настоящемъ видѣ.

Онъ уже иначе не умѣлъ говорить съ русскими, какъ такимъ языкомъ.

— Стало, живетъ?—спросилъ Палтусовъ, поднимаясь и пожимая ему руку.

— Будьте благонадежны...

Маклеръ заторопился.

— Вы ужъ, голубчикъ, извините, пожалуйста, послѣ биржи... А теперь надо...

Изъ губъ его слетѣло нѣсколько именъ. Изъ залы можно было разслышать:

— Къ Пенкеру, на Маросейку, у Кнопа, Корзинкины... Да еще къ Катюру!..

Вышло новое рукопожатіе.

— Какъ курса?—спросилъ на ходу Палтусовъ.

— Курса?

Маклеръ остановился, щелкнулъ языкомъ и выговорилъ:

— Швахъ!

И почти бѣгомъ пустился по ресторану.

Глядя вслѣдъ убѣжавшему нѣмчику, Палтусовъ вспомнилъ сегодняшнія веселыя рѣчи банковскаго директора. Вотъ хоть бы этотъ Карлуша! Какая ему цѣна? А онъ навѣрно зарабатываетъ тысячъ двѣнадцать, а то гляди и всѣ шестнадцать. Но весело цѣлое утро разѣзжать по конторамъ, а потомъ бѣгать по биржевому залу. Да вѣдь у него въ головѣ зато ни одной своей мысли. Онъ дальше десятичныхъ дробей врядъ ли ходилъ. Днемъ колесить по Москвѣ и юлить на биржѣ; послѣ биржи—обѣдъ, а ночью пляшетъ—невѣсть себѣ выплясываетъ—до пѣтуховъ; сегодня въ Большой Алексѣвской, завтра на Разгуляѣ, въ Плетешкахъ, послѣзавтра—на Татарской... И выпляшетъ, возьметъ полмилліона, и банковый учредитель

будеть. Зато онъ нѣмецъ! А Евграфъ Петровичъ увѣряетъ, что „пѣмцы между собой вездѣ спюхаются“.

Онъ улыбнулся. Ему въ сущности нечего было завидовать этому Карлушѣ. Такой „капультчикъ“ долженъ успѣвать при стачкѣ своего брата пѣмца. Чего-нибудь позамысловатѣе выгодной женитьбы и маклерскаго дохода—онъ не выдумаетъ. Не тѣ у него мозги...

У буфета Палтусова кто-то удержалъ двумя руками. Онъ поднялъ голову и разсмѣялся. Съ непритворнымъ удовольствіемъ обнялъ онъ самъ высокаго, немного пухлаго, совсѣмъ бритаго мужчину, однихъ съ нимъ лѣтъ, въ короткой синей визиткѣ и сѣрыхъ панталонахъ. За границей его всякій принялъ бы за молодого французскаго нотаріуса или за англійскаго духовнаго, снявшаго съ себя долгополый скюртъ. Мягкіе русые волосы, съ проборомъ на боку, подстриженные сзади и гладко причесанные спереди, необыкновенно подходили къ крупному носу, золотымъ очкамъ, добрымъ и умнымъ глазамъ этого москвича, къ его заостряющемуся брюшку, тонкой усмѣшкѣ и бѣлымъ рукамъ-огурчикамъ. Держался онъ прямо, даже немного выпрямившись, и не наклонялъ голову, а подавался впередъ всѣмъ туловищемъ.

— Палтусовъ!

— Пирожковъ!

Они громко чмокнули себя въ щеки.

— Гдѣ пропадаете?—спросилъ Палтусовъ, все еще придерживая пріятеля.

— А вы? Я былъ въ деревнѣ съ мая вотъ по сіе время.

— Это и видно.

Палтусовъ указалъ глазами на брюшко Пирожкова.

— Да, есть-таки развитіе сальника. Вотъ все хожу.

— Вы здѣсь завтракаете?

— Покончили. Не выпить ли элю?

— Я тороплюсь. Ахъ, какая досада!

Палтусовъ опять неліцемерно наморщилъ лобъ. Ему очень хотѣлось покаякать съ этимъ „славнымъ малымъ“, котораго онъ считалъ „умницей“ и даже „ученымъ“. Но дѣло не ждало. Онъ это и объяснилъ Пирожкову.

Пріятель не возмущился; безъ всякихъ переливовъ голоса—какъ говорить всѣ почти молодые русскіе,—спросилъ онъ у Палтусова, гдѣ тотъ живетъ и что вообще дѣлаетъ.

— Пускаюсь въ выучку къ Титамъ Титычамъ,—сказалъ Палтусовъ нотой, въ которой сквозила совѣстливость.

— Вотъ что!—протянулъ его пріятель.—Что жъ! штука весьма интересная. Мы не знаемъ этого міра. Теперь новые нравы. Превніе Титы Титычи пахнутъ уже до-реформенной полосой.

— Да я не литераторъ, Иванъ Алексѣичъ; я—для разживы. Что жъ такъ-то болтаться?

Глаза Пирожкова повеселѣли.

— Вы—своего рода Станлэй! Я всегда это говорилъ. Смѣтка у васъ есть, мышцы, нервы... И Балканы переходили.

Они оба тихо разсмѣялись. Палтусовъ выхватилъ часы изъ кармана.

— Батюшки! двадцать третьяго! Голубчикъ Иванъ Алексѣичъ, заверните... Оставьте карточку... Пообѣдаемъ. Вѣдь вы покушать любите попрежнему?

— Есть тотъ грѣхъ!

— Въ „Эрмитажъ“? Стерлядку по-американски, знаете, съ томатами.

По лицу Пирожкова пошла волнистая линія человѣка, знающаго толкъ въ ѣдѣ.

— Такъ на Дмитровкѣ?

— Да, да!.. торопился Палтусовъ.

Они выходили вмѣстѣ. Въ передней Палтусовъ, надѣвъ пальто, опять взялъ Пирожкова за бортъ визитки. Ему вспомнилась ихъ жизнь, года три передъ тѣмъ, въ меблированныхъ комнатахъ у чудака учителя, которому никто не платилъ.

— Ойванда-то наша рушилась!—возбужденно сказалъ онъ Пирожкову.—Славно жили! Что за тишы были! И Василій Алексѣичъ съ своей керосиновой кухней... Гдѣ онъ? Пишетъ ли что? Врядъ ли!

— Умеръ,—отвѣчалъ Пирожковъ, и улыбка застыла у него на губахъ.

Они смолкли.

— Буду ждать!—крикнулъ Палтусовъ изъ сѣней.—Захаживаете ли когда къ Долгушинымъ?

— По пріѣздѣ еще не былъ.

— Гнѣютъ на корню. Дворянское вырожденіе!..

Фраза Палтусова прогудѣла въ сѣняхъ.

ХП.

Малый въ голубой рубашкѣ натянулъ на Пирожкова короткое, уже послужившее пальто, и подаль трость и шляпу. Иванъ Алексѣичъ и зиму, и лѣто ходилъ въ высокой цилиндрической шляпѣ, которую покупалъ всегда къ Пасхѣ. Онъ пошелъ не спѣша.

Встрѣча съ Палтусовымъ и его отнесла къ той зимѣ, когда они жили въ комнатахъ у учителя ариѳметики, Скородумова, въ переулкѣ на Срѣтенкѣ, около церкви „Успенья въ Печатникахъ“. Тогда Иванъ Алексѣичъ серьезно подумывалъ о магистерскомъ экзаменѣ. Прошло три года, а онъ все еще не магистръ. Правда, онъ ѣздилъ за границу, но врядъ ли съ спеціальною цѣлью. Онъ изучалъ много хорошихъ вещей разомъ: и движеніе философскихъ идей, и уличную жизнь, и рестораны, и женщинъ, и театръ, и журнализмъ... Читалъ онъ не мало книжекъ, хаживалъ и въ кабинеты, по своей наукѣ принимался за собираніе спеціальныхъ мемуаровъ и даже заплатилъ три золотыхъ за право имѣть свой столъ съ микроскопомъ. Но какъ-то работы не вышло. Въ Москвѣ время текло опять почти что такъ, какъ оно текло, когда Иванъ Алексѣичъ кончилъ курсъ кандидатомъ и отдыхалъ, живя въ Лоскутномъ. И это славная полоса была. Много пили портю и элю. Цѣлые вечера проводили въ бильярдной; зато журналы и книжки читали запоемъ, точно варенье глотали ложками. Иной разъ, не вставая, въ постели, пролеживали до сумерокъ съ какимъ-нибудь англійскимъ томомъ по психологіи или этнографіи. А тамъ вечеръ—въ театрѣ, молодыхъ актрисъ поддерживали, въ клубѣ любителей поощряли, развивали ихъ, покупали имъ Шекспира, переводили имъ отрывки изъ нѣмецкихъ критиковъ, кто не зналъ языка. Споры, бесѣды... На Срѣтенкѣ, у Скородумова, начался непрерывный содомъ. Сколько прошло отличныхъ ребятъ, или забавныхъ, нелѣпыхъ; но съ ними весело жилось. И какія женщины попадались! Пойдутъ всей гурьбой въ концертъ, въ оперу, наслушаются музыки, и до пяти часовъ утра „пивное царство“, поютъ хоромъ каватины, спорять, иные ругаютъ „итальянщину“, дымя коромысломъ, летятъ имена: Чайковский, Рубинштейнъ, Балакиревъ, Сѣровъ! На другой день голова трещитъ. Идетъ въ ходъ зельтерская вода. Покойникъ Василій Алексѣичъ—опять полоса... Натура этого скитальца,

его причуды, лѣнь, умъ, даровитость; невиданное Пирожковымъ обаяніе на женщинъ, вся жизнь, сотканная изъ нѣжныхъ сношеній съ ними. И на это цѣлый годъ пошелъ. „Номера“ рухнули. Да и пора было. Нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ отрезвили. Тутъ ужъ планъ работы выяснился: досуга—волю. Хозяйство ведетъ братъ, кушать можно всласть; но и моціону много. Ходи себѣ по липовой аллеѣ и поглощай книжки. Осень стояла необычая. И теперь жаль, что поторопился въ городъ; да какъ-то нельзя...

Пирожковъ сталъ въ раздуміѣ подъ навѣсомъ подъѣзда—куда идти? Идти можно — куда захочешь. Но никуда не нужно идти Ивану Алексѣичу. Нѣтъ у него ни казенной службы, ни конторы, ни работы въ университетскомъ кабинетѣ. Еще не начиналъ ея. Да и не всѣ тамъ съѣхались, профессоръ въ заграничномъ отпуску, ассистентъ боленъ. Зайти, развѣ, по старой памяти, въ аудиторію?—Не хочется; что за охота припоминать зады? Слышно, какой-то доцентъ у юристовъ собираетъ аудиторію человекъ въ двѣсти, говоритъ ново, смѣло, готовится къ лекціямъ. Недурно бы; да кажется лекціи-то его поутру, съ десяти часовъ. Почитать развѣ газеты въ кондитерской? Такъ лучше подняться въ читальню того же Славянскаго Базара. Тамъ десятка два газетъ. Тяжеленко! Съ нѣкоторыхъ поръ Иванъ Алексѣичъ чувствуетъ иногда легкую одышку, ему непріятны всякіе спуски и подъемы. И печень начала немного пошаливать. Нѣтъ-нѣтъ, да и колотье. Онъ пилъ горькую воду въ деревнѣ.

„Куда же идти?“ еще разъ спросилъ себя Пирожковъ и замедлилъ шагъ мимо цвѣтного, всегда привлекательнаго дома синодальной типографіи. Ему рѣшительно не приходило на память ни одного пріятельскаго лица. Зайти въ окружный судъ? На уголовное засѣданіе? Слушать, какъ обвиняется въ кражѣ со взломомъ крестьянинъ Никифоръ Варсонофьевъ и какъ его будетъ защищать „помощникъ“ изъ свреевъ, съ надрывающею душу картавостью? До этого онъ еще не дошелъ въ Москвѣ...

Москва!.. Онъ имѣлъ къ ней слабость, да и теперь любить ее по-своему, какъ „этнографическій центръ“. Изучать ее было бы занимательно. Разбить на области: фабрики, рабочій людъ, нравы и обычаи вотъ этого самаго „города“, расколъ, проституція. Хорошо! Но ежедневныхъ

ресурсовъ просто для развитого человѣка, какъ онъ, съ европейскими привычками, съ желаньемъ послѣ завтрака поговорить о живомъ вопросѣ, найти сейчасъ же подъ бокомъ кружокъ людей... Этого нѣтъ. Прежде у него былъ Лоскутный, были номера на Срѣтенскѣ... Должно-быть молодость проходить; старые пріатели разбрелись и слинились, новыхъ что-то не вырастало. Вотъ Палтусовъ еще изъ самыхъ бойкихъ; но его тинетъ къ наживѣ — это ясно...

Иванъ Алексѣичъ повелъ носомъ. Пахло фруктами, спѣлыми яблоками и грушами — характерный осенній запахъ Москвы въ ясные сухіе дни. Онъ остановился передъ разносчикомъ, присѣвшимъ на корточкахъ у тротуарной тумбы, и купилъ пару грушъ. Ему очень хотѣлось пить отъ густого, принаго соуса къ дикой козѣ, съѣденной въ ресторанѣ. Груши оказались жестковаты, но вкусны. Иванъ Алексѣичъ не стѣснялся ѣсть ихъ на улицѣ. Онъ любилъ свободу, какою всѣ пользуются на парижскихъ бульварахъ, но оставался джентльменомъ, никогда не позволяя себѣ никакой рѣзкой выходки: это лежало въ его натурѣ.

Фруктовые запахи, вкусъ грушъ, не утолившихъ исполнѣ его жажды, привели его къ мысли о квасной лавкѣ. Вѣдь это въ двухъ шагахъ. Ходъ съ Никольской. Онъ перешелъ улицу.

XIII.

Проникають къ квасной лавкѣ — одна только и пользуется извѣстностью — чрезъ Сундучный рядъ, подъ вывѣску, которая доживетъ навѣрное до дня разрушенія Гостинаго двора, съ его норами, провалившимися плитами и половицами, сыростью, духотой и вонью. Но многіе пожатѣють лѣтомъ о прохладѣ Сундучнаго ряда, гдѣ недалеко отъ входа усталый путникъ, измученный толкотней суровскихъ лавокъ и сорочьей болтовней зазывающихъ мальчишекъ и молодцовъ Ножовой линіи, находилъ квасное и съѣдобное приволье...

Иванъ Алексѣичъ студентомъ, и еще не такъ давно, въ „эпоху“ Лоскутнаго, частенько захаживалъ сюда съ компаніей. Онъ не бывалъ тутъ больше двухъ лѣтъ. Но ничто, кажется, не измѣнилось. Даже красный полинялый сундукъ, обитый жестью, стоялъ все на томъ же мѣстѣ. И другой, поменьше, въ лавкѣ рядомъ, съ боками въ бу-

кетахъ изъ розъ и цвѣтныхъ завитушекъ. И такъ же неудобно идти по покатоу полу, все такъ же натыкаешься на ящики, рогажи, доски.

За нѣсколько шаговъ до квасной лавки область васъ сырой свѣжестью погреба, и ягодные газы начинаютъ васъ щекотать въ ноздряхъ. Доносятся испаренія съѣстного. Три разносчика—безсмѣнно промышляющіе на этомъ мѣстѣ—расположились у входа въ лавку, направо и противъ нея. Они въ постоянной суетѣ. День выпалъ скоромный. У двоихъ имѣлись пирожки съ ливеромъ, съ мясомъ и кашей, съ яйцами и капустой, съ яблоками и вареньемъ. Третій предлагалъ ветчину въ большомъ розовомъ кускѣ съ нѣжнымъ жиромъ и жареные мозги. Подальше стоялъ рыбникъ для любителей постной ѣды и въ скоромный день. Разносчики съ фруктами часто проходили мимо, выкрикивая товаръ, и заглядывали въ квасную лавку.

Каждый разъ, когда, бывало, Иванъ Алексѣичъ приходилъ сюда въ пріятельскомъ обществѣ и спрашивалъ: — „Съ чѣмъ пирожки?“ онъ особенно улыбался отъ созвучья съ собственной фамиліей. Не могъ онъ воздержаться отъ точно такой же улыбки и теперь. Передъ нимъ распакивалъ довольно еще чистую верхнюю холстину жилистый, бѣлокурый разносчикъ, откинувшій отъ тяжести все свое туловище назадъ.

— Прикажете парочку?

Пирожковъ сдѣлалъ знакъ рукой, говорившій: „повремени малость“.

Въ просторной лавкѣ безъ оконъ, темной, голой, пыльной, съ грязью по стѣнамъ, по крашенымъ столамъ и скамейкамъ, по прилавкамъ и деревянной лѣстницѣ — внизъ въ погребъ—съ большой иконой посрединѣ стѣны, все покрыто липкимъ слоемъ сладкихъ остатковъ расплесканнаго и размазаннаго квасу. Было тамъ человѣкъ больше десяти потребителей. Молодцы въ черныхъ и синихъ сибиркахъ, пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плѣсенью, — одни сбѣгали въ подвалъ и приносили квасъ, другіе — постарше — наливали его въ стаканчики-кружки, внизу пузатенькіе и съ вывернутыми краями. Такіе стаканчики сохранились только въ квасныхъ, у сбитенщиковъ, да по селамъ въ харчевняхъ и шинкахъ.

Свободное мѣсто нашлось для Пирожкова у входа на-

право. Онъ заказалъ себѣ грушеваго квасу. Публика всегда занимала его въ этой квасной лавкѣ. Непремѣнно, кромѣ гостинодворцевъ, заѣзжихъ купцовъ, мелкаго приказнаго люда, двухъ-трехъ обтрепанныхъ личностей въ нѣмецкомъ платьѣ, какихъ въ Ножовой зовутъ „Петрушка Уксусовъ“, очутится здѣсь барыня съ покупками, изъ дворянокъ, соблюдающая свѣтскость, но обѣдѣвшая или скупая. Она наѣдается вполтную, но не любитъ встрѣчаться съ знакомыми и, если можно, не узнаетъ ихъ.

Все смотрѣло и сегодня, какъ тому быть слѣдовало. Иванъ Алексѣичъ оглядывалъ публику, попивая холодный, бьющій въ носъ, мутноватый квасъ. Вотъ и барыня. Она опорожнила три стакана квасу послѣ полфунтоваго ломтя ветчины и четырехъ пирожковъ, и собираетъ свои покупки. Барынь лѣтъ подъ сорокъ. Она нарумянена. Это видно изъ-подъ вуалетки. Носъ и лобъ ея лоснятся отъ испарины. Губы сжаты такъ, какъ онѣ сжимаются у обѣдѣвшихъ помѣщицъ, желающихъ во что бы то ни стало поддержать „положеніе въ обществѣ“. Пирожковъ узналъ ее. Они встрѣчались въ одномъ домѣ, гдѣ ее терпѣть не могли, но принимали за просто.

Барыня, должно-быть, не разглядѣла Пирожкова. Она встала, прикрикнула на мальчишку, заставила его подать себѣ корзину и пошла къ дверямъ. Онъ привсталъ и сказалъ ей:

— Bonjour, madame!

Она вся выпрямилась, громко отвѣтила ему: „Bonjour, monsieur!“ и, отворотясь, вышла изъ лавки.

Разносчикъ съ простывшими наполовину пирожками опять выросъ передъ нимъ. Иванъ Алексѣичъ съѣлъ одинъ съ яблоками, повторилъ съ вареньемъ. Это заново зажгло у него жажду. Онъ спросилъ вишневаго квасу и выпилъ его двѣ кружки. Желудокъ точно расперло какими распорками: поднимался оттуда родъ опьянѣнія, пріятнаго и остраго, какъ отъ шампанскаго. Наискосокъ отъ него, за стеклянной дверью, другой разносчикъ наклонился надъ доскою, служившей ему столомъ, и крошилъ мозги на мелкіе куски; посоливъ ихъ потомъ, положилъ на листъ оберточной бумаги и подаль купцу, вмѣстѣ съ деревянной палочкой — замѣсто вилки — и краюшкой румяной сайки.

Слюнки полились у Ивана Алексѣича. Онъ позавтракалъ, ѣлъ сейчасъ сладкое, но аппетитъ поддавался раздра-

женью. Гадость вѣдь, въ сущности, это крошево на бумагѣ. А вкусно смотрѣть. За вишневымъ квасомъ пошли кусочки мозговъ. За мозгами сѣдены были два куса арбуза, сахаристаго, съ мелкими, рыхло сидѣвшими зернами, который такъ и таялъ подъ небомъ все еще разгоряченнаго рта.

Выйдя на Никольскую, Иванъ Алексѣичъ придавилъ себя пухлой ручкой по животу, подъ правымъ ребромъ.

„Что же это я?.. Отъ бездѣлья?!“

И ему стало стыдно.

XIV.

Никольская была ему достаточно знакома. Студентомъ онъ покупалъ и продавалъ книги въ лавкѣ Ивана Кольчугина. Сюда же, въ другую лавчонку, продалъ онъ переводъ книжки по технологіи еще на первомъ курсѣ. За листъ заплатили ему по семи рублей. Тогда онъ перебивался; изъ дому получалъ не всегда аккуратно. Вотъ и лавка стараго серебряника. За стекломъ стоятъ позолоченныя солонки русскаго образца съ крышкой и круглая для подношенія „хлѣба-соли“. Не лучше ли вотъ это изучать, чѣмъ засиживаться въ квасной лавкѣ? Тутъ народный вкусъ, рисунокъ, своеобразное изящество...

Но Ивану Алексѣичу показалось, что солонку, которую онъ въ эту минуту разсматривалъ, онъ уже торговалъ разъ, года два тому назадъ. Ему помнилось, что она не серебряная, а мѣдная, позолоченная. Вотъ онъ спросить.

— Солоночка-то,—обратился онъ къ приказчику,—вотъ эта, около образа Николая Чудотворца, какая ей цѣна?

— Три съ полтиной!

„Три съ полтиной!—думалъ онъ,—разумѣется, не серебряная. Съ перваго слова, и такая цѣна!..“

— Да она изъ чего?

— Бронзовая-съ... Черезъ огонь золоченая.

Такъ и есть; онъ не ошибся. Вотъ и зеленое пятнышко на створчатой крышкѣ отъ времени. И его онъ вспомнилъ.

— Штиблеты лаковые!.. Господинъ! штиблеты!—окачивалъ его крикливымъ теноромъ „носящій“, въ резиновыхъ калошахъ на босу ногу, съ испытнымъ лицомъ, подтеками на вискѣ и въ халатѣ.

„Не купить ли?“—Иванъ Алексѣичъ испытывалъ ощущеніе малодушнаго позыва къ покупкамъ, такъ, по-

дѣтски, чего-нибудь... По тѣлу внутри разлилась истома; всего пріятнѣе было останавливаться почаще, перекинуться парой словъ, поглядѣть... А покупка все какъ будто дѣло...

— Цѣна?—спросилъ онъ кротко-смѣшливымъ тономъ, хорошо извѣстнымъ его пріятелямъ.

— Шесть рублей, господинъ!

— Будто?—продолжалъ Иванъ Алексѣичъ въ томъ же тонѣ.

Ему припомнилась сцена изъ англійскаго романа въ русскомъ переводѣ, гдѣ юморъ состоитъ въ томъ, что спрашивали: „Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?“ И опять: „Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?“ Въ Лоскутномъ они цѣлюю недѣлю „ржали“, отыскавъ этотъ отрывокъ, и безпрестанно повторяли другъ другу: „Что вы желаете за эту чрезвычайно маленькую вещь, сэръ?“

— Шесть рублей — никогда!.. дурачился Иванъ Алексѣичъ.

— Для почину — четыре!.. Нынче праздникъ, господинъ...

— Какой это?

— Опохмеленья!—и халатникъ показалъ зеленые зубы.

Не купить ли въ самомъ дѣлѣ? Онъ тодасть за три рубля. И тотчасъ передъ Пирожковымъ всплыла, какъ живая, сцена: товарищъ его, Чистяковъ, теперь адвокатъ, выдержалъ экзаменъ и на радостяхъ купилъ у носящаго такіе вотъ „штиблеты“. И въ тотъ же день въ Сокольникахъ одна изъ ботинокъ располыснулась отъ носка до щиколки, и онъ остался въ носкахъ. Тоже какой былъ хохотъ! И умные, искристые, полные комизма глаза покойника Шумскаго виднѣются ему со сцены, въ пьесѣ, передѣланной съ французскаго, гдѣ онъ приходитъ въ меховой шапкѣ, купленной у „носящаго“ въ городѣ. И какъ онъ художественно игралъ ощущение страха, когда явилось у него пятно на рукѣ и онъ увѣрился, что зарезился отъ шапки! Давно это—еще гимназистомъ видѣлъ.

— Не надо, голубчикъ,—сказалъ Пирожковъ уже серьезно халатнику.

Носящій началъ приставать. Чтобы отдѣлаться отъ него, Иванъ Алексѣичъ перебѣжалъ улицу противъ лавки съ тульскими издѣліями. Мѣдъ самоваровъ, охотничьихъ роговъ, кофейниковъ, тазовъ слѣпила глаза. Ему показа-

лось, что тутъ много новыхъ вещей, какихъ прежде не дѣлали. Онъ поднялся въ лавку. Теперь его еще больше щемило неудержимое, совсѣмъ дѣтское жаланіе что-нибудь купить. Съ полки выглядывало нѣсколько садовыхъ шандаловъ съ пыльными колпаками. Вечера еще стояли теплые. Въ номерахъ, гдѣ онъ живетъ — балконъ. Недурно оставаться подольше на балконѣ.

— Сколько стоитъ?

— Рубль семь гривенъ.

Поторговались. Шандалъ купленъ за рубль пятнадцать копеекъ. Нести его очень неловко. Иванъ Алексѣичъ опять перешелъ улицу, поравнялся съ бумажными лавками въ началѣ „глаголей“ Гостиного двора. Захотѣлось вдругъ купить графленой бумаги и записную книжку. Это еще больше его затруднило; но онъ успокоился послѣ этихъ новыхъ покупокъ.

Вышелъ онъ на Красную площадь. День еще потеплѣлъ послѣ полудня. Свѣтъ, вмѣстѣ съ пылью, такъ и гулялъ по длинному полотну мостовой — отъ Воскресенскихъ воротъ до Василия Блаженного. Направо давить красная кирпичная глыба Историческаго музея, расползшаяся и въ ширь, и въ глубь, съ ея восточной крышей, башнями, минаретами, столбами, выступами, низменнымъ ходомъ. На разстояніи—Пирожковъ нарочно отошелъ влѣво, ближе къ памятнику—музей нравился ему теперь гораздо больше, чѣмъ не такъ давно. Онъ мирился съ нимъ. Прежде онъ почти негодовалъ, находилъ, что эта „груда кирпича“ испортила весь обликъ площади, заперла ее, отняла у Воскресенскихъ воротъ ихъ стародавнюю жизнь.

Глазъ достигалъ до дальняго края безоблачнаго темнѣющаго неба. Девять куполовъ Василия Блаженного, съ перевитыми, зубчатыми, точно булавы, главами, пестрѣли и тѣшили глазъ, словно гирлянда, намалеванная даровитымъ ребенкомъ, разыгравшимся среди мрака и крови, дремучаго холопства и изувѣрныхъ ужасовъ лобнаго мѣста. „Горячечная грѣза зодчаго“,—перевелъ про себя Пирожковъ французскую фразу иноземца-судьи, недавно имъ вычитанную.

Птицы на головахъ Минина и Пожарскаго, протянутая въ пространство рука, пожарный солдатикъ у рѣшетки, осѣвшійся, немощный и плоскій куполь Гостиного двора и вся Ножовая линія съ ея фронтономъ и фризомъ, облѣзлой штукатуркой и барельефами, темные, пятнистые

ящички Никольскихъ и Спасскихъ воротъ, отпотьблая стѣна съ башнями и подъ нею загороженное мѣсто обвалившагося бульвара; а изъ-за зубцовъ стѣны — легкая ротонда сената, голубая церковь, точно перенесенная изъ Италіи, и дальше — сказочныя золотыя луковицы соборовъ — знакомые, сотни разъ воспринятые образы стояли въ своей вѣковой неподвижности... Площадь полна была дребезжанья дрожекъ и глухого грохота тяжелыхъ воевъ. Пѣшеходы и дрожки тянулись внизъ къ Москвѣ-рѣкѣ и по двумъ путямъ въ Кремль. Сѣдоки и извозчики снимали шапки, не дожидая Спасскихъ воротъ. Изъ Никольскихъ чаще спускались экипажи съ господами.

„Мужикъ, артельщикъ, купецъ, купчиха, адвокатъ“, — считалъ Пирожковъ, и минутъ съ десять предавался этой статистикѣ. Въ десять минутъ не проѣхало ни одной кареты, не прошло ни одной женщины, которую онъ способенъ былъ назвать „дамой“.

Его точно ткнуло въ Кремль. Онъ поднялся черезъ Никольскія ворота, замѣтилъ, что внутри ихъ немного поправили штукатурку, взялъ вдоль арсенала, началъ считать пушки и остановился передъ мѣдной доской за стекломъ, гдѣ по-французски говорится, когда всѣ эти пушки взяты у великой арміи.

Вдругъ его кольнуло. Онъ даже покраснѣлъ. Неужели Москва такъ засосала и его? Отъ дворца шло семейство, то самое, что завтракало въ Славянскомъ Базарѣ. Дѣти раскисли. Отецъ кричалъ, весь красный, обращаясь къ женѣ:

— Мерзавцы! Канальи! Вездѣ грабежъ!

„И я — изъ ихъ породы, — подумалъ Иванъ Алексѣичъ, — и я направляюсь, должно-быть, въ Оружейную палату?“

Онъ участилъ шаги и махнулъ извозчику. Къ нему подлетѣло нѣсколько пролетокъ отъ зданія судебныхъ мѣстъ.

Поскорѣ въ университетъ, въ кабинеты, хотъ сторожа спросить, съ нимъ поболтать, хотъ нюхнутъ пыльных шкаповъ съ препаратами!.. А крестъ Ивана горѣлъ алмазомъ и брызгалъ золотыя искры по небу...

— На Моховую! — крикнулъ Пирожковъ, снялъ шляпу идохнулъ полной грудью.

XV.

— Вадима Павловича можно видѣть?—освѣдомился Палтусовъ у артельщика.

Передняя, въ видѣ узкаго коридора, замыкалась дверью въ глубинѣ, а справа другая дверь вела въ контору. Все глядѣло необыкновенно чисто: и вѣшалка, и столъ съ зеркаломъ, и шкафъ, разбитый на клѣтки, съ мѣдными блешками подъ каждой клѣткой.

— Сейчасъ доложу,—сказалъ сухо-вѣжливо артельщикъ и скрылся за дверью.

Это былъ первый дѣловой визитъ Палтусова, по порученію Калакуцкаго, довольно тонкаго свойства. Подрядчикъ хотѣлъ испытать ловкость своего новаго „агента“ и послалъ его именно сюда. Палтусову было бы крайне непріятно потерпѣть неудачу.

Его заставили прождать минуты три; но онѣ показались ему долгими. Раза два выпрямлялъ онъ талію передъ зеркаломъ и даже сталъ отряхивать соринку съ рукава.

— Пожалуйте,—пригласилъ его малый.

Онъ прошелъ черезъ комнату, похожую на контору нотаріуса. Тамъ сидѣло человекъ пять. Посторонняго народа не было.

— Туда, въ уголь,—указалъ ему одинъ изъ служащихъ.

Надо было зайти за рѣшетку и взять влѣво мимо конторокъ. Оттуда вышелъ полный, бѣлокурый мужчина. Палтусовъ замѣтилъ его рѣдкіе волосы и типичное лицо купца-чиновника, какіе воспитываются въ коммерческой академіи. Это былъ завѣдующій конторою, но не самъ Вадимъ Павлычъ. Онъ возвращался съ доклада. Палтусову онъ сдѣлалъ небольшой поклонъ.

Палтусовъ ожидалъ вступить въ большой, эффектно обставленный кабинетъ, а попалъ въ тѣсную комнату въ два узкихъ окна, съ изразцовой печкой въ углу и письменнымъ столомъ противъ двери. Налѣво—клеенчатый диванъ; у стола—вѣнскій гнутый стулъ, у печки—высокая конторка, за кресломъ письменнаго стола—полки съ картами: убранство кабинета у средней руки конториста.

Палтусовъ назвалъ себя и прибавилъ: „отъ Сергѣя Степановича Калакуцкаго“.

Надъ столомъ привсталъ и наклонилъ голову человекъ лѣтъ сорока, полный, почти толстый. Его темные, вью-

щіея волосы, матовое, широкое лицо, тонкій носъ и красивая короткая борода шли къ глазамъ его, чернымъ, съ длинными рѣсницами. Глаза эти постоянно смѣялись, и въ складкахъ рта сидѣла усмѣшка. По тому, какъ онъ былъ одѣтъ и держалъ себя, онъ сошелъ бы за купца или фабриканта „изъ новыхъ“, но въ выраженіи всей голы сказывалось что-то не купеческое.

Палтусовъ это тотчасъ же оцѣнилъ. Да онъ и зналъ уже, что Вадимъ Павловичъ Осетровъ попалъ въ дѣла изъ учителей гимназій, что онъ кандидатъ какого-то факультета и всѣмъ обязанъ себѣ, своему уму и предпримчивости. Разбогатѣлъ онъ на рѣчномъ промыслѣ, гдѣ-то на низовьяхъ Волги.

Руки Палтусову онъ первый не протянулъ, но пожалъ, когда тотъ подалъ ему свою.

— Милости прошу!—указалъ онъ ему на стулъ.

Вышла маленькая пауза. Глаза Осетрова произвели въ Палтусовѣ что-то въ родѣ неловкости.

— Я—отъ Сергѣя Степаныча,—повторилъ онъ и началъ скоро, но тѣмъ тономъ, какой онъ желалъ бы самъ придать своимъ рѣчамъ. Началомъ своего визита онъ не былъ доволенъ.

— Да-а?—откликнулся Осетровъ. Онъ говорилъ высокимъ, барскимъ, маслянымъ голосомъ съ маленькой шепелявостью: произносилъ букву „л“, какъ „о“. Въ этомъ слышался московскій уроженецъ.

— Сергѣй Степановичъ уже бесѣдовалъ съ вами по новому товариществу на вѣрѣ, и онъ теперь хотѣлъ бы приступить къ осуществленію.

„Глупо, книжно!“—выругалъ себя Палтусовъ.

— Какъ же, — точно про себя выговорилъ Осетровъ, пододвинувъ къ гостю папирсы, и сказалъ съ интонаціей комическаго чтеца:—угощайтесь.

Палтусовъ обрадовался папирсѣ. Она давала ему „отвлеченіе“. Онъ однимъ мигомъ построилъ въ головѣ нѣсколько фразъ гораздо точнѣе, кратче и дѣловитѣе.

— Ему бы хотѣлось знать,—продолжалъ онъ увѣреннѣе, и совсѣмъ смѣло поглядѣлъ въ смѣющіеся глаза Осетрова,—можетъ ли онъ разсчитывать и на васъ, Вадимъ Павлычъ?

Осетровъ затанулся, откинулъ голову на спинку стула, пустилъ струю, и изъ насмѣшливаго рта его вышелъ звукъ въ родѣ:

— Фэ, фэ, фэ!..

„Не войдетъ“,—рѣшилъ Палтусовъ и почувствовалъ, что у него въ спинѣ испарина.

Ему, конечно, не дѣтей крестить съ Калакуцкимъ! Однимъ крупнымъ пайщикомъ больше или меньше—обойдется; у него хватить и кредиту, и знакомства. Но обидно будетъ, „по первому же абцугу“, дать осячку и вернуться ни съ чѣмъ. Надо чѣмъ-нибудь смазать эту „шелъму“,—такъ опредѣлилъ Осетрова Палтусовъ.

— Да зачѣмъ я ему?—спросилъ Осетровъ ласково-пренебрежительно, и такъ посмотрѣлъ на Палтусова, какъ бы хотѣлъ сказать ему: „да вы развѣ не знаете вашего милѣйшаго Сергѣя Степаныча?“

Палтусовъ и это понялъ. Ему надо было сейчасъ же поставить себя на равную ногу съ Осетровымъ, доложить ему, что они люди одного сорта, „изъ интеллигенціи“, и должны хорошо понимать другъ друга. Этотъ дѣлецъ изъ университетскихъ смотрѣлъ докой—не чета Калакуцкому. Такимъ человѣкомъ слѣдовало заручиться, хотя бы только какъ добрымъ знакомымъ.

XVI.

— Позвольте, Вадимъ Павлычъ,—началъ уже другимъ тономъ Палтусовъ,—быть съ вами по душѣ. Вы меня, можетъ, считаете компаньономъ Калакуцкаго? Человѣкомъ... какъ бы это выразиться... *de son bord*?

Онъ не безъ намѣренія вставилъ французское выраженіе, удачно выбранное.

Осетровъ сидѣлъ на креслѣ въ полъ-оборотъ и смотрѣлъ на него черезъ плечо прищуреннымъ лѣвымъ глазомъ, а губы, скосившись, пускали тонкую струю дыма.

— Вы кто же?—спросилъ онъ мягко, но довольно безцеремонно.

У Палтусова капнула на сердце капелька желчи.

— Я—такой же новичокъ, какъ и вы были, Вадимъ Павлычъ, когда начинали присматриваться къ дѣламъ. Мы съ вами учились сначала другому. Мнѣ ваша карьера немного извѣстна.

Лицо Осетрова обернулось всѣмъ фасомъ. Онъ отнялъ отъ рта папиросу.

— Вы университетскій?

— Я слушалъ лекціи здѣсь,—отвѣтилъ скромно Палту-

совѣ: онъ скрылъ, что экзамена не держалъ,—послѣ того, какъ побывалъ въ военной службѣ, въ кавалеріи.

— Изъ офицеровъ?—съ удареніемъ добавилъ Осетровъ и засмѣялся.

— Да, изъ офицеровъ. Участвовалъ въ послѣдней кампаніи,—вскользь сказалъ Палтусовъ и продолжалъ:—думаю теперь войти въ промысловое дѣло. У Калакуцкаго я занимаюсь его порученіями...

— Что получаете?

Этотъ вопросъ начиналъ коробить Палтусова, но онъ закусилъ губы и сдержалъ себя. Да это ему и не вредило въ сущности.

— Содержаніе до пяти тысячъ. Съ процентами надѣюсь заработать въ этомъ году до десяти.

— Начало не плохое,—одобрительно вымолвилъ Осетровъ.—Вашъ принципаль—шустрый дворянинъ. Пока — и онъ остановился на этомъ словѣ — дѣла его идутъ недурно. Только онъ забираетъ очертя голову, хапаетъ не въ мѣру... Жалуются на его стройку... Я вамъ это говорю по-просту. Да это и всѣ знаютъ.

Палтусовъ промолчалъ.

— Видите ли,—Осетровъ совсѣмъ обернулся и уперся грудью о столъ, а рука его стала играть бѣлымъ костянымъ ножомъ,—для Калакуцкаго я человѣкъ совсѣмъ не подходящий. Да и минута-то такая, когда я самъ создалъ паевое товарищество и вотъ жду на-дняхъ разрѣшенія. Такъ мнѣ изъ-за чего же идти? Мнѣ и самому всѣ деньги нужны. Вы имѣете понятіе о моемъ дѣлѣ?

— Имѣю, хотя и не въ подробностяхъ.

— Привилегія взята на всю Европу и Америку. Парижъ и Бельгія въ прошломъ году сдѣлали мнѣ заказъ на нѣсколько сотъ тысячъ. Не знаю, какъ пойдетъ дальше, а теперь нечего Бога гнѣвить... Мои пайщики получили ни много, ни мало—сто сорокъ процентовъ.

— Сто сорокъ?—воскликнулъ Палтусовъ.

— Да. Будетъ давать и двѣсти, и больше. Когда расширится на всю Россію, да нѣмцевъ прихватимъ...

— Да вѣдь это вчетверо выгоднѣ всякой мануфактуры?—вырвалось у Палтусова.

— Еще бы!.. Шуйское дѣло въ этомъ году тридцать пять дало, такъ объ этомъ какъ звонятъ!..

— Вадимъ Павловичъ,—одушевился Палтусовъ, — вы,

конечно, понимаете... Калакуцкому—онъ уже не казывалъ его „Сергѣемъ Степановичемъ“—нужно ваше имя...

— Я въ учредители не пойду... Я ему это сказалъ досконально.

— Ну, просто пай, другой возьмете... для меня сдѣлайте!..

— Для васъ?—съ недоумѣніемъ переспросилъ Осетровъ.

— Вашъ отказъ поставить меня невыгодно. Онъ напишетъ это моему неумѣнію. А вѣдь мы, Вадимъ Павловичъ, люди изъ одного міра. Между нами должна быть поддержка... стачка...

— Стачка?

— Да-съ, стачка развитія и честности. Вы поднялись однимъ трудомъ и талантомъ. Я вижу въ васъ самый достойный образецъ. Вашъ пай, хоть одинъ, дасть каждому дѣлу другой запахъ; это и для меня гарантія. Я вѣдь пайщикъ Калакуцкаго.

„Экой ты какой, безъ мыльца влѣзешь!“—говорили глаза Осетрова.

— Что жъ,—помолчавъ, сказалъ онъ, — я возьму пая три... не больше.

— Позвольте пожать вашу руку. Вы меня много обязали. — Не посѣтуете, если я съ васъ попрошу взяточку?

— Какую?

— Только уговоръ лучше денегъ. Какъ нѣмцы говорить: nicht schlimm gemeint. У васъ пай не всѣ разобраны?

— Нѣтъ еще. Мы удвоили.

— Почему они?

— По тысячѣ рублей.

— Могу я просить у васъ два пая?

— Съ удовольствіемъ. Вотъ когда уладимъ. Понавѣдайтесь.—Вы, значить, при капиталѣ?

— Такъ, крохи...

— Отъ рара и шапан?

— Именно!.. ха-ха!

Произошло рукопожатіе. Осетровъ привсталъ, но до дверей не провожалъ его. Въ передней Палтусовъ далъ двугривенный слугѣ, и когда спулся съ лѣстницы, почувствовалъ, что у него лобъ влаженъ.

„Не моему принципалу чета,—повторялъ онъ на дрожахъ по дорогѣ на Ильинку. — Этотъ—Руэръ, и лицо-то такое же, точно съ юга Франціи. Онъ Калакуцкихъ-то дюжину съѣстъ. Надо его держаться“...

Оба порученія исполнены, и за второе онъ особенно былъ доволенъ. Дворянскій гоноръ немного щемилъ; но все обошлось съ достоинствомъ.

XVII.

Прошло три часа. Въ рядахъ стараго Гостинаго двора дѣятило. И съ утра въ нихъ мало движенія. Подъ низкими сводами приютились „амбары“ — склады самыхъ первыхъ мануфактурныхъ и торговыхъ фирмъ, всего больше изъ хлопчатобумажнаго и прядильнаго дѣла. Эти лавки смотрятъ невзрачно, за исключеніемъ нѣсколькихъ, отдѣланныхъ уже по-новому, съ дорогими стеклами въ дубовыхъ и орѣховыхъ дверяхъ, съ фигурными, чугуными досками. Вдоль стѣнъ стоятъ соломенные диваны и козлы, на какихъ купцы любятъ играть въ „дамки“ и „поддавки“. Кое-гдѣ сидятъ сухіе, пожилые приказчики, въ длинныхъ, ваточныхъ чуйкахъ или просторныхъ пальто съ бобромъ, и однозвучно перекидываются словами. Выползетъ со внутренняго двора, изъ-подъ сводчатыхъ воротъ, огромный возъ съ товаромъ. Лошадь станетъ, вся вытянется, напрягутся жилы. Непомѣрная тяжесть тащить ее назадъ, да тутъ еще подвернулся камень, вывороченный изъ отсырѣлой мостовой, покрытой грязью, съ ямами, цѣлыми ручьями въ дождь, съ обвалами и промоинами. Ломовой, съ безмысленною злобью, хлещетъ лошадь вожжами по глазамъ, подъ брюхо, потомъ ухватить, что попало — полѣно, доску — и колошматить свою собственную животину. Мальчишка изъ трактира съ чайникомъ топчется и кричитъ также на лошадь. Сидѣльцы ухмыляются или бранятъ извозчика.

— Родимая! — гаркнетъ всѣми внутренностями ломовой и, ухвативъ за супонь, выбѣжитъ на улицу, вмѣстѣ съ возомъ, послѣ чего начинается костить своего бурога: — жидъ, анаема, стерва!..

Потомъ опять все тихо. Со двора доносятся голоса, когда идетъ отправка или приѣмъ товара. Тамъ цѣлыя горы тюковъ и ящиковъ захватили арки и выползли со всѣхъ сторонъ на средину двора. Вороха роговъ, цыновъ, плетушекъ, кулей лежатъ тутъ недѣлями и мѣсяцами, мокнуть, прѣютъ, жарятся на солнцѣ. Одной хорошей искры довольно, чтобы все это вспыхнуло и превратило дворъ въ огненную печь. Но хозяева не боятся. Имъ тутъ хорошо и покойно. — Богъ дастъ, и простоятъ все



по-дѣдовски, пока будетъ стоять старый Гостинный дворъ. „Амбары“ у нихъ — наслѣдственные; они ихъ покупали на кровныя деньги. Наемная цѣна имъ высокая. За одинъ створъ до четырехъ тысячъ въ годъ берутъ.

Тяжелый, неуклюжій, покачнувшійся корпусъ глядитъ на двѣ улицы. Посрединѣ онъ сѣлъ книзу; къ улицамъ идутъ подъемы. Изъ рядовъ къ мостовой опускаются каменные ступени или деревянные мостки съ набитыми брусьями, крутые, скользкіе, въ слякоть грозящіе каждому, и трезвому прохожему. Внизу, въ подпольномъ этажѣ размѣстились подвалы и лавки — больше къ Ильинкѣ, гдѣ сѣзжать въ переулокъ и подниматься нестерпимо тяжело для лошадей, а двумъ возамъ нельзя почти разбѣжаться съ товаромъ. А тутъ еще расположилась посудная лавка съ своей соломой, ящиками и корзинками. Насупротивъ, желѣзный и москательный товаръ валяется въ пыли и темнотѣ. Весь этотъ уголъ даетъ свѣжему человѣку чувство рядской тѣсноты и скученности, чего-то татарскаго по своему неудобству, неряшеству, погонѣ за грошовой выгодой.

По Варваркѣ, противъ церкви и поближе, дожидалось двое широкихъ хозяйскихъ пролетовъ, съ заводскими жеребцами. Одинъ кучеръ курилъ; другой нѣтъ. Онъ служилъ у безпоповскаго раскольника. По этой сторонѣ линія смотрѣла повеселѣе. Лавки шли всякія, рядомъ съ амбарами первыхъ тузовъ много и „не пущихъ“.

На двухъ створахъ съ дубовыми дверями мѣдныя доски, старательно отчищенные, ярко выставляли рельефныя слова: „Мирона Станицына сыновья“. Снаружи черезъ стекла дверей просвѣчивали бѣлыя стѣны, чугунная лѣстница во второй этажъ, широкое окно въ глубинѣ, правѣе — перила и конторки. Никакого товара не было видно ни на полу, ни по стѣнамъ. У дверей стоялъ, держась за ручку, молодецъ въ синей чуйкѣ, Его обязанность въ этомъ только и заключалась. Амбаръ былъ изъ самыхъ помѣстительныхъ и шелъ подъ крышу. Въ верхнемъ этажѣ — также съ галлереей — находились склады товара, матерій и суконъ. Матеріи производила фирма „Станицына сыновья“. Сукно шло съ фабрики жены представителя фирмы, старшаго брата. Младшій находился въ слабоуміи.

Конторщики, въ первомъ отдѣленіи амбара, беззвучно писали и изрѣдка щелкали по счетамъ. Ихъ было трое. Старшій въ нѣмецкомъ платьѣ, въ черепаховыхъ очкахъ,

съ клинообразной бородой, въ которой пробивалась уже сѣдина — скорѣе оптикъ или часовщикъ по виду, чѣмъ приказчикъ — нѣтъ-нѣтъ да и посмотреть поверхъ очковъ на дверь въ хозяйскую половину амбара.

На перилахъ лежало два пальто постороннихъ лицъ; одно военное; черезъ дверь долетали раскаты разговора. Слышались жидкіе звуки мужского голоса, картаваго и надтреснутаго, и болѣе молодой горловой баритонъ съ офицерскими переливами. Между ними врѣзывался смѣхъ, должно-быть, плюгавенькаго человѣчка, какой-то нищенскій, вздутый какъ пузырь, ничего не говорящій смѣхъ...

XVIII.

Вдругъ малый пришелъ въ волненіе, схватился за ручку, широко распахнулъ половинку, нагнулъ голову ниже плечъ и тряхнулъ потомъ головой.

Въ амбаръ вошла „сама“. Этого никто не ожидалъ, кромѣ, быть-можетъ, старшаго конторщика. Онъ быстро всталъ, выбѣжалъ изъ-за перегородки, сложивши руки на груди, съ переплетенными пальцами, поклонился два раза и полушопотомъ выговорилъ:

— Матушка, все ли въ добромъ здоровьѣ?

Она поклонилась ему ласково и степенно, какъ кланяются купчихи первыхъ домовъ, одной головой, безъ наклоненія стана. Этой женщинѣ, сквозь прозрачную вуалетку, точно посыпанную золотымъ пескомъ, врядъ ли бы кто далъ больше двадцати трехъ лѣтъ. Ей было уже двадцать семь. Рослая, съ прекраснымъ бюстомъ, не жирной, но не худой шеей и тонкой, умной головой, — она смотрѣла настоящей дамой. Ее охватывало короткое пальто изъ чернаго фая. Оно позволяло любоваться линіей ея талии и переходило въ кружевную оборку. Широкіе, моднаго покроя, рукава, также отдѣланные кружевами и бахромой изъ гофрированныхъ шелковыхъ кусочковъ, выпускали наружу только ея пальцы въ свѣтлосѣрыхъ перчаткахъ. Вокругъ шеи шелъ кружевной высокій барокъ. Изъ-подъ пальто выходило узкое, песочнаго цвѣта, тяжелое платье: спереди настолько высокое, что вся нога, въ башмакахъ съ пряжками и цвѣтныхъ, шелковыхъ чулкахъ, была видна. На ея лобъ и глаза, глубоко сидѣвшіе въ впадинахъ, легла тѣнь отъ полей широкой „рубенсовской“ шляпы съ густымъ темногранатовымъ перомъ.

Въ этой „хозяйкѣ“ по костюму было много европейски-

живописнаго. Но овалъ лица, саванитость его, что-то не-
уловимое въ движеніяхъ говорило о коренной Руси, о той
почвѣ, гдѣ она выросла и распустилась. Красавицей врядъ
ли бы ее назвали; но всякій бы остановился.

— Кто здѣсь? — тихо спросила она старшаго контор-
щика и сдѣлала шагъ назадъ. Лобъ ея наморщился.

— Тотъ-съ... офицеръ-съ, Саввы Иваныча сыночекъ... съ
крестомъ... Изволите знать?

Она только опустила глаза и сжала губы. Все лицо ея
точно наполнилось презрительнымъ чувствомъ.

— А еще?

— Еще... господинъ Ифкинъ. Такъ, вѣжетен, ихъ про-
званье? Они всегда-съ...

Станицына не дала ему договорить и сказала:

— Доложите.

— Да пожалуйста, матушка.

— Доложите,—повторила она.

Старикъ осторожно пріотворилъ дверь. Разговоръ смолкъ.
Онъ вошелъ и вернулся тотчасъ же. А за нимъ выбѣжалъ
ражій офицеръ, съ краснымъ, лоснящимся лицомъ, зави-
той, съ какими-то рожками на лбу, еще мальчишъ по лѣ-
тамъ, но уже ожирѣлый, въ уланскъ съ краснымъ кантомъ
и золотой петлицей на воротникѣ. Уланка была ешека
парочно пемѣрно коротко и узко, такъ что формы кор-
пета выставлялись напоказъ при каждомъ поворотѣ. Въ
петлицѣ торчалъ солдатскій георгіевскій крестъ на ши-
рокой лентѣ и какъ будто болѣе чѣмъ въ разѣ
обыкновенно.

— Entrez, entrez... Анна Серафимовна! Какъ же вы это
съ докладомъ?!. Вашъ мужъ приказалъ вамъ сказать, что
у насъ женскаго пола нѣтъ. Ха-ха! Мы здѣсь какъ мо-
нахи! Даже стапаны у насъ съ чаемъ!

Онъ и смѣялся, и нахально оглядывалъ ее, и какъ-то
переминываясь съ ноги на ногу, позвякивая шпорами и раз-
ставляя ноги по-кавалерійски.

Уланъ приходился дальнимъ родственникомъ ей мужу.
Онъ съ камрадомъ пошелъ въкоопредѣляющимся въ гвар-
дію, изилъ ту суму по въ тѣхъ почтѣ, ну и поступилъ, все-
таки по долгу офицеромъ. Теперь онъ и спалъ, и ви-
дѣлъ, какъ бы ему прикомандироваться, пріѣхалъ въ
четырехълѣтній отпускъ, пиватьцова въ и спускалъ от-
цовскія деньги въ "дѣло" и "благородіе". Родители его
преступились Серафимовскими. Это его помного стѣсняло;

зато у него былъ французскій языкъ. И врядъ ли во всей, даже гвардейской, кавалеріи кто такъ умѣлъ носить рейтузы и длинный до пояса козырекъ, какъ онъ. Да и никто, когда они стояли подъ Константинополемъ, не слалъ такихъ лаконическихъ французскихъ телеграммъ:

„Papa, perdu dix mille francs. Envoyez traite. Si non— adieu. Ferai un mauvais coup!—Théodule“.

Его дѣйствительно знали „Теоуль“; но онъ переименовалъ себя потомъ въ „Теофила“.

Изъ двери показался штатскій, худой, короткій, съ рѣдкими волосиками на лбу, въ усахъ, смазанныхъ къ концамъ, черноватый, въ короткомъ сюртучкѣ и пестромъ галстукѣ, одинъ изъ заурядныхъ дворянчиковъ, состоявшихъ безсмысленно при мужѣ Станицыной. За нимъ, кромѣ хорошаго обращенія и того, что онъ зналъ дни именинъ и рожденія всѣхъ барынь на Поварской и Пречистенкѣ, уже ничего не значилось.

— Madame!—вскрикнулъ онъ и закатился смѣхомъ.— Veuillez entrer!.. Вы насъ хотѣли накрыть?! N'est ce pas, Théodule?!

И оба они ввели ее въ хозяйское помѣщеніе амбара.

XIX.

Лицомъ къ двери, у большого стола съ двумя низкими пюпитрами краснаго дерева,—диваны и стулья съ сафьянной обивкой были такіе же,—вытянулъ ноги на средину комнаты, сидя на краю стола, мужъ Аппы Серафимовны Станицыной, Викторъ Мироновичъ. Онъ казался головой выше улана. Народъ называетъ такое сложеніе „глистой“. Узость плечъ, приподнятыхъ и острыхъ, вытянутая шея съ кадыкомъ, непомѣрная длина рукъ и ногъ дѣлали его непріятнымъ на взглядъ по одной уже фигурѣ. Голова подходила къ остальному складу: лобъ, сдвинутый съ бровей и сверху сжатый, заостренная макушка и выдающийся затылокъ достаточно говорили о его мозговомъ устройствѣ. Желторусые волосы висѣли на вискахъ и на лбу. Въ лицѣ сохранялась молодость и женоподобная, и мальчишеская, что-то изношенное и недозорѣлое, развратное и безнормальное. Онъ страдалъ глазами. Красныя вѣки окружали его желтоватые, длинные глаза, всегда съ одними и тѣми же выраженіемъ подозрѣванія и злоскачества. Рѣсницы по цвѣту были почти свѣтлорыжія. Подъ маленькимъ, раздутымъ книзу носомъ, открывался по-

стоянно улыбающийся ротъ, съ бѣлыми, но рѣдкими зубами, какъ у дѣтей. Пепельные волоски чуть пробивались на подбородкѣ, ушедшемъ тоже въ клинъ, съ ямкой посрединѣ, хотя онъ и не былъ добръ. Купеческое происхожденіе сдѣлало во всемъ его обликѣ; но голосъ, манера тянуть слова параспѣвъ, развѣнченность пріемовъ, сло-вечки на русскомъ и французскомъ языкахъ и туалетъ дѣлали изъ Виктора Мионовича нѣчто весьма мало отзывавшееся старымъ Гостинымъ дворомъ. Шили на него исключительно два парижскихъ бульварныхъ портныхъ: Дюсотта и Бланъ. Галстуки, бѣлье, золотыя мелкія вещи онъ носилъ не иначе, какъ лондонскіе, „точно такіе“, какъ принцъ Галльскій, отъ тѣхъ же самыхъ поставщиковъ.

Въ это утро его худосочное тѣловище просторно драпировалъ пиджакъ. Низкіе стоячіе воротнички, торчащіе на срединѣ шеи, уходили въ галстукъ цвѣта „vert mer-veilleux“. Пріятели не скрывали того, что Станицынъ красить шею особою краской, чтобы она выходила шоколадною. Этому онъ также научился за границей. Ноги его, въ напалонахъ прусскаго покроя, на плоской и длинной ступнѣ, не особенно скрашивали ботинки съ коричневымъ сукномъ. Руками своими онъ любовался, но съ ногтями до сихъ поръ не могъ сладить, придать имъ красивую овальную форму и нѣжный цвѣтъ, хотя и „лѣчился“ у всѣхъ извѣстныхъ „маникуровъ“.

Викторъ Мионовичъ былъ на семь мѣсяцевъ моложе жены.

— Bonjour, madame, — сказалъ онъ ей и по-англійски протянулъ ей руку.

Она пожала, вуалетки не подняла и сѣла на диванъ у лѣвой стѣны.

Улапъ и штатскій стояли передъ ней и все хохотали.

— Я вамъ не помѣшала? — спросила она густымъ, немного глухимъ голосомъ.

Въ ея произношеніи слышалось волжское о, но не очень сильно. Это придавало большую оригинальность ея говору.

— Чаю не угодно? Съ лимончикомъ? — пошутилъ Станицынъ своею фистулой, отъ которой у жены его давно ходятъ мурашки по тѣлу, точно отъ грифели.

— Собираетесь? — спросила она больше мужа, чѣмъ его пріятелей.

— Представьте! — закричалъ улапъ. — Викторъ нынче ушелъ въ дѣла!.. Мы пріѣзжаемъ вотъ съ Фифкой...



Анна Серафимовна удивленно вскинула на него рѣсницами. Ея широкія бархатныя брови слегка поднялись.

— Ха-ха!.. Викторъ! *Ta femme ne sait pas!*.. Вы не знаете, мы такъ Ифкина прозвали... Фифка! Вѣдь хорошо? А?! Что скажете?

Штатскій ослабилъся.

— Такъ вотъ-съ, приѣзжаемъ, зовемъ Виктора къ Генералову, привезли устриць... *Ostende!*.. И вдругъ, упирается! Говорить, нельзя, дѣла, не управился. Въ амбарѣ надо сидѣть. Амбаръ! *C'est cocasse!*

Уланъ перекинулся назадъ всѣмъ своимъ пухлымъ туловищемъ. Въ ухахъ Анны Серафимовны звенѣлъ долго хохотъ обоихъ пріятелей мужа. Она вбокъ посмотрѣла на него. Онъ все еще не мѣнялъ позы, сидѣлъ на ребрѣ стола и носкомъ правой ноги ударялъ о лѣвую. Одинъ разъ его глаза встрѣтились съ ея взглядомъ. Ей показалося, что она прочла въ нихъ:

„Зачѣмъ пожаловали?“

Она знала, что ей всегда можно заставить его опустить свои рыжія рѣсницы, но она этого не сдѣлала.

— *Tu restes décidément?*—французилъ уланъ.

— *J'y suis, j'y reste!*—сострилъ Станицынъ.

Онъ не зналъ въ точности, чья это историческая фраза, но помнилъ, что въ *Café de Madrid* часто повторяли ее.

Произношеніе у него было изломанное, отзывалось близкимъ знакомствомъ съ актрисами „*Folies Dramatiques*“ и „*Théâtre des Nouveautés*“. Основаніе положили гувернеры.

— Ну, Фифка!.. *Détalons!*.. *Chère cousine!*.. Что это вы какія строгія? Точно посѣчь насъ собираетесь. Вы видите: оставляемъ васъ *en tête-à-tête!*.. Это всегда хорошо. Какъ бы сказать... добродѣтельно. Викторъ! мы тебя, голубчикъ, подождемъ до пятого... Идетъ? Вы позволите?—обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ.—Муженька-то въ строгости держите. Не женись, Фифка!.. Правда, за тебя, уродъ, никто и не пойдетъ...

Уланъ схватилъ штатскаго подъ-мышки и однимъ взмахомъ поднялъ его на воздухъ. Тотъ взвизгнулъ. Станицынъ лѣниво и немного безпокойно оглянулся, кисло повелъ губами и сказалъ:

— Ступайте, у меня голова кружится. *Des gaillards, comme ça.* Точно васъ съ цѣпи спустили.

— *Madame!*—дурачливо раскланялся уланъ и щелкнулъ шпорами.

-- *Bien bonjour*, Анна Серафимовна,--прибавилъ отъ себя и дворянинъ; онъ по-французски употреблялъ московскіе обороты, въ родѣ этого, или *bien merci*.

Анна Серафимовна привстала и пожала имъ руки безъ улыбки и молча.

Станищныя проводили ихъ за дверь. Въ конторѣ они еще довольно долго болтали. По лицу молодой женщины пробѣгали струйки нервныхъ вздрагиваній. Она сняла вуалетку, а потомъ и шляпу. Ея головѣ жарко стало. Почти черные волосы, гладкіе, густые, причесаны были по-старинному, двумя плоскими прядями, и только сбоку, на лбу, она позволяла себѣ нѣсколько завитковъ; они смягчали строгость очертаній ея лба и линію переносицы. Глаза ея, темно-серые, съ синеватыми бѣлками и загнутыми рѣсницами кверху, безпрестанно то потухали, то вспыхивали. Брови, какъ двѣ пышныхъ собольихъ кисти, не срастались, но близко сходились при каждомъ движеніи лба. Тогда все лицо дѣлалось сурово, почти жестко. Свѣжій ротъ и немного выдающіеся зубы, а главное, подбородокъ, круглый и широкий, проявляли натуру жены Виктора Мироновича и породу ея родителей, людей стойкихъ, рослыхъ, именитыхъ, долго державшихся старыхъ обычаевъ и состоявшихъ еще недавно въ безпоповцахъ.

XX.

Анна Серафимовна хотѣла даже снять пальто, но въ эту минуту вошелъ ея мужъ.

— Здравствуйте-съ,—протянулъ онъ.

Она давно уже была съ нимъ на „вы“, „Викторъ Мироновичъ“. Онъ часто говорилъ ей „ты“ и „Анна“, а „вы“ употреблялъ въ особыхъ случаяхъ.

Викторъ Мироновичъ прошелъ къ столу и сѣлъ за свой бюитръ, отхлебнулъ изъ стакана чаю и обернулся къ ней.

— *Hein?*—пустилъ онъ парижскій звукъ.

Ему онъ выучился въ совершенствѣ.

Ротъ жены его раскрылся, но зубы были сжаты, зрачки глазъ сузились. Она вытянула немного руки и вся выпрямилась на своемъ мѣстѣ.

— Викторъ Мироновичъ,—начала она, и волжское произношеніе слышалось сильнѣе, — всему бываетъ предѣлъ.

— *Hein?*—повторилъ онъ, но уже не тѣмъ звукомъ.

Глаза его вызывающе и глупо поглядѣли на жену. Онъ чего-то ждалъ неприятнаго, но чего—еще не догадывался.

Рука ея опустилась въ карманъ пальто и достала оттуда небольшой портфель изъ черной кожи, съ серебрянымъ вензелемъ. Она нагнула голову, достала изъ портфеля двѣ сложенныхъ бумажки и развернула ихъ, а портфель положила на диванъ.

Тутъ она встала и подошла къ нему. Онъ почувствовалъ на лицѣ ея горячее дыханіе.

— Что это?—подзадоривающимъ звукомъ спросилъ онъ и сдѣлалъ ненавистную ей гримасу губами, точно онъ принимаетъ лѣкарство.

— Ваши векселя,—выговорила она и поблѣднѣла. До тѣхъ поръ щеки ея хранили румянецъ, рѣдко появившійся на нихъ.

— Мои?

Онъ всталъ и нагнулся. Его голова, клиномъ вверхъ, съ запахомъ помады и фиксажура, пришлась къ ея носу и глазамъ. Что-то непреодолимо-противное было для нея всегда въ этой дѣтской „песуразной“—она такъ называла—головѣ, съ ея въющимися желтыми волосами и чувственнымъ, вытянутымъ затылкомъ.

— Ваши,—еще разъ сказала она и отвела его отъ себя рукой.—Викторъ Миронычъ, вы видите, кѣмъ андосованы?

Она знала дѣловыя слова.

— Кѣмъ?—нахально спросилъ онъ ее, поднявъ голову, и засмѣялся.

Вся кровь многомъ бросилась ей въ голову. Она схватила его за руку, силой посадила въ кресло, оглянувшись, нагнувшись къ нему, стала говорить раздѣльно, точно диктовала ему по тетрадкѣ.

— Вотъ до чего вы дошли. Я купила эти документы. Вы знаете, кому вы ихъ выдали. Подпись видна.—Изъ Парижа они пришли или изъ Віарица,—я ужъ не полюбываю.—Вы мнѣ, Викторъ Миронычъ, клялись—образъ снимали, что больше я объ этой барынѣ не услышу!

Онъ повелъ глазами, и дерзкая усмѣшка появилась опять на его губахъ.

— Не смѣйте такъ на меня глядѣть!—глухо крикнула она.—Мнѣ теперь все равно, какія у васъ метрески. Я вамъ не жена и не буду ею. Значитъ, вы свободны. А я только не хочу, чтобы вы срамили меня и дѣтей моихъ. Разорить ихъ я васъ не позволю!

— Да въ чемъ же дѣло?—истеричливо и на этотъ разъ трусливо спросилъ Станицынъ.



— Я пришла вамъ сказать вотъ что: извольте отъ дѣлъ устраниваться. Дайте мнѣ полную довѣренность.—Кажется, вамъ нечего меня бояться!—Только на моей фабрикѣ и есть порядокъ. Но вы и меня кредиту лишаете. Долгу сколько?

— Сколько?—повторилъ онъ совсѣмъ глупо.

— Сто семьдесятъ тысячъ вами одними сдѣлано въ одиннадцатъ мѣсяцевъ. Хотите, мы сейчасъ Трифоньча позовемъ?—и она указала на дверь.—И это такіе, которые въ извѣстность приведены; а разныхъ другихъ, по счетамъ, да векселей, не вышедшихъ въ срокъ, да карточныхъ... навѣрно столько же. Вы что же думаете?—Протянете вы такъ-то больше года?

Онъ молчалъ. Два векселя въ сорокъ тысячъ держать въ рукахъ жена. Въ кассѣ значилась самая малость. Фабрика шла въ долгъ. Банки начали затрудняться учитывать его векселя. Это грозное появленіе Анны Серафимовны почти облегчило его.

— А передъ братомъ у васъ и совѣсти нѣтъ,—продолжала она совсѣмъ тихо.—Благо онъ слабоумный, дурачокъ, рукава жуесть—такъ его и надо грабить... Да, грабить! Вы съ нимъ въ равной долъ. А сколько на него идетъ? Четыре тысячи, да и то ихъ часто нѣтъ. Я заѣзжала къ нему. Онъ жалуется... Вареньица, говоритъ, не даютъ... папиросочекъ... А докторъ ворчить... И онъ—плутъ... Срамъ!..

И она отвернула лицо. Глаза ея закрылись, и тѣнь пробѣжала по щекамъ...

— Mais vous êtes drôle... началъ-было онъ и смолкъ.

— Претить мнѣ!—перебила она повелительно и страстно,—скройтесь вы съ глазъ моихъ! Уѣзжайте и проживайте, гдѣ хотите! Будете получать тридцать тысячъ.

— Двѣ тысячи пятьсотъ въ мѣсяцъ?—со смѣхомъ крикнулъ онъ.

— Да, больше нельзя... Не хотите?—съ разстановкой выговорила она.—Ну, тогда раздѣлывайтесь сами. Вамъ негдѣ перехватить. Фабрика станетъ черезъ двѣ недѣли. За васъ я не плательщица. Довольно и того, Викторъ Миرونъчъ, что вы изволили спустить... Я жду!

Станицынъ вынулъ двучлѣнный фулярный платокъ, обмахнулся и зашагалъ назадъ и впередъ.

Она дѣло говорила; занять можно, но надо платить, а платить нечѣмъ. Фабрика заложена. Да она еще не

знать, что за этими двумя векселями пойдутъ еще три штуки. Барыня изъ Біарица заказала себѣ новую мебель на Boulevard Haussman и карету у Бишера. И обошлось это въ семьдесятъ тысячъ франковъ. Да еще ювелиръ. А платилъ онъ, Станицынъ, векселями. Только не за тридцать же тысячъ соглашаться!

— Mais, ma chère,—началъ онъ,—какъ же я могу... есть, наконецъ, привычки...

— Черезъ три года будете получать вдвое. Я ручаюсь. А теперь и этого нельзя. И одна моя просьба, уѣзжайте вы поскорѣй, Викторъ Миронычъ; вы видите, я не могла васъ дожидаться, куда пріѣхала!..

Она надѣла шляпу, стала посредникъ комнаты и сложила руки на поясъ.

— Comme c'est... Станицынъ искалъ слово: — comme c'est propre... Отъ жены такая сдѣлка... ха! ха!..

— Вы это говорите?!..

— Разумѣется... Лучше уѣхать... Вы на все способны!.. Онъ приложился къ пуговкѣ воздушнаго звонка.

XXI.

Вошелъ конторщикъ.

— Позовите Максима Трифоныча,—сказалъ ему Станицынъ и закурилъ сигару.

Анна Серафимовна отошла къ окну, по другую сторону бюро, и стала завязывать шляпку. Она замѣтила, что мужъ сдѣлалъ мимовольное движеніе плечами и пустилъ сразу длинную струю дыма. Побѣда одержана: мужъ сдѣлаетъ такъ, какъ она желаетъ. Но была ли это побѣда? Съ такимъ человѣкомъ немыслимы никакіе уговоры. Чести у него нѣтъ, даже той „купеческой“, какая передавалась изъ рода въ родъ въ ея „фамиліи“. А вѣдь отецъ его считался по всей Москвѣ „честнѣйшимъ мужикомъ“. Откуда же этотъ выродокъ? Мать была „распутная“ и пила еще молодой женщиной. Анна Серафимовна не застала ее въ живыхъ, когда сдѣлалась женой Виктора Мироныча, но слыхала отъ добрыхъ людей. Потому, должно-быть, и меньшой братъ, Карпъ Миронычъ, родился дурачкомъ, а теперь и совсѣмъ полоумный... Да, этотъ постылый и безстыжій мужъ надѣлаетъ сейчасъ же, за границею, новыхъ долговъ. А какъ его удержишь? Онъ взрослый. Фирма существуетъ. Въ Парижѣ ничего не значить, купивши на десять тысячъ франковъ, набрать



въ магазинахъ на двѣсти. Еще пожалуй впутасешься съ нимъ такъ, что и жизни не будешь рада. И теперь-то надо доставать денегъ...

Старшій конторщикъ отворилъ дверь и въ два пріема приблизился къ хозяину, съ наклономъ всего корпуса.

— Написать полную довѣренность надо, Максимъ Трифоновичъ,—побрежно выговорилъ Станицынъ.

Онъ подошелъ къ старику и говорилъ ему дальше вполголоса.

Максимъ Трифоновичъ поднималъ на него глаза и тотчасъ же опускалъ ихъ.

— На чье имя?—чуть слышно спросилъ онъ.

Станицынъ кивнулъ вбокъ головой на жену.

— На управленіе фабриками-съ, съ правомъ выдачи?..

— Ну да, ну да,—перебилъ его Станицынъ.—Вѣдь вы знаете...

— Черновую прикажете?

— Да ужъ это Анна Серафимовна вамъ укажетъ.

Ей непріятно сдѣлалось, что мужъ сейчасъ же распорядился при ней, не соблюдя своего достоинства—непріятно не за него, а за себя, какъ за его жену.

— Завтра утромъ ко мнѣ придите и принесите черновую,—откликнулась она и поправила ленту.

— Больше никакихъ приказаній не будетъ?—освѣдомился старикъ.

— Никакихъ,—точно со смѣхомъ отвѣтилъ Станицынъ и застегнулъ пиджакъ.—И на-дняхъ їду, Максимъ Трифоновичъ. Все дѣло будетъ вести вотъ Анна Серафимовна... до моего возвращенія,—кончилъ онъ хозяйскимъ тономъ.

Максимъ Трифоновичъ перенесъ глазами отъ Виктора Мировича къ его женѣ, глядя на нихъ черезъ очки. Онъ перевелъ дыханіе, но незамѣтно. Сегодня утромъ онъ боялся за все станицинское дѣло и надѣялся на одну Анну Серафимовну. Теперь надо половичье составить довѣренность, на случай непредвидѣнныхъ „претензій“ изъ-за границы.

Станицынъ взялъ съ кресла шляпу и перчатки и, по-моргиваясь отъ сигары, надѣвалъ ихъ.

— Можете идти,—отпустилъ онъ Максима Трифоновича.

Обида, женская гордость, гнѣвъ, презрѣніе какъ-то разомъ опали въ душѣ Анны Серафимовны. Она теперь

ничего определенного не чувствовала. Говорить съ этимъ человѣкомъ ей не о чемъ. Но въ его присутствіи она испытываетъ всегда раздраженіе особаго рода. Точно ей неловко передъ нимъ. И отчего?—Все оттого, что у ней въ голосѣ иногда прорывается приволжское о, да по-французски она не привыкла болтать. Ее учили, и она можетъ вести разговоръ съ иностранцами за границей; а съ нимъ не рѣшалась никогда, особенно при гостяхъ. А онъ всякія слова выговариваетъ, и произношеніе у него отъ французскаго актера не отличишь: у всѣхъ этихъ „мерзкихъ“ по кафе и театрамъ выучился. Она знаетъ ему цѣну, и на его дѣлахъ показываетъ ему, что онъ за человѣкъ, ловить его съ полчинымъ, а все-таки онъ считаетъ себя „изъ другого тѣста“, бариномъ, джентльменомъ, съ принцами знакомъ; а она — „купчиха“. Надо было слышать, съ какимъ выраженіемъ онъ произноситъ это слово. И теперь вотъ онъ струсилъ, расчелъ, что лучше такъ поладить, чѣмъ со срамомъ вылетѣть въ трубу; а все-таки онъ не признастъ ея нравственнаго превосходства, не преклонится передъ ней, и ничѣмъ не заставишь его преклониться. Вотъ это ее и грызетъ, хоть она и не сознается самой себѣ. Такое ничтожество, такая пустельга, какъ Викторъ Мироничъ, у котораго, какъ у кошки, „не душа, а паръ“, и считаетъ себя изъ бѣлой кости, а на нее смотритъ, какъ на кумушку!

Краска опять появилась у ней на щекахъ.

— Васъ пріятели ждутъ,—сказала она съ сердцемъ.

— Дайте мнѣ надѣть перчатки,—возразилъ онъ и задирательно посмотрѣлъ на нее своими воспаленными глазами.

Опять злость закипѣла въ ней. Хорошо, что этотъ чело-
вѣкъ уѣзжаетъ: немудрено и отравить его или руками задушить. Въ какую минуту! Одинъ его голосъ можетъ привести въ изступленіе. Минутами всю ее какъ-то кор-
чить отъ его голоса и смѣха. Развѣ можно выносить, какъ онъ надѣваетъ вотъ теперь перчатки, покачивается, курить, а сейчасъ возьмется за шляпу? Все дышитъ на-
глостью и чванствомъ, закоренѣлой испорченностью купе-
ческаго сына, уже спустившаго, со смерти отца, до трехъ
милліоновъ рублей. Какъ же его заставить преклониться
передъ собой, когда весь евронейскій „high life“, лорды,
маркизы, графы, эрцгерцоги толпились на его праздникѣ,
гдѣ живыхъ цвѣтовъ было на пятнадцать тысячъ фран-

ковъ? Одного нѣмецкаго князька онъ собственноручно оттащаль и заплатилъ отступного. Любвилицъ отбилъ у двухъ владѣтельныхъ особъ. Гдѣ же ему обойтись тридцатью тысячами рублей? Разумѣется, придется платить и всѣ сто тысячъ. Но и то лучше. Одно она хорошо знаетъ, что она ему своихъ денегъ не дастъ, и фабрики своей не заложить. Можетъ дѣтей у ней отнять? Она вся похолодѣла. На это и у него достанетъ ума. Нѣтъ! По чутью, какъ звѣрь, онъ долженъ догадаться, что съ Анной Серафимовной шутки плохи на этотъ счетъ. И головы не снесешь!..

Бѣлки у нея потемнѣли, а зрачки снова сузились.

Въ эту минуту Викторъ Миронычъ стоялъ у двери и пропустилъ сквозь зубы фистулой:

— Bonjour...

Она не обернулась.

XXII.

Одна, въ хозяйской половинѣ амбара, Анна Серафимовна вздохнула свободно. Она прошла немного, сѣла въ низкое кресло мужа и, позвонивъ, приказала себѣ подать чаю. Ей принесли стаканъ съ лимономъ. Станицынъ оставилъ на бюитрѣ нѣсколько не просмотрѣнныхъ фактуръ и счетовъ. Анна Серафимовна позвала еще разъ старшаго приказчика.

Старикъ подошелъ къ ручкѣ. Она отдернула. Глаза его смотрѣли умиленно. Максимъ Трифоновичъ искренно любилъ ее и тайно любовался ею, какъ женщиной, давно прозвалъ ее „королевой“ и удивлялся ея дѣловымъ способностямъ.

— До отъѣзда Виктора Мироныча,—сказала она,—я конторой заниматься не буду. Я ужъ на тебя полагаюсь, Трифонычъ, а если нужно усилить счетоводство — возьми еще парня.

При мужѣ она говорила ему „вы“; но съ-глазу-на-глазъ ей, да и самому „Трифонычу“, было ловчѣе такъ.

— Тутъ прибрать надо. Есть что къ спѣху?—спросила она, нагнувъ голову надъ бумагами.

— Платежи больше.

— Ну, такъ это—до завтра... Въ кассѣ сколько?

Трифонычъ помялся и съ жалобной усмѣшкой вымолвилъ:

— Наличными—самая малость.

— Хорошо... Завтра довѣренность какъ слѣдуетъ выправить. Я приготовлю. Виктора Миropyча уже безпокойтъ подписями нечего. Директоръ давно былъ по Рябининской фабрикѣ?

— На той недѣлѣ.

— Написать ему потрудись, чтобы пожаловалъ.

— Слушаю-сь.

— Наверху еще не забирались?

— Нѣтъ еще-сь.

— Крикну-ка имъ, что я сейчасъ поднимусь.

Трифонычъ вышелъ и тихо-тихо притворилъ дверь.

Анна Серафимовна сняла опять шляпку, пальто и перчатки, аккуратно положила шляпку и пальто на диванъ, а перчатки—на шляпку, хлебнула раза два изъ стакана и посрединѣ комнаты вся выпрямилась, подперевъ себя руками сзади подъ ребра. Грудь у нея не опала отъ кормленія двоихъ дѣтей. Весь станъ сохранилъ дѣвственные линіи. Хотя она и никогда не любила мужа, но развѣ она такая, какъ его „французенки“, крашенные, обрюзглыя или сухія, жилистыя? Одни ихъ сильные голоса—отвращеніе! Или та вотъ—тоже, страсть-то его, что въ Біаррицѣ познакомились, и теперь его общищаетъ?.. Вылитая нѣмка изъ Риги,—нога въ полъ-аршина, губы намазаны, глаза навывкатъ. Она видѣла портретъ. — Портретъ-то — шутка: шесть тысячъ стоилъ! Еще годъ-другой, и будетъ она въ дверь толщиной. Влюбись онъ въ нее, въ Анну Серафимовну, и тогда все ту же брезгливость будетъ она къ нему имѣть. Онъ для нея не мужчина; но срамится, имѣя такую жену, съ продажными гадинами, выдавать ихъ по отелямъ за законныхъ женъ?

Глаза ея окинули отдѣлку лифа и юбку изъ тяжелаго свѣтлопесочнаго фая.

Она задумалась. Этотъ песочный цвѣтъ отзывался „купчихой“. Она только тутъ это поняла. Зачѣмъ она выбираетъ такіе цвѣта? Разумѣется, самый купеческій цвѣтъ... „Юзефинка“ говорила вѣдь ей, что не слѣдуетъ... А не все равно. Матерія прекрасная, не маркая, износу ей нѣтъ. Да для кого ей „шикъ“—то имѣть? Она любитъ хорошія вещи, и всякій скажетъ, что она „дамой“ смотритъ, особенно на улицѣ въ шляпкѣ и въ пальто или нарядѣ. Да, на улицѣ въ шляпкѣ; а вотъ выборъ матерій-то и выдается. Не выбирай она купеческихъ колеровъ и не

было бы такъ часто на лицѣ Виктора Мироновича пренебрежительной усмѣшки:

„Пыжисья тоже, а вкусъ-то изъ Пожовой!“

Платъе показалось ей совершенно безвкуснымъ. Она подарить его племянницѣ. Не то, чтобы она стыдилась своего званія, нѣтъ. Не желаетъ она лѣзть въ дворянки; но со вкусомъ одѣваться каждый можетъ... И нечего давать всякой дряннѣ предлогъ смотрѣть на васъ свысока, оттого только, что вы цвѣта подходящаго не умѣете себѣ выбирать.

Наверху въ складахъ матерій и сукна, приказчики приостановились забирались, всѣ причесались и ожидали прихода хозяйки. Верхній амбаръ полонъ былъ свѣта, заходящаго именно теперь къ вечеру. По прилавкамъ и полкамъ играли полосы и „зайчики“. Штуки разноцвѣтнаго товара цѣлыми стопами поднимались на прилавкахъ и по полу, у оконъ и столбовъ, поддерживающихъ своды. Запахъ набивныхъ ситцевъ и другихъ бумажныхъ тканей смѣшивался съ болѣе кислымъ запахомъ прессованнаго сукна. Складъ держался въ большой чистотѣ. Кромѣ штукатуренныхъ стѣнъ, ясеневыхъ полокъ и прилавокъ и чугуннаго пола, лѣстницъ и перегородокъ, не къ чему было пристать пыли и грязи.

Трифонычъ слегка поддерживалъ хозяйку подъ лѣвый локоть, когда она поднималась въ верхній амбаръ.

— Съ мѣсяцъ не была здѣсь,—сказала она и оглянула все помѣщеніе.—Тѣсно дѣлается?

— Нѣтъ-съ, еще упрямлемся,—откликнулся съ поклономъ главный довѣренный приказчикъ, степенный мужчина за сорокъ лѣтъ, съ огромной русой бородой.

Оптовыхъ покупателей уже не ждали больше. Анна Себрафимовна могла оглядѣть товаръ безъ помѣхи. Ей принесли стулъ; но она не сѣла, а отправилась сначала въ „свое“ отдѣленіе, гдѣ лежали сукна. Она знала толкъ въ товарѣ и даже въ фабричномъ дѣлѣ. На своей фабрикѣ почти каждого мальчишку знала она по имени. Съ главнымъ приказчикомъ отдѣленія суконъ она перекинулась двумя-тремя словами, но въ отдѣленіи шерстяного и бумажнаго товара ей захотѣлось пробыть подольше. И тутъ она много разумѣла: сортъ товара сразу называла точнымъ именемъ и рѣдко ошибалась въ фабричной цѣнѣ.

XXIII.

Около прилавка, въ уровень съ нимъ, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила приказчика:

— Это—бязь?

— Такъ точно.

— По какой цѣнѣ?

Опъ называть.

— Дешевле стала?

— На двѣ копейки спустились,—пояснилъ приказчикъ.

— Все армяне берутъ?

— Такъ точно.

Всѣ приказчики боялись ее гораздо больше, чѣмъ хозяйина. Его они давно прозвали „бездонная прорва“ и „лодырь“. Каждый изъ нихъ старался красть. Имъ уже шепнули снизу, что, должно-быть, „сама“ беретъ въ свои руки все дѣло. Тогда надо будетъ подтянуться. Кто-нибудь непременно полетитъ. Трифоница они не долюбливали. Онъ считывалъ что могъ, и съ главными приказчиками у него часто бывали перебранки. Трифоницъ всегда держалъ руку хозяйки, почему его и считали „наушникомъ“ и „старой жлой“.

На лѣстницѣ слышались скорые мужскіе шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это былъ Палтусовъ, въ шляпѣ и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что онъ ее засталъ въ амбарѣ, среди ситцевъ и суконъ, какъ настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетѣло мгновенно, хотя и заставило ее покраснѣть. Ну что жъ такое? Она купчиха, владѣтельница миллионной фабрики, занимается дѣломъ, смѣлится въ немъ. Тутъ нѣтъ ничего постыднаго. Хорошо, кабы всѣ такъ поступали, какъ она.

Когда Палтусовъ подошелъ къ ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

— Ъду по Варваркѣ,—мягко заговорилъ онъ, снимая шляпу и низко наклонивъ голову, какъ онъ дѣлалъ только передъ немногими женщинами. — Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна въ амбарѣ; а Виктора Миновича нѣтъ... Вы заняты? Не мѣшаю?..

Отъ его голоса она замѣтно оживилась. Въ немъ было что-то такое, что дѣйствовало на нее совсѣмъ особенно.

Передъ нимъ она рѣдко совѣстилась своего званія; но зато ей хочется быть „выше“ этого званія, чтобы онъ видѣлъ въ ней „человѣка“, а не „кумушку“, какъ Викторъ Мионовичъ. И кажется, Палусовъ такъ и начинаетъ на нее смотрѣть. Его наружность она находила рѣзкой противоположностью фигурѣ и лицу мужа. Ей нравился его складъ, ростъ, выраженіе глазъ, голосъ, манера говорить и держать себя... Онъ—„изъ господъ“, съ воспитаньемъ, вездѣ принятъ, служилъ въ кавалеріи и лекціи слушалъ, а не пренебрегаетъ бывать въ купеческихъ домахъ. И держится не какъ баринъ, спустившійся до купцовъ; во все онъ входитъ, обо всемъ обстоятельно разспросить, чрезвычайно просто, никогда не скажетъ ни одной банальной любезности. Съ Викторомъ Мионовичемъ сухо-вѣжливъ. Ни разу у него не ужиналъ. Ему не надо ни его сигаръ, ни его шампанскаго. Такого „барина“ она бы пригласила себѣ въ директоры фабрики, если бъ онъ былъ техникъ. Только она минутами не то боятся его, не то въ чемъ-то какъ будто подозрѣваетъ.

— Мѣшаете?—переспросила она.—Ничуть!

— Разсматриваете товаръ?

— Да, надо....

Она пошла къ лѣстницѣ и его пригласила рукой. Приказчики вразъ поклонились.

— Сами хозяйничать надумали?—говорилъ ей вслѣдъ Палусовъ.

— Фабрикой... своей... я давно занимаюсь, а вотъ теперь...

Она остановилась на лѣстницѣ, двумя ступеньками ниже его, и обернулась, глядя на него снизу вверхъ.

— Супругъ уѣхалъ?

— Уѣзжаетъ.

— Надолго?

— Не знаю. Чай, на всю зиму.

Ея приволжское „чай“ пемного рѣзнуло его ухо, но тотчасъ же и поправилось ему. Голова Анны Серафимовны, съ широкими придами волосъ, блескъ глазъ и стройность стана,—все это окинулъ онъ однимъ взглядомъ и остался доволенъ. Но цвѣтъ платья онъ нашелъ „купецкимъ“. Она подумала то же самое и въ одну съ нимъ минутку, и опять смутилась. Ей стало нестерпимо досадно на это глупое, тяжелое, да вдобавокъ еще очень дорогое платье.

XXIII.

Около прилавка, въ уровень съ нимъ, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила приказчика:

— Это—бязь?

— Такъ точно.

— По какой цѣнѣ?

Опъ назвалъ.

— Дешевле стала?

— На двѣ конейки спустили,—пояснилъ приказчикъ.

— Все армяне берутъ?

— Такъ точно.

Всѣ приказчики боялись ее гораздо больше, чѣмъ хозяина. Его они давно прозвали „бездонная прорва“ и „лодырь“. Каждый изъ нихъ старался красть. Имъ уже шепнули снизу, что, должно-быть, „сама“ беретъ въ свои руки все дѣло. Тогда падо будетъ подтянуться. Кто-нибудь непременно полетитъ. Трифонъча они не долюбивали. Онъ считывалъ что могъ, и съ главными приказчиками у него часто бывали перебранки. Трифонъчъ всегда держалъ руку хозяйки, почему его и считали „наушникомъ“ и „старой жилой“.

На лѣстницѣ слышались скорые мужскіе шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это былъ Палтусовъ, въ шляпѣ и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что онъ ее засталъ въ амбарѣ, среди ситцевъ и суконъ, какъ настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетѣло мгновенно, хотя и заставило ее покраснѣть. Ну что жъ такое? Она купчиха, владѣтельница миллионной фабрики, занимается дѣломъ, смыслить въ немъ. Тутъ нѣтъ ничего постыднаго. Хорошо, кабы всѣ такъ поступали, какъ она.

Когда Палтусовъ подошелъ къ ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

— Ъду по Барваркѣ,—мягко заговорить онъ, снимая шляпу и низко наклонивъ голову, какъ онъ дѣлалъ только передъ немногими женщинами. — Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна въ амбарѣ; а Виктора Мироновича нѣтъ... Вы заняты? Не мѣшаю?..

Отъ его голоса она замѣтно оживилась. Въ немъ было что-то такое, что дѣйствовало на нее совсѣмъ особенно.

Оба они поднялись разомъ съ дивана.

XXIV.

Имъ обоимъ пріятно было бы остаться еще вдвоемъ въ этомъ хозяйскомъ отдѣленіи амбара. Но если бы у Анны Серафимовны и не случилось экстреннаго дѣла, она бы все-таки поспѣшила уѣхать. Палтусова она принимала нѣсколько разъ у себя на дому; но въ гостиной, въ огромной комнатѣ, на диванѣ, въ роли дамы, она тамъ не такъ близко сидѣла къ нему, думала ее о томъ, слѣдила за собой, была больше стѣснена, какъ хозяйка.

— Можно будетъ нанести вамъ визитъ?—спросилъ Палтусовъ съ продолжительнымъ наклоненіемъ головы и протянулъ ей руку.

— Милости просимъ, —весело сказала она и не успѣла высвободить свою руку, какъ онъ поцѣловалъ ее немного выше кисти, гдѣ у ней поверхъ перчатки извивался длинный до локтя и тонкій браслетъ, въ видѣ змѣи, изъ платины.

— Я хотѣлъ разспросить васъ подробнѣе о вашей школѣ.

Они выходили въ наружное отдѣленіе конторы.

— Идти порядочно. Только вотъ теперь я рѣже буду бздить на фабрику.

„Отъ сердца ли спросилъ онъ про школу?“ подумала она и опустила вуалетку. Трифонычъ выросъ передъ нею. Оба конторщика приподнялись съ своихъ мѣстъ. Палтусовъ еще разъ простился и надѣлъ шляпу, когда брался за ручку двери. Она поклонилась ему и смотрѣла черезъ стекло, какъ онъ вышелъ подъ сводъ рядовъ, повернулъ вправо, спустился съ мостковъ и сѣлъ на пролетку. Его низкая шляпа, изгибъ спины, покрой пальто, лиловое одѣяло на ногахъ, борода съ профилемъ приходились ей очень по вкусу. Все это было и красиво, и умно. Она такъ и сказала про себя: „умно“.

Своимъ подчиненнымъ Анна Серафимовна сдѣлала одинъ общій поклонъ и сказала Трифонычу, подбѣжавшему къ ней, такъ, чтобы никто не разслыхалъ:

— Завтра пораньше зайди... и принеси всѣ платежи, самые пужные.

На что онъ шепнулъ:

— Слушаю, матушка,—и, подавшись назадъ, три раза тряхнулъ сѣдѣющей головой.

Малый у дверей бросился кликать кучера. Подъѣхалъ двуѣстный отлогій фаэтонъ съ открытымъ верхомъ. Лошадей Анна Серафимовна любила и кое-когда захаживала въ конюшню. Изъ экономіи она для себя держала только тройку: пару дышловыхъ, вороную съ сѣрой, и одну для одиночки—она часто ѣзжала въ дрожкахъ—темно-караковаго рысака хрѣновскаго завода. Это была ея любимая лошадь. За городомъ въ Паркѣ, или въ Сокольникахъ она обыкновенно говорила своему Ефиму:

— Пусти-ка Зайчика!

Зайчикъ бралъ раза два призы. Дышловыя были отлично выѣзжены. Ефимъ—не очень толстый, коренастый кучеръ, по-московски выбритый и съ большими усами. Жилъ сначала въ наѣзdnикахъ, на помѣщичьихъ заводахъ, пить рѣдко, за лошадьми ухаживалъ умѣло, отличался большою чистоплотностью и цѣнилъ въ хозяйкѣ то, что она любитъ лошадей, знаетъ въ нихъ толкъ и *жалеть* ихъ, ѣздить умѣренно, зимой не морозить ни лошадей, ни кучера, когда нужно посылаетъ нанять извозчикью карету. При Викторѣ Мироновичѣ состоялъ свой кучеръ, который въ отсутствіи барина пьянствовалъ и водилъ въ конюшню разныхъ „шлюхъ“.

Между Ефимомъ и Анной Серафимовной установилось большое пониманіе.

— Въ Ильинскій ворота проѣдешь,—приказала она ему.

Малый застегнулъ фартукъ. Фаэтонъ тихо пробрался по переулку. Выѣхавъ на Ильинку, Ефимъ взялъ некрушную рысью. Ёзда на улицѣ поулеглась. Возовъ совсѣмъ почти не видно было. По трескѣ дрожекъ еще перекатывался съ одного тротуара на другой.

Изъ своей легкой на ходу коляски, покачиваясь на пружинахъ шелковой репсовой подушки, Анна Серафимовна глядѣла впередъ, не поворачивая головы по сторонамъ. Она и обыкновенно не дѣлала этого; а теперь ей надо было обдумать много серьезныхъ, дѣловыхъ вещей. Сейчас она должна захватить къ своему пріятелю-совѣтнику Ермилю Оомичу Безрукавкину. Онъ ей банкиръ и душеприказчикъ. Завѣщаніе свое она давно написала. Съ нимъ разговоръ будетъ короткий объ дѣлѣ. Деньги онъ приготовить. Ермилъ Оомичъ очень обрадуется, что съ завтрашняго дня все поступить къ ней на руки. Вотъ только отогнать онъ до умныхъ разговоровъ. А ей къ спѣху. Ждутъ ее обѣдать къ „тетенькѣ“ Марѣ Николаевнѣ

Кречетовой. Тамъ садятся ровно въ пять. Ее подождутъ; но сильно запоздать она сама не хочетъ. Тетенька—человѣкъ нужный. Она при хорошихъ деньгахъ; къ племянницѣ большое довѣріе имѣетъ. Придется, быть-можетъ, перехватить. У Ермила Оомича она не желала бы дисконтировать, хотя онъ съ удовольствіемъ, хоть на двѣсти тысячъ, и больше. Да, неизвѣстно еще какіе „сюрпризы“ приготовить муженекъ въ теченіе зимы.

Сквозь эти расчеты и соображенія нѣтъ-нѣтъ то мелькнетъ лицо Палтусова, то вспомнится голосъ и та минута, когда онъ такъ быстро и ново для нея поцѣловалъ ей руку выше кисти. И та минута, когда она стояла на лестницѣ и рассердилась еще сильнѣе на свое песочное платье. Теперь она опять слегка покраснѣла.

Проходилъ разносчикъ съ ананасомъ и виноградомъ.

— Стой!—крикнула Анна Серафимовна Ефиму.

Она подозвала разносчика. „Куплю тетушкѣ“, рѣшила она; но начала основательно торговаться.

Ананасъ уступили ей за три рубля. Это ей доставило удовольствіе: и не дорого, и подарокъ къ обѣду славный. Скупа ли она? Мысль эта все чаще и чаще приходила Аннѣ Серафимовнѣ. Скупа! Пожалуй, и говорить такъ про нее. И не одинъ Викторъ Миновичъ. Но правда ли? Никому она зря не отказывала. Въ домѣ за всѣмъ глазъ имѣетъ. Да какъ же иначе-то? На туалетъ—а она любитъ одѣться—тратить тысячи три. Зато въ школу цѣлый шванъ книгъ и пособій пожертвовала. Можно ли безъ расчета?

Нѣжный запахъ ананаса, положеннаго въ открытый верхъ коляски, достигалъ до ея обонянія. И опять всплыли глаза Палтусова. Глазамъ - то она не вѣритъ. Очень ужъ они мягки и умны. Такой человекъ на каждомъ хочетъ играть, какъ на скрипкѣ...

Ефимъ свернулъ съ Маросейки и остановился на просторномъ дворѣ у бокового крыльца въ крытомъ проѣздѣ.

XXV.

Надо было позвонить. Ермилъ Оомичъ жилъ по заграницному. Прислуживали ему камердинеръ и мальчикъ. Какъ холостякъ, онъ дома почти никогда не обѣдалъ: придетъ изъ города, переодѣнется, и на цѣлый вечеръ въ гости или обѣдать; а то въ театръ, если не сидитъ дома и не читаетъ книжку новаго журнала. До журналовъ большой охотникъ и до русскихъ запрещенныхъ книгъ

Анна Серафимовна такъ и разочла: заѣхала къ нему теперь, передъ обѣдомъ. Въ своемъ амбарѣ онъ сидѣлъ только до четвертаго часа, а потомъ заѣзжалъ въ два-три мѣста по городу, а иногда въ Замоскворѣчье. Но домой непременно завернуть, снять визитку, черныи скюртку надѣнуть и шляпу другую. Для амбара у него шелковая, высокая, а для гостей—поярковая, какіи живописцы за границей носятъ.

— Дома Ермиль Ѳомичъ?

Отворилъ камердинеръ небольшого роста, брюнетъ, франтовато и пестро одѣтый.

— Никакъ нѣтъ-съ. Пожалуйте. Сейчасъ будутъ.

Онъ зналъ Анну Серафимовну. Ермиль Ѳомичъ ему на-казывалъ, что „эту даму“ всегда просить и освѣдомляться, не угодно ли чего: чаю, кофею, зельтерской или фруктовой воды.

Домъ у Ермила Ѳомича—небольшой, спаружи не очень внушительный, отдѣланъ художникомъ... Уже въ передней фрески на стѣнахъ и по потолку показывали, что хозяинъ не желалъ довольствоваться обыкновенной барской или купеческой лакейской. Отдѣлка слѣдующихъ комнатъ, бібліотеки, столовой, двухъ гостиныхъ, комнаты въ готическомъ вкусѣ, спальни и образной была извѣстна Аннѣ Серафимовнѣ. Она мало понимала въ произведеніяхъ искусства. Картины, бюсты, вазы оставляли ее равнодушной. И своей „тупости“ она не скрывала. Мужъ ея не покупалъ картинъ. Деньги шли у него на кутежи, чванство, женщинъ и карты. Развить свой артистическій вкусъ ей было не на чемъ у себя дома, а за границей на нее нападала ужасная тяжесть и даже уныніе отъ коче-ванія по заламъ дрезденской галлерей, Лувра, вѣнскаго Бельведера, флорентинскихъ Уффиций.

Но во второй, маленькой гостиной у Ермила Ѳомича виситъ картина—женская головка. Анна Серафимовна всегда остановится передъ ней, долго смотреть и улыбается. Ей кажется, что эта дѣвочка похожа на ея Маню. Ей къ новому году хочется заказать портретъ дочери. За цѣной не постоитъ. Пригласить изъ Петербурга Константина Маковского.

Камердинеръ ввелъ ее въ первую гостиную, съ узорчатымъ ковромъ и золоченой мебелью съ gobленами и спросилъ, какъ всегда:

— Не угодно ли чего приказать?



Она отвѣтила, что ничего не желаетъ, опустилаcь у окна въ кресло и тутъ только почувствовала усталость въ ногахъ, не отъ ходьбы, а отъ волненій сегодняшняго дня.

Потомъ вынула изъ кармана записную книжечку въ шелковомъ сиреневомъ переплетѣ, прикоснулась кончикомъ языка къ карандашу и записала нѣсколько цифръ.

Надо изложить все Ермилу Ѳомичу покороче и подѣлнѣ насчетъ довѣренности и прочаго. А деньги онъ приготовить. Въ банки она не любила вкладывать. Да и не тотъ процентъ. Бумагъ купить — лопнетъ общество или самъ банкъ. Такой же человекъ, какъ Ермилъ Ѳомичъ, не лопнетъ. Ему ничего не значитъ давать ей десять процентовъ. Онъ на дисконтъ и всѣ сорокъ получить съ ся же денегъ.

Съ четверть часа подождала Анна Серафимовна. Каждый разъ, когда она попадала въ домъ Безрукавкина, ей приходила мысль: почему это Ермилъ Ѳомичъ не присватался за нее десять лѣтъ назадъ? Отецъ отдалъ бы за него непременно. Ему, правда, лѣтъ сильно за пятьдесятъ, а тогда было за сорокъ. Влюбиться въ него трудно; да и зачѣмъ? Жила бы въ почетъ, покойно, онъ бы ее только похваливалъ, нашелъ бы въ ней добрую помощницу. И какое она добро дѣлаетъ—все бы ему по душѣ. Онъ книжечку читаетъ больше ея, да и не очень скупъ. Картины его надо бы похваливать, а она не понимаетъ въ нихъ толку. Такъ она и теперь улыбается, когда онъ ей расписываетъ, что вотъ въ этомъ ландшафтѣ есть особеннаго. Она и теперь къ его языку примѣнилась: знаетъ, что есть „сочная кисть“ и „колоритъ“, и освоилась съ словомъ „зализать“ и „компоновка“. А тогда и подавно бы примѣнилась. И вдовой раньше бы была. Будто больше ничего и не надо?

Глаза Анны Серафимовны блеснули и прикрылись вѣками. Еще разъ кусокъ сегодняшняго разговора съ Палтусовымъ припомнился ей. Онъ называлъ ее „соломенной вдовой“. И она сама это подтвердила. У ней это сорвалось съ языка; а теперь какъ будто и стыдно. Вѣдь развѣ не правда? Только не слѣдовало этого говорить молодому мужчинѣ съ-глазу-на-глазъ, да еще такому, какъ Палтусовъ. Онъ не долженъ знать „тайны ея алькова“. Эту фразу она гдѣ-то недавно прочла. И Ермилъ Ѳомичъ, когда разойдется, то такимъ точно языкомъ говорить.

— А!.. безцѣнная Анна Серафимовна!—раздалось надъ ея головой.

Безрукавкинъ, полный, русый, не очень еще старый, бородатый человѣкъ, въ короткомъ клѣтчатомъ пиджакѣ, на видъ скорѣе помѣщикъ, чѣмъ коммерсантъ, протягивалъ ей обѣ руки.

Она встала. Онъ ее опять усадилъ и, не выпуская рукъ, присѣлъ рядомъ на другое кресло.

— Денегъ надо, Ермилъ Ѳомичъ,—весело начала она.

— Черпайте! Приказывайте! Вашъ слуга и казначей...

— Да, можетъ, моихъ-то не хватитъ...

— Такъ за мои примемся. А развѣ муженекъ?!

Въ десяти словахъ она ему все изложила. Ермилъ Ѳомичъ слушалъ, закрывъ совсѣмъ глаза, и чуть слышно мычалъ.

XXVI.

— Такъ вотъ какъ-съ,—выговорилъ съ удареніемъ Безрукавкинъ и поникъ головой.

— Одобряете?—спросила она.

— Еще бы! Абсолютно!

Онъ встряхнулъ волосами по модѣ сороковыхъ годовъ „à la moujik“, и, улыбаясь, глядѣлъ на свою гостью.

— Еще бы!—повторилъ онъ.—Умница вы, да и какая! Васъ бы надо къ намъ въ биржевой комитетъ или въ думу... Ей-ей! Все это превосходно—и полное мое вамъ одобреніе. Завтра пораньше Трифонъ ко мнѣ... Какую надо сумму и проектецъ довѣренности. У меня есть дока... Изъ нашихъ банковыхъ юрисконсультовъ. Я ему завтра покажу, нарочно заѣду. Такъ вы,—онъ началъ говорить тихо,—пенсіончикъ супругу-то положили?..

Они оба расхохотались.

— А за пазухой надо сотни тысячъ держать!

— Да я такъ и буду готовиться, Ермилъ Ѳомичъ.

— Пожалуй, и не хватитъ!..

Онъ ее жалѣлъ. Съ „дамами“ Безрукавкинъ всегда бывалъ любезенъ; но Анну Серафимовну отличалъ особенно. Его влекли къ ней, кромѣ наружности, ея дѣловая натура и „истовый“ видъ, умѣнье держать себя. И по части „вопросовъ“ можно съ ней пройтись. Серьезныя книжки любить читать; статейку ей укажешь—непремѣнно прочесть, слушаетъ его почтительно, спорить мало, и если съ чѣмъ несогласна, возражаетъ умно. Не разъ и онъ

жалѣть, почему не пришло ему на мысль присвататься къ ней десять лѣтъ тому назадъ? Очень ужъ онъ сжился съ своей холостой свободой. Все говорилъ: „такъ-то лучше“, да и не взвѣдѣлся, какъ пятьдесятъ семь годковъ стукнуло.

Анна Серафимовна встала и посмотрѣла, который часъ. Пора на обѣдъ къ теткѣ. Ермилъ Ѳомичъ протянулъ ей обѣ руки и задержалъ ее еще минуты на двѣ въ гостиной.

— Когда же мы сядемъ рядкомъ,—спросилъ онъ,— да потолкуемъ ладкомъ?

— Забываете меня, заѣхали бы какъ-нибудь. Я вечера все дома сижу.

— Какова статейка-то въ послѣднемъ номерѣ, а?

Они перешли въ его библіотеку.

— Не читала еще.

— А-а! Прочтите! Знаменіе времени! Вы раскусите, чѣмъ пахнетъ! Есть что-то такое, какъ бы это сказать... Протестація. Пришелъ конецъ нашему квасу-то. Мы шапками закидаемъ! Мы, да мы! А вся Европа намъ фигу кажется...

Безрукавкинъ быстро подошелъ къ письменному столу и взялъ книгу журнала. Она была развернута. Онъ надѣлъ было очки и собрался прочитать Аннѣ Серафимовнѣ цѣлую страницу.

„Батюшки!“ испугалась она и начала отступать къ двери.

— Торопитесь?—спросилъ онъ съ книжкой въ рукѣ.

— Да, извините, Ермилъ Ѳомичъ, спѣшу.

— Жаль; а тутъ вотъ есть одно выраженіе. Такъ у насъ еще не писали. Я боялся—остановка будетъ мѣсяца на четыре, однако, до сихъ поръ Богъ миловалъ...

— Вотъ вы какой!..—пошутила она.

— Я такой!.. Это точно. Изъ старыхъ западниковъ... У меня какіе друзья-то были? Кто мнѣ дорогу-то указалъ?.. Храни, молъ, Ермилъ, наши... какъ бы это сказать... инструкціи. Я и храню! Передъ Европой я не ки-чусь. Наука...

Онъ не докончилъ и подбѣжалъ къ этажеркѣ съ книгами.

— Эту вещицу не видали?

Глаза его заблестѣли, когда онъ поднесъ брошюру къ лицу Анны Серафимовны. Она прочла заглавіе.

— Интересно?—спросила она боязливымъ звукомъ.

Ермилъ Оомичъ оглянулъ комнату и продолжалъ шопотомъ и немного въ пось:

— Я, вы знаете, этихъ господъ не признаю. Они чрезъ край хватили... Додумались до того, что наука, говорятъ, барское дѣло!.. Каково! Наука! А что бы мы безъ нея были?.. Зулусы, или какъ ихъ еще... вотъ что теперь Станлей, американецъ, посѣщаетъ... А есть два-три мѣта... мое почтеніе! Я отмѣтилъ краснымъ карандашомъ.

Анна Серафимовна стояла уже въ дверяхъ передней.

— Ахъ, да! вамъ къ сѣху... Не хотите ли просмотрѣть брошюру?

— Боюсь, Ермилъ Оомичъ!

— Вы-то?.. Да вы смѣйте любого изъ насъ.

— Гдѣ ужъ! Дай Богъ со своей-то домашней политической справиться.

— Ну, коли такъ, съ Богомъ! Пожалуйте руку. А если что—не побрезгуйте, заверните въ амбаръ.

— У васъ тамъ и безъ меня много дѣла.

— Какой! такъ по инерціи... Ей-Богу! Сидишь-сидишь... Одинъ вексель учтешь, другой, третій; отчетъ по банку или по обществу просмотришь, въ трактиръ чайку. Кистай!.. Ташкентъ!.. По сіе время еще въ татарщинѣ находишься!

И онъ рѣзнулъ себя по горлу.

Въ передней Ермилъ Оомичъ собственноручно отворилъ Аннѣ Серафимовнѣ дверь въ сѣни и крикнулъ камердинеру:

— Проводи!

XXVII.

Къ тетушкѣ Марѣ Николаевнѣ ѣзды было четверть часа. Минуть пять она опоздаетъ—не больше. До сихъ поръ все идетъ хорошо. Ермилъ Оомичъ—вѣрный другъ. Онъ считается, какъ и она, скуповатымъ, а по своей части кряжистымъ „дисконтеромъ“, но она знаетъ, что онъ способенъ открыть ей широкій кредитъ. Да до кредита, авось, дѣло и не дойдетъ. Если она и спуститъ весь свой капиталъ въ первые два года, такъ послѣ выберетъ его. А ея суконная фабрика пойдетъ своимъ обычнымъ порядкомъ. Какой на нее „оборотный“ капиталъ нуженъ, она не тронетъ его. Чистаго дохода съ фабрики она не проживетъ, даже если бы съ мануфактуръ Виктора Мироновича и не получалось никакого дохода, до покрытія его

долговъ. Только надо хорошенько все оговорить и слѣдить за нимъ. Пожалуй, придется имѣть вѣрнаго чело-вѣка за границей.

Она задумалась.

Не хорошо! Что жъ это будетъ, въ сущности? Похоже на шпионство. Какое шпионство? Простое наблюденіе... Подъ рукой кому слѣдуетъ дать знать—магазинщикамъ и прочему люду, что хотя онъ и можетъ подписывать векселя, но платить нечѣмъ, все у него заложено, а распоряженіе дѣломъ у жены. Если онъ не уймется—она ему предложитъ дать ей вторую закладную на мануфактуры. Тогда пускай пишетъ векселя. За нею все равно останется его недвижимость. Не хватить у ней своихъ денегъ, Ермилъ Ѳомичъ дастъ безъ залога, учтетъ вексель на какую угодно сумму, да и въ банкахъ можно учесть. У ней лично кредитъ солидный—гдѣ хочетъ: и въ государственномъ, и въ торговомъ, и въ купеческомъ, и въ учетномъ.

Все дѣла да дѣла, расчеты, подозрѣнія, цифры, рубли. Сушь! А день стоитъ такой радостный. Вотъ пять часовъ, а тепло еще не спало. Даже на весну похоже; воздухъ и грѣетъ, и онахиваетъ свѣжестью.

Анна Серафимовна потянула на себя полы шелкового пальто. Она не вернется домой до вечера. А вечеромъ засвѣжѣетъ. Кто знаетъ, быть-можетъ, и морозикъ будетъ. Въдь черезъ нѣсколько дней на дворѣ октябрь. Ей дадутъ что-нибудь тамъ, у тетки. Она не одного роста съ кузипой, зато худощавѣе.

Колиска ѣхала на добрыхъ рысяхъ, Ефимъ натянулъ вожжи. Лошади, настоявшіе до-сыта, немного горячились и закусывали, то та, то другая, удила уздечки. Разъ два на плохой мостовой порядочно качнуло. Но нить мыслей Анны Серафимовны не прервалась. Дѣла не позволяли ей отдаться своимъ ощущеніямъ. Да она, за послѣднее время, точно отказалась отъ своей жизни. Какъ будто забыла, что ей всего двадцать семь лѣтъ, что считаютъ ее хорошенькой, цѣлуютъ ручки, всячески отличаютъ ее, обходятся съ нею совсѣмъ не такъ, какъ съ женщинами ея круга. Не потому ли, что она слыветъ за миллионершу? Кто знаетъ? И этотъ Палтусовъ точно такъ же...

Она не замѣчала, что уже третій разъ послѣ разговора въ амбарѣ мысль ея переходила къ этому чело-вѣку. Ей хотѣлось теперь еще сильнѣе, чтобы онъ не смотрѣлъ на

нее только какъ на купчиху-скопидомку. Надо ей больше читать; вотъ когда дѣло наладится, послѣ отъѣзда мужа. Она не мало читала и любитъ серьезныя вещи. Не слишкомъ ли ужъ она скромна? Вонъ хотъ бы взять Ермила Ѳомича. Онъ такъ и рѣжетъ. Правда, не всегда у него иностранное слово кстати. Сегодня онъ пустилъ и „протестаціи“ и „инерцію“... А вѣдь онъ на мѣдныя деньги учился. Когда онъ ей разъ записку написалъ, такъ ни одной живой „яти“ не было. Развѣ у ней такая грамотность? Она изъ пансіона второй ученицей вышла... И дѣтей будетъ сама учить — и русскому, и когда надобность будетъ, такъ и ариѳметикѣ и географіи. Степенность и осторожность ее одолеваетъ. И людей мало видитъ умныхъ, развитыхъ. А Ермилъ Ѳомичъ промежду нихъ терся лѣтъ еще двадцать пять назадъ; на немъ и осталась эта чешуя... Вотъ онъ „западникъ“ — и поди съ нимъ тягайся!

Ловко, крутымъ поворотомъ влетѣлъ Ефимъ во дворъ одноэтажнаго длиннаго дома съ мезониномъ и крыльями — въ родѣ галлерей — окрашеннаго въ нѣжно-абрикосовый цвѣтъ. Дворъ уходилъ въ глубь, гдѣ за чугунной бѣлой рѣшеткой краснѣли остатки листьевъ на липахъ и кленахъ. Домъ Марѣи Николаевны Кречетовой занималъ широкую полосу земли, спускавшейся къ Лузѣ. Изъ сада видны были извилины рѣки, овраги, фабрики, мостъ, а надъ ними, на другомъ берегу — богатая церковь и хоромы Рогожской, каланча части, и еще дальше — башни и ограды монастыря. Точно особенный городъ поднимался тамъ, весь каменный, съ золотыми точками крестовъ и главъ, съ садами и огородами, съ внѣшне-строгой обрядной жизнью древняго благочестія, съ хозяйскимъ приюльемъ закромовъ, амбаровъ, погребницъ, сараевъ, рабочихъ казармъ, затѣйливыхъ бесѣдокъ и вышекъ.

XXVIII.

Въ переднюю, просторную, низкую, полукруглую комнату, высыпала молодежь встрѣтить Аппу Серафимовну. Поднялись говоръ, смѣхъ, оглядыванье туалета, поцѣлуи. Всѣхъ шумѣе держала себя ея двоюродная сестра, меньшая, незамужняя дочь Марѣи Николаевны — Любаша, широкоплечая, небольшого роста, грудастая дѣвица. Ея темные волосы были распущены по плечамъ. Замѣтный пушокъ легъ вдоль верхней губы. Разомъ взявшись за руки, накиннулись на гостью двѣ дѣвушки, обѣ блондинки, вы-

сокія, перетянутыя, одна въ короткихъ полосахъ, другая въ косѣ, перевязанной цвѣтною лентой — такія же бойніи, какъ и Любаша, но менѣе рѣзкія и съ болѣе барскими манерами. Одна была консерваторка Кисельникова изъ купеческихъ дочерей, другая — учительница Селезнева, дающая уроки по богатымъ купцамъ, изъ чиновничьей семьи. Онѣ очень походили одна на другую и схоже одѣвались; бывали въ однихъ домахъ, разомъ начинали хохотать и кричать, вмѣстѣ бранились съ своими кавалерами и безпрестанно переглядывались. Въ дверяхъ показались два подростка, въ разстегнутыхъ мундирахъ техническаго училища, а за ними уже изъ залы видна была низменная фигура молодого брюнета въ бородахъ, съ золотымъ ріпсе-нез, въ бѣломъ галстукѣ при черномъ, чрезмѣрно длинномъ сюртукѣ — помощникъ присяжнаго повѣреннаго Мандельштаубъ, изъ некрещенныхъ евреевъ.

— Тетя! Пора! — кричала Любаша, тиская Анну Серафимовну.

Она давно привыкла звать ее „тетя“.

— Всего пять минутъ опоздала.

— Икратъ смерть хочется! — сошкollyничала Любаша на уxo, но такъ, что подружки ея слышали и разразились смѣхомъ.

— Ахъ, Люба! — вырвалось у Селезневой. Она при постороннихъ церемонилась.

— Ну, ладно! — отозвалась Любаша. — Тетя! голубушка! шляпка-то у васъ — цѣлый овинъ. А лихо! Только я ни за что бы не надѣла. Пожалуйста, пожалуйста, родительница ужъ переминается.

Она схватила Анну Серафимовну за плечи и больше потащила, чѣмъ повела въ залу.

— Брысь! брысь! Реалисты-стрекулисты! — крикнула она на technicians, расталкивая ихъ. — Не пылить!..

Въ залѣ накрытъ былъ столъ во всю длину, человекъ на четырнадцать. Особой столовой у Марѣи Николаевны не было. Она не любила и большихъ дубовыхъ шкаповъ. Посуда помѣщалась въ „буфетной“ комнатѣ. Бѣлые съ золотымъ обои, рояль, ломберные столы, стулья, образъ съ лампадкой: зала смотрѣла суховато-чопорно и чрезвычайно чисто. За чистотой блюла сама Марѣя Николаевна, а Любаша, напротивъ, оставляла вездѣ слѣды своей не-
порядочности

— Вы не знакомы?—спросила она помощника въ бѣломъ галстукѣ и указывая на Стапицыну.

— Не имѣлъ удовольствія встрѣчать...—началь было онъ.

— Ну, вы какъ затянете. Тетя моя, то, бишь, сестра двоюродная... ну да это все равно... Анна Серафимовна. Видите, какая прелесть... А это адвокатъ... то, бишь, помощникъ Мандельбаумъ.

— Штаубъ,—поправилъ онъ полуобожженно, но улыбающійся.

За Любой давали полтора ста тысячъ — можно было и православіе принять.

— Ну, все равно! Штаубъ, Баумъ, Шмерцъ. Все едино, что хлѣбъ—что мякина... А вы знаете, тети милан, у насъ зять.

— Кто?—тихо спросила Анна Серафимовна, все еще не пришедшая въ себя.

— Зять, Сонинъ мужъ. Докторъ Лепехинъ. Вотъ сейчасъ справлялся тоже — скоро ли обѣдать. А я ему говорю: лопайте закуску!

— Любовь Савишна,—покачалъ головой брюнетъ,—вы все нарочно.

— Сойдетъ!... Для такихъ кавалеровъ—не начать ли парлефрансе?

И она чуть-чуть не высунула ему языкъ. Дѣвицы шли назадъ и все „прыскали“.

Въ дверяхъ гостиной патынулись они еще на подростка — въ солдатскомъ мундирѣ, очкахъ, съ большимъ количествомъ прыщей на красномъ потномъ лицѣ. Онъ хлопнулъ каблуками.

— Это ничего,—пояснила Любаша Аннѣ Серафимовнѣ.— Изъ училища. — И имъ всемъ говорю: что вы къ намъ шатаетесь; зубрить вамъ надо. Ей-Богу, директору напишу, чтобъ пробрали. А они все насчетъ любовной страсти. Этакіе-то корнусятники!

Любаша приложила руку къ сердцу, сgrimасничала и потрянула своей гривой. Анна Серафимовна сдержанно засмѣялась и шепнула ей:

— Полно, не хорошо!

— Сойдетъ!—крикнула ей въ отвѣтъ Любаша и ввела въ гостиную.

XXIX.

На среднемъ диванѣ, подъ двумя портретами „молодыхъ“, писанныхъ тридцать пять лѣтъ передъ тѣмъ, бодро сидѣла Марѳа Николаевна и наклонила голову къ своему собесѣднику, доктору Лепехину, мужу ея старшей дочери Софьи, медицинскому профессору, прїѣзжему изъ провинціи. Марѳа Николаевна сохранилась: темные волосы, зачесанные за уши, совсѣмъ еще не серебрились даже на вискахъ, красиво сдвинутыхъ. Кожа потемнѣла противъ прежняго, но все еще была для ея лѣтъ замѣчательно бѣла. Въ линіи носа, въ глазахъ, не утратившихъ блеска, сидѣло фамиліное сходство съ племянницей. Она немного согнулась, но не сгорбилась. Голову ея драпировала черная кружевная косынка, надѣтая, по своему, въ родѣ платочка. Черное же шелковое платье, съ большой пелериной, придавало ей значительность и округлило ея сухой станъ. Она все собирала и какъ бы закусывала свои тонкія губы, почему кумушки и болтали, что она придерживается рюмочки. Но это была чистѣйшая клевета. Марѳа Николаевна, правда, имѣла привычку выпивать за обѣдомъ иужиномъ по рюмкѣ тенерифу, но къ водкѣ отъ-роду не прикладывалась.

Обширный диванъ, съ высокой рѣзной орѣховой спинкой, раздѣлялъ двѣ большія печи—расположеніе старыхъ домовъ — съ выступами, на которыхъ стояло два бюста изъ алебастра подъ бронзу. Обивка мебели, шелковая, темно-желтая, сливалась съ такого же цвѣта обоями. Отъ нихъ гостиная смотрѣла уныло и сумрачно; да и свѣтъ проникалъ сквозь деревья—комната выходила окнами въ садъ.

Зятя Марѳы Николаевны Анна Серафимовна видѣла всего два раза: когда онъ вѣнчался, да разъ за границей. Ей показалось, что онъ похудѣлъ и обросъ еще больше волосами. Борода начиналась у него тотчасъ подъ нижними вѣками. На головѣ волосы курчавились и торчали въ видѣ шапки. Ему можно было дать лѣтъ тридцать пять. Въ начинающихся сумеркахъ гостиной блестѣли его большіе, круглые глаза восточнаго типа. Онъ весь вошелъ въ кресло и поджалъ подъ него длинныя ноги. Фракъ сидѣлъ на немъ мѣшковато: профессоръ прїѣхалъ отъ какого-то чиновнаго лица.

— Ахъ, Аннушка!—встрѣтила Марѳа Николаевна пле-

мянницу своимъ пѣвучимъ голосомъ.—Мы думали—не будешь. Спасибо, спасибо!

Старуха приподнялась съ дивана, вышла изъ-за стола, обняла Анну Серафимовну и поцѣловала ее два раза.

— Маменька!—вмѣшалась Любаша.—Я велю давать супъ. Мужчинки!—крикнула она,—полумужчинки! закуску можете травить!.. Маршъ!

— Люба! что ты это мелешь?—не то что очень строго, но все-таки по-матерински, остановила ее Марѳа Николаевна.

Она давно перестала сердиться на дочь за ея языкъ и обхождение. Ссориться ей не хотѣлось. Пожалуй, сѣбѣ жить... Лучше на покоѣ дожить, безъ скандала. Марѳа Николаевна только въ этомъ дѣлала поблажку. Въ домѣ хозяйкой была она. Деньги лежали у нея. Всю недвижимость мужъ ей оставилъ въ пожизненное владѣніе, а деньги прямо отдалъ. Люба это прекрасно знала.

— Егоръ Егорычъ,—обратилась она къ зятю, — наша Аннушка-то какая милая... Вы какъ ровно не признали ее.

— Признать-сь,—отвѣтилъ горловымъ голосомъ зять, всталъ и протянулъ руку Аннѣ Серафимовнѣ.

Онъ ей никогда не нравился. Она даже побаивалась его учености и рѣзкаго тона. Говорилъ онъ точно ногу или руку рѣзалъ.

— Закусить милости прошу, — пригласила старуха. — Люба! проси гостей въ залу.

Шлеманницу Марѳа Николаевна придерживала въ гостиной и шепнула ей:

— Не привезъ жену-то!.. Такъ скрутилъ. Даромъ что бойка была. Вотъ я тоже и Любви говорю: дай срокъ-отъ, нарвешься ты вотъ на такого же большака...

Онершись слегка на руку Анны Серафимовны, красивая старуха перешла въ залу, истово перекрестилась большимъ крестомъ, сѣла на хозяйское мѣсто, гдѣ высилась стопа тарелокъ, и начала неторопливо разливать щи.

— Сюда, сюда,—указывала она рядомъ съ собою Аннѣ Серафимовнѣ.

Молодежь долго шу пугалась и топталась около закуски. Изъ задней двери выплыли двѣ сѣрыя фигуры и сѣли, молча поклонившись гостямъ.

— Гдѣ же Митроша?—спросила Марѳа Николаевна.

— Не прѣзжалъ еще!—отклинулась Любаша. — Намъ



изъ-за него не...—Она хотѣла сказать „околѣвать“, но воздержалась.

Остались не занятыми два прибора. Подростки и дѣвицы, наѣввшись закуски, загремѣли стульями и заняли уголъ противъ хозяйки.

XXX.

— Тетя!—крикнула Любаша черезъ весь столъ, упершись объ него руками, — знаете, кого мы еще къ обѣду ждали?

— Кого?

— Сеню Рубцова... вы его помпите ли?

Анна Серафимовна стала вспоминать.

— Рождественникъ дальній,—пояснила Марѳа Николаевна, —Анѣнсы Ивановны покойницы сынокъ. И тебѣ придется также,—наклонилась она къ племянницѣ.

— Нашему слесарю—двоюродный кузнецъ!..—откликнулась Любаша.

Техники и юнкеръ какъ-то гаркнули однимъ духомъ.

Профессоръ ѣлъ щи и сильно чмокалъ, посапывая въ тарелку. Прислуживалъ человекъ въ сюртукѣ степеннаго покроя, изъ бывшихъ крѣпостныхъ, а помогала ему горничная, разпосившая поджаристыя большія вотрушки. Посуда изъ англійскаго фаянса, съ синими цвѣтами, придавала сервировкѣ стола характеръ еще болѣе тяжеловатой зажиточности. Въ домѣ всѣ пили квасъ. Два хрустальныхъ кувшина стояли на двухъ концахъ, а посрединѣ ихъ массивный граненый графинъ съ водой. Вина не подавали иначе, какъ при гостяхъ, кромѣ бутылки тене-рифа для Марѳы Николаевны. На этотъ разъ и передъ зятемъ стояла бутылка дорогаго рейнскаго. Молодежи поставили двѣ бутылки лавинской воды; но техники и юнкеръ пили за закускою водку, и глаза ихъ искрились.

— Тетя! — крикнула опять Любаша. — Сеня-то какой сталъ чудной! Мериكانца изъ себя корчитъ. Мы съ нимъ здорово ругаемся.

Анна Серафимовна ничего не отвѣтила. Она разслышала, какъ адвокатскій помощникъ сказалъ Любашѣ:

— А вы большая охотница... до этого?..

Тетка старалась ввести се въ разговоръ съ зятемъ. Онъ обѣихъ давилъ своимъ присутствіемъ, хотя и держался непринужденно, какъ въ трактирѣ, и не выражалъ желанія кого-либо изъ присутствующихъ занимать разговорами.

— Вотъ, Егоръ Егорычъ,—начала Марѳа Николаевна,—разсказываетъ про свои мѣста... Про поляковъ... не очень ихъ одобряетъ...

Онъ только повелъ бѣлками и выпилъ послѣ тарелки шей большую рюмку рейнвейна.

— Егоръ Егорычъ,—подхватила съ своего мѣста Любаша,—прославился тѣмъ, что Дарвинову теорію приложилъ къ обрусѣнію... Не пуцай! какъ у Щедрина...

Вся молодежь расхохоталась. Мандельштаубъ даже взвизгнулъ, бѣлокурныя дѣвицы переглянулись и толкнули одна другую.

— Люба!—строго остановила мать и покачала головой.

Обросшія щеки профессора пошли пятнами.

— А вы знаете ли, что такое Дарвинова теорія?—спросилъ онъ глухо.

— Гни въ бараній рогъ! Кто кого сильнѣе, тотъ того и жри!..—обрѣзала уже въ сердцахъ Люба.

Она терпѣть не могла своего шурина.

— И будемъ гнутьъ съ!—также со злостью отвѣтилъ онъ и ударилъ ножомъ о скатерть.

„Господи!..—подумала Анна Серафимовна, — они подерутся“.

Подали круглый пирогъ съ курицей и рисомъ, какіе подавались въ помѣщичьихъ домахъ до эмансипаціи. Зазвонили ножи, всѣ присмирѣли и въ молодомъ углу бѣли запуски... Любаша ужасно дѣйствовала своимъ приборомъ. Анна Серафимовна старалась не глядѣть на нее. Вилку Любаша держала торчкомъ, прямо и „всей пятерней“—какъ замѣчала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножикъ—также, бѣла съ пожа рѣшительно все, а дичь, цыплятъ и всякую птицу исключительно руками, такъ что и подругъ своихъ заразила тѣми же пріемами. Невольно бросила Анна Серафимовна взглядъ на свою кузину. Въ эту минуту Любаша совсѣмъ легла на столъ грудью, локти приходились въ уровень съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ ставятъ стаканы, она громко жевала, губы ея лоснились отъ жиру, обѣими руками она держала косточку курицы и обгрызывала ее. Глаза ея задорно были устремлены на зятя и говорили:

„Вотъ дай срокъ, я доложу, задамъ я тебѣ феферу!“

— Какъ вы это страшно сказали,—съ улыбкой замѣтила Анна Серафимовна профессору.

Онъ дожевывалъ и, не поднимая головы, выговорилъ:

— Такой народ!..

— Маменька,—донесся голос Любаша, — здѣсь вина нѣтъ... Тамъ реинвейнъ стоитъ.—и она ткнула рукой въ воздухъ,—а здѣсь хоть бы чихирю какого поставили.

Мать показала головой лакею на свою бутылку тепе-рифу.

— Нѣтъ, нѣтъ! Покорно спасибо. Пожалуйста намъ краснаго!.. Лафиту!

Подозвана была горничная. Марѳа Николаевна что-то шепнула ей и сунула въ руку ключи.

Въ передней слышались шаги.

— Вотъ Митроша!—возвѣстила Любаша; потомъ оглядѣла всѣхъ и вскрикнула:—Вѣдь насъ тринадцать будетъ!..

Всѣ переглянулись, не исключая и зятя. Мать пустила косвенный взглядъ на двѣ сѣрыя фигуры: одна была приживалка—майорша, другая—родственница, вдова злостнаго банкрота.

— Ха-ха!—сквозь зубы разсмѣялся зять и поглядѣлъ на Любашу.—Дарвина нмѣ всеу употреблете, а тринадцати за столомъ бонтесть.

— И боюсь! И всѣ боятся, только стыдно сказать... И вы, когда поща встрѣтите, что-то такое выдѣлываете, я сама видала.

Приживалка-родственница безмолвно встала и отошла въ сторону.

— Поставь ихъ приборъ на ломберный столъ,—приказала лакею Марѳа Николаевна.

Всѣ точно успокоились и стали добѣдать рись и сдобныя корки пирога. Подали и бутылку краснаго вина. Досталось по рюмкѣ молодому концу стола. Любаша пролила свое вино; юнкеръ началъ засыпать пятно солью и высыпать всю солонку.

XXXI.

Къ ручкѣ Марѳы Николаевны подошелъ сынъ ея Митроша, или „Митрофанъ Саввичъ“, какъ звала его сестра, когда желала убѣдить его въ томъ, что онъ „идіотъ“ и „чучело“. Онъ походилъ на сестру только широкой костью и не смотрѣлъ ни гостинодворцемъ, ни биржевикомъ. Всег скорѣе его приняли бы за домашняго учителя, или да за оставшаго военнаго, отпустившаго бороду. Одѣтъ онъ былъ въ модный темный драповый сюртукъ, но все

немъ сидѣло небрежно и точно съ чужого плеча. Рыжеватые волосы, давно не стриженные, выдавались надъ лбомъ длиннымъ клокомъ, борода росла въ разныхъ направленихъ. На переносицѣ залегли двѣ прямыя морщины, и брови часто двигались. Ему минуло двадцать семь лѣтъ.

Митрофанъ Саввичъ поклонился всѣмъ небрежно и торпливо, и сѣлъ рядомъ съ шуриномъ. Онъ его почиталъ и постоянно ему поддакивалъ. Анна Серафимовна знала напередъ, какъ онъ будетъ себя вести: сначала посидитъ молча, будетъ жадно „хлебать“ щи и громко жевать сухую ѣду, а тамъ вдругъ что-нибудь скажетъ насчетъ политики или биржи, и начнетъ кричать сильнѣе, чѣмъ Любаша, точно его кто больно сѣчетъ по голому тѣлу; прокричавшись, замолчитъ и впадетъ въ тупую угрюмость. Если за столомъ сидитъ кто, играющій на какомъ-нибудь инструментѣ, онъ заговоритъ о своемъ корнетъ-цистонѣ. Играетъ онъ цѣлые дни, по возвращеніи домой, собралъ на своей половинѣ цѣлую коллекцію мѣдныхъ инструментовъ, а когда устанетъ, призоветъ двухъ артельщиковъ и приказываетъ имъ дѣйствовать на механическомъ фортепіано. Съ десяти до четырехъ онъ сортируетъ товаръ: жарену, кубовую краску, буру, баканъ, кошениль, скипидаръ, керосинъ. Въ этомъ онъ считается большимъ докой. Передъ обѣдомъ бываетъ на биржѣ. Анна Серафимовна все это знала и почему-то, каждый разъ, говорила себѣ: „А вѣдь свезутъ его когда-нибудь въ Преображенскую больницу“.

Не прошло и пяти минутъ, какъ Митроша выпилъ квасу и уже кричалъ высокой фистулой по поводу какой-то дедши объ англичанахъ:

— Торгаши проклятые!.. Опять гадить!.. Ужъ мы ихъ припремъ!.. Эти самые текинцы! Откуда взялись текинцы? Биконсфильдъ!.. Жидовское отродье! И вдругъ въ лорды прозвели! Съ паршами-то!

Помощникъ присяжнаго повѣреннаго повернулъ голову въ своихъ высокихъ стоячихъ воротникахъ при крикѣ „жидовское отродье“. И „парши“ ему не пришлось по вкусу. Въ другомъ мѣстѣ онъ напомнилъ бы, что и Спильова былъ тоже „съ паршами“, но полторасти тысячь... все полторасти тысячь...

Любаша наклонилась къ нему и сказала громкимъ шопотомъ:

— Пускай его!.. Сейчасъ клапанъ-то закроется! У него вѣдь это вдругъ!..

Дѣвцы хотѣли расхохотаться, но просидѣли тихо: каждая имѣла тайные виды на Митрошу.

Шуринъ согласился съ нимъ. Молодежь слышала, какъ онъ съ какимъ-то даже щелканьемъ своихъ бѣлыхъ зубовъ сказалъ:

— Пустить надо грамоты! Индійскій народъ за насъ.

„Что за столпотвореніе вавилонское“, подумала Анна Серафимовна. — Ее начало давить, какъ во снѣ, когда вась „домовой“ — такъ ей разсказывала когда-то няня — душить своей мохнатой лапой.

Рыба, на длинной деревянной доскѣ, покрытой салфеткой, слѣдовала за пирогомъ. Соусъ „по-русски“ подавала горничная особо. Любаша, какъ и всѣ, кромѣ Анны Серафимовны—ее научилъ мужъ—ѣла всякую рыбу ножомъ и крошила ее, точно она собирается мастерить тюрю. Никто не услышалъ, какъ въ дверяхъ залы показался новый гость, высокаго роста, съ волосами и бородкой каштановаго цвѣта и пробритой губой, что могло бы придавать ему наружность голландскаго или шведскаго шкипера. Но черты его загорѣлаго лица были чисто-русскія, не очень крупныя. Круглый носъ и свѣтло-сѣрые глаза, сочныя губы и широкій подбородокъ, — все это отзывалось Поволжьемъ. Вокругъ рта и подъ носомъ появлялись мелкія складки юмора. Онъ держалъ въ рукахъ шотландскую шапочку. На немъ плотно сидѣлъ клѣтчатый коричневый сюртъ. Его сапоги на двойныхъ подошвахъ издавали сильный скрипъ.

— Сенья!—первая увидала его Любаша, бросила салфетку, не утеревшись, и вскочила изъ-за стола.

— Опять тринадцать будетъ!—крикнула дѣвица Селезнева.

Приживалку посадили на прежнее мѣсто. Было не мало хохоту. Новый гость пожалъ руку Марѣ Николаевнѣ, Любашѣ, ея брату и шурину. Его посадили рядомъ съ Анною Серафимовною.

XXXII.

Ихъ перезнакомили. Дѣйствительно, онъ приходился въ одинаковомъ дальнемъ родствѣ и покойному мужу Марѣ Николаевнѣ, и ей самой, а стало-быть и Аннѣ Серафимовнѣ. Тетка припомнила племянницѣ, что они

„съ Сеней“ игрывали и даже „дирались“, за что Сеню разъ больно „выдрали“.

Анна Серафимовна незамѣтно, но внимательно оглядѣла его.

— Какъ васъ звать?—тихо спросила она подъ шумъ голосовъ и стукъ ножей.

— Купеческій братъ Любимъ Торцовъ,—пошутилъ онъ.

Говоръ его не то что отзывался иностраннымъ акцентомъ, а звучалъ какъ-то особенно, пожестче московскаго.

— Нѣтъ, по отечеству?

— Тихоничъ! уже совсѣмъ по-купчески произнесъ онъ и даже на „о“ сильнѣе, чѣмъ она произносила.

Это ей понравилось.

— Вы на Волгѣ все жили?—спросила она.

— На Волгѣ... десять лѣтъ невступно.

— Вѣдь я старше васъ?—ласково выговорила она, и въ первый разъ подольше остановила на немъ свои глаза.

Рубцовъ тоже уставилъ глаза въ ея брови: онъ такихъ давно не видалъ.

— Ну, врядъ ли,—бойко, немного хриповатымъ голосомъ отвѣтилъ онъ...—Мнѣ двадцать шестой пошелъ. Я вѣкъ Митрофана на два года моложе.

— А я васъ на два года старше...

Ей и то почему-то было пріятно, что она старше его... На видъ онъ смотрѣлъ тридцатилѣтнимъ.

— И вы,—продолжала она понемногу спрашивать,—давно съ Волги-то?

— Да... семь годовъ будетъ... Аттестатъ зрѣлости не угодилъ получить. Вы нешто не слышали? Отецъ въ дѣлахъ разорился въ лоскъ... И мать въ скорости умерла. Сестра въ Астрахани замужемъ. Вотъ я, спасибо доброму чловѣку,—и уѣхалъ за море.

— Въ Англіи все были?

— И въ Америкѣ тоже. Какія крохи оставались—я махнулъ на нихъ рукой... Да вы что же все про меня? Вы лучше про себя расскажите. Вонъ вы, сестричка, какая... Вы не обидитесь. Я васъ, помню, такъ звалъ.

— Зовите... И по какой же вы тамъ части?

— Да по всякой... Кой-чему научился, какъ слѣдуетъ. Изъ фабричнаго дѣла—суконное знаю порядочно.

— Суконное?—вскричала Анна Серафимовна.

— А что?

— Какъ это *славно!*

— Не хотите ли меня брать?

-- Что же?

— Смотрите! Дорого я!

Онъ разсмѣялся, и она съ нимъ. Имъ стало ловко, весело, они сейчасъ почувствовали, что во всемъ обществѣ только между собою и могутъ вести они разговоръ людей, понимающихъ другъ друга. Появленіе этого „брatца“ сегодня, послѣ сцены въ амбарѣ, предъ открывающеюся передъ нею вереницей дѣловыхъ заботъ и одиночества, — разомъ освѣжило Анну Серафимовну... Не даромъ, точно по предчувствію, спѣшила она къ теткѣ. Ей, конечно, было бы пріятнѣе найти въ Семенѣ Тихоновичѣ побольше нязищества въ манерахъ и въ говорѣ; но и такъ онъ для нея былъ подходящій человѣкъ... Въ немъ она учуяла характеръ и живой умъ. Такой малый — не выдастъ... Остался мальчикомъ въ погромѣ дѣла отца, не пропасть, учился, побывалъ въ Америкѣ... Не шутка! И все-таки не важничаетъ, не тычетъ въ носъ заграницей, говорить сильно на „онъ“, напоминаетъ ей своимъ тономъ дѣтство. Да еще моложе ея на два года!..

Любаша съ прихода Рубцова замѣтно притихла. Она прислушивалась къ разговору его съ Анной Серафимовной, начала насмѣшливо улыбаться, отъ жаренаго — подавали индѣйку, чиненую каштанами — отказалась и сложила даже руки на груди; а ротъ вытерла старательно салфеткой. Она не нападала на этого „брatца“ такъ смѣло, какъ на шурина, а больше отшучивалась.

За пирожнымъ — яблочный пирогъ со сливками — Рубцовъ, видя, какъ она пустила шарикъ въ носъ одному изъ техникувъ, — сказалъ ей тономъ взрослого съ дѣвочкой:

-- Безъ пирожнаго оставимъ!.. Который годокъ-то?

— Двадцать лѣтъ! — отвѣтила она и хотѣла ему показать языкъ.

— Хорошо, что я сегодня здѣсь около бабушки сижу, — обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ; — а то кузиночка-то все книжками меня пугаетъ. Все насчетъ обмѣна вещей... Штофъ-вексель. Изъ физиологін-съ!..

— Я вижу, что тебѣ хорошо тамъ, присосѣдился, — подхватила Любаша и начала шептаться съ подругами.

Всѣ три дѣвицы встали изъ-за стола, гремя стульями. Любаша, когда приходилось „прикладываться“ — такъ она называла цѣлованіе руки у матери — не могла не замѣтить Рубцову и Аннѣ Серафимовнѣ:

— Васъ теперь, я вижу, и водой не разольешь.
— Что мы, собаки, что ли?—возразилъ Рубцовъ.—Эхъ, кузиночка! А еще Гамбетту видѣли живого.

XXXIII.

Всѣ перешли въ гостиную; но Любаша и остальная молодежь, видя, что Рубцовъ отошелъ къ окну вмѣстѣ съ Анною Серафимовною, потащила всѣхъ въ мезонинъ, гдѣ помѣщался бильярдъ. Митроша сѣлъ съ шуриномъ играть въ карты въ вистъ. Для этого приглашена была одна изъ приживалокъ—майорша. Марѳа Николаевна отдыхала послѣ обѣда съ полчаса. За столъ сѣли поздно, и глаза у ней слипались.

Она тихо подошла къ племянницѣ, взяла ее за плечи, поцѣловала въ лобъ и поглядѣла на Рубцова, стоявшаго немного поодаль.

— Видишь, Сения, сестрица-то у тебя какая?

И старуха нѣжно погладила племянницу по волосамъ. Глаза Анны Серафимовны такъ и горѣли въ полусвѣтѣ гостиной, гдѣ лампа и двѣ свѣчи за карточнымъ столомъ оставляли темноту по угламъ.

Рубцовъ заглядѣлся на свою „сестрицу“.

— Вамъ, тетенька, бай-бай?—спросила Анна Серафимовна.

— Я на полчаса... Ты посидишь?

— Дѣтей я не видала съ утра.

— Не съѣдать... Ну, я пойду, велю вамъ сладенькаго подать.

Тутъ только Анна Серафимовна вспомнила про ананасъ. Его сейчасъ принесли. Тетка была тронута и сказала шопотомъ:

— Пускай постоитъ. Тѣмъ не стѣитъ давать.

Согнутая спина старухи, съ красивыми очертаніями головы, исчезла въ дверяхъ слѣдующей комнаты.

Рубцовъ указалъ Аннѣ Серафимовнѣ на два кресла у окна.

— Курите?

— Нѣтъ!

— Паленька не позволятъ? Онъ вѣдь на этотъ счетъ строгъ былъ.

— И у самой охоты не было.

Ей дѣлалось все ловчѣе съ нимъ и задушевнѣе, хотя онъ и не смотрѣлъ особенно ласково. Домашнія обиды и



дрянность мужа схватили ее за сердце; но она подавила это чувство. Она не станет ему изливаться. Послѣ, можетъ-быть, когда сойдутся совѣтъ по-родственному.

— У васъ сколько же дѣтокъ?—спросилъ онъ, закуривая собственную хорошую сигару.

— Двое: мальчикъ и дѣвочка.

— Красныя дѣтки?—Про мужа онъ не сталъ разспрашивать,—она догадалась, почему,—сказать только вскользь:—Супруга вашего показали мнѣ разъ на выставкѣ, въ Парижѣ.

Однако, она сообщила ему, между прочимъ, когда подали имъ фрукты и конфеты, что беретъ все дѣло въ свои руки.

— Ой ли!—вскрикнулъ онъ и всталъ.

Тутъ онъ разспросилъ ее про размѣры дѣла, про мануфактуры мужа и про ея суконную фабрику. О фабрикѣ она говорила больше и заохотила его посмотрѣть, и про свою школу упомянула.

— Хвалю!—кратко замѣтилъ онъ.

Съ директоромъ у пей мало ладу, а контрактъ его еще не кончился. Директоръ — нѣмецъ, упрямъ, держится своихъ пріемовъ, а ей сдается, что многое надо бы измѣнить.

— Вы бы заглянули,—пригласила она.

— Какъ, въ родѣ эксперта?—спросилъ онъ съ удивленіемъ на з.

— Вотъ, вотъ!

Прибѣжала Любаша угощать ихъ „своими конфетами“, поднесенными ей Мандельштаубомъ.

— Маменька-то,—разказала она имъ,—ни съ того, ни съ сего, генеральшу прикармливать стала, а та у ней серебряный шандаль и стащила.

— Ахъ!—пожалѣла Анна Серафимовна.

— Да, всѣ вышли, а она и стибрила. Зато настоящая генеральша... У ней, кто чиномъ выше изъ салопницъ,—тотъ ее и разжалобить скорѣе.

Они ничѣмъ не поддержали ея балагурства. Любаша убѣждала и крикнула имъ:

— Естественный подборъ!..

Анна Серафимовна поняла намекъ. Рубцовъ крикнулъ и мотнулъ головой.

— Чудеса въ рѣшетѣ, — началъ онъ. — Москательный товаръ и происхожденіе видовъ Дарвина... и приживалки-генеральши!

— Нынче такъ пошло,—точно про себя замѣтила Анна Серафимовна.

— Да, на линіи дворянъ, какъ мнѣ на той недѣлѣ въ Серпуховѣ лакей въ гостиницѣ сказалъ.

Такъ они и проговорили вдвоемъ. Она узнала, что Рубцовъ еще не поступилъ ни на какое мѣсто. Всего больше рассказывалъ онъ про Америку; но у янки не все одобрялъ, а раза два обозвалъ ихъ даже „жуликами“ и прибавилъ, что вездѣ у нихъ—взятка забралась. Францію хвалилъ.

Партія въ вистъ кончилась. Въ залѣ стали играть и пѣть. Любаша играла бойко, но безалаберно, пѣла съ выраженьемъ, но ничего не могла додѣлать.

— Ничего не любитъ кузиночка-то,—выговорилъ Рубцовъ.—Только тѣшить себя!

Изъ половины Митроши доносились звуки корнета и гулъ механическихъ фортепьянъ. Профессора онъ поилъ венгерскимъ и угостилъ хоромъ:

„Славься, славься, святая Русь!..“

XXXIV.

Засвѣжѣло. Анна Серафимовна уѣхала отъ тетки въ десятомъ часу. Рубцовъ проводилъ ее до коляски. Она взяла съ него слово быть у ней черезъ три дня.

— Мужъ уѣдетъ,—говорила она ему,—по дѣламъ управлюсь... Тогда на свободѣ... Буду ждать къ обѣду...

Коляска поднималась и опускалась. Горѣли сначала керосиновые фонари, потомъ пошелъ газъ, переѣхали одинъ мостъ, опять дорога пошла на изволокъ, городомъ, Кремлемъ—добрыхъ полчаса на хорошихъ рысяхъ. Домъ тетки уходилъ отъ нея и послѣ разговора съ Рубцовымъ обособился, выступалъ во всей своей характерности. Неужели и она живетъ такъ же? Чувство капитала, москальский товаръ, сукно: вѣдь не все ли едино?

„Затѣи. Одинъ дудить въ трубу, другая озорничаетъ, ничего не любятъ, ни для чего не живутъ, кромѣ себя. Какъ еще не повѣсятся съ тоски—удивительное дѣло!“

Ефимъ сдержалъ лошадей у крыльца. Анна Серафимовна не громко позвонила. Сѣни освѣщались въсвѣчей лампой. Ей отворилъ швейцаръ—важный человѣкъ, представленный мужемъ. Она его отпустить на-дняхъ. Бѣлая, лодъ мраморъ, стѣны сѣней и лѣстницы при матовомъ свѣтѣ лампы отсвѣчивали молочнымъ отливомъ.

На верхней площадкѣ ее встрѣтила не старая еще женщина — ея довѣренная горничная-экономка, Авдотья Ивановна, въ короткой шелковой кацавейкѣ и въ „го-ловкѣ“. Она ходила беззвучно, сохраняла слѣды краси-выхъ чертъ лица и говорила сладкимъ московскимъ го-воромъ.

— Что дѣти?—тихо спросила Анна Серафимовна.

— Уложили-съ — започивали. Мадамъ тоже ушедши изъ дѣтской.

При дѣтяхъ состояла англичанка-бонна. Авдотья Ива-повна пошла впередъ со свѣчей, черезъ высокія, полныя темноты, парадныя комнаты. Половина Виктора Миро-ныча помѣщалась внизу. Когда Анна Серафимовна бывала въ гостяхъ и даже дома одна, ни залы, ни двухъ гости-ныхъ не освѣщали.

Домъ спаль, со своей штофной мебелью, гардинами, коврами и люстрами. Чуть слышались шаги обѣихъ жен-щинъ.

— Баринъ заѣзжали недавно,—не поворачиваясь доло-жила Авдотья Ивановна.

Она всегда что-нибудь сообщить про „барина“, хотя Анна Серафимовна и не поощряла этого.

Черезъ коридорчикъ прошли они въ дѣтскую.

— Не разбуди,—шопотомъ сказала Станицына Авдотья Ивановна, останавливая ее у дверей.

Въ дѣтской стоялъ свѣжій воздухъ. Лампадка за аба-журомъ позволяла разглядѣть двѣ кровати съ сѣтками. Мать постояла передъ каждой изъ нихъ, перекрестила и вышла.

Въ своей спальнѣ, съ балдахинномъ кровати, обитымъ голубымъ стеганымъ атласомъ,—Анна Серафимовна очень скоро раздѣлась, съ полчаса почитала ту статью, о ко-торой спрашивалъ ее Ермилъ Ѳомичъ, и задула свѣчу въ половинѣ одиннадцатаго, рассчитывая встать пораньше. Она никогда не запирала дверей.

Часу въ четвертомъ она проснулась и закричала. Ей почудилось во снѣ, что воры забрались къ ней. Спальня тонула въ полутьмѣ лампадки.

— Кто тутъ?!—дико крикнула она и сѣла въ постели, вскинувъ руками.

— Anna! C'est moi!—проговорилъ голосъ ея мужа, не-твердый, но нахальный.—Не бойся!..

Она сейчасъ накинула на себя кофточку. Отъ Виктора

Миронича пахло шампанскимъ. Въ полусвѣтѣ виднѣлись его длинныя ноги, голова клиномъ, глаза искрились и смѣялись.

— Что вамъ нужно отъ меня?—гнѣвно и глухо спросила она.

Мужъ уже сидѣлъ у ней на кровати.

— Анна!—говорилъ онъ не очень пьянымъ, по фальшиво чувствительнымъ голосомъ...—Зачѣмъ намъ ссориться? Будемъ друзьями... Ты видѣла сегодня—я на все согласенъ... Но тридцать тысячъ... *C'est bête!*.. Согласись! это... это...

Вмигъ поняла она, въ чемъ дѣло.

— Вы проигрались?..

— *Mais écoutez...*

— Програлись?—повторила она и совѣмъ сѣла въ постели.—Не лгите! Сколько? Сейчасъ же говорите!

Онъ былъ такъ ей гадо въ эту минуту, что рука зудѣла у нея...

— Не кричите такъ!...—обидѣлся онъ и всталъ.

— Сколько? Ну, все равно, завтра мы увидимъ. По уходите, Викторъ Мироничъ, ради Бога, уходите!

— Будто я такъ?.. *Je vous donne si peu sur la peau?*..

И онъ захохоталъ... Вино только тутъ начало забирать его... Но не успѣлъ онъ повернуться, какъ двѣ нервныя руки схватили его за плечи и толкнули къ двери.

Долго, больше получаса, въ спальнѣ раздавалось глухое женское рыданіе. Анна Серафимовна лежала ничкомъ, головой въ подушку.



Книга вторая.

I.

Утромъ, часу въ десятомъ, передъ подъездомъ дома коммерціи совѣтника Евлампія Григорьевича Нѣтова стояла двумѣстная карета. Моросилъ октябрьскій дождикъ. Переулочекъ еще не просыпался, какъ слѣдуетъ. Въ немъ все больше барскіе дома и домики съ мезонинами и колоннами въ александровскомъ вкусѣ. Лавочекъ почти нѣтъ. Бульваръ неподалеку. Домъ Нѣтову строилъ модный архитекторъ, большой охотникъ до древне-русскихъ украшеній и снаружи, и внутри. Стройка и отдѣлка обошлись хозяину въ триста тысячъ, даромъ что домъ всего двухъэтажный. Зато такихъ хоромъ не много найдешь на Москвѣ по фасаду и комнатному убранству.

Кучеръ, въ мѣховомъ кафтанѣ, но еще въ лѣтней шляпѣ, курилъ папиросу. За дышло держался одной рукой конюхъ въ короткой синей сибиркѣ, со щеткой въ другой рукѣ. Они отрывочно разговаривали.

— Куды-ы?—переспросилъ кучеръ, не выпуская изъ рта папиросы.

— Сказывала Глаша,—за границу.

— Вотъ оно что!..

— Легче будетъ.

— Это точно... Онъ куды проще...

— Однако тоже бываетъ привередливъ...

— Съ такихъ-то милліоновъ будешь и ты привередливъ...

Швейцаръ отворилъ наружную массивную дверь, за которой открылась стеклянная. Онъ улыбнулся кучеру и почистилъ бронзовое яблоко звонка.

— Скоро выйдетъ?—крикнулъ ему конюхъ.



— Одѣвается, — смѣшливо отвѣтилъ швейцаръ, не очень рослый, но широкій малый, изъ гусарскихъ вахтеровъ, курносый, въ гороховой ливреѣ, совѣлъ не купеческій привратникъ.

Онъ потеръ еще суконкой чашку звонка и ушелъ. Дождь немного стихъ; вмѣсто дожди начала падать изморось.

— Экъ ее! — замѣтилъ флегматично кучеръ и дернулъ вожжой: правая лошадь часто заигрывала съ лѣвой и кушала дышло.

Дернулъ ее за узду и конюхъ.

Разговоръ прекратился; только слышно было дыханіе рослыхъ, вороныхъ лошадей и вздрагиваніе позолоченныхъ уздечекъ.

Швейцаръ вернулся въ сѣни. То были монументальные пропиленіи. Справа большая комната для сбереженія платья открывалась на площадку дверью въ полу-египетскомъ, полувизантійскомъ „пошибѣ“. Прямо, противъ входа, надъ лѣстницей въ два подъема, шла поперечная галлерей съ тремя арками. Свѣтъ падалъ изъ оконъ второго этажа на разномѣтный искусственный мраморъ стѣны и арки и на бѣлый, настоящій мраморъ самой лѣстницы. Два темно-малиновыхъ ковра, на обонхъ подъемахъ, наминали немного входъ въ дорогой заграничный отель. Но стѣны, верхняя галлерей, арки, столбы, стиль фонарей между арками, украшенія перилъ, мебель въ сѣняхъ и на галлерей выказывали затѣю московскаго миліонщика, отдавашаго себя въ руки молодого, славолюбиваго архитектора.

Ступени лѣстницы, стѣны и арки отливали матовымъ блескомъ; ничто еще не успѣло запылиться или потускѣть. Видны были строгость и глазъ въ порядкахъ этого дома. Швейцаръ тотчасъ же подошелъ къ мраморному подзеркальнику, отряхнулъ и обчистилъ щетку и гребенку, двѣ шпалы и бровную шпалку, лежавшія тутъ вмѣстѣ съ нѣсколькими парами перчатокъ. Потомъ онъ вынесъ изъ нѣсколькой низменной комнаты — гдѣ вѣшалки съ металлическими номерами шли въ нѣсколько рядовъ — стеганую шинель на атласѣ, съ бобромъ, и калоши, бережно поставилъ ихъ около лѣстницы, а шинель сложилъ на кресло, выточенное въ формѣ русской дуги. Другое, точно такое же, стояло симметрично напротивъ. Самъ онъ подошелъ къ зеркалу, поправилъ бѣлый галстукъ и застегнулъ ливрею на послѣднюю верхнюю пуговицу.

На галлерей видны были снизу два офиціанта въ тем-



ныхъ ливреяхъ, съ большими золотыми, тиснеными пуговицами. Одинъ стоялъ спиной влѣво, у входа въ парадныя комнаты, другой въ средней аркѣ.

— Одѣлся?—полушопотомъ спросилъ швейцарь.

— Нѣтъ еще... Викентій ходитъ у двери. Стало, не звалъ.

— А на женской половинѣ?..

— Не слышно еще...

Вправо, съ галлерей, проходъ, отдѣленный старинными „сѣнями“ съ деревянной обшивкой, велъ къ кабинету Евлампія Григорьевича. Передъ дверьми прохаживался его камердинеръ, Викентій, довѣренный человекъ, бывший крѣпостной изъ дома князей Курбатовыхъ. Викентій—сѣдой старикъ, бритый, немного сутуловатый, смотритъ начальникомъ отдѣленія; бѣлый галстукъ носить по-старинному, изъ большой косынки.

Онъ прохаживается мелкими шажками передъ дверью изъ корельской березы съ бронзовыми скобками. Не слышно его шаговъ. Больше тридцати лѣтъ носить онъ сапоги безъ каблучковъ, на башмачныхъ подошвахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пошелъ „по кучечеству“, жалованье его удвоилось. Сначала его взяли въ дворецкіе, но онъ не поладилъ съ барыней, Евлампій Григорьевичъ приставилъ его къ себѣ камердинеромъ.

Ходитъ онъ и ждетъ звонка. Изъ кабинета проведенъ воздушный звонокъ. Это не нравится Викентію: затрещитъ надъ самымъ ухомъ, такъ всего и передернется, да и стѣны портитъ. Въ эту минуту, по его расчету, Евлампій Григорьевичъ выпилъ стаканъ чаю и надѣлъ чистую рубашку, послѣ чего онъ звонитъ, и платье, приготовленное въ туалетномъ кабинетѣ, гдѣ умывальникъ и прочее устройство, подаетъ ему Викентій. Часто онъ позволяетъ себѣ сдѣлать замѣчаніе, что было бы пристойнѣе надѣть въ томъ или иномъ случаѣ.

II.

Кабинетъ Евлампія Григорьевича — высокая длинная комната, родъ огромнаго баула, съ отдѣлкой въ старомосковскомъ стилѣ. Свѣту въ ней гораздо меньше, чѣмъ въ остальныхъ покояхъ. Окна выходятъ на дворъ. Вездѣ обшивка изъ рѣзного дерева: дуба, корельской березы, орѣха. Потолокъ весь штучный, рѣзной, темныхъ колеровъ, съ переплетами и выпуклыми фигурами, съ тонкой позо-

лотой, стоилъ большихъ денегъ. Онъ выписной, работали его гдѣ-то въ Германіи. Поверхъ деревянной обшивки идутъ до потолка кожаные тисненные обои въ клѣтку, съ золотыми разводами и звѣздами. Ихъ нарочно заказывали во Франціи по рисунку. Такихъ обоевъ не отыщется ни у кого. Отъ нихъ кабинетъ смотреть еще угрюмѣе, но „пошибъ“ вознаграждаетъ за неудобство, разумѣется — „на охотника“, кто понимаетъ толкъ. Евлампію Григорьевичу кажется, что онъ изъ такихъ именно „понимающихъ“ охотниковъ. Каждый стулъ, табуретъ, этажерка дѣлались по рисункамъ архитектора. Хозяинъ кабинета не можетъ нигдѣ взглянуть, ни къ чему прислониться, ни на что сѣсть, чтобы не почувствовать, что эта комната, да и весь домъ, въ нѣкоторомъ родѣ—музей московско-византийскаго рококо. Это сознаніе наполняетъ Евлампія Григорьевича особымъ сладострастнымъ почтеніемъ къ собственному дому. Ему иногда не совсѣмъ ловко бываетъ среди такого количества вещей, заказанныхъ и сдѣланныхъ „по рисунку“, но онъ все больше и больше убѣждается въ томъ, что безъ этихъ вещей и онъ самъ лишится своего отличія отъ другихъ коммерсантовъ, не будетъ имѣть никакого права на то, къ чему теперь стремится.

По самой срединѣ кабинета помѣщается письменный столъ съ цѣлымъ „поставцомъ“, придѣланнымъ къ одному продольному краю, для картоновъ и ящиковъ, съ картинами и русскими полотепцами, пополамъ изъ дуба и чернаго дерева, съ замками, скобами и ключами, выкованными и вырѣзанными „нарочно“. Столъ смотреть издали тѣмъ-то въ родѣ иконостаса. Онъ покрытъ бронзой и кожаными вещами, массивными и дорогими. До чего ни дотронешься, все выбрано подъ-стать остальной отдѣлкѣ. Хозяину стоило только разъ подчиниться, и все, что ни попадало на его столъ, отвѣчало за себя. Фотографическіе портреты, календарь, бювары, сигарочницы, портфели разгнѣданы были по столу въ извѣстномъ художественномъ порядкѣ. Иногда Евлампію Григорьевичу и хотѣлось бы переставить кое-что, но онъ не смѣлъ. Его архитекторъ разъ навсегда разставилъ вещи—нельзя нарушить стиля. Такъ точно и насчетъ мебели. Гдѣ что было первоначально поставлено, тамъ и стоитъ. Одинъ столикъ въ формѣ коровая, на кривыхъ ножкахъ, очень стѣсняетъ хозяина, когда онъ ходитъ взадъ и впередъ. Онъ, то и дѣло, задѣваетъ его ногой; но архитекторъ чуть не по-

ссорился съ нимъ изъ-за этого столика. Столику слѣдуетъ стоять тутъ, а не въ другомъ мѣстѣ,—Евлампій Григорьевичъ смирился и старается каждый разъ обходить. Даже выборъ того мѣста въ стѣнѣ, гдѣ вѣланъ несгораемый шкафъ, принадлежалъ не ему лично.

Два рѣзныхъ шкапа съ книгами, въ кожаныхъ, позолоченныхъ переплетахъ, сдвигаютъ комнату къ концу, противоположному окнамъ. Книгъ этихъ Евлампій Григорьевичъ никогда не вынимаетъ, но выборъ ихъ былъ сдѣланъ другимъ руководителемъ; переплеты заказывалъ опять архитекторъ, по своему рисунку. Онъ же выписалъ нѣсколько очень дорогихъ коллекцій по исторіи архитектуры и специальныхъ сочиненій. Такихъ изданій „ни у кого нѣтъ“, даже и въ Румянцовскомъ музеѣ...

Надъ диваномъ, наискосокъ отъ письменнаго стола, виситъ поясной женскій портретъ—жены Евлампія Григорьевича, Марьи Орестовны, снятый лѣтъ шесть тому назадъ, въ овальной золотой оправѣ. Три-четыре картины русскихъ художниковъ, въ черныхъ матовыхъ рамахъ, уходятъ въ полусвѣтъ стѣнъ. Были тутъ и жанры, и ландшафты; но попали они случайно: въ любители картинъ хозяинъ кабинета не записывался—онъ не желалъ соперничать съ другими лицами своего сословія. Эта охотничья отрасль мало отзывалась вкусами тѣхъ „совѣтниковъ“ и руководителей, около которыхъ „выровнялся“ Евлампій Григорьевичъ, сталъ тѣмъ, что онъ есть въ настоящую минуту...

На столикъ-табуретъ, около письменнаго стола, допитый стаканъ чаю говорилъ о томъ, что Евлампій Григорьевичъ въ уборной, надѣваетъ чистую рубашку, послѣ вторичнаго умыванія.—Запахъ сигары ходилъ по кабинету, гдѣ стояла свѣжая температура, не больше тринадцати градусовъ.

III.

Уборная раздѣлена на три части: вправо туалетъ и помѣщеніе для того платья, какое приготовлено камердинеромъ; влѣво мраморный умывальникъ съ кранами холодной и горячей воды, на американскій манеръ, съ разноцвѣтными и всякими другими полотепцами... Спальня передѣлана изъ бывшей гардеробной. Это довольно низкая комната, гдѣ всегда душно. Но больше некуда было перейти Евлампію Григорьевичу, когда Марья Орестовна, ссылаясь на совѣтъ своего доктора, объявила мужу, что

отвынѣ они будутъ жить „въ разноту“. Онъ смирился, но съ тѣхъ поръ все еще не утѣшился.

Ему минуло недавно сорокъ лѣтъ. Сложенія онъ сухого; узкая грудь, жидкія ноги и руки; средняго роста, блѣдное лицо скучнаго сидѣльца. Его русая бородка никакъ не поддается щеткѣ, она торчитъ въ разныя стороны. Стрижется онъ не длинно и не коротко. Глаза его, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, часто опущены. Онъ не любитъ смотрѣть на кого-нибудь прямо. Ему, то и дѣло, кажется, что не только люди, — начальство, сослуживцы, знакомые, половые въ трактирѣ, дамы въ концертѣ, свой кучеръ или швейцаръ, — но даже неодушевленные предметы подмигиваютъ и подсмѣиваются надъ нимъ.

Въ это утро онъ серьезно озабоченъ. Ему предстоятъ три визита, и каждый изъ нихъ требуетъ особеннаго разговора. А наканунѣ жена дала почувствовать, что сегодня будетъ что-нибудь чрезвычайное... И уступить надо!.. Нечего и думать о противорѣчій... Но и уступкой не возьмешь, не сдѣлаешь этой неуязвимой, подавляющей его во всемъ Марьи Орестовны тѣмъ, о чемъ онъ изнываетъ долгіе годы... Только ему страшно заглянуть ей въ „нѣтро“ и увидеть тамъ, какія чувства она къ нему имѣетъ, къ нему, который...

Но сколько разъ попадалъ онъ на зарубку того, что онъ положилъ къ ногамъ Марьи Орестовны, — и все-таки облегченія отъ этого не получилъ...

Рубашка застегнута до верхней запонки. Нѣтовъ позвонилъ и перешелъ въ кабинетъ, — у него была привычка одѣваться не въ спальнѣ и не въ уборной, а въ кабинетѣ.

Викентій вошелъ, перенесъ платье въ кабинетъ, положилъ его на древне-русскіе козлы съ собачьими мордами по концамъ и сталъ подавать разныя части туалета, встряхивая ихъ, каждую отдѣльно, какъ это дѣлаютъ старыя слуги изъ крѣпостныхъ, бывшіе долго въ камердинерахъ.

Нѣтовъ оглянулся на окно и, скосивъ ротъ — зубы у него большіе, желтые — сказалъ:

— На дворѣ-то какая скверь!

— Упалъ барометръ, — въ тонъ ему замѣтилъ Викентій.

— Какой фракъ приготовилъ? — спросилъ Нѣтовъ.

— Второй-съ.

Онъ часто съ утра надѣвалъ фракъ. Ему приходилось



предсѣдательствовать въ разныхъ комитетахъ и собраніяхъ. Заѣзжать переодѣваться — некогда.

— Орденъ прикажете?—освѣдомился Викентій, когда натянулъ на плеча барина фракъ не первой свѣжести—дѣловой фракъ.

— Не надо...

Нѣтовъ надѣлъ бы и свою Анну, и Льва и Солнца второй степени, но Марья Орестовна формально ему приказала: ничего на шею не надѣвать, пока не добьется Владимира, а персидскую звѣзду пристегивать только при пріемахъ какихъ-нибудь именитыхъ гостей. Ордена лежали у него въ особомъ кованомъ ларцѣ съ серебряными горелопефами. Заказалъ себѣ онъ маленькіе ордена для вечеровъ, но и этого не любила Марья Орестовна. Она говорила, что Анну имѣеть всякій частный приставъ.

— Узнай, можно ли къ Марьѣ Орестовнѣ?

Нѣтовъ никогда не произносилъ имени своей жены передъ камердинеромъ, не смущаясь, безъ внутренней потуги. Ему все казалось, что этотъ барскій „хамъ“ съ своей чиновничьей наружностью говорить ему про себя: „Эхъ ты, кавалеръ Льва и Солнца, въ крѣпостномъ услуженіи находишься у бабенки!“

Викентій вышелъ. Нѣтовъ взялъ со стола портфель и ждалъ не безъ волненія.

— Не выходили,—доложилъ, вернувшись, Викентій.

Нѣтовъ вздохнулъ. Этакъ лучше. Не сейчасъ надо испивать чашу.

IV.

Официанты, по знаку Викентія, выпрямились. Мимо одного изъ нихъ прошелъ „баринъ“ — прислуга такъ называла Евлампія Григорьевича — не глядя на него. Ему, до сихъ поръ, точно немножко стыдно передъ прислугою... А въ какомъ сановномъ, хотя бы графскомъ или княжескомъ домѣ, такъ все въ струнѣ, какъ у него?

Безъ Марьи Орестовны онъ никогда бы самъ не добился этого, кровь бы „разночинская“ не допустила.

Лакей отвѣсилъ ему поклонъ. Баринъ приказала и этому официанту, и другимъ людямъ брить себѣ все лицо и волосы подстригать покороче. У ней зрѣла мысль напудрить ихъ въ одинъ изъ большихъ пріемовъ и разставить по дѣйствицѣ. А при этомъ развѣ допустимы усы и даже бакенбарды?

Швейцаръ издала увидалъ Евлампія Григорьевича и встряхнулъ еще разъ шинель. Онъ рассчиталъ, что потребуется шинель, а не пальто: холодно и моросить. Викентій шелъ позади барина; дойдя до лѣстницы, онъ сбѣжалъ по другому сходу и взялъ шинель изъ рукъ швейцара.

— А пальто вычищено?— освѣдомился Викентій на всякій случай.

— Готово.

Поклонъ швейцаръ отвѣсилъ такой же, какъ и офицанты. Не мало онъ натерпѣлся отъ барыни. Она долго находила, что онъ кланяется по-солдатски.

— Шинель прикажете?— спросилъ Викентій.

— Шинель.

Камердинеръ накинулъ на него широкую, съ длиннымъ капюшономъ, шинель, съ серебристымъ бобромъ, простеганную мелкими клѣтками, самого строгаго петербургскаго покроя, крытую темнокоричневымъ сукномъ, немного впадающимъ въ бутылочный цвѣтъ. Марья же Орестовна дала ему совѣтъ заказать такую шинель у Сарра, въ Петербургѣ.

— Статсъ-секретарь Бутковъ послѣ этиакия шинели,— сообщила она ему:— такъ и называются „manteau Boutkov“.

Ему бы никогда не догадаться. И дѣйствительно, когда онъ въ этой шинели, то ощущаетъ сейчасъ особую пріятность, нѣтъ мѣхового запаха, мягко, руку щекочетъ атласъ подкладки, всего проникаетъ струя порядочности, почета, власти... Пахнетъ статсъ-секретаремъ и камергеромъ.

Швейцаръ выбѣжалъ на подъѣздъ. Копюхъ торопливо потеръ щеткой бокъ одной изъ лошадей и отскочилъ въ сторону. Кучеръ перебралъ вожжами и заставилъ пару подпрыгнуть на мѣстѣ. Изморось все еще шла и начала слѣпить глаза кучеру.

На крыльцо вышелъ за швейцаромъ и Викентій. Онъ неизбѣжно дѣлалъ это. Даже Марья Орестовна должна была сознаться, что не она его этому научила. На лицѣ его всегда былъ вопросъ, обращенный къ барину:

„Не угодно ли что приказать, или что забыть изволили?“

Евлампій Григорьевичъ всегда говорилъ ему:

— Ступай.

Но Викентій подсаживалъ его каждый разъ, вмѣстѣ съ швейцаромъ.



Въ каретѣ Нѣтовъ укутался и сѣлъ въ уголь. Портфель положилъ въ особое помѣщеніе, ниже подзеркальника, куда можно положить и книгу или газету. Часто онъ читаетъ въ каретѣ, когда отправляется на какое-нибудь засѣданіе.

То, что онъ найдетъ тамъ, куда ѣдетъ по „своимъ дѣламъ“ и соображеніямъ, отступило передъ тѣмъ, что ожидаетъ его сегодня дома, до обѣда.

Неужели ему весь вѣкъ такъ поджариваться на какой-то сковородѣ?.. Точно онъ лещъ, положенный живымъ въ кипящее масло. Это уподобленіе онъ самъ выдумалъ. Все есть, и впереди можно еще многого добиться... и въ крупномъ чинѣ будетъ, и дворянство дадутъ, и черезъ плечо повѣсятъ, можетъ, черезъ какихъ-нибудь два-три года. Но онъ страдалецъ... Развѣ онъ господинъ у себя въ домѣ?.. Смѣетъ ли онъ поступить хоть въ чемъ-нибудь, какъ самъ желаетъ?.. Да и увѣренности у него нѣтъ... А вѣдь онъ не дуракъ!.. И что же нужно такое имѣть, чтобы обратиться къ себѣ сердце женщины, не принцессы какой-нибудь, такой же купчихи, какъ и онъ?

Евлампій Григорьевичъ попалъ на свою зарубку... Что она такое была?.. Родители проторговались!.. Родня голая:—быть бы ей за какимъ-нибудь лавочникомъ или въ учительницы идти, въ народную школу, благо она въ университетѣ экзамень выдержала... Въ этомъ-то вся и сила!.. Еще при другихъ онъ употребляетъ ученыя слова, а какъ при ней скажетъ, хоть, наиримѣръ, слово „цивилизациа“, она на него посмотритъ искоса, онъ и очутится на сковородѣ...

V.

Первый ранній визитъ сдѣлалъ Нѣтовъ своему дядѣ, Алексѣю Тимоѣевичу Взломцеву, старому человѣку по мануфактурному дѣлу, главѣ крупнѣйшей фирмы. Отъ него кормилось цѣлое населеніе въ тридцать тысячъ прядильщиковъ, ткачей и прочаго фабричнаго люда. Онъ придерживался единовѣрія, но безъ всякаго задора, позволялъ курить другимъ и самъ курилъ, читалъ „свѣтскія“ книжки, любилъ знакомство съ господами, стоящими за старину, за „Россію-матушку“ и единоплеменныхъ „братьевъ“, о которыхъ имѣлъ довольно смутное понятіе. Взломцевъ такъ много занимался по своимъ дѣламъ, что день расписывалъ на часы, и даже родственникамъ, и такимъ по-

четнымъ, какъ Нѣтовъ, назначалъ день и часть, и сейчасъ заносилъ въ книжечку. Жилъ онъ одинъ, въ большомъ, богато отдѣланномъ домѣ съ парадными и „простыми“ комнатами, безъ новыхъ затѣй, такъ, какъ это дѣлалось лѣтъ тридцать-сорокъ назадъ, когда отецъ его трепеталъ передъ полицеймейстеромъ и даже приставу подносилъ самъ бокалъ шампанскаго на подносі.

Нѣтова встрѣтилъ въ конторѣ, рядомъ съ кабинетомъ, высокій, чрезвычайно красивый сѣдой мужчина за шестьдесятъ лѣтъ, одѣтый „по-нѣмецки“ въ длинноватый, темно-кофейный сюртукъ и бѣлый галстукъ. Онъ носилъ окладистую бороду, бѣлые волосы на головѣ. Работалъ онъ стоя передъ конторкой. При входѣ племянника, онъ отпустилъ молодца, стоявшаго у притолки.

Они поцѣловались.

— Чаю хочешь?—спросилъ дядя.

— Пилъ, дяденька.

Евлампій Григорьевичъ не отсталъ отъ привычки называть его „дяденькой“ и у себя, на большихъ обѣдахъ, что коробило Марью Орестовну. Онъ не рассчитывалъ на завѣщаніе дяди, хотя у того наслѣдниками состояли только дочери, и фирмѣ грозилъ переходъ въ руки „Богъ его знаетъ какого“ зятя. Но безъ дяди онъ не могъ вести своей политики. Отъ старика Взломцева исходили идеи и толкали племянника въ извѣстномъ направленіи.

— Ну, что же скажешь?—спросилъ Взломцевъ, снялъ очки и заткнулъ гусиное перо за ухо.

Стальными онъ не писалъ. Глаза его, черные, умные и немного смѣющіеся, говорили, что долго ему некогда разтобарывать съ племянникомъ.

— Да вотъ,—началь, заикаясь, Нѣтовъ и поглядѣлъ на лакеяна своего фрака, отчего почувствовалъ себя безпокойнѣе,—какъ насчетъ Константина Глѣбовича, онъ засмалъ просить... пожаловать къ нему... слышно, завѣщаніе составилъ...

— А нешто очень плохъ?

— Плохъ, не доживетъ, говорятъ, до распутицы.

— Что жъ... мы не наслѣдники,—пошутилъ старикъ,—за честь благодаримъ...

— Я вотъ сегодня хочу къ нему заѣхать въ полдень, такъ... узнать, когда онъ желаетъ васъ просить?

— Да, чтобы вѣрно было... и день, и часть... Коли мо-



жетъ, такъ вечеромъ. Тутъ вѣдь исторія-то короткая. Читать мы завѣщаніе не станемъ.

— Конечно-съ. Только у него есть расчетъ на душе-приказчиковъ.

— Я не пойду. Такъ ему и скажи, чтобъ извинилъ меня. Есть люди молодые. Да и своихъ дѣловъ много... Гдѣ мнѣ возиться?.. Еще кляузы пойдутъ! Жена остается... А онъ ей врядъ ли много оставитъ.

— Я полагаю, что не много... Такъ, на прожитіе.

Помолчали.

— Жаль его,—выговорилъ дядя,—пожилъ бы.

Нѣтовъ вздохнулъ на особый манеръ.

— Съ нимъ много для тебя уходитъ, Евлампій... Чувствуешь ли ты?

— Помилуйте, дяденька!

— Надо тебѣ другого Константина Глѣбовича искать.

— Гдѣ же сыщешь?

— Да, нонѣ, братецъ, не та полоса пошла... Онъ для своего времени хорошъ былъ... Ну, и событія... Герцеговинцы... Опять за Сербію поднялись, тутъ, глядишь, война. А нынче тихо, не тѣмъ пахнетъ.

— Да, да,—повторялъ Нѣтовъ, отводя глаза отъ дяди.

— Ты достаточно у Лещова-то въ обученіи побывалъ. Пора бы и самому на ноги встать. Не все на помочахъ. Ты, братъ, я на тебя посмотрю, двойственный какой-то человѣкъ... Честь любилъ, а смѣлости у тебя нѣтъ... И не глупъ, не дуракъ-шарень... нельзя сказать; а все это, какъ нынче господа сочинители въ газетахъ пишутъ,— между двумя стульями садишься. Такъ-то...

Старикъ добродушно разсмѣялся.

VI.

У дяди своего Нѣтовъ чувствовалъ себя меньшимъ родственникомъ. Къ этому онъ уже привыкъ. Алексѣй Тимофеевичъ дѣлалъ ему внушенія отеческимъ тономъ, не скрывалъ того, что не считаетъ племянника „звѣздой“, но безъ надобности и не принижалъ его. Къ Взломцеву Нѣтовъ всегда обращался за мнѣніемъ, и рѣдко уходилъ съ пустыми руками.

Появись на мѣстѣ, онъ сѣлъ въ сторонку и выговорилъ:

— Вотъ опять тоже Капитонъ Θεοφιλακтовичъ.

— Что еще?—насмѣшливо спросилъ старикъ.

— Да какъ же, дяденька, вы разсудите... Былъ все съ нашими... Помните, пріемъ добровольцамъ дѣлалъ... и по Красному Кресту... И во всѣхъ такихъ... дѣлахъ... рѣчи тоже говорилъ... А мы, кажется, оказывали ему всякое почтеніе. А, между прочимъ, онъ между нашими врагами очутился.

— Почему ты такъ думаешь?

— Какъ же-съ! Теперь хоть бы въ этой новой газетѣ пошли разныя статейки и слухи... Прямо личность называютъ. Тутъ непременно по внушеніямъ Капитона Теофилактовича дѣлается.

— Можешь ли доказать?

— Видимое дѣло, дяденька.—Евлампій Григорьевичъ заговорилъ горячѣе.—Кто же кромѣ его знаетъ разныя разности... хотя бы и про насъ съ вами?

— А развѣ и про меня есть что?

— Изволите видѣть, прямо-то не смѣли назвать, а обипяками. Но узнать сейчасъ можно.

— Вре-шь?—все еще весело спросилъ Взломцевъ.

Евлампій Григорьевичъ развернулъ портфель и вынулъ сложенный вчетверо листъ газеты.

— Вотъ, извольте взглянуть.

Онъ указалъ Взломцеву столбецъ и строку. Старикъ надѣлъ черепаховое ринсе-пез, взялъ газету, развернулъ весь листъ, отвелъ его рукой отъ себя на полъ-аршина и медленно, чуть замѣтно шевеля губами, прочелъ указанное мѣсто.

Съ его губъ не сходила усмѣшка, брови не сдвигались... Алексій Тимоѣевичъ не почувствовалъ себя сильно обиженнымъ. Онъ часто говорилъ: „на то и газетки, чтобы быть съ небылицей мѣшать“. Въ статейкѣ имени его не стояло, но намеки были ясны. Подсмѣивались надъ славянолюбіемъ и „кваснымъ“ патріотизмомъ и его племянника, и его самого.

— Изволили видѣть, дяденька?—началъ въ тотъ же тонъ Нѣтошъ.—И къ чему же это исподтишка?.. И сейчасъ „славянолюбцы“ и все такое... А самъ онъ развѣ не въ такихъ же мысляхъ былъ?.. Вездѣ кричалъ и застольныя рѣчи произносилъ... Видѣ это, дяденька, какъ же называть? Честный человѣкъ пойдетъ ли на такое дѣло?

Взломцевъ промолчалъ.

— И все это одинъ свой интересъ...

— А ты думалъ какъ?—перебилъ дядя и тихо разсмѣялся.

— Ему, изволите видѣть, непременно хотѣлось прямо въ дѣйствительныя статскіе... или, чтобъ Станислава черезъ плечо... А вмѣсто того и коллежскаго не получилъ. Такъ мы съ вами, дяденька, тутъ не причинны.

— Ужъ ты меня-то бы не вмѣшивалъ,—порѣзче перебилъ Алексѣй Тимоѣевичъ.

— Да я говорю вообще, дяденька. Но, между прочимъ, и вы косвенно... Нельзя же такъ именитыхъ людей!.. И послѣ того, что онъ себя выдавалъ...

— А ты постой... Все это ты такъ... Очень онъ тебя испугался, хоть ты теперь и въ почетѣ... Ему надо въ дворяне выйти, или надо ему предоставить мѣсто такое, чтобы дѣла его совсѣмъ наладились.

— Это вѣрно-съ.

— Канючить, слѣдственно, нечего. Надо его ручнымъ сдѣлать.

— Я и думалъ то же.

— А придумалъ ли что?

— Да если что представится... А теперь вотъ я къ нему собираюсь... заѣхать... Насчетъ статейки ничего не скажу, а увижу, какъ онъ себя поведетъ.

— Съ пустыми-то руками явишься?.. умно!..

— Чинъ-то ему посулить не велика трудность.

— А ты спервоначалу самъ получи.

Евлампій Григорьевичъ покраснѣлъ. Дядя зналъ всѣ его сокровенныя расчеты.

— Лучше же показать ему, что мы всю его тактику понимаемъ.

— А ты вотъ что...

Взломцевъ потеръ себѣ переносицу.

— Ты говоришь, очень Константинъ Глѣбовичъ плохъ?..

— Да какъ же-съ!.. Недѣли двѣ--больше не проживетъ.

— Надо будетъ его замѣщать.

— Кандидатъ есть.

— До новыхъ выборовъ... Кандидатъ не въ счетъ... Ты ему и посули... да онъ и не плохой директоръ будетъ... Пожалуй, лучше-то и не найдешь.

„И этого придумать не могъ,—дразнилъ себя Евлампій Григорьевичъ,—а вотъ дядя сейчасъ же смекнулъ, въ одну секунду! Эхъ!“

Долго не могъ онъ поднять глаза и взглянуть пристальнѣе на дядю.

— Такъ ли?—спросилъ Алексѣй Тимоѣевичъ.

Племянникъ заходилъ съ опущенной головой.

— А ты сядь! Въ глазахъ у меня рябитъ, когда ты такими манерами поворачиваешься.

— Ваша мысль богатая, дяденька!

— Ну, и побъжай... Лещову такъ и скажи, что Алексѣй-молъ Тимоѳеевичъ благодарить за честь, свидѣтелемъ распишусь, а отъ душеприказчиковъ пускай избавить меня. Довольно и своихъ дѣловъ.

— А вы позволите, если рѣчь зайдетъ о директорствѣ... поставить на видъ, что Алексѣй Тимоѳеевичъ, съ своей стороны, какъ учредитель и главнѣйшій..

— Можешь, только осторожниѣ.

— Да ужъ вы извольте положиться на меня, дяденька.

— Извини, я тебя отпущу.

Старикъ повернулся къ конторкѣ, а потомъ вбокъ подавъ руку племяннику. Нѣтовъ такъ и вышелъ изъ конторы съ опущенной головой.

„Идей у него своихъ не имѣется! Это несомнѣнно. А кажется, чего было проще сообразить насчетъ смерти Лещова?.. Вотъ дядя, такъ голова!“

VII.

Къ другому родственнику—но уже со стороны отца и болѣе дальнему—Евламій Григорьевичъ попалъ въ одиннадцать часовъ. Тотъ жилъ около Басманной. Домъ у Капитона Теофилактовича Краснопѣраго выстроенъ былъ на славу, съ картинной галлереей и зимнимъ садомъ. Лѣтъ двадцать назадъ, этотъ предприниматель сильно прогрѣмѣлъ въ обѣихъ столицахъ. Чисто-русской изворотливостью отличался онъ. До желѣзнодорожной лихорадки, до банковскаго приволья, онъ уже пустилъ въ ходъ цѣлую дюжину обществъ, товариществъ и компаній. Одно время дѣла его такъ поразстроились, что онъ вынырнулъ потому только, что успѣлъ ловко продать всѣ свои паи. Годъ на три, на четыре онъ совсѣмъ притихъ, распродалъ свои картины, приемы прекратилъ, ѣздилъ лѣчиться за границу. Потомъ опять поднялся, но ужъ не могъ и на одну треть дойти до прежняго своего положенія.

Никого онъ такъ не раздражалъ и не тревожилъ, какъ Евламія Григорьевича. Краснопѣрый служилъ живымъ приѣздомъ русской бойкости и изворотливости, кичился своимъ умомъ, умѣньемъ говорить, — хотя говорилъ на обѣдахъ витѣвато и шепеливо, — тѣмъ, что онъ все ви-



дѣлъ, все знаетъ, Европу изучилъ и Россію открылъ новые пути богатства, за что давно бы слѣдовало ему поставить монументъ.

Честолюбивая, но самогнущая душа понимала и ясно видѣла другую, еще болѣе тщеславную, но одаренную разносторонней смѣтливой душой русскаго кулака.

„Цѣловальникъ, подносчикъ, фальшивый мужичонка“, называлъ его про себя Евлампій Григорьевичъ и радовался несказанно, когда вдругъ все заговорили, что Красноперый вылетѣлъ въ трубу съ дефицитомъ въ два миліона. Онъ презиралъ этого „выскачку“, какъ сыпъ купца, хоть и второй когда-то гильдін, по оставившаго ему прочное дѣло, съ доходомъ, въ худой годъ, до двухсотъ тысячъ чистаго помѣла. Ему не надо ни компаній составлять, ни людей морочить, ни во вся тяжкая пускаться и Европу удивлять. Онъ, Нѣтовъ,—выше всего этого. Но честь они оба любятъ одинаково. Обоимъ хочется ленту черезъ плечо и дворянство,—для себя самихъ хочется—дѣтей у нихъ нѣтъ. Такъ Красноперый еще подождетъ;—а у него, Нѣтова, и то, и другое будетъ. И онъ, какъ ни какъ, а почетное лицо. Только держать онъ себя и на одну сотую не умѣетъ такъ, какъ этотъ нахаль. Тотъ у Господа Бога табачку попросить. Все министры его пріятель, съ генералъ-адъютантами за панибрата, брюхо впередъ, фразъ ловко сидитъ, на всю залу, съ кѣмъ хочешь, будетъ своимъ суконнымъ языкомъ рацен разводить.

Евлампій Григорьевичъ даже плюнулъ въ окно кареты за сто сажень до дома своего родственника.

Вотъ и теперь... Онъ знаетъ, какъ тотъ его приметъ. Придется проглотить не одну пилюлю. И все это будетъ „неглиже“. Такъ тебя и тычетъ носомъ: „пойми-де и почувствуй, что ты передо мною, хоть и въ почетѣ живешь,—мразь“.

Щеки Евлампія Григорьевича краснѣли и даже пошли пятнами. Онъ хотѣлъ-было взяться за шнурокъ и крикнуть кучеру, чтобы тотъ поворачивалъ назадъ. Но слѣдуетъ визитъ падо. Хуже будетъ. „Диденякъ Алексѣй Тимофеевичъ не даромъ придумалъ насчетъ мѣста директора. Только каково это будетъ прыгать передъ такой ехидной? Онъ тебя изъ-за угла помоями обливаетъ, а ты къ нему на поклонъ съ дарами приходишь... „Батюшка, сложи гнѣвъ на милость!“ Когда Нѣтовъ страдалъ и сердился про себя, голова его усиленно работала. Онъ находилъ

ль себя и бойкія слова, и злость, и язвительность. Если бы онъ могъ вслухъ такъ кого-нибудь отдѣлать хоть разъ, тогда всѣ бы держали передъ нимъ „ухо остро“. Но онъ чувствовалъ, что никогда у него неостанется духу. Вся горечь уйдетъ внутрь, всосется, потечетъ по жиламъ и отдастся въ горлѣ... Рѣкъ не выйдешь изъ своей кожи!

Его еще разъ непріятно кольнуло, когда карета оставилась на рысяхъ передъ крыльцомъ. А онъ не успѣлъ дорогой обдумать и того, въ какомъ порядкѣ сдѣлаетъ онъ свой „подходъ“; съ чего начнетъ: будетъ ли мягко шептать, или не намекнетъ вовсе на газетную статейку?.. Вылѣзть изъ кареты надо. Дверь отворилась. Его принималъ швейцаръ.

VIII.

И швейцаръ, и остальная прислуга у Капитона Теофилактовича одѣта по-русски, какъ кондукторы и прислуживающіе при шинельной „Славянскаго Базара“, какъ швейцары конторъ и многихъ московскихъ домовъ—въ высокихъ сапогахъ бутылками и короткихъ казакинахъ. Не лучше ли бы было и ему, Нѣтову, такъ одѣтъ прислугу?.. А то выдаетъ себя за славянолюбца и хранителя русскихъ „началъ“, а всѣ въ ливреяхъ, точно у какого нѣмецкаго принца. Но Марья Орестовна такъ распорядилась. Вѣдь и она воспитала себя въ славянолюбіи; по безъ ливреи не соглашается жить. А этотъ вотъ „подносчикъ“ по наружности во всемъ изъ себя русака корчитъ. Самъ фракъ носить, но въ домѣ у него смазными сапогами пахнетъ. Нѣтъ официантовъ, выѣздныхъ, камердинеровъ, буфетчиковъ, одни только „малые“ и „молодцы“.

Изъ узкой передней лѣстница вела во второй этажъ. Съ верхней площадки, черезъ отворенную дверь, Евлампій Григорьевичъ вошелъ въ пріемную комнату, въ родѣ тѣхъ, какія бывають передъ кабинетами министровъ, съ кое-какой отдѣлкой. Къ одной изъ стѣнъ приставленъ былъ столъ, покрытый полинялымъ сипимъ сукномъ. На немъ—закапанная хрустальная чернильница и графины со стаканами.

Дожидалось человѣка три мелкаго люда. У дверей кабинета стоялъ второй по счету казакъ. Онъ впустилъ Евлампія Григорьевича съ докладомъ.

Въ кабинетъ—большой компанѣ, аршинъ десять въ длину—свѣтъ шелъ справа изъ итальянскаго и четырехъ



простыхъ оконъ и падалъ на столъ, помѣщенный поперекъ, огромный столъ въ обыкновенномъ петербургскомъ столярномъ вкусѣ. Мебель сафьянная съ краснымъ деревомъ, безъ особыхъ „рисунковъ“, нѣсколько картинъ и, позади кресла, гдѣ сидѣлъ хозяинъ, его портретъ по всей ростъ, работы лучшаго московскаго портретиста. Сходство было большое; только Капитонъ Теофилактовичъ снимался лѣтъ десять раньше, когда волосы еще не такъ серебрились. На портретѣ его написали стоя, во фракѣ, съ орденомъ на шеѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ моднымъ вырѣзомъ жилета, и съ усмѣшкой, гдѣ можно было и не злоязычному человѣку прочесть вопросъ:

„А чѣмъ же я, примѣрно, не министръ финансовъ?“

Теперешній Капитонъ Теофилактовичъ сидѣлъ въ соломённомъ креслѣ, въ полъ-оборота къ столу и лицомъ къ входной двери. Лицо его прямо такъ и выскочило изъ питейной лавочки, курпосое, рябоватое; скулы выдавались, но ротъ хранилъ самодовольную и горделивую складку. Волосы, мелкокурчавые, онъ сохранилъ и на лбу, и на темени, носилъ ихъ не длинными и бороду подстригалъ. Его домашній свѣтло-сѣрый костюмъ смахивалъ на охотничью куртку. Короткая шея уходила въ широкій косой воротъ ночной рубашки, расшитый шелками, такъ же какъ и края рукавовъ; на пальцахъ остались слѣды чернилъ. Онъ врядъ ли еще умывался; ноги его, съ широкой, мужицкой ступней, засунуты были въ коты изъ плетеныхъ, суконныхъ ремешковъ, какіе носятъ старухи.

При входѣ Евлампія Григорьевича, Красноперый не всталъ и даже не обернулся къ нему тотчасъ же, а продолжалъ говорить съ приказчикомъ. Тотъ стоялъ налѣво, у боковой двери, въ короткомъ пальто, шерстяномъ шарфѣ и большихъ сапогахъ, малый за тридцать лѣтъ, съ смиренно-плутоватымъ лицомъ. Голову онъ наклонилъ, подался всѣмъ корпусомъ и не дѣлалъ ни шагу впередъ, а только перебиралъ ногами. Вся его посадка изображала собою напряженное вниманіе и преклоненіе передъ хозяйскимъ „приказомъ“.

Гость остановился и притаялъ дыханіе. Уже самый приемъ этотъ оскорблялъ его. Развѣ эта „образина“ не могла попросить его въ гостиную и извиниться, приказчика сначала отпустить, а не продолжать передъ нимъ, Евлампіемъ Григорьевичемъ, своихъ домашнихъ распоряжений, да еще въ ночной сорочкѣ и котахъ? Красныя пятна на щекахъ обозначились съ новой силой.

IX.

— Не перепутай,—продолжалъ Красноперый и ткнулъ въ воздухъ грязнымъ указательнымъ пальцемъ.

Когда онъ говорилъ, въ груди у него слышался хрипъ, точно въ засоренномъ чубукѣ. Онъ часто плакалъ.

— Какъ можно-съ,—откликнулся приказчикъ.

— Оттуда къ Мурзуеву... Полушубковъ пятьсотъ штукъ, да хорошихъ, не кислыхъ.

— Слушаю-съ.

— Кажинную штуку пересмотри и перенюхай.

— Слушаю-съ.

— Отъ Мурзуева къ тому... знаешь, въ Зарядь?

— Знаю-съ.

— Капитонъ-моль Теофилактовичъ приказали отпустить холста рубашечнаго двѣ тысячи аршинъ... ярославскаго, полубѣлаго, чтобъ безъ гнили.

— Слушаю-съ.

Тутъ только Красноперый обернулся къ гостю и небрежно сказалъ ему:

— А, Евлампій Григорьевичъ! Здравствуй!.. Обожди маленько... присядь.

Всего обиднѣе то, что онъ ему говорить „ты“. И всегда такъ говорилъ... Они четвероюродные братья, но есть разнища лѣтъ. Другой бы давно далъ знать такому „стребулисту“, что пора оставить эту фамильярность, или ему самому отвѣчать такимъ же „ты“. И на это не хватаетъ духу!..

— Все искупи седни,—опъ, не стѣсняясь, говорилъ „седни“, а въ сановники мѣтилъ,—и сдай въ складъ, подъ расписку.

— Слушаю-съ,—повторилъ въ двадцатый разъ приказчикъ.

— Для васъ все, для вашей команды,—еще небрежнѣе зашѣтилъ Красноперый родственнику.

Евлампій Григорьевичъ хотѣлъ что-то возразить, но лицо хозяина кабинета уже смотрѣло въ профиль на приказчика.

— Съ Богомъ,—отпустилъ Красноперый, и не тотчасъ же обернулся къ Нѣтову, а нагнулъ голову, какъ бы что-то соображая.

Приказчикъ взялся за ручку двери.

— Вонифатьевъ!—крикнулъ хозяинъ.



— Что прикажете-съ?

Больше двухъ шаговъ приказчикъ не сдѣлалъ.

— Вотъ еще что я забылъ, братецъ... По Ильинкѣ проѣзжать будешь, то, бишь, по Никольской, заверни къ Феррейну и отдай ему... не въ аптеку, а въ магазинъ... матеріаловъ.

— Починаю-съ.

— Чтобы все по запискѣ было отпущено безъ задержекъ.

— Записочку...

— Что ты мнѣ тычешь?.. Знаю...

Красноперый, не сѣша, открылъ одинъ изъ ящиковъ, порылся тамъ, досталъ бумажку, сложенную вдвое, и протянулъ.

Приказчикъ подбѣжалъ и взялъ бумажку.

— И такимъ же манеромъ въ складъ прикажете?

— Да, братецъ, и въ складъ... ступай...

„Вотъ и ему, Нѣтову, этотъ куценосый будетъ сейчасъ же говорить „ты“, какъ и Вонифатьеву въ смазныхъ сапогахъ“.

Дверь затворилась за приказчикомъ.

Капитонъ Теофилактовичъ сѣлъ теперь въ кресло, лицомъ къ гостю, потянулся и зѣвнулъ.

— Что не куришь?

— Не хочется,—отвѣтилъ Нѣтовъ, и почувствовалъ, какъ у него школьнический голодъ.

— Добро пожаловать!.. А ты, кажется, въ изумленіе пришелъ, что я тебѣ сказала насчетъ склада?.. Да, братъ, я теперь отдуваюсь... Ваши дамы-то... хоть бы и твоя супруга... только ленточки да медальки носить охотницы: а охотка прошла—и нѣтъ ничего.

— Однако...—началъ было Нѣтовъ.

— Да что тутъ однако, я тебѣ на дѣлѣ показываю... Ты вѣдь тоже соревнователемъ числишься... А заглядывалъ ли ты туда хоть разъ въ полугодіе, вотъ хотя бы съ весны?..

— Вы знаете, Капитонъ Теофилактовичъ, что у меня у одного кажется...

— Нечего кичиться твоими трудами!.. Сидишь да потѣешь въ разныхъ комитетахъ... Ха-ха!.. А послѣ надъ тобой же смѣются... Лучше бы похлопотать о русскомъ рабеномъ воинѣ. Чево! Война прошла... Цѣлымъ батальонамъ ноги отморозило!.. Калѣкъ-перехожихъ надѣлали



то песку морского... Пушай!.. Глядь—ни холста, ни полушубковъ, ни денегъ,—ничего!.. Красноперова за бока!.. Онъ христолюбецъ!..

Х.

Губы Евлампія Григорьевича совсѣмъ побѣлѣли. Онъ то потиралъ руки, то хватался правой рукой за лацканъ фрака. „Бахвальство“ брата душило его. А отвѣчать нечего. Онъ, дѣйствительно, не знаетъ, что дѣлается въ этомъ „складѣ“. И Марья Орестовна что-то туда не ѣздитъ. У ней вышла исторія, она не перенесла одной какой-то фразы отъ предсѣдательши. Съ тѣхъ поръ не даетъ ни копейки, и не дежурить, аршина холста не посылала... А этотъ „Капитошка“ угостилъ его цѣлымъ правоучеьемъ, перечислилъ и полушубки, и холсты, и аптекарскіе товары.

— Такъ-то оно и все идетъ у насъ на Руси православною,—протянулъ Капитонъ Оеофилактовичъ и, прищурившись на гостя, подзадоривающимъ тономъ спросилъ:—Читалъ, какъ васъ съ дяденькой-то ловко отщелкали, а-съ?..

Этого не ожидалъ Нѣтовъ даже и отъ Красноперова. Самъ онъ — завѣдомо подстрекатель пасквиля, и вдругъ издѣвается, какъ ни въ чемъ не бывало!..

— А что же-съ, вамъ это особенно пріятно?—сумѣлъ онъ спросить, и голосъ его дрогнулъ.

— Да мнѣ что? Не дѣтей съ вами крестить! Ругайтесь промежъ себя, намъ же лучше.

— Однако, такая газета стоитъ того, чтобы ее судить...

— Судись, коли охота есть!.. Деньги-то все равно зри тратишь. Ну, найми Федора Никифоровича. Онъ тебя такъ распишетъ, что хоть сейчасъ въ царствіе небесное... Ха-ха!..

— Дядюшка тутъ припутанъ ни къ селу, ни къ городу.

— Факты вѣрные... Скаредъ и самодуръ... Онъ все въ сторонкѣ, да потихоньку, анъ и его — на свѣжую воду... Радуйся! Вѣдь тебя, братъ, супруга въ альдермены, на аглицкій манеръ, произвела... Ну, и стой за свободу слова, за гласность. Ты долженъ это дѣлать, долженъ... Ха-ха-ха!..

Красноперый долго смѣялся, покачиваясь на креслѣ. Ногу онъ задралъ кверху.



Блѣдность Евлампія Григорьевича перешла опять въ красноту. Онъ еще сильнѣе краснѣлъ отъ сознанія, что не въ силахъ сдержатъ себя, съ презрѣнiемъ относиться ко всему этому „гаерству“ и безнаказанной дерзости „мужлана“ и „сивушника“.

— Что жъ вы думаете,—заговорилъ опять Красноперый,—вамъ всѣ въ зубы будутъ глядѣть?.. Хозяйничай, какъ знаешь, батюшка!.. Да я бы васъ еще не такъ! Отдали самыя сурьезныя статьи въ чьи руки?..

— Свѣдущіе люди...

— Отчего шпыняютъ васъ?! Оттого, что вы какого-нибудь голоштаннаго кандидатишку пошлете за границу отхожія мѣста изучать, съ меня же, какъ съ платящаго жителя, сдерете на его содержаніе, а потомъ позволяете ему мудрить и эксперименты производить!.. Эхъ, вы!..

Онъ всталъ, подтянулъ свой костюмъ весьма безцеремонно и пожалъ плечами.

Какъ же говорить послѣ такого приѣма? Только срамиться. И переходъ-то нельзя сдѣлать. Къ чему придратъся? Или разговоръ перевернуть? На это Евлампія Григорьевича никогда не ставало и въ засѣданіяхъ, не то что ужъ въ подобномъ случаѣ.

— Вы это напрасно,—выговорилъ онъ съ большимъ усиленіемъ; лучше всего было молчать: — разумнѣе и ловчѣе ничего не придумаешь...

— Да нечего!.. Газетная лапша—хорошая штука для вашего брата...

— Мы не такъ къ вамъ относимся...

— Кто мы?

— Да хоть бы дядюшка... и я тоже. До сихъ поръ, кажется, имѣлъ я основаніе, Капитонъ Теофилактовичъ, считать васъ русскимъ кореннымъ человѣкомъ... Вы же меня и ввели къ такимъ людямъ, какъ хотя бы Лещовъ, Константинъ Глѣбъ...

— Да ты куда это ударился, сударь мой?

— Нешто мы измѣнили? Или передались, что ли? Вонъ другіе себя величаютъ всячески: либералы мы, говорятъ, западники... А я, кажется, все въ томъ же духѣ...

— Надоѣлъ, Евлампій Григорьевичъ, надоѣлъ ты мнѣ своимъ нытьемъ... Славянофилъ ты, что ли? Кто тебя этому надоумилъ? Книжки ты сочинялъ или стихи, какъ Алексѣй Степанъ—покойникъ? Пренія производилъ съ питерскими умниками, аль опять съ пачетчиками въ



Кремль? Ни пава ты, ни ворона! И Лещовъ надъ тобой же издѣвался!.. Я тебѣ это говорю доподлинно!

XI.

Дальше молчать было невозможно. Евлампій Григорьевичъ задвигался на стулѣ.

— Зачѣмъ же-съ, зачѣмъ же-съ,—заговорилъ онъ. — Я вовсе въ это не желаю входить. Душевно признателенъ за то, что видѣлъ отъ Константина Глѣбовича. И хотя бы онъ за-глаза... при его характерѣ оно и не мудрено: но мы объ этомъ не станемъ-съ...

— Это твоё дѣло!—перебилъ Красноперый.

— Не станемъ-съ,—повторилъ Нѣтовъ. — Потому, кто же можетъ въ душу къ другому человѣку залѣзть? А вотъ, Капитонъ Теофилактовичъ, мы съ дялюшкой Алексѣемъ Тимошеевичемъ думаемъ сдѣлать вамъ совсѣмъ другое... сообщеніе.

— Какое такое сообщеніе?

Красноперый подперъ себѣ руки въ бока.

— Такъ какъ Константинъ Глѣбовичъ очень плохъ, можно сказать, въ полномъ разстройствѣ здоровья, такъ мы и думали... по прежнимъ нашимъ связямъ съ вами...

— Ну-у?

— Какъ вы полагаете сами насчетъ мѣстовъ, занимаемыхъ теперь Константиномъ Глѣбовичемъ?..

Лицо Красноперова измѣнило выраженіе. Онъ подался впередъ всѣмъ корпусомъ.

— Какъ же тутъ полагать? Ты говори толкомъ.

— Вѣдь желательно, чтобы, ежели послѣ его кончины мѣста эти останутся вакантными—человѣкъ стоящій получилъ главную силу и могъ сообразно тому дѣйствовать.

-- Дальше что же, сударь мой, дальше-то?

— И чѣмъ раздоры имѣть... и другъ дружку ослаблять, не любезнѣе ли бы было, Капитонъ Теофилактовичъ, въ соглашеніе войти... Если вы къ намъ въ тѣхъ же чувствахъ, какъ и прежде, то мы, съ своей стороны, окажемъ вамъ поддержку.

-- А ты думаешь, для меня ни вѣсть какая благодать на Лещова мѣсто сѣсть?—пренебрежительно спросилъ Красноперый. Онъ сразу уразумѣлъ, въ чемъ дѣло, и уже сообразилъ, какъ надо поломаться. Коли сами залѣзаютъ, стало, онъ имъ нуженъ... Газетныя статейки подѣйствовали.



„Подлецъ ты, подлецъ,—безпомощно бранился про себя Нѣтовъ: — и зачѣмъ я тебя улещаю?.. Надо бы тебя за пасквили къ мировому, а то и въ окружный... Т-е же насъ осрамилъ на всю Москву, и я же долженъ прыгать передъ тобою“.

— Хуже будетъ, ежели кто-нибудь изъ вашихъ заклятыхъ враговъ да попадетъ...—сказалъ съ усиліемъ Нѣтовъ. — Вѣдь вы опять въ дѣла вошли. Кредитъ поднимется сразу и всякое предпріятіе.

— Тихъ, тихъ, а посулы знаешь!

— Почему же вы это за посулы принимаете? Надо предвидѣть-съ.

— Благопріятель еще живъ, а мы ужъ разсчитываемъ, кого бы намъ посадить, чтобы нашу руку гнули. Объявляемъ его мечемъ жребій!..

— Это ужъ совсѣмъ напрасно,—разсердился въявь Нѣтовъ и всталъ. — Вамъ достаточно извѣстно, Капитонъ Теофилактовичъ, что я никакими аферами не занимаюсь (Марья Орестовна не могла его отучить отъ „аферъ“); ежели я и дядюшка Алексѣй Тимофеевичъ объ чемъ хлопотчемъ, такъ это единственно, чтобы люди стоящіе сидѣли на такихъ мѣстахъ. И потому мы полагаемъ, что вамъ съ нами ссориться не изъ чего. Кромѣ всякаго содѣйствія вы отъ насъ ничего не выдали.

— Ладно, ладно!.. Сейчасъ и пѣтушится, ха-ха!..

Красноперый перемѣнилъ тонъ.

— Была бы честь предложена!—вырвалось у Нѣтова.

Но онъ тотчасъ же испугался и ушелъ въ себя.

— Да ладно, я вѣдь не кусаюсь... А ты вотъ что мнѣ скажи: это ты самъ придумалъ насчетъ Лещова?.. Врядъ ли!.. Дядюшка надоумилъ?

— Это все единственно... кто... я ли, дядюшка ли, что для васъ выгоду имѣетъ, вы сообразите сами...

— Плохъ онъ нешто?..—спросилъ вдругъ Красноперый серьезно.

— Вы о комъ, о Константиѣ Глѣбовичѣ?

— Да.

— Очень плохъ... Я вотъ къ нему...

— Удостовериться, сколько дней проживетъ?

— Вовсе не такъ, Капитонъ Теофилактовичъ, вовсе не въ этихъ расчетахъ, а потому собственно, что они просили насчетъ завѣщанія.

— Пишетъ?



— Да-съ... И дядюшку желали въ душеприказчики.

— Тотъ не пошелъ... старый аспидъ?

— У нихъ дѣловъ достаточно и своихъ...

— А ты?

— Мнѣ также вмѣшиваться не хотѣлось бы... подписаться свидѣтелемъ, почему не подписаться...

— Улита ѣдетъ скоро ли будетъ... Лешовъ-то пять разъ ужъ на моей памяти отходилъ, однако, все еще живъ. Онъ Господа Бога слопаеть.

— Не доживетъ до зимы.

— Ну, и пушай его... Вамъ съ дядей вотъ чтó скажу, другъ любезный: загадывать нечего, можно и провратъ-ся... Коли вы оба со мной ладить хотите... такъ мы посмотримъ...

— Мы надѣмся, что вы, какъ и прежде, этихъ-то, которые надъ нами въ издѣвку... и насчетъ русскихъ и славянъ...

— Это ты не гоноши... Я—русакъ. Въ деревнѣ родился... стало, нечего меня русскому-то духу обучать... А вы очень не тянитесь... за барами, которые... кричать-то много... Онъ, говорить, западникъ... Мы не того направили.. Вы оба о томъ лучше думайте, чтобъ куръ не смѣшить, да стоящихъ людямъ поперекъ дороги не становиться, такъ-то!..

Красноперый всталъ и протянулъ руку Нѣтову. Больше не о чемъ было разговаривать. Хорошо еще, что проводилъ до приѣзжой.

XII.

Не много пріятности предстояло и у Лешова. Но, видно, такой крестъ выпалъ, даромъ ничто не дается.

Всю дорогу — минутъ съ двадцать—на душѣ Евлампія Григорьевича то защемило отъ „пакости“ Красноперова, то начнетъ мутить совѣсть: человекъ умираетъ, проситъ его въ свидѣтели по завѣщанію, училъ уму-разуму, изъ самыхъ немудрыхъ торговцевъ сдѣлалъ изъ него особу, а онъ, какъ „Капитошка“ сейчасъ ржалъ: „объ одеждахъ его мечеть жребій“; срамъ - стыдобушка! Сидеть у его кровати, ровно другъ, а самъ передъ тѣмъ заѣзжалъ къ такому „мерзecu“, какъ Красноперый, сулить ему мѣста Константина Глѣбовича. И зачѣмъ все это?.. Не могъ онъ развѣ жить себѣ припѣваючи? Ни заботъ, ни сухоты, ни обиды. Гдѣ хочешь... въ Ниццу или въ Неаполь, что ли,



поѣзжай. Палаццо тамъ выведи, пѣвчихъ своихъ, церковь собственную... Такъ нѣтъ!.. Все подошло одно къ одному; завелся и выросъ внутри червякъ,—какое—цѣлый глистъ ленточный, гложетъ и гложетъ... И къ людямъ такимъ попалъ въ выучку: Лещовъ, Марья Орестовна. Теперь ужъ и нельзя назадъ, не пускаетъ собственное прошедшее.

Ежится Евлампій Григорьевичъ въ своей мягкой стеганой шинели. Ему не по себѣ, точно онъ передъ припадкомъ лихорадки... Слишкомъ ужъ играли на его нервахъ, да и еще поиграютъ. У Лещова онъ засиживаться не станетъ.. Нѣтъ!.. А дома-то?.. Что такое готовить Марья Орестовна?.. Господи!..

Карета въѣхала въ ворота и остановилась у подъѣзда со стариннымъ навѣсомъ деревяннаго крыльца. Домъ у Лещова былъ небольшой, одноэтажный, съ улицы штукатуренный, въ переулкѣ, около Новинскаго бульвара, старый, купленный съ аукціона; построенъ былъ какимъ-то еще „бригадиромъ“.

Покупщикъ поправилъ его немного внутри, сдѣлалъ потѣлѣе, перестлалъ полы и вставилъ новыя окна; но объ убранствѣ не заботился. Расположеніе комнатъ, почти вся мебель, даже запахъ старыхъ дворянскихъ покоевъ, остались тѣ же. Одна зала была попросторѣе, остальные комнаты тѣсныя и воздухъ въ нихъ всегда стоялъ спертый.

Впустилъ Нѣтова лакей съ длинными усами, въ черномъ сюртукѣ.

— Здравствуйте, батюшка Евлампій Григорьевичъ,—сказалъ онъ съ поклономъ.

— Какъ баринъ?—спросилъ Нѣтовъ, войдя въ переднюю, гдѣ еще сохранились „лари“.

— Очень мучились... Одышка... Совсѣмъ залило... водато...—прибавилъ онъ шопотомъ.—Докторъ въ три часа ночи былъ. Консилиумъ, слышно, хотятъ.

— Кто у него теперь?

— Ждали Качѣева, Аполлона Ѳедоровича,—изволили знать?

— Адвокатъ?

— Да-съ... А тѣхъ вотъ о сю-пору нѣтъ. Верхового послали...

И въ переднюю проникъ запахъ комнаты трудно-больного. Нѣтовъ нахмурился и сжалъ губы. Онъ боялся покойниковъ и умиравшихъ.

Лакей пошелъ впередъ черезъ залу — пустую, скучную



комнату, съ ломберными столами и роялемъ, безъ растеній, безъ картинъ, черезъ гостиную съ красной штофной мебелью, проходную, неудобную, и повернулъ налѣво чрезъ комнату, которая у прежнихъ владѣльцевъ называлась „чайной“.

Раскатъ желудочнаго кашля остановилъ и испугалъ Нѣтова. Точно у него самого вышло наружу все нутро. Лакей постучалъ въ дверь и пріотворилъ. Оттуда выглянуло молодое лицо. Они пошептались.

— Пожалуйте, батюшка,—пригласилъ лакей Евлампія Григорьевича.

Больной помѣщался на широкой, двуспальной кровати изъ темнаго орѣха. Шторы были подняты, но свѣтъ входилъ въ комнату сѣрый; коричневые обои дѣлали ее еще болѣе тоскливой. Только дамскій туалетъ, съ серебрянымъ зеркаломъ и кисеей на розовой подкладкѣ, немного освѣжалъ общій видъ. Въ воздухѣ двигались невидимыя полосы эоира, испаренія микстуръ. Въ подушкахъ, опершись о нихъ спиной, Лещовъ только что осилилъ страшный припадокъ удушья и кашля. Голова его опустилась на-бокъ. Изъ длиннаго, отекашаго лица съ рѣдкой бородой, почти совсѣмъ сѣдой, глядѣли два глаза, озлобленные на боль, подозрѣвающіе, полные горечи и безразличнаго чувства ко всѣмъ и ко всему. Глаза эти то расширяли свои зрачки, то суживались и блуждали по комнатѣ. Ротъ кривился. Грудь дышала коротко и томительно. Можно было заключить, что ее „заливаетъ“, какъ сказалъ лакей Нѣтову. Животъ, непомерно раздутый, указывалъ также на послѣдній періодъ водяной. Фланелевое одѣяло прикрывало тѣло больного до пояса. Онъ разметалъ его. На ногахъ лежало другое, полегче. У изголовья стоялъ столикъ со множествомъ лѣкарствъ. Въ ногахъ, на табуретѣ, лежали игральныя карты и грифельная доска. Подальше, изъ-за кровати, выставился сложенный ломберный столъ; на немъ—бумаги, чернильница съ перомъ и два толстыхъ тома.

Жена Лещова смотрѣла дамой лѣтъ подъ тридцать. Она, какъ-то не подѣ-стать комнатѣ при-смерти больного, была старательно причесана и одѣта, точно для выѣзда, въ шелковое платье, въ браслетѣ и медальонѣ. Ея бѣлокурое, довольно полное и красивое лицо совсѣмъ не ожидалось глазами неопредѣленнаго цѣнта, немного заспан-ными. Она улыбнулась Нѣтову улыбкой женщины, не же-



лающей никого раздражать и способной все выслушать и перенести.

— Евлампій Григорьевичъ,—тихо сказала жена, наклоняясь надъ нимъ.

— А? что?..—раздраженно окликнулъ онъ.

Она повторила и, обернувшись къ гостю, показала лицомъ, какъ она хорошо переноситъ послѣдніе дни своихъ мученій.

Нѣтовъ подошелъ къ кровати на цыпочкахъ.

— А! пріѣхалъ!.. Спасибо!..

И Лещовъ говорилъ ему „ты“. А онъ ему „вы“.

— Какъ?—спросилъ Нѣтовъ больного.

— Видишь... Душитъ... Скоты у насъ доктора... Разбойники!.. Вотъ хочу Маттеи попробовать... А всѣхъ этихъ жидовъ гнать вонъ!.. Сотенныхъ-то!

Лещовъ схватился за грудь и злобно вскинулъ головой на жену.

— Ну, что торчишь?.. Что торчишь? Господи ты Боже мой!.. Ну, сложи все это съ табуретки!.. И уходи! Не моль ты мнѣ глаза!

Жена взяла карты и грифельную доску и вышла молча, сохраняя все ту же улыбку.

XIII.

— А дядя что? Алексѣй Тимофеевичъ? Ты ему передавать мою просьбу?

— Передавалъ-съ, Константинъ Глѣбовичъ.

— И что же?

— Опи свидѣтелемъ—съ полнымъ удовольствіемъ...

— Стало, въ душеприказчики не хочетъ?

— Изволите видѣть...

— А-а!—перебилъ больной и глаза его сверкнули...—Питается?.. И ты тоже?

— Я, Константинъ Глѣбовичъ... съ полнымъ моимъ удовольствіемъ... только позвольте вамъ доложить...

— Ну да, ну да!.. Ахъ вы, хриstopродавцы!..

Онъ откинулся на подушку. Въ горлѣ у него захрипѣло. Но въ такомъ положеніи онъ оставался не долго. Снова приподнявъ онъ голову и подался впередъ, такъ что его голова почти ткнулась въ лицо Нѣтову.

— Вотъ вы всѣ таковы! Пока человѣкъ живъ, на ногахъ, нуженъ вамъ, глупость-то вашу отчищаетъ, какъ коросту какую,— вы ему всякое уваженіе. А тутъ въ пустя-



какъ — отказъ, трусость поганая, моя хата — съ краю... Славно!.. Чудесно!.. И не надо!..

— Константинъ Глѣбовичъ, вы изволите знать дядюшку! У нихъ дѣловъ собственныхъ по горло. И съ судомъ они опасаются всякихъ столкновеніевъ.

— Дѣловъ... Столкновеніевъ! Вотъ они у насъ какъ выражаются, господа коммерсанта...

Больной приподнялся и выпрямился. Правую руку онъ вытянулъ, а лѣвой открылъ еще больше воротъ рубашки.

— И пѣ васъ-то я двадцать-пять лѣтъ самыхъ лучшихъ ясдилъ, въ васъ?! Срамъ вспомнить!.. Меня съ вами начали смѣшивать... въ одну кучу валить... Такой же кулакъ, говорятъ, какъ и всѣ они, воротила, выжига, выкормокъ купеческій. А я магистерскій дипломъ имѣю... Ты это забылъ?..

— Помилуйте, Константинъ Глѣбовичъ...

— А я забылъ!.. За чечевичную похлебку, какъ Псавъ, продалъ свое первородство. Сталъ съ вашимъ братомъ якшаться!.. И благодарности захотѣлъ...

Ротъ больного сводило. Онъ заметался на постели. Нѣтову сдѣлалось очень жутко. Самъ онъ готовъ былъ сейчасъ пойти въ душеприказчики, но за дядю отвѣчать не могъ.

— Христа-ради, Константинъ Глѣбовичъ,—заговорилъ онъ,— не извольте такъ разстраиваться-сь. Я, съ своей стороны, готовъ.

— Не хочу!..—крикнулъ гнѣвно Лещовъ,— не хочу!.. Убирайтесь!.. Найду и другихъ. Дворника позову, кучера, вонъ Андрея своего... не хуже васъ будутъ... и въ безграмотствѣ не уступятъ... Вотъ... умирать какъ пришлось...

— Я за честь почту-сь,—продолжалъ Нѣтовъ,— быть свидѣтелемъ, коли ваше на то желаніе, Константинъ Глѣбовичъ.

— Не надо!.. Не нуждаюсь... Я васъ насквозь вижу... Вы ужъ и теперь подыскиваете человѣка на мою ваканцію. Чего глаза-то опускаешь, Евлампій Григорьевичъ?.. Ваше степенство! Вонъ и щеки у тебя пятнами пошли...

— Помилуйте-сь!..—прошепталъ Нѣтовъ. Ему ужасно захотѣлось съежиться.

— Ха-ха!—разразился Лещовъ, и его смѣхъ перешелъ въ новые раскаты кашля.

Нѣтовъ переполошился, вскочилъ, схватилъ стаканъ съ какимъ-то питьемъ.



Изъ полуотворенной двери показалось лицо жены.

— Микстура бѣлая, — шопотомъ подсказала она Нѣтову и скрылась.

— Прикажете лѣкарства? — спросилъ тотъ больного.

Лещовъ ничего не отвѣтилъ. Онъ съ усиленіемъ откашливался. Жилы налились у него на лбу и вискахъ. Лицо посинѣло. Надо было поддерживать ему голову. Послѣ припадка, онъ упалъ пластомъ на подушки и съ минуту лежалъ, не раскрывая глазъ. Въ спальнѣ слышалось его дыханіе.

На цыпочкахъ отошелъ Нѣтовъ къ двери.

Вдругъ больной схватился за колокольчикъ и позволилъ. Дверь отворила жена.

— Качѣвъ здѣсь? — чуть слышно спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще!

— Разбойникъ!.. Селадонъ проклятый!..

Онъ уже не обращалъ никакого вниманія на гостя.

— Не угодно ли мой экипажъ? — предложилъ Нѣтовъ, обращаясь къ женѣ.

— Не хочу! — крикнулъ Лещовъ. — Не надо!.. Благопріятели удружили! Оставьте меня! всѣ, всѣ!..

И онъ замахалъ рукой.

XIV.

Нѣтовъ вышелъ за двери съ Лещовой.

Она улыбнулась ему, сложила руки, какъ на картинахъ складываютъ, становясь передъ образомъ, и подняла глаза.

— Ради Бога, — заговорила она, уводя его въ гостиную. — Не раздражайте его. Простите. Онъ виѣ себя.

— Да, я понимаю-съ, — заторопился Нѣтовъ, — совершенно вѣрно изволите говорить. Впѣ себя.

— Пожалуйста, прошу васъ... согласитесь...

Она опустила на диванъ и приложила къ глазамъ батистовый платокъ съ разноцвѣтной монограммой.

— Да я съ полной готовностью. И дядюшка Алексѣй Тимоѣевичъ согласны въ свидѣтели.

— Какіе свидѣтели? — вдругъ спросила она наивнымъ тономъ и отвила платокъ отъ покраснѣвшихъ глазъ.

— По духовной...

Евлампій Григорьевичъ прикусилъ себѣ языкъ. Онъ, быть-можетъ, проврался. Вѣдь этихъ вещей не говорить

женамъ. Кто ее знаетъ? Живутъ они, кажется, не очень-то ладно.

— По завѣщанію?—томно переспросила она и склонила голову на плечо.

— Собственно... я полагаю такъ,—началъ путаться Евлампій Григорьевичъ.

— Ахъ, monsieur Нѣтовъ... и далека отъ всего этого... я ничего не знаю... мой мужъ никогда меня не посвящалъ въ дѣла... Никогда... Онъ смотритъ на меня какъ на дурачку... И вотъ теперь поймите мое положеніе... въ такія минуты... я какъ въ лѣсу... Волю свою онъ не передаетъ мнѣ на словахъ! О, нѣтъ!.. Я не достойна... Я не ропщу... вы понимаете, Евлампій Григорьевичъ... какая будетъ воля моего мужа—я не знаю... Но выборъ исполнителей... такъ важень... ваше участіе...

— Да я всей душой... Только Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Они не пожелаютъ меня безъ дядюшки; а Алексѣй Тимофеевичъ разъ что скажетъ, рѣшенія своего не измѣнитъ.

— Кто же будетъ?—всхлипнула Лещова и опять закрыла глаза платкомъ.

Евлампій Григорьевичъ увидалъ себя въ эту минуту на постели, обложеннаго подушками, больного при смерти... Какое-то онъ будетъ составлять завѣщаніе? А его Марья Орестовна что станетъ выдѣлывать? Она и этакъ, пожалуй, не прослезится. Но на нее онъ не посмѣетъ такъ кричать, какъ Лещовъ. Всѣ онъ на одинъ ладъ.

Вбѣжалъ лакей.

— Пожалуйте... — позвалъ онъ барыню. — Гнѣваются... Опять Аполлона Ѳедоровича требуютъ.

— Меня зоветъ?—спросила Лещова съ видомъ жертвы.

— Да-съ! Приказали васъ звать. Звонокъ въ передней. Должно-быть Аполлонъ Ѳедоровичъ.

Лакей убѣжалъ.

— Вы не побудете?—спросила Лещова, вставая, и протянула Нѣтову бѣлую, круглую руку, всю въ кольцахъ.

— Да вѣдь теперь что же-съ, бумаги еще не готовы. Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Пожалуй, и въ свидѣтели не пожелаютъ... что же ихъ беспокоитъ? Вы сами изволите видѣть... А если что нужно... дайте знать.

— Ахъ, Евлампій Григорьевичъ,—она оперлась объ его руку и поникла головой,—развѣ я что значу?

— Ну вотъ, быть-можетъ, довѣріе имѣютъ къ адвокату.



— Къ Качѣву?

— Да-съ.

— Не думаю... Я въ сторонѣ... И хочу... чтобы потомъ никто не имѣлъ права...

— Однако, все-таки-съ... Довѣренный человѣкъ и законъ знаетъ... Да и самъ Константиъ Глѣбычъ разсудятъ, когда поспокойнѣ будутъ, кого имъ лучше выбрать... Я съ своей стороны...

А самъ думалъ: „еще впутаеться съ тобой. Почнешь ты оттигивать имущество, если тебѣ мала покажется твоя доля...“

Онъ торопливо сталъ расклапываться.

— Пожалуйста... не извольте меня провожать, вашъ больной какъ бы опять не разгнѣвался?..

Иѣтовъ пятился къ двери весь въ испаринѣ, не зная, какъ ему поскорѣе уйти изъ этого дома, гдѣ еще такъ недавно его, какъ говорилъ Красноперый, „натаскивали“.

Лещова проводила его до залы и на порогѣ еще разъ подняла глаза кверху.

XV.

Въ спальнѣ она застала адвоката Качѣна.

На краю постели сидѣлъ, нагнувъ вправо голову и весело глядя на больного, молодой блондинъ небольшого роста. Его бакенбарды расчесаны, точно двѣ пуховки изъ-подъ пудры, на розовыхъ щекахъ. Лоснящіяся, мягкіе волосы лежали на головѣ послушно, на лбу городками, а на вискахъ разбитые пробормомъ на двѣ половины. Усы, свѣтлѣе волосъ, кончались тонкими нитями, по которымъ прошелся брильянтинъ. Голубые глаза смотрѣли на больного, какъ баловники глядятъ на дѣтей. Фракъ со значкомъ сидѣлъ на Качѣвѣ, точно будто онъ ѣхалъ на балъ. По вырѣзу жилета, въ видѣ сердца, широкий галстукъ съ прямообрѣзанными концами падалъ на грудь. Въ манжетахъ желѣли круглые матовые шарики съ жемчужиной посрединѣ. По всей комнатѣ почелъ запахъ прѣсныхъ духовъ и смѣшался съ удушливымъ воздухомъ лѣкарствъ.

Качѣвъ держалъ больного за руку, тамъ, гдѣ пульсъ, докторскимъ приѣмомъ.

— Вотъ и вижу,—говорилъ онъ нараспѣвъ женоподобнымъ голосомъ; въ эту минуту вошла Лещова,—что пятились на кого-то. За это штрафъ. А! Аделаида Пе-

тровна, bonjour! — Онъ вскочилъ и приложился къ рукъ.

Лещова поглядѣла на него съ такимъ же выраженіемъ, какъ и на Нѣтова.

— Дурно ведетъ себя Константинъ Глѣбовичъ...

Мученическое выраженіе разлилось по всему лицу Лещовой.

— Подай бумаги!—прохрипѣлъ больной.

Она не разслышала.

— Бумаги!—закричалъ онъ.—Кому я говорю? Рада! Заплела коклисы! Пріятный мужчина явился. Какъ же тутъ хребтомъ не вилать? И браслеты всѣ надо напялить.

Качѣевъ и Лещова обернулись къ больному разомъ. Лицо ея продолжало улыбаться; адвокатъ подошелъ къ кровати.

— Опять начали!—пригрозилъ онъ.—Воля ваша, доктору пожалуюсь. Какъ же это вы меня приглашаете? Вамъ надо быть въ полномъ обладаніи своихъ духовныхъ способностей, а не такъ себя вести, Константинъ Глѣбовичъ... Вы этакъ до состоянія невмѣняемости дойдете!

Больной стихъ и даже улыбнулся.

— Ахъ, батюшка,—началъ онъ жаловаться, — раздражаетъ она меня, мочи нѣтъ.

Онъ ткнулъ указательнымъ пальцемъ по направленію жены.

Адвокатъ присѣлъ опять на край постели.

— Уговоръ!—сказалъ онъ.

— Какой?

— О дѣлѣ будемъ толковать—не кипятиться, а то сейчасъ уйду.

— Ладно!

— Или я—вашъ повѣренный, или вы меня для одной трепки пригласили!

— Пригласилъ!—повторилъ Лещовъ.—Нарочныхъ гонять надо!.. Семью собаками не сыщешь!.. У какой барыни подъ юбкой нашли?

— Константинъ Глѣбовичъ! — остановилъ адвокатъ и кивнулъ головой въ сторону Лещовой.

Она подала шкатулку краснаго дерева съ мѣдной отлѣлкой.

— А на что же поставить-то?—грубо спросилъ больной. — Писать-то гдѣ онъ будетъ?.. И этого сообразить не можеть!.. Господи!.. полудурья, полудурья!..

Лещова ни на каплю не измѣнилась въ лицѣ. Только



ея глаза встрѣтились съ глазами адвоката. Качѣву стало неловко, хотя онъ уже привыкъ къ такимъ супружескимъ сценамъ и до болѣзни своего довѣрителя.

— Я прикажу, — особенно кротко выговорила Лещова.

— А сама не можешь? Лакеевъ звать, чтобы всякій скотъ видѣлъ, что я дѣлаю, и сейчасъ всѣмъ просвиринамъ протрубилъ... Баринъ, молъ, съ аблакатомъ записался. Умна!..

— Да вотъ столъ, — напелся Качѣвъ, — мы сейчасъ же приставимъ... Тутъ все есть, что нужно... Пожалуйста.

Они придвинули ломберный столъ къ кровати. Портфель Лещовъ придерживалъ на груди.

— Отлично такъ будетъ! — вскричалъ Качѣвъ и отодвинулъ табуретку. — Ну, Константинъ Глѣбычъ, коли не станете ругаться — я съ вами три короля въ пикетъ сыграю послѣ.

— Ой ли? — обрадованно спросилъ больной, и въ первый разъ глаза его улыбнулись.

Жена его, не дожидаясь новаго окрика, вышла изъ спальни.

XVI.

Портфель лежалъ уже на раскрытомъ столѣ. Лещовъ сначала отперъ его, держа передъ собой. Ключикъ висѣлъ у него на груди въ одной связкѣ съ крестомъ, ладонкой, финифтевымъ образкомъ Митрофанія и золотымъ, плоскимъ медальономъ. Онъ повернулъ его дрожащей рукой. Изъ портфеля вынулъ онъ тетрадь, въ большой листъ, и еще двѣ бумаги такого же формата.

— Что же? — дурачливо началъ Качѣвъ, — мы опять сказку про бѣлаго бычка начнемъ?

— Какого бычка? — полусердито, полуплутливо переспросилъ Лещовъ.

— А то какъ же? Въ десятый разъ будемъ перебирать пункты духовной.

— Да вы что кричите! — перебилъ его больной. — Дверь-то хорошенько притворите, дверь... За каждой скважиной уши! И Христа ради потише... Не можете, что ли, теноръ-то вашъ сдержатъ?.. Подслушивается!.. Все ложь!.. Глазами и такъ, и этакъ... И жертву изъ себя... агнецъ на закланіе... Улыбка-то одна все у меня внутри поворачивается! А нѣ и будетъ съ фигой.



И онъ злобно разсмѣялся. Разсмѣялся и адвокатъ, но по-другому, весело и безперемонно.

— Вы точно изъ послѣдней пьесы Островскаго,—сказалъ онъ, еле сдерживая смѣхъ.

— Какой пьесы?

— Мнѣ разсказывали, онъ на-дняхъ читалъ въ одномъ домѣ, какъ купецъ-изувѣръ собрался тоже завѣщаніе писать и жену обманывалъ, говорилъ, что все ей оставить и племяннику миліонъ, а самъ ни копейки имъ. Все за упокой своей души многогрѣшной... Ха-ха!..

— Чего вы зубоскалите?... Развѣ я такъ? Обманываю я?.. Боюсь я сказать? Хитрю?.. Небось, на вашихъ глазахъ: она знаетъ,—и онъ указалъ на дверь,—что нечего ей разсчитывать. Никакихъ чтобъ расчетовъ. И улыбка-ми она своими меня не подкупить!.. Коли что—такъ я, какъ этотъ самый купецъ... ни единой полушки!..

— Да полноте, Константинъ Глѣбовичъ, что вы юродствуете! Вѣдь завѣщаніе я же писалъ.

— Разорву, сейчасъ разорву!.. такія минуты находятъ, что, кажется, своими бы руками...

— Ха-ха! А купецъ-то зубами хочетъ... желѣзные, говорить, у меня зубы.

— Не смѣйте такъ!—грозно оборвалъ большой Качѣва.

Тотъ помолчалъ, сдѣлалъ попріятнѣе мину и выговорилъ:

— Нужно только пожалѣть отъ души вашу супругу!

— Скажите пожа-луйста!

— Да, пожалѣть... Ея выдержка изумительна.

— Выдержка!.. Я знаю...

— Ангельское терпѣніе. А у меня его меньше, Константинъ Глѣбовичъ... Довольно и того, чему я бывалъ свидѣтель, хоть бы сегодняшнимъ днемъ... Я не за этимъ ѣзжу къ вамъ... Если вамъ не угодно...

Онъ началъ подниматься съ табурета.

Лещовъ пугливо оглянулся и привсталъ въ постели.

— Полно, полно... Нечего тутъ кавалера-то изъ себя строить... Не ваша сухота... Давайте о дѣлѣ...

— Да вѣдь все готово!

— Прочтите мнѣ параграфъ... какой бишь...

— О чемъ?

— Объ учрежденіи имени... Константина Глѣбовича Лещова...

— Параграфъ седьмой?



— Да, да...

Адвокатъ началъ перелистывать тетрадь, опустилъ низко голову въ листы. Лещовъ слѣдилъ за нимъ тревожнымъ взглядомъ и дышалъ коротко и прерывисто.

Онъ думалъ:

„Наказалъ же меня Господь. Отнялъ разумъ и соображеніе... Какъ же было поручить составленіе духовной такому шалопаю, красавчику, Нарциссу? Да вѣдь она, Антигона-то облыжная, на него цѣлый годъ буркалы свои плить. Вѣдь они меня еще до смерти отравятъ, подсыплютъ морфію, обворуютъ, сожгутъ завѣщаніе... Развѣ ему, этому шенпану, довольно его практики?.. Что онъ получить? Десять, ну пятнадцать тысячъ... А тутъ сотни... И посулить ей законный бракъ. Успѣешь умереть съ духовной — онъ же оспаривать будетъ пополамъ барыши, вытянетъ у нея потомъ, поступить къ ней на содержаніе... И пойдутъ трудовыя деньги не на хорошее, на родное дѣло, не на увѣковѣченіе имени Лещова, а на французскихъ дѣвокъ, на карты, на кружева и тряпки этой мерзкой притворщицы и набитой дуры!..“

XVII.

Параграфъ былъ прочитанъ. Въ немъ Константинъ Глѣбовичъ оставлялъ крупную сумму на учрежденіе специальной школы и завѣщалъ душеприказчикамъ выхлопотать этой школѣ право называться его именемъ. Когда Качѣвъ раздѣльно, но вполголоса прочитывалъ текстъ параграфа, больной повторялъ про себя, шевелилъ губами. Онъ съ особенной любовью обдѣлывалъ фразы; по нѣскольку разъ заново передѣлывалъ этотъ пунктъ. И теперь два-три слова не поправились ему.

— Постойте,—перебилъ онъ.—Тутъ надо замѣнить.

— Что?—нетерпѣливо спросилъ Качѣвъ.

— Да вотъ это: „ежели, въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній“...

— Облизывали достаточно...

— Кто—я?

— Вы, Лещовъ, Константинъ Глѣбовичъ.

— Какая у меня степень? Вѣдь это между вашей братьей развелись малограмотные скоробрехи; а я не могу: чувство у меня есть художественное. Вы его всѣ утратили... Ремесленники, наймиты вездѣ развелись.

Качѣвъ выпустилъ тетрадь и сложилъ руки на груди.

— Вы забыли уговоръ, Константинъ Глѣбовичъ. Опять ругаться?

— Подайте мнѣ.

Лещовъ потянулся за тетрадью. Адвокатъ подалъ ее.

— Одно слово!.. Все равно надо переписать...—отрывисто заговорилъ Лещовъ.

Его уже начинало опять душить.

— Зачѣмъ переписывать... вѣдь вы ждали свидѣтелей?

— А! свидѣтелей?—разразился Лещовъ.—Былъ тутъ сейчасъ Евлашка Нѣтовъ, тля, безграмотный идиотъ. Я его оболванилъ, я его изъ четвероногаго двуногимъ сдѣлалъ. А онъ... отлыниваетъ... зачуяли, что мертвечиной отъ меня несетъ... Съ дядей своимъ, старой Лисой-Патрикѣвной, ставнулся... Тотъ въ душеприказчики нейдетъ... Я его намѣтилъ... Почестнѣе, потолковѣе другихъ... Теперь кого же я возьму?.. Кого?..

— Помилуйте,—перебилъ Качѣевъ,—у васъ полъ-Москвы знакомыхъ... Ну, барина какого-нибудь изъ вашихъ пріятелей, изъ византійцевъ... ха-ха-ха!

— Откуда у васъ такое слово?

— Робята одобрили...—продолжалъ смѣшливо Качѣевъ.

— Выдохлись они теперь, болтаютъ все на старые лады... Ужъ коли брать, такъ купца. Этотъ хоть умничать не станетъ и счетъ знаетъ... А кого взять?.. Можетъ ли онъ понять мою душу? Раскусить ли онъ—лавочникъ и выжигъ,—что диктовало, какое чувство... вотъ хоть бы этотъ самый седьмой пунктъ?.. Вы не знаете этого народа?.. Вѣдь это бездонная прорва всякаго скудоумія и пошлости!..

Припадокъ кашля былъ гораздо слабѣе. Лещовъ положилъ голову на ладонь правой руки и смотрѣлъ черезъ бѣлокурую голову Качѣева. Голосъ его сталъ ровнѣе, слышались тронутые, унылые звуки...

— Молодой человѣкъ, вотъ вы тоже начали съ этимъ народомъ возжаться... Не продавайтесь! Бога для — не продавайтесь... Хотя бы и такъ, какъ я... Я не плутовалъ!.. Свезутъ меня завтра на погостъ, будутъ вамъ говорить: Лещовъ наворовалъ себѣ состояние, Лещовъ былъ угольникъ первыхъ плутовъ, фальшивыхъ монетчиковъ... не вѣрьте... Ничего я не укралъ, ничего! Но я пошелъ на сдѣлку... Да. Хотя и тыкалъ ихъ въ носъ, показывалъ имъ ежесекундно свое превосходство, а все-таки ими питался... И опошлѣлъ, каюсь Господу моему и Спасителю!



Опустился... Все думалъ такъ: вотъ буду въ стахъ тысячахъ, а потомъ въ двухстахъ, трехстахъ, и тогда все по-боку и заживу съ другими людьми, спастись стану... Мыслить опять начну... Чувствованія свои очищу... Анъ тутъ болѣзнь подползла. И никакіе доктора меня не подымутъ на ноги—вижу я это. Не хуже ихъ ставлю себѣ діагнозу... Вотъ она, трагедія-то. Слушай меня, франтъ-адвокатъ, слушай... коли въ тебѣ душа, а не паръ, гляди на меня, и гляди въ оба и страшись расплаты съ самимъ собою.

Отъ утомленія онъ смолкъ и закрылъ глаза. Лицо еще больше осунулось. Вокругъ глазъ темнѣли бурыя впадины.

Качѣвъ быстро поглядѣлъ на него, положилъ тетрадь въ портфель и перегнулся черезъ столъ.

— Константинъ Глѣбовичъ,—тихо выговорилъ онъ, — право, довольно... выправлять духовную... Когда свидѣтели будутъ готовы, пошлите за мной... Да и безъ меня подпишутъ, вы форму знаете, а душеприказчиковъ найдемъ и поставимъ другихъ...

— Кого?—чуть слышно спросилъ Лещовъ.

— Да того же Нѣтова... А второго... ну хоть меня! Я законъ знаю. Теперь лучше въ карточки поиграть... Я схожу за картами.

Качѣвъ вышелъ.

XVIII.

Въ гостиной, гдѣ адвокатъ нашелъ Лещову съ занятіемъ въ рукахъ, вышелъ разговоръ вполголоса.

— Раздражался?—спросила она кротко.

— Вѣда! Цѣлое поставленіе мнѣ прочелъ. Точно Борисъ Годуновъ послѣдній монологъ... Пожалуйте намъ карты... Маленькій пикетецъ соорудимъ... Я еще поспѣю въ судъ... Ахъ, барыня вы милая!

Онъ поцѣловалъ ее руку, а она его въ затылокъ, встала и пошла къ двери.

— Карты тамъ... въ спальнѣ... А какъ же съ душеприказчиками?

— Я себя предлагаю.

— Добрый другъ,—протянула она и подняла вверхъ глаза.

Глаза адвоката смотрѣли вбокъ. Въ нихъ мелькнула мысль: „кто тебя знаетъ, какъ-то ты себя поведешь послѣ вскрытія завѣщанія“.



Но они больше между собою не шептались. Лещова вошла первая въ спальню.

— Три короли!—громко произнесъ Качѣвъ, входя вслѣдъ за нею, — не больше, Константинъ Глѣбычъ, вы слышите?..

— Какъ тебѣ угодно,—спросила Лещова,—на столъ или положить доску на постель?

— На постель!.. Знаешь вѣдь.

Она достала небольшую доску изъ-за туалета, помѣстила ее на край постели, придвинула табуретъ, положила на доску двѣ колоды и грифельную доску, взбила подушки и помогла мужу приподняться.

Началась партія. Лещова присѣла у нижней спинки кровати и глядѣла въ карты Качѣва. Большой сначала выигралъ. Ему пришло въ первую же игру четырнадцать дамъ и пять и пятнадцать въ трефахъ. Онъ съ наслажденіемъ обиралъ взятки и клалъ ихъ, звонко прицелкивая пальцами. И слѣдующія три-четыре игры карта шла къ нему. Но вотъ Качѣвъ взялъ девяносто. Поддаваться, если бъ онъ и хотѣлъ, нельзя было. Лещовъ пришелъ бы въ ярость. Въ прикупкѣ очутилось у Качѣва три туза.

— Ты что намъ обонмъ въ карты глядишь?—спросилъ Лещовъ жену.

— Я не вижу твоихъ картъ, мой другъ.

— Какъ не видишь? Сядь вотъ тутъ.

Онъ указалъ на изголовье.

— Возьми стулъ и сяди... Ковыряй что-нибудь, вяжи, не мозоль такъ глаза.

Жена исполнила его желаніе и сѣла на стулъ у изголовья.

— Береженого Богъ бережетъ,—повторялъ Качѣвъ, сдавая.—Вы, Константинъ Глѣбычъ, очень ужъ горячитесь!.. Снесли не такъ.

— У васъ, поди, учиться надо?

— А хоть бы и у насъ!..

Постъ порядочной игры Лещову, что ни сдача—семерки и осьмерки. Качѣвъ выигралъ короля. Въ счетъ большой раскричался, началъ самъ считать—они играли по одной восьмой—сбился и страшно раскашлялся.

— Не довольно ли?—замѣтила Лещова.

— Не твое дѣло!—оборвалъ онъ ее.

Она хотѣла уйти.



— Сиди тутъ! Сиди!

Какъ суетѣрный игрокъ, онъ имѣлъ свои примѣты.

Послѣ третьей сдачи карты опять потянули къ противнику.

— Что ты тутъ торчишь?.. Стунай! Сидь на другое мѣсто!..

Лещовъ началъ рукой толкать жену. Она отошла къ окну и взяла работу.

Третьяго короля не доиграли. Послѣ новаго взрыва игрецкаго раздраженія, съ Лещовымъ сдѣлался такой припадокъ одышки, что и адвокатъ растерялся. Поскакали за докторомъ; больного посадили въ кресло, въ постели онъ не могъ оставаться. Съ помертвѣлой головой и зактившимися глазами, стоналъ онъ и качался взадъ и впередъ туловищемъ. Его держали жена и лакей.

„Не подпишетъ духовной, — думалъ Качевъ, надѣвая перчатки въ передней, — подкузьмила его водяная... Что жъ! Аделаида Петровна дама въ соку. Только глупенька! А то, кто ее знаетъ, окажется, пожалуй, такой стервовой. Коли у него прямыхъ наслѣдниковъ не объявится, а завѣщанія нѣтъ, въ семи стахъ тысячахъ будетъ, даже больше“.

Онъ самъ затворилъ дверь въ передней. Лакей былъ занятъ съ баринкомъ. „Папутствіе“ Лещова пришло ему на память.

„Нашелъ время каяться“, — разсмѣялся онъ про себя и, выйдя на крыльцо, зычно крикнулъ кучеру-лихачу:

— Перфиль! давай!

XIX.

Марья Орестовна Нѣтова позвонила. Въ ея будуарѣ были звонки электрическіе, а не воздушные; она нашла ихъ „болѣе благородными“. Она только что взяла ванну и отдыхала на длинномъ, атласномъ, стеганомъ стулѣ, съ ногами. Вся комната обтянута голубымъ атласомъ въ бѣлыхъ лѣпныхъ рамкахъ. Такой же и потолокъ. Точно бонбоньерка, вывернутая нутромъ. Туалетъ, большое трюмо, шкапъ, шифоньера — бѣлая подъ лакъ, съ позолотой, кружевные гардины, гарнитуры и буффы — дѣлаютъ комнату нѣжной и дымчатой. Но погода впускала въ это утро двойственный, грязноватый свѣтъ.

На Нѣтовой капотъ изъ пестрой шелковой матеріи — мелкими турецкими цвѣточками, на головѣ легкая на-

болка, ноги—она вытянула ихъ такъ, что видны и шелковые чулки съ шитьемъ—въ золотыхъ туфляхъ. Марья Орестовна блондинка, но не очень яркая: волосы у ней свѣтло-каштановые. Всего красивѣе въ ея головѣ: лобъ, форма черепа, проборъ волосъ и то, какъ она носить косу. Ей за тридцать. На видъ она моложе. Но на переносицѣ то и дѣло ложатся рѣзкія, прямые морщины. Носъ у ней большой, сухой, съ горбиной, узкими и длинными ноздрями, губы зато яркія, но не чистыя, со складками, и неправильные, рѣдкіе, хотя и бѣлые зубы. Она смотритъ часто въ одну точку своими карими, узкими и немного подслѣповатыми глазами. Ея не роскошная грудь сохранила пріятныя очертанія, плечи круглыя, невысокія, нѣсколько откинуты назадъ. Она часто пожимаетъ ими на особый ладъ и при этомъ поворачиваетъ вбокъ голову. Если бы она встала, то оказалась бы ростомъ выше среднего. Руки ея—съ длинными, почти высохшими пальцами, такъ что кольца на нихъ болтаются. Сквозь духи и пудру идетъ отъ нея какой-то лѣкарственный запахъ.

Она допила чашку какао. Она это дѣлала по предписанію доктора и всегда съ гримасой.

Вошла ея первая камеристка, изъ ревельскихъ пѣмокъ, Берта, крѣпкая, низкорослая дѣвушка, въ стромъ степенномъ платьѣ, и вся въ веснушкахъ.

— Позовите мнѣ экономку, а послѣ—дворецкаго.

Домъ управлялся Марьей Орестовной. Люди у ней ходили въ струнѣ. У Евламія Григорьевича и не найдется даже такихъ звуковъ, какъ у его супруги, для отдачи приказаній. Она говоритъ иногда въ носъ, чуть замѣтно,—уже совсѣмъ съ барской нервною и вибраціей.

Экономка—дворянка, женщина лѣтъ за пятьдесятъ, въ черной тюлевой наколкѣ и шелковомъ канотѣ, съ пелеринкой пюсового цвѣта, еще не сѣдая, съ важнымъ выраженіемъ—остановилась въ дверяхъ. При себѣ Пѣтова никогда не посадила бы ее, хотя экономка была званіемъ капитанша и училась въ „патріотическомъ“, какъ дочь офицера, убитаго въ кампанію; а пансенька Марьи Орестовны умеръ только „потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ“.

— Пожалуйста, Глафира Лукинична, — закартавила Марья Орестовна и наморщила лобъ,—больше мнѣ этого какао не дѣлать... Я прекращаю съ завтрашняго дня...



— Что же будете кушать?—спросила экономка низкимъ груднымъ голосомъ.

— Пока чай... И вотъ еще я васъ должна предупредить, Глафира Лукинична, что мнѣ лично... вы, быть-можетъ, и не понадобится больше.

— Какъ жес-съ?

— Если я уѣду за границу... у Евлампія Григорьевича приему не будетъ такого.

— Но, все-таки...—возразила экономка.

— Доложите ему... Пожелаетъ онъ...

— Вамъ стоить сказать.

Глаза экономки добавили остальное.

Марья Орестовна нахмурилась.

— Просить я не стану... Вы, во всякомъ случаѣ, получите отъ меня содержаніе... за... три мѣсяца... И прошу сдать тогда все, что у васъ на рукахъ, —дворецкому.

Экономка что-то хотѣла возразить, но Марья Орестовна сдѣлала знакъ лѣвой рукой и прибавила:

— Постѣ.

XX.

По уходѣ экономки, Марья Орестовна переложила лѣвую ногу на правую, поправила кружево на груди и поглядѣла въ окно.

Глаза у нея горѣли. Она всю почти ночь не спала. Съ ней это часто бываетъ. Какой-то недугъ подкрадывался къ ней, хотя она ни на что не жалуется. Докторъ къ ней ѣздитъ, иногда и прописываетъ ей: вотъ какао посоветовалъ пить по утрамъ. Но она ничѣмъ не больна. Первы? Да. Но отчего?

Она не сомкнула глазъ до разсвѣта—думы не позволяли. Не легко убѣждаться окончательно, что она не можетъ продолжать такъ жить — подъ одной крышей съ своимъ Евлампіемъ Григорьевичемъ... Еще недавно могла, а теперь не можетъ. Свыше ся силъ! Тянула она его—тянула въ гору, и вдругъ—тошно!

Она еще разъ позвонила и приказала позвать себѣ дворецкаго.

У ней былъ настоящій *maitre-d'hôtel*, обрусѣлый альзасецъ, Огюстъ, полный блондинъ, въ кудряхъ на круглой головѣ, и съ легкимъ нѣмецкимъ акцентомъ. Онъ служилъ когда-то контръ-метромъ въ ресторанѣ Ворея.

Съ нимъ она говорила по-французски.

Онъ получилъ то же предувѣдомленіе, что и экономка, смутился этимъ больше, но утѣшился, когда услышалъ, что „monsieur Niétoff“, вѣроятно, оставитъ его у себя, даже если барыня и уѣдетъ за границу.

За границу!.. Много разъ она бывала тамъ—сначала съ удовольствіемъ, а потомъ равнодушно, частенько со скукой. Теперь „заграница“ манитъ ее... Она уже видитъ себя въ Позиллипѣ, или въ Ниццѣ на зиму, а на лѣто въ Шилѣ, въ Дьепѣ, на островѣ Уайтѣ, осенью во Флоренціи. Тогда только она и будетъ жить, какъ она всегда мечтала. Одна, съ *dame de compagnie*, изъ умныхъ, пожилыхъ парижанокъ. Развѣ трудно имѣть салонъ? Она и теперь можетъ называться „madame de Niétoff“; а къ тому времени ея „благовѣрному“ дадутъ генеральскій чинъ. И онъ не будетъ припиленъ къ ней, какъ бывало. Никогда! До конца дней ея!..

Марья Орестовна встала. Въ ногахъ она почувствовала большую слабость, точно ихъ кто искалѣчилъ. И такъ губить свое здоровье? Изъ-за кого?

Она перешла въ свой кабинетъ, комнату строгаго стиля, съ темно-фіолетовымъ штофомъ въ черныхъ рамахъ, съ бронзой Louis XVI. Шкапъ съ книгами и письменный столъ — также чернаго дерева. Картины она не любила и стѣны стояли голыми. Только на одной висѣло богатѣйшее венеціанское рѣзное зеркало. Въ этой комнатѣ сидѣли у Марьи Орестовны ея близкіе знакомые—мужчины; послѣ обѣда сюда подавались ликеры и кофе съ сигарами. Евлѣмпія Григорьевича рѣдко приглашали сюда.

Въ просвѣтѣ тяжелой двойной портьеры открывался видъ на два салона и танцевальную залу. Разноцвѣтные сплошные ковры пестрѣли, уходилъ въ даль, до порога залы, гдѣ налощенный паркетъ желѣлъ нѣжными колерами штучнаго пола. Всѣ эти хоромы, еще такъ недавно тѣшившія Марью Орестовну своимъ строгимъ, почти царственнымъ блескомъ, раздражали ее въ это утро, напоминали только, что она не въ своемъ домѣ, что эти ковры, гоблены, штофы, бронзы украшаютъ домъ коммерціи соискателя Нѣтова. Не можетъ же она сказать ему:

— Пошелъ вонъ!..

Какъ онъ ни дрессированъ, но у него достанетъ духу сказать:

— Нѣтъ, не желаю-съ.

Ну, и довольно... Но у ней нѣтъ ничего своего!.. Ни-



чего! Или такъ, пустяки, экономія отъ туалета, отъ расходовъ... Какъ же могла она, въ десять лѣтъ, постоянно работая умомъ и волей, очутиться въ такомъ положеніи?

Нынѣшняя ночь припомнила ей—какъ...

Нѣтова присѣла къ письменному столу, раскрыла серебряный новый бюварь, взяла листъ продолговатой цвѣтной бумаги, съ монограммой во всю высоту листка, написала записку, позвонила два раза и отдала вошедшему официанту, сказавъ ему:

— Послать сейчасъ выѣздного. Принимать съ трехъ. Если господинъ Палтусовъ будетъ раньше—принять.

XXI.

„Обѣдъ-то вѣдь не заказанъ“,—подумала Марья Орестовна и позвонила. Она не ждала сегодня званныхъ гостей. Палтусовъ, вѣроятно, останется. Еще, быть-можетъ, двое-трое. Но кто-нибудь да долженъ сидѣть. Не можетъ она, да еще сегодня, оставаться съ-глазу-на-глазъ съ Евлампіемъ Григорьевичемъ.

Заказываніе обѣда дѣлалось у ней черезъ экономку. Почти всегда Марья Орестовна входитъ въ подробности. Но на этотъ разъ она сказала появившейся въ дверяхъ Глафирѣ Лукиничнѣ:

— Обѣдъ на пять персонъ... Закуску, какъ всегда...

На письменномъ столѣ лежали газеты, московскія и петербургскія, книжка журнала подъ бандеролью, толстый продолговатый пакетъ съ иностранными марками и большого формата письмо, на синей бумагѣ, тоже заграничное.

Газеты и журналъ Марья Орестовна отложила. Въ пакетѣ оказались образчики матерій отъ Ворта. Она небрежно пересмотрѣла ихъ. Осеннія и зимнія матеріи. Теперь ей не нужно. Сама поѣдетъ и закажетъ. Въ эту минуту ей и одѣваться-то не хочется. Много денегъ ушло на туалеты. Каждый годъ слали ей изъ Парижа, сама ѣздила покупать и заказывать. А много ли это тѣшило ее? Для кого это дѣлалось?..

Въ синемъ конвертѣ съ французскими марками оказалась фактура башмачника—ея поставщика. Въ Москвѣ она никогда не заказывала себѣ обуви. Марья Орестовна погладѣла на итогъ—271 франкъ, и отложила счетъ.

Надо же ей посмотреть, сколько накопилось у ней добра въ гардеробной. Неужели все везти съ собою?

Черезъ пять минутъ она входила вслѣдъ за Бертой

въ обширную и высокую комнату, обставленную ясеновыми шкафами, между которыми помѣщались полки, выкрашенные бѣлой масляной краской, покрыты картонками всякихъ размѣровъ и формъ, синими, бѣлыми, красными. Въ гардеробной стоялъ чистый, свѣжій воздухъ и пахло слегка мускусомъ. У оконъ, справа отъ входа, на особыхъ подставкахъ, развѣшаны были пеньюары и юбки и имѣлось приспособленіе для глаженія мелкихъ вещей. Все дышало большимъ порядкомъ.

— Отоприте,—приказала Бертъ Марья Орестовна указывая ей на первый шкафъ по лѣвую руку.

Въ этомъ шкапу висѣли зимнія платья, укутанныя въ простыни, тяжелыя, расшитыя шелками, серебромъ, золотомъ, съ кружевными отдѣлками. Нѣкоторыя не надѣвались уже болѣе года. Половину этого надо будетъ оставить. Въ слѣдующемъ шкафѣ помѣщались мантильи, накидки, разныя *confections de fantaisie*. Многое уже вышло изъ моды. Но у Марьи Орестовны нѣтъ привычки дарить. А продавать тоже не можетъ. Изъ этого шкапа она выберетъ двѣ-три вещи. Осенніе простые туалеты она возьметъ на дорогу и для ненастныхъ дней въ Ниццѣ, или гдѣ проживетъ зиму; у Ворта закажетъ четыре платья,—не больше.

„Закажетъ!.. Будетъ ли ей по средствамъ? Нынче каждое простое платье стѣитъ у него тысячу франковъ и больше“.

Такъ обривизованъ былъ весь гардеробъ. Одно платье и кофточку она подарила камеристкѣ. Берта густо покрасѣла и сдѣлала книксенъ, подогнувъ правую ногу подъ лѣвую.

Осмотръ гардеробной утомилъ Марью Орестовну. Она вернулась въ кабинетъ и взялась за газеты. Прежде всего за одну, мелкую, московскую, гдѣ за два дня „отдѣлывали“ ея мужа и его дядю. И сегодня, вѣроятно, что-нибудь новое. Съ той статейки и начался въ ней переломъ. Езъ уязвило не оскорбленіе мужу, а то, что она—жена его. Въ тотъ день она читала ему какъ слѣдуетъ, дала приказъ какъ поступить, къ кому ѣхать, что говорить. Ее это раздражило, вызвало желчъ, помогло обдумать цѣлый планъ дѣйствій. А вчера вся эта пошлость припомнилась ей и, какъ послѣдняя капля, заставила разлиться чашу ея душевнаго недуга.

Стояло почти десять лѣтъ работать надъ такимъ чело-

вѣкомъ, какъ ея супругъ. Добьется она того, что ему будутъ писать на пакетахъ: „Его превосходительству“... А потому? Она-то сама, ея-то личная жизнь при чемъ тутъ? Терпѣть, чтобы тебя, въ грошовой газетѣ, всякій пасквилянтъ, получающій по три копейки со строки, срамилъ изъ-за ничтожества твоего Евлампія Григорьевича, чтобы надъ твоимъ „ученичкомъ“ издѣвались, какъ надъ идиотомъ, и тебя показывали въ „натуральномъ видѣ“—такъ и стояло въ фельетонѣ—со всѣми твоими тайными желаніями, замыслами, внутренней работой, заботами о своей „интеллигенціи“, умѣ, связяхъ, артистическихъ, ученыхъ и литературныхъ знакомствахъ?

„Дворянящаяся мѣщанка“—вотъ твоя кличка!..

XXII.

Московская газетка нервно встряхивалась въ рукахъ Марьи Орестовны. Она читала съ лорнетомъ, но ринсе-пез не посила. Вотъ фельетонъ—„обзоръ журналовъ“. Въ отдѣлѣ городскихъ вѣстей и замѣтокъ она пробѣжала одну, двѣ, три красныхъ строки. Что это такое?.. Опять она!.. И ужъ безъ супруга, а въ единственномъ числѣ, какая гадость!.. Нелѣпая, пошлая выдумка!.. Но ее всѣ узнають... Даже вотъ что!.. Грязный намекъ... Этого еще не доставало!..

Лицо Нѣтовой разомъ поблѣднѣло. Во рту у ней тотчасъ же явился горькій вкусъ. Она бросила газету на столъ и начала ходить по кабинету.

Какъ ни бодрись, какъ ни ставь себя на пьедесталъ, по вѣдъ нельзя же выносить такихъ мерзостей! А развѣ за нее онъ способенъ отплатить? Да онъ первый струсить. Дѣла не начнетъ съ редакціей. А если бы началъ, такъ еще хуже осрамится!.. Стрѣляться, что ли, станетъ? Ха-ха! Евлампій-то Григорьевичъ? Да она ничего такого и не хочетъ: ни исторіи, ни суда, ни дуэли. Вонъ отсюда, чтобы ничего не напоминало ей объ этомъ „сидѣльцѣ“ съ мелкой душонкой, пищелской, тщеславной, безсильной даже на зло!

Выдумать грязную слетню на нее, какъ на жену и женщину? На нее! Стоило десять лѣтъ быть вѣрной Евлампію Григорьевичу! Да, вѣрной, когда она могла пользоваться всѣмъ... и здѣсь, и въ Петербургѣ, и за границей. Ей вотъ тридцать второй годъ пошелъ. Сколько блестящихъ мужчинъ склоняли ее на любовь. Она всегда

умѣла нравиться, да и теперь умѣетъ. Кто умѣе ея здѣсь, въ Москвѣ? Знаетъ она этихъ всѣхъ дамъ стараго, дворянскаго общества. Гдѣ же имъ до нея? Чему онѣ учились, что понимаютъ?..

И тутъ ей представились фигура и лицо мужа, съ приторной улыбочкой, глупо-хмурыми бровями и бородкой молодца изъ Ножовой линіи, съ его „изволите видѣть“ и „сдѣлайте ваше одолженіе“, съ его влюбленнымъ лакействомъ. Онъ влюбленъ! Онъ питаетъ затаенную страсть!.. Онъ смѣетъ!.. Проявлять эту страсть она ему никогда не позволяла. Но вѣдь онъ все-таки мужъ... П было время въ первые годы, когда они еще не жили въ разныхъ концахъ дома!..

Желчь еще не уходилась. Въ головѣ цѣлый муравейникъ злобныхъ мыслей такъ и кишѣлъ.

Въ дверяхъ показался офиціантъ съ небольшимъ серебрянымъ подносомъ. Онъ намѣренно кашлянулъ.

— Что?—почти съ испугомъ крикнула Марья Орестовна и тотчасъ же оправилась.

— Денеша-съ. Прикажете расписаться?

— Я говорила, чтобы швейцаръ расписывался... даже когда я и Евлампій Григорьевичъ дома.

Лакей нырнулъ въ портьеру, вынувъ изъ пакета листокъ свитанціи.

„Отъ Палтусова“,—подумала Марья Орестовна и пошла читать депешу къ окну.

Но депеша была не городская, а изъ Петербурга.

Вотъ это новость! Она рассчитывала на брата, служащаго за границей, думала вызвать его въ Парижъ; а онъ въ Петербургѣ, экспромптомъ по дѣламъ службы, и будетъ черезъ три дня въ Москву.

Все неудачи!.. А, можетъ, и лучше. Свой человекъ. Теперь это придется кстати. Легче будетъ. Онъ могъ бы сослужить ей хорошую службу, но не очень-то она надѣется на его умственные способности... Братъ Коля... Онъ ея же выученикъ. Зато онъ распустилъ хвостъ, какъ павлинъ... можетъ оказаться полезнымъ своимъ французскимъ языкомъ, тономъ, подавляющимъ высокоприличіемъ и сладкой деликатностью. Это такъ...

Уже третій часъ, а она еще не въ туалетѣ... Въ капотъ нельзя принимать, хоть сегодня у ней вокругъ талии опухоль; трудно будетъ затянуть корсетъ. Надо надѣть простую ceinture и платье полегче.



Она вернулась въ будуаръ и хотѣла позвонить. Но рука ея, протянутая къ пуговкѣ электрическаго звонка, опустилась. Лицо все перекосило, прямыя морщины на переносицѣ такъ и врѣзались между бровями, глаза гнѣвно и презрительно пустили два луча.

Изъ-за портьеры выглядывала наклоненная голова Евлампія Григорьевича и озиралась.

— Можно войти?

Что за вольность! Никогда онъ не смѣлъ входить до обѣда въ ея будуаръ. Ну, да все равно. Лучше теперь, чѣмъ тянуть.

— Войдите,—сказала она ему сквозь зубы и стала спиной передъ трюмо.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ на цыпочкахъ, во фракѣ, какъ ѣздилъ, и съ портфелемъ подъ мышкой.

XXIII.

— Можно?—повторилъ онъ, не переступая порога.

Марья Орестовна ничего не отвѣчала.

Мужъ ея вытянулъ еще длиннѣе шею и вошелъ со-всѣмъ въ будуаръ. Портфель и шляпу положилъ онъ на кресло, около двери, и приблизился къ Марьѣ Орестовнѣ.

— Забѣхалъ на минутку...—началъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Очень рада,—отвѣтила Марья Орестовна, и тутъ только повернулась къ нему лицомъ.

Евлампій Григорьевичъ быстро вскинулъ на нее глазами и понялъ, что готовится нѣчто чрезвычайное.

— Вы читали сегодняшнія газеты?

Вопросъ свой Марья Орестовна выговорила болѣе въ ность, чѣмъ обыкновенно.

— Нѣтъ еще...

— Возьмите на столѣ... полюбуйтеесь...

Она назвала газету.

— Это успеется,—откликнулся онъ, чую бѣду.

— Прочтите, вамъ говорятъ. Подайте мнѣ сюда.

Когда Марья Орестовна обрывала слова и отчеканивала каждый слогъ, мужъ ея зналъ, что лучше съ самаго начала разговора со всѣмъ согласиться.

Газету онъ взялъ на столѣ въ кабинетѣ и подаль ей. Она нашла статейку и показала ему.

— Извольте прочесть...

— Что же... опять брата Капитона Θεофилактовича дѣло?

— Читайте!

Евламій Григорьевичъ началъ читать. Онъ разбиралъ мелкую печать не очень бойко. Ему про себя надобно всегда прочесть два раза, а писанное и три раза.

— Ну?—нервно окликнула его Марья Орестовна.

Она прилегла на длинный стулъ, гдѣ пила какао.

Волненіе сразу охватило Нѣтова. На лбу показались капли пота. Лицо пошло пятнами, какъ утромъ у Красноперова.

— Канальи!

— Прошу васъ не браниться!—удержала она его.

— Да какъ же-съ, помилуйте,—началъ онъ, задыхаясь и разводя той рукой, гдѣ у него скомкана была газета.— За это...

— Что за это? Къ мировому потянете, да?

— Нѣтъ-съ, не къ мировому... Въ смиренный домъ!..

Въ первый разъ видѣла она у него такую вспышку возмущенія.

— Сядьте, слушайте, Евламій Григорьевичъ,—охладила она его своимъ голосомъ, гдѣ сквозили обычныя, пребрежительныя ноты.—Вотъ до чего я съ вами дожила.

Глаза его разбѣжались, ротъ онъ разинулъ.

— Вы?.. Я-съ?.. Да нешто я виновенъ тутъ?.. Я готовъ за васъ...

— Я васъ не спрашиваю, на что вы готовы. Вчера еще я много думала... Эта газетная гадость только новый предлогъ...

— Капитошка!..

— Пожалуйста, безъ триніальностей! Ваша родня, вы, весь этотъ людъ... я не хочу входить въ разбирательство. Садитесь, говорятъ вамъ. Я не могу говорить, когда вы мечетесь изъ угла въ уголъ.

Евламій Григорьевичъ сѣлъ у ногъ ея. Глаза его все еще сохраняли растерянное выраженіе. Онъ былъ ей жалокъ въ эту минуту, но она на него не смотрѣла; она опустила глаза и прислушивалась къ своему голосу.

— Страдать изъ-за васъ я не намѣрена,—продолжала она, выговаривая отчетливо и не торопясь,—не перебивайте меня!.. Не намѣрена, говорю я. Вы не можете доставить женѣ вашей ни почета, ни уваженія. Я ли не старалась сдѣлать изъ васъ что-нибудь похожее на... на



то, чѣмъ вы должны быть?.. Ничего изъ васъ не сдѣлаешь... Вы не стоите ни заботъ моихъ, ни усилій... Но я еще молода, Евлампій Григорьевичъ, я не хочу нажить съ вами чахотку... Вы скомпрометировали мое здоровье. У меня была желѣзная натура, а теперь я чувствую паденіе силъ... Развѣ вы стоите этого!

— Марья Орестовна... Машенька!..

Слезы готовы были брызнуть изъ глазъ Евлампія Григорьевича.

— Не перебивайте меня!.. Вы понимаете, что я говорю?

— Понимаю-сь!

— Я жить хочу... Довольно я съ вами возилась... Я рѣшила третьяго дня ѣхать на осень за границу, на югъ... А теперь я и совсѣмъ не хочу возвращаться въ эту Москву.

— Какъ-сь?

Въ горлѣ у него перехватило.

— Очень просто. Не желаю. Вы должны же, наконецъ, понять, что не могу я теперь имѣть приемы, когда мы съ вами сдѣлались притчей всего города.

— Да помилуйте-сь... Марья Орестовна, матушка!

— Дайте мнѣ кончить.

— Мы ихъ въ арестантскую упечемъ!

— Ха-ха!.. Предоставляю это вамъ самимъ... Но меня здѣсь не будетъ. И вы этого сами должны желать, если у васъ есть хоть капля уваженія къ моей личности.

— Уваженія?.. Любовь моя!..

— Не надо мнѣ вашей любви!—гадливо остановила она его и провела ладонью по своему колѣну.—Ваша любовь—тяжелый крестъ для меня!

Онъ замолчалъ. Щеки его потемнѣли, глаза стали мутны.

— Я васъ предупреждаю, Григорій Евлампіевичъ, что я ѣду изъ Москвы. Я не могу выносить этого города, и въ немъ задыхаюсь.

— Какъ вамъ угодно... вѣдь и я... что же въ самомъ дѣлѣ, и я могу освободить себя...

— То-есть, какъ это?—насмѣшливо спросила она.—Желаете за мной послѣдовать? Нѣтъ-сь,—противула она.—Вы можете оставаться... Мнѣ необходимъ отдыхъ, просторъ... Я хочу жить одна...

— До весны, значитъ?

— И весну, и лѣто, и зиму... На это я имѣю полное право. Какъ вы будете здѣсь управляться—ваше дѣло...



И безъ меня все пойдетъ, потомственное дворянство вамъ дадутъ, Станислава 1-й степени, а потомъ и Анну.

— Нешто мнѣ самому?..

— Пожалуйста... вы для этого только и живете.

— Не грѣхъ вамъ?—вырвалось у него.—До сихъ поръ... на васъ молился...

Марья Орестовна опять провела ладонью по своему колену и нижняя губа ея выпятилась.

— Очень хорошо,—перебила она,—мы оставимъ это. Вы знаете теперь мое желаніе—мое требованіе, Евлампій Григорьевичъ. И до сихъ поръ вы не подумали объ одной вещи...

— О какой?—пугливо и скорбно спросилъ онъ.

— О томъ, что ваша жена не можетъ распорядиться пятью копейками.

— Что вы-съ? Христось съ вами!

Онъ вскочилъ и всплеснулъ руками.

— У нея ничего нѣтъ. Вы ей даете, что вамъ угодно, на ея тряпки... Все ваше...

— Помилуйте, Марья Орестовна!

— Но это фактъ. Вы, Евлампій Григорьевичъ, не понимали моей деликатности. Но пора понять ее. Десять лѣтъ прожить!..

И она въ носъ засмѣялась.

— Вотъ что я хотѣла вамъ сказать. Не удерживаю себя. Вамъ пора по дѣламъ. Мои слова—не капризъ, не нервы... Я ѣду черезъ недѣлю. Остальное, вы понимаете—ваша обязанность.

Марья Орестовна закрыла глаза. Все, что душило ея мужа, осталось у него въ груди. Онъ всталъ и бокомъ вышелъ изъ будуара. Онъ боялся, что если у него вырвется какое-нибудь возраженіе, раздадутся истерическіе крики...

Въ будуарѣ все смолкло. Марья Орестовна открыла сначала одинъ глазъ, потомъ другой, повернула голову, оглянулась, встала и позвонила.

Берта принесла ей черное шелковое платье, ея „мундиръ“, какъ она называла.

XXIV.

До кабинета Евлампій Григорьевичъ шелъ чуть не цѣлыхъ пять минутъ.

Ѣдетъ она на зиму, на годъ, навсегда... Ну, можетъ,



смиляется... А то и соскучится?... Но не въ этомъ главное горе. Что же онъ-то для Марьи Орестовны? Вещь какая-то? Какъ она рукой-то повела два раза по платью... Точно гадину хотѣла стряхнуть... Господи!..

Голова у него закружилась. Онъ былъ уже на галлерей и схватился рукою о карнизъ. Подбѣжалъ ливрейный лакей.

— Воды прикажете?—тревожно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не нужно,—выговорилъ съ трудомъ Нѣтовъ.

Ему стало стыдно. Люди подумаютъ, что у него съ женой вышла исторія, что его выгнали.

— Вели подать карету,—приказалъ онъ и прошелъ въ кабинетъ.

Тамъ онъ опрыскалъ себѣ голову одеколономъ съ водой, взялъ чистый платокъ и торопливо спустился съ лѣстницы.

Только что дверца кареты захлопнулась и воронье взяли съ мѣста, изъ-за угла, отъ бульвара, показалась пролетка. Евламышъ Григорьевичъ узналъ Палтусова и раскланялся съ нимъ.

„Къ намъ“,—подумалъ онъ, и впервые что-то у него ёкнуло въ груди. Онъ не зналъ ревности, не смѣлъ ея знать, да и жена его такъ со всѣми „ровно“ держала себя, что никакого подозрѣнія онъ имѣть не могъ. Ъздили къ нимъ молодые и среднихъ лѣтъ и пожилые мужчины, военные, чиновники, предводители дворянства, писатели, пианисты, художники, профессора, всякіе умные люди... Марья Орестовна только умныхъ и припимаетъ... Этотъ Палтусовъ сталъ недавно ѡбѣдять... Обѣдалъ и запросто. У нихъ многіе такъ обѣдаютъ. Къ нему почителей больше другихъ, обо всемъ солидно толкуетъ съ нимъ, ловко, не стѣснительно. Такого молодого человѣка слѣдовало бы всячески поддерживать. И въ дѣла бы не мѣшало ввести. Съ Марьей Орестовной держится степенно. Развѣ когда одинъ останется... Да что же это онъ спрашиваетъ? Кто онъ для нея? Вещь, самая тошная... Обезпечь ее! Слѣдуетъ... Говорить, что любить, а не догадался въ десять-то лѣтъ положить на ея имя въ банкъ... Проценты бы выросли... Деликатности-то ея не понималъ. Довелъ до того, что она сама должна была сказать: „пятью копейками распорядиться не могу“.

Угрызенія заслонили въ душѣ мужа всѣ другія чувства. Опъ забылъ, куда онъ ѣдетъ, зачѣмъ, что ему надо го-



ворить, чѣмъ распоряжаться?.. Онъ былъ близокъ къ нервному припадку.

Его не жалѣла жена. Берта подавала ей разные части туалета. Марья Орестовна надѣвала манжеты, а губы ея сжимались и мысль бѣгала отъ одного соображенія къ другому. Наконецъ-то она вздохнетъ свободно... Да. Но все пойдетъ прахомъ... Къ чему же было строить эти хоромы, добиваться того, что ея гостиная стала самой умной въ городѣ, зачѣмъ было толкать полуграмотнаго „купеческаго брата“ въ персонажи? Объ этомъ она уже достаточно думала. Надо по другому начать жить. Только для себя...

Черезъ всѣ комнаты дошелъ звонокъ швейцара. Онъ дернулъ два раза—гости.

Это навѣрно Палтусовъ.

— Поскорѣе, Берта, застегивайте,—выговорила Марья Орестовна, озираясь на дверь въ кабинетъ. — Хорошо, я теперь сама... Скажите, чтобъ провели въ кабинетъ.

Берта вышла. Марья Орестовна застегнула сама остальные пуговки. Ихъ было множество—и на груди, и на бокахъ, и на рукавахъ. Она стерла съ лица пудру и поправила голубую косыночку, стигивавшую ей голову надъ косою. Съ лицомъ ей труднѣе было поладить. Оно не расправлялось. Попробовала она улыбнуться — выходило и кисло, и фальшиво. А она не хотѣла этого... Лучше пусть лицо будетъ разстроено.

Палтусовъ — другъ... Остальные не понимаютъ ее, а этотъ скоро понялъ, безъ всякихъ особенныхъ изліяній съ ея стороны.

„Какъ-то онъ одобритъ ея планъ?“

Въ кабинетѣ шаги, смягченные ковромъ, остановились у письменнаго стола.

— Сейчасъ будутъ-съ,—послышался голосъ лакея.

XXV.

Палтусовъ стоялъ лицомъ къ двери въ будуаръ, откуда вышла Марья Орестовна. Онъ одѣлся во все черное. Отъ этого его бѣлокурная голова съ живописной бородой много выигрышала. Ни на чемъ станіи не останавливались такъ глаза Нѣтовой, какъ на его складной фигурѣ въ пре-красно сшитомъ сюртукѣ.

Они улыбулись другъ другу по-пріятельски. Но Палтусова эта женщина не привлекала. Ему не нравились



ни ея черты, ни выраженіе, ни тонъ, ни какъ она одѣвается. Онъ признавалъ ея умъ, выдержку, искусство, съ какимъ эта купчиха вышколила своего „Евлампія Григорьевича“ и завела у себя „салонъ“. Но она его скорѣе раздражала. Никогда онъ не встрѣчался съ такой разсудочной, бессознательно-себялюбивой жепской натурой. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему. По доброй волѣ онъ ни за что бы не взялъ ее въ любовницы. Въ тѣлѣ онъ считалъ ее гораздо рыхлѣе и болѣзненнѣе, скептически относился къ ея бюсту, хотя и видѣлъ на вечерахъ, что плечи у нея красивы. Около нея онъ ни разу, даже оставаясь наединѣ, не испыталъ никакого пріятнаго волненія, не полюбовался искренно ни туалетомъ ея, ни лбомъ, ни изящной линіей головы. Полное равнодушіе чувствовалъ онъ въ тѣ минуты, когда она не производила въ немъ насады своимъ „подстроенымъ“ разговоромъ, худо скрытымъ тщеславіемъ, уничиженіемъ, сухой злоязычностью, которая въ женщинахъ была ему противнѣе всего. Въ его глазахъ она говорила, думала, двигалась „на пружинахъ“.

Но они скоро сошлись. Онъ замѣтилъ, что Нѣтова имъ интересуется. Въ разговорахъ съ нимъ она брала менѣе увѣренный тонъ, спрашивала его совѣта въ разныхъ вопросахъ такта, знанія приличій, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать съ нимъ романъ или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процессъ... Съ ней онъ держалъ себя почтительно, но безъ всякой поправки разнымъ ея „штучкамъ“. Онъ ей на первыхъ же порахъ сказалъ:

— Марья Орестовна, вы ужъ вашего супруга воспитывайте въ византійскихъ традиціяхъ, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будемъ. Для меня московскіе обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились дѣвочкой и съ умными господами дворянами бесѣдовали—это при васъ останется.

Она немного подулась, но съ тѣхъ поръ и стала держать себя съ нимъ на пріятельской ногѣ.

Отъ этого она не сдѣлалась для него симпатичнѣе. Но онъ ѣздилъ къ Нѣтовымъ часто, обѣдывалъ запросто, провожалъ ее въ театръ, въ концерты. Его подзадоривало—кромя выполненія программы: расширять свои связи „въ этихъ сферахъ“—какое-то „охотничье“ чувство... Точно



онъ ждалъ: до чего у него дойдетъ дѣло съ этой „злючкой“, на какую степень самообмана способна будетъ она въ сношеніяхъ съ нимъ, что, наконецъ, выйдетъ изъ ихъ знакомства. Уваженія, настоящаго, честнаго, послѣдовательнаго, у него вообще не было ни къ кому изъ „обывателей“, какъ онъ называлъ всѣхъ этихъ *новыхъ* московскихъ буржуа. Онъ не считалъ себя обязаннымъ передъ ними къ совѣстливости человѣка, живущаго въ обществѣ равныхъ себѣ людей. Онъ смотрѣлъ на себя, какъ на „пюпера“, на одного изъ предприимчивыхъ выходцевъ, отправляющихся въ Калифорнію или на американскій „Дальній Западъ“.

Марья Орестовна скоро и близко подошла къ Палтусову съ протянутой рукой.

Прикосновенія этой руки онъ тоже не любилъ. Рука была высохшая, но влажная, болѣе чѣмъ нужно, и на ея пожатіе онъ отвѣчалъ всегда довольно сильно, по по прищипкѣ или чтобы заглушить брезгливое ощущеніе.

— Васъ застала моя записка? Благодарю. Вы у насъ останетесь обѣдать... да? Садитесь...

Палтусовъ видѣлъ, что тонъ ея былъ гораздо нервнѣе обыкновеннаго. Онъ тихо улыбался, идя за хозяйкой къ низкому дивану, около камина, скрытому на половину развѣсистыми листьями пальмы.

— Былъ дома,—спокойно говорилъ онъ,—дѣла всѣ покончилъ... останусь у васъ обѣдать...

Онъ взглянулъ на ея платье и спросилъ:

— Сколько пуговокъ?

— Не знаю!

— Слѣдовало бы сосчитать.

— Ахъ, Андрей Дмитріевичъ, полноте... вы мой юрисконсультъ.

— Вотъ какъ!

— Да... сегодня я прошу васъ настроить себя по-серьезнѣе.

На диванчикѣ могли уѣсться двое. Половина ея шлейфа покрывала его ноги.

XXVI.

Въ немногихъ словахъ, дѣльно и ѣдко высказала Марья Орестовна свою „претензію“. Она не скрывала постоянного пренебрежительнаго отношенія къ Евламію Григорьевичу. Не желаетъ она дольше работать надъ его



ни ея черты, ни выраженіе, ни тонъ, ни какъ она одѣвается. Онъ признавалъ ея умъ, выдержку, искусство, съ какимъ эта купчиха вышколила своего „Евлампія Григорьевича“ и завела у себя „салонъ“. Но она его скорѣе раздражала. Никогда онъ не встрѣчался съ такой разсудочной, бессознательно-себялюбивой жепской натурой. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему. По доброй волѣ онъ ни за что бы не взялъ ее въ любовницы. Въ тѣлѣ онъ считалъ ее гораздо рыхлѣе и болѣзненнѣе, скептически относился къ ея бюсту, хотя и видѣлъ на вечерахъ, что плечи у нея красивы. Около нея онъ ни разу, даже оставаясь наединѣ, не испыталъ никакого пріятнаго волненія, не полюбовался искренно ни туалетомъ ся, ни лбомъ, ни изящной линіей головы. Полное равнодушіе чувствовалъ онъ въ тѣ минуты, когда она не производила въ немъ насады своимъ „подстроенымъ“ разговоромъ, худо скрытымъ тщеславіемъ, умничаньемъ, сухой злоязычностью, которая въ женщинахъ была ему противнѣе всего. Въ его глазахъ она говорила, думала, двигалась „на дружинахъ“.

Но они скоро сошлись. Онъ замѣтилъ, что Нѣтова имъ интересуется. Въ разговорахъ съ нимъ она брала менѣе увѣренный тонъ, спрашивала его совѣта въ разныхъ вопросахъ такта, знанія приличій, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать съ нимъ романъ или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процессъ... Съ ней онъ держалъ себя почтительно, но безъ всякой поправки разнымъ ся „штучкамъ“. Онъ ей на первыхъ же порахъ сказалъ:

— Марья Орестовна, вы ужъ вашего супруга воспитывайте въ византійскихъ традиціяхъ, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будемъ. Для меня московскіе обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились дѣвочкой и съ умными господами дворянами бесѣдовали—это при васъ останется.

Она немного подулась, но съ тѣхъ поръ и стала держать себя съ нимъ на пріятельской ногѣ.

Отъ этого она не сдѣлалась для него симпатичнѣе. Но онъ ѣздилъ къ Нѣтовымъ часто, обѣдывалъ запросто, провожалъ ее въ театръ, въ концерты. Его подзадоривало—кромя выполненія программы: расширять свои связи „въ этихъ сферахъ“—какое-то „охотничье“ чувство... Точно

— Отчего же?

Глаза ея поглядѣли на Палтусова обидчиво.

— Для васъ будетъ слишкомъ ужъ накладно.

И онъ прибавилъ серьезнымъ тономъ:

— Право, Марья Орестовна, невыгодно... Живите въ уиѣ. А то проиграете.

— Мы это увидимъ позднѣе,—отвѣтила Нѣтова съ усмѣшкой.—Во всякомъ случаѣ, вотъ какъ стоитъ дѣло.

— Дѣло,—повторилъ Палтусовъ ея выраженіе,—пока въ вашихъ рукахъ... Но не переступите за градусъ.

— Что вы хотите сказать?

— Ваша матеріальная самостоятельность стоитъ на первомъ планѣ. Преклоняюсь передъ вашей деликатностью и понимаю ее вполне. Вы не хотѣли заикаться объ этомъ передъ мужемъ. Вы ждали.

— Даже и не ждала. Просто не думала. Вы, конечно, не повѣрите.

— Почему же?

— Потому что вы считаете меня эгоисткой, интриганткой... Но я горда прежде всего. Я стояла выше этого.

— Евлампій Григорьевичъ,—перебилъ ее Палтусовъ,—конечно обезпечилъ уже васъ... на случай смерти.

— Я и этого не знаю. И никогда не справлялась.

Палтусовъ посмотрѣлъ на нее вбокъ. Она не лгала.

— Сложная вы душа,—выговорилъ онъ,—а все-таки мой совѣтъ вамъ: обезпечить себя, но съ мужемъ не разрывать.

— Носить цѣпи, продавать себя, быть въ необходимости отвѣчать на его письма или рисковать, что онъ явится къ свѣтлому празднику ко мнѣ въ гости? Не хочу!

— Та-та-та! Вотъ женщины-то! Даже и умницы, какъ вы, хромають логикой.

— Знаю, знаю... Сейчасъ будетъ Пигасовъ изъ „Рудина“ и его стеариновая свѣчка.

— Обойдемся и безъ Пигасова. Разсудите... Вы разводиться не желаете?

— Нѣтъ.

— Просто уѣзжаете за границу, на неопредѣленное время? Прекрасно... Затѣмъ человѣка, страстно въ васъ влюбленнаго, бить обухомъ по головѣ, объявлять ему, что онъ... для васъ не существуетъ? Не хотите его видѣть, всегда есть на это средства. Денежной зависимости и безъ

того не будетъ... Сколько я васъ понимаю, вы требуете обезпеченія сразу.

— Да.

— Тѣмъ паче.

Она задумалась и черезъ минуту сказала:

— Вы, быть-можетъ, правы.

XXVII.

Разговоръ наладился. Но ему захотѣлось продолжить „игру“.

— Отчего же такъ это вдругъ, Марья Орестовна? Это на васъ не похоже.

Она начала говорить, какъ ей всегда была противна эта грязная, вонючая Москва, гдѣ нельзя дышать, гдѣ нѣтъ ни простора, ни воздуха, ни общества, ни тротуаровъ, ни искусства, ни умныхъ людей, гдѣ не „стоить“ что-нибудь заводить, къ чему-нибудь стремиться, вести какую-нибудь борьбу.

И потомъ... эти пасквили.

Палтусовъ выслушалъ и поглядѣлъ на Марью Орестовну исподлобья.

— Ага! Неужели они дали толчокъ?

— И да, и нѣтъ,—отвѣтила Нѣтова.

— Стоить!

— Очень стоитъ!—рѣзко повторила Марья Орестовна.— Съ такимъ человѣкомъ, какъ Евлампій Григорьевичъ, я никогда не буду избавлена отъ подобныхъ пріятностей.

Ему были извѣстны статейки московской газеты. Онѣ пришлось кстати, доложили лишнюю щепоть.

Съ этой темы они перевели разговоръ на болѣе пріятныя картины заграничной жизни.

— Что вы любите больше всего? Парижъ, Италію?

— Ничего особенно. Я глупо ѣздила... Всегда являлся Евлампій Григорьевичъ. Теперь я по-другому распоряжусь... и...

— Ахъ, знаете что, Марья Орестовна,—перебилъ Палтусовъ,—вамъ нигдѣ не будетъ такъ хорошо, какъ здѣсь.

— Не можетъ этого быть.

— Повѣрьте! Надо во что-нибудь вдаться, иначе вы умрете отъ пустоты.

— Найду дѣло!

— Такого, чтобы поглотило васъ — нѣтъ, не найдете! Вы здѣсь—центръ.



— Чего это?—съ гримасой спросила она.

— Своего мірка. И этотъ мірокъ создали вы... Куда вы ни бросите взглядъ, все это дѣло вашихъ рукъ. Вы выбирали, вы приказывали, вы сортировали и обои, и мебель, и людей, и отношенія къ нимъ. Шутка!

— Для себя не жила! И все это мелко.

— Не стану спорить... А люди? Ихъ надо найти!

— Меня не забудутъ и старые друзья...—вырвалось у нея.

„Поиграю немножко“,—мелькнуло опять въ головѣ Палтусова.

— Друзья-то не забудутъ. Впрочемъ, не трудно и новыхъ завести. Много по Европѣ бродить охотчаго народа.

— Что это вы, Андрей Дмитріевичъ,—недовольно зашѣтила она. — Я съ дрянью никогда не зналась. Вы бы лучше пообщались мнѣ навѣстить меня.

— А вы когда собираетесь?

— Скоро.

— Въ началѣ нашего сезона? Такъ-то вы заботитесь объ интересахъ вашихъ друзей.

— Кого же?

— Да вотъ хоть бы меня.

— Вамъ отъ моего отъѣзда, я вижу, ни тепло, ни холодно.

— Ошибаетесь!—горячо возразилъ онъ, и только на этотъ разъ искренно.

— Врядъ ли.

— Ошибаетесь, говорю вамъ. Вашъ домъ былъ для меня самый, какъ бы это сказать... позвольте... безъ сентиментальности?

— Говорите пожалуйста.

— Самый выгодный.

— Вотъ какъ!

— Вы не обижайтесь... Самый выгодный. Здѣсь я встрѣчалъ разныхъ людей, нужный для меня. Вашъ супругъ безъ васъ совсѣмъ будетъ не то, что онъ былъ при васъ. Вы умѣли сдѣлать пріятными и вечеръ, и обѣдъ,—тутъ онъ ужъ началъ привирать, — вашъ домъ избавлялъ отъ необходимости дѣлать визиты, рыскать по городу, разглагольствовать.

— Вы говорите точно тайный агентъ.

— Ха-ха-ха! Да, я отчасти такой именно агентъ. А недавно сдѣлался и настоящимъ дѣловымъ агентомъ.



— Гдѣ, у кого?

— Оставимъ это въ тайнѣ. Вы видите, вашъ отъѣздъ мнѣ не выгоденъ.

— А я сама?

Вопросъ выговоренъ былъ гораздо искреннѣе, чѣмъ Палтусовъ ожидалъ. Онъ засталъ его врасплохъ.

— Вы?

— Да, я?

Ея каріе глаза, прищурясь, глядѣли на него.

— И вы также.

— Выгодна?

— Очень.

Она отодвинулась.

— Андрей Дмитріевичъ... Зачѣмъ у васъ этотъ тонъ?.. Я заслуживаю другого.

— Я только откровененъ. И что же тутъ обиднаго для молодой женщины?

— Выгодно!..

— Полноте, Марья Орестовна... Вы не сентиментальный человѣкъ.

— Вы не знаете, — живо перебила она, — какой я человѣкъ. До сихъ поръ я не жила... Я уже говорила вамъ.

Онъ сумѣлъ остановить разговоръ на этомъ спускѣ. Дальше онъ не хотѣлъ раздражать ее — не стоило. Безъ всякой задней мысли спросилъ онъ ее:

— Кто же будетъ представлять здѣсь ваши интересы?

— Денежные?

— Да.

— Надо сначала обезпечить ихъ, Андрей Дмитріевичъ.

— Это сдѣлается. Только не натягивайте супружеской струны. Вы играли на Евлампіи Григорьевичѣ, какъ на послушномъ инструментѣ, но вы мало наблюдали за нимъ.

— Мало!

— Недостаточно. Съ такими натурами нужна особая сноровка... Въ немъ вообще что-то происходитъ, съ нѣкотораго времени.

Она презрительно повела губами.

— Увѣряю васъ, я говорю совершенно серьезно.

— Пускай его проживаетъ здѣсь, какъ знаетъ... Вы спрашиваете, кто будетъ здѣсь представитель моихъ интересовъ? Вотъ случай чаще видѣть васъ.

— Меня? Выбираете меня своимъ *chargé d'affaires*? Для того, чтобы супругъ имѣлъ подозрѣнія?..



— Мнѣ все равно и теперь, а тогда и подавно.

Она встала и прошла по комнатѣ.

Раздался звонъ швейцара. Одинъ ударъ—пріѣздъ са-
мого Евлампія Григорьевича.

— Супругъ и повелитель?—спросилъ Палтусовъ.

— Какъ это хорошо, что вы сегодня у насъ обѣдаете,—
съ удареніемъ выговорила Нѣтова.

XXVIII.

Внизу, въ сѣняхъ, Евлампій Григорьевичъ закричалъ на швейцара, зачѣмъ онъ не выбѣжалъ вынимать его изъ кареты.

Этотъ окрикъ изумилъ гусарскаго вахмистра. Никогда баринъ не дѣлалъ ему и простыхъ замѣчаній, а тутъ раз-
гнѣвался попусту.

— Осмѣлюсь доложить,—оправдывался онъ,—кареты я не разслыхалъ-съ. Стѣны толстыя, притомъ же окна за-
мазаны.

— Нечего!—сердито обрѣзалъ его Нѣтовъ.

Сѣни и лѣстницу онъ оглядѣлъ съ нахмуренными бро-
вами, чего опять съ нимъ никогда не было.

— Кто?—спросилъ онъ швейцара.—Кто гость?

— Господинъ Палтусовъ сидитъ у Марьи Орестовны.

Нѣтовъ началъ подниматься медленно, нетвердой по-
ходкой. Его испугало и раздосадовало то, что часъ передъ
тѣмъ съ нимъ вдругъ ни съ того, ни съ сего сдѣлался
обморокъ. Теперь онъ знаетъ, съ чего — разговоръ съ
Марьей Орестовной. Но для его „званія“ совсѣмъ не-
ужѣстно падать въ обморокъ. И ничего онъ тамъ не слы-
шалъ въ засѣданіи комитета, гдѣ онъ почетный предсѣ-
датель, все путалъ, забывалъ, какъ зовутъ членовъ. Два
раза онъ такъ подписалъ свое имя подъ исходящими бу-
магами, что дѣлопроизводитель долженъ былъ показать
ему. На одной стояло, вмѣсто „коммерціи совѣтникъ“ —
„коммерціи сотникъ“, а на другой имя Евлампій напи-
сано было безъ среднихъ буквъ. Ему стало обидно... Не-
ужели же онъ такъ ужъ и не можетъ стряхнуть съ себя
гнета своей супруги?.. Ну, скучно ей, пройдетъ... Какъ
же ей не любить его? Только не желаетъ показать этого...
Нельзя не любить...

Прежде Евлампій Григорьевичъ не замѣчалъ тяжести
въ ногахъ, когда поднимался по лѣстницѣ. А тутъ, на



верхней площадкѣ долженъ былъ отдышаться, и его опять шатнуло въ сторону.

Подбѣжалъ тотъ же лакей, что подалъ ему стаканъ воды. Нѣтовъ поглядѣлъ на него, и ему показалось, что глаза лакея смѣются надъ нимъ! А кто онъ? Хозяинъ! Баринъ! Почетное лицо!.. И не то что Красноперый или Лещовъ, а „хамъ“ смѣетъ надъ нимъ подсмѣиваться!..

— Что ты ухмыляешься?—глухо спросилъ онъ ливрейнаго официанта.

Официантъ даже не понялъ сразу вопроса.

Нѣтовъ повторилъ.

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣтилъ официантъ.

— То-то! Не смѣть!—крикнулъ онъ и пошелъ въ кабинетъ.

Раздражило его и то, что Викентій не встрѣтилъ его на лѣстницѣ. Пришлось звонить. А Викентій ожидалъ его двадцатью минутами поздне. И когда онъ замѣтилъ камердинеру съ горечью:

— Кажется, не много у васъ дѣла, — то ему опять показалось, что Викентій ухмыльнулся.

Щеки Евлампія Григорьевича зардѣлись. Онъ сдержалъ себя и только крикнулъ:

— Сюртукъ подай!—голосомъ, который ему самому казался страшнымъ.

И борода не повиновалась щеткѣ. Онъ ее приглаживалъ передъ зеркаломъ и такъ, и этакъ; но она все торчала — не выходило никакого вида. Сюртукъ сидитъ скверно... После обѣда надо опять надѣвать фракъ — ѣхать въ другое засѣданіе. Тяжко, зато почетъ. Онъ долженъ теперь самъ объ себѣ думать... Жена уѣдетъ за границу... на всю зиму... Успѣетъ ли онъ урваться хоть на двѣ недѣли? Да Марья Орестовна и не желаетъ...

Въ залѣ, разподрѣтной, мраморной палатѣ, съ нишами, въ два свѣта, съ арками и украшеніями, въ венеціанскомъ стилѣ, — Евлампій Григорьевичъ вдругъ остановился. Онъ совсѣмъ вѣдь забылъ, что ему сказала Марья Орестовна насчетъ ея денежныхъ средствъ... Какъ же это могло случиться? Вылетѣло изъ головы! Надо же сдѣлать смѣту... Какой капиталъ и въ какихъ бумагахъ?

Нѣтовъ круто повернулся и пошелъ назадъ, въ кабинетъ... Безъ счетовъ и записной книжки онъ ничего сообразить не можетъ. Къ обѣду еще успѣетъ... Да и объ чемъ ему говорить съ этимъ Палтусовымъ?.. Зачастилъ

что-то. Но съ нимъ ли желаетъ Марья Орестовна за границу отправиться?

Вопросъ остался безъ отвѣта. Мысль Евлампія Григорьевича перескочила опять къ счетамъ и записной книжкѣ. Торопливо присѣлъ онъ къ письменному столу; съ большимъ трудомъ окинулъ онъ размѣры своихъ цѣнностей... что-то такое забыть, и долго не могъ вспомнить, что именно.

XXIX.

Обѣдъ подали въ половинѣ шестого. Столовая расписана фресками, вдѣланными въ деревянную свѣтло-дубовую рѣзбу. Есть тутъ цѣлые виды Москвы и Троицы, занимающіе полстѣны, и поуже бытовые картины изъ древней городской жизни. Вотъ московскій бояринъ угощаетъ заѣзжаго иностранца. Гость посоловилъ отъ медовъ и мальвазій. Сдобная рослая жена выходитъ изъ терема съ опущенными рѣсницами, вся разукрашена въ оксамитъ и жемчуга, и несетъ на блюдѣ прощальный кубокъ-посошокъ. Хозяинъ съ красной, раздутой рожей хохочетъ надъ „нѣмцемъ“ и упрасиваетъ его „откушать“. Рѣзной дубовый потолокъ спускается низкими карнизамъ надъ этой характерной комнатой. Онъ изукрашенъ изразцами такъ же, какъ и стѣны. Затѣйливая изразцовая печь занимаетъ одну изъ узкихъ поперечныхъ стѣнъ. Она вся расписана и смотритъ издали громаднымъ глинянымъ сосудомъ. Столъ съ четырьмя приборами пропадаетъ въ этой хороминѣ. Онъ освѣщенъ большой жирандолью въ двѣнадцать свѣчей. На стѣнѣ зажжены двѣ лампы-люстры, подъ стиль жирандоли и отдѣлкѣ стѣнъ. Открытый поставецъ, съ мраморной доской, заставленъ закуской. Графинчики, бутылки и кувшины водокъ и бальзамовъ перстрѣютъ позади фарфоровыхъ цвѣтныхъ тарелокъ. Посреднѣ приподнимается граненая ваза съ свѣжей икрой. Точно будутъ закусывать человекъ двадцать. У противоположной стѣны, между двумя фресками, массивный буфетъ дѣланъ на заказъ въ Нюренбергѣ, весь покрытъ скульптурной и рѣзной работой. Онъ имѣетъ видъ церковнаго органа. Въмѣсто металлическихъ трубъ блеститъ серебряная и позолоченная посуда. Майоликъ по стѣнамъ не видно: ни блюды, ни кружки. Архитекторъ не допустилъ этого.

Палтусовъ ввелъ Марью Орестовну изъ коридора-гал-



лерей черезъ вторую гостиную. Больше гостей не было. Они подошли къ закускѣ. Въ отдаленіи стояли два лакея во фракахъ, а у столика съ тарелками—дворецкій.

— Докладывали Евлампію Григорьевичу? — спросила Марья Орестовна у лакея.

— Докладывали-съ.

— Кушайте,—обратилась она къ гостю и указала на икру.

Въ этотъ день Палтусовъ проголодался. Икра такъ и таяла у него на языкѣ. Доносился и аромат свѣжаго балыка, и какой-то заливной рыбы. Смакуя закуски, онъ оглянуль залу, въ головѣ его раздалось восклицаніе: какъ жить, „подлецы!“

Это онъ говорилъ себѣ каждый разъ, какъ обѣдалъ у Нѣтовыхъ. Ихъ столовая и весь ихъ домъ и дали ему готовый матеріалъ для мечтаній о его будущихъ „русскихъ“ хоромѣхъ. До славянщины ему мало дѣла, хоть онъ и побывалъ въ Сербіи и Болгаріи волонтеромъ, квасу и тулуза тоже не любилъ; но палаты его будутъ въ „стиль“, въ родѣ дома и столовой Нѣтовыхъ. Въ Москвѣ такъ нужно.

Неслышно очутился около него хозяинъ.

— А! Евлампій Григорьевичъ!—вскричалъ онъ.—Какъ вы подкрались...

— Тихонько-съ,—отвѣтилъ Нѣтовъ съ кислой улыбкой, давно надѣвшею Палтусову.—Такъ лучше-съ...

И онъ засмѣялся отрывистымъ смѣхомъ.

Палтусовъ не считалъ его глухимъ человѣкомъ. Нѣтовъ по-своему интересовалъ его. Этотъ смѣхъ показался ему почему-то глупѣ Евлампія Григорьевича. Онъ пристально поглядѣлъ ему въ лицо—и остановился на глазахъ... Ему сдавалось, что одинъ зрачокъ Нѣтова какъ будто гораздо меньше другого. Что за странность?

— Гдѣ изволили побывать?—спросилъ онъ.—Все засѣдаете?

— Засѣдаемъ-съ, засѣдаемъ,—подхватилъ Нѣтовъ развязнѣ и молодцоватѣ обыкновеннаго.

„Бодрится, — подумалъ Палтусовъ, — послѣ женينوѣ тренки“.

Марья Орестовна садилась за столъ и тихо сказала:

— Милости прошу.

— Не угодно ли-съ по другой?—пригласилъ Палтусова хозяинъ и налилъ ему алашу.

Они выпили, забили себѣ ротъ маринованнымъ лобстеромъ и сѣли по обѣ стороны хозяйки. Четвертый приборъ такъ и остался незанятымъ. Прислуга разнесла тарелки супа и пирожки. Дворецкій приблизился съ бутылкой мадеры. Первые три минуты всѣ молчали.

XXX.

Такой обѣдъ втроемъ выпалъ на долю Палтусова въ первый разъ. Марья Орестовна не могла или не хотѣла встроиться помягче. Она плохо слушалась совѣтовъ своего пріятеля. На мужа она совсѣмъ не смотрѣла. Нѣтовъ замѣтно волновался, заводилъ разговоръ, но не умѣлъ его поддержать. Его разсѣянность вызывала въ Марьѣ Орестовнѣ презрительное подергиванье плечъ.

„Покорно-спасибо,—сказалъ про себя Палтусовъ послѣ рыбы,—въ другой разъ вы меня на такой обѣдъ не заханите“.

Но къ концу обѣда онъ началъ внимательнѣе наблюдать эту чету и бесѣдовать самъ съ собою. Она была въ сущности занимательна... Что-то такое онъ чуялъ въ нихъ, въ чемъ, до сихъ поръ, не останавливался. Мужа онъ „допускалъ“... Смѣяться надъ нимъ ему было бы противно. Онъ замѣчалъ въ себѣ наклонность къ великодушнымъ чувствамъ. Да и она вѣдь жалка. У него по край ней мѣрѣ есть страсть, въ рабствѣ у жены, любить ее, преклоняется, но страдаетъ. Не даромъ у него такіе странные зрачки. А эта купеческая Рекамье? Что въ ней говорить? Жила, жила, тянулась, дрессировала мужа, точно пуделя какого-то, и вдругъ—все къ чорту!.. И тутъ не ладно... въ головѣ не ладно.

Палтусовъ такъ задумался, что Марья Орестовна два раза должна была его спросить:

— Будете на симфоническомъ?..

— На музыкалкѣ?—переспросилъ онъ.—Буду, если до стану билетъ.

— А у васъ нѣтъ членскаго?

— Пропустилъ. Говорять, свалка была, на Неглинной, у Юргенсона?..

— Огромный успѣхъ!

— Да-съ, шибко торгуютъ,—пошутилъ Евлампій Григорьевичъ.

— Шибко,—поддержалъ его Палтусовъ.

— Потому что идетъ по своей дорогѣ,—тревожно заго-



ворилъ Нѣтовъ,—идеть-съ. Изводите видѣть, оно такъ въ каждомъ дѣлѣ. Чтобы человѣкъ только вѣру въ себя имѣлъ; а когда вѣры нѣтъ—и никакого у него форсу. Какъ будто монета, старая, стертая, не распознаешь, гдѣ значится орелъ, гдѣ рѣшетка.

Марья Орестовна не безъ удивленія прислушивалась.

— Совершенно вѣрно!—откликнулся Палтусовъ.

— Человѣкъ на помочахъ идти не можетъ... Все равно малолѣтній всегда... А стѣить ему на свои ноги встать...

„Вонъ онъ куда“, подумалъ Палтусовъ и сочувственно улыбнулся хозяину.

— И тогда все по-другому... Хотя бы и не потрафилъ онъ сразу, да у него на душѣ лучше... И смѣлости прибудеть!

— Хотите еще?—перебила хозяйка, обращаясь къ гостю.

— Пирожного?.. Благодарю. Курить хочу, если позволите.

— Вамъ разрѣшаю.

Евламій Григорьевичъ смолкъ. Жена не смотрѣла на него. Она нашла, что его болтовня—дерзость, за которую она сумѣетъ отплатить. Но взгляды Палтусова подсказалъ ей:

„Смотрите, не перейдите градуса. Сначала добейтесь своего. Вы видите—и въ немъ заговорило мужское достоинство“.

Евламій Григорьевичъ предложилъ ему сигару и спросилъ, чего никогда не дѣлалъ:

— Угодно въ кабинетъ?.. Кофейку... и покурить въ свое удовольствіе?

Палтусовъ согласился,—довелъ хозяйку до салона и сказалъ ей шопотомъ:

— Не возмущайтесь, пожалуйста, я вашу же линію веду.

Она сдѣлала гримасу.

Въ кабинетѣ Евламій Григорьевичъ засуетился, сталъ усаживать Палтусова, наливалъ ему ликера, вынулъ ящикъ сигаръ. Прежде онъ держалъ себя съ нимъ натянуто или неловко-чопорно... Они сидѣли рядомъ на диванѣ. Нѣтовъ раза два поглядѣлъ на письменный столъ и на счеты, лежавшіе посрединѣ стола передъ кресломъ.

— Вотъ-съ,—заговорилъ онъ прямо,—вы, Андрей Дмитриевичъ, человѣкъ просвѣщенный. Вездѣ бывали. И сообразить можете, какъ по-вашему, если дамъ такой, какъ



если бы Марья Орестовна... примѣрно, за границей проживать? И вообще домъ имѣть свой... Какой годовой доходъ?

Такого вопроса не ожидалъ Палтусовъ. Мужъ положительно правился ему больше жены. Онъ остается въ Москвѣ, надо его держаться. Это порядочный человѣкъ, прочный коммерсантъ, выдвинулся впередъ такъ или иначе „на линію“ генерала.

— Годовой доходъ?—переспросилъ Палтусовъ.

— Да-съ?

— Двадцать тысячъ. Если тѣ же привычки будутъ, какъ и здѣсь... тридцать...

— Мало-съ. Я полагаю пятьдесятъ?..

— Коли въ Италіи, напримѣръ, жить, такъ на бумажныя лиры сумма крупная.

Нѣтовъ разсмѣялся и замолчалъ.

Правый зрачокъ у него опять показался Палтусову меньше лѣваго.

— Что же-съ?.. По душѣ сказать,—онъ началъ изливаться,—такая сумма четвертая часть того, что мы имѣемъ. И каждый хорошій мужъ обязанъ первымъ дѣломъ обезпечить... Такъ ли-съ? И волю свою выразить, какъ слѣдуетъ... Особливо ежели благопріобрѣтенное... оно и совершено, да, знаете, въ голову другое-то не пришло? При жизни-то? Изволите разумѣть? При жизни мужа можетъ понадобится... Такой оборотъ выйти?... Безъ развода... Или тамъ чего... И безъ стѣсненія!.. Уѣдетъ жена пожить за границу!.. Она и спокойна. У ней свой доходъ. Простая штука... И любилъ человѣкъ... а между прочимъ не сообразилъ.

Онъ смолкъ и всталъ съ дивана, подошелъ къ столу, вакинулъ нѣсколько костей на счетахъ, отставилъ ихъ въ сторону и потеръ себѣ руки. Палтусовъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ и недоумѣніемъ.

— Марья Орестовна ждутъ васъ... Извините, что держалъ... Я въ засѣданіе...

И Евлампій Григорьевичъ началъ жать ему руку, какъ-то присѣдая и улыбаясь.

— Знаете что,—говорилъ Палтусовъ Марьѣ Орестовнѣ въ гостиной, берясь за шляпу; онъ никогда у ней не засиживался,—вы не пайдете нигдѣ второго Евлампія Григорьевича.

И онъ рассказалъ, объ чемъ изливался ему Нѣтовъ.



Марья Орестовна только потянула въ себя воздухъ.
— Ужъ не знаю... Онъ точно какой шальной сегодня!..
„Будешь!“—добавилъ отъ себя Палтусовъ и поцѣловалъ ея руку.

XXXI.

Ровно черезъ недѣлю хоронили Константина Глѣбовича Лещова.

Октябрь ужъ перевалилъ за вторую половину. День выдался съ утра сиверкій, мокрый, съ иглистымъ, полумерзлымъ дождемъ. Часу въ одиннадцатомъ шло отпѣваніе въ старой, низенькой церкви упраздненнаго монастыря. По двору, въ каменной оградѣ, расположилась публика. Въ церковь вошло не много. Тамъ и не помѣстилось бы, безъ крайней тѣсноты, больше двухсотъ человѣкъ. Служили викарный архіерей и два архимандрита. По желанію покойнаго, занесенному въ завѣщаніе, его отпѣвали въ томъ приходѣ, гдѣ онъ родился. Потемнѣлые своды церкви давили и спирали воздухъ, весь насыщенный ладаномъ, копотью восковыхъ свѣчей и струями хлорной извести и можжевельника. Кругомъ всѣ жаловались, что не слѣдовало отпѣвать въ такой крохотной церкви. Безпрестанно мужчины во фракахъ и шитыхъ мундирахъ выходили на паперть, набитую нищими. Дамъ насчитывали гораздо меньше мужчинъ. Слѣва отъ гроба, у придѣла, группа дамъ въ черномъ окружала вдову покойнаго. Аделаида Петровна стояла на колѣняхъ и, отъ времени до времени, всхлипывала. Ее находили очень интересной...

Пѣли чудовскіе пѣвчіе. Протодіаконъ оттягивалъ длинной минорной нотой конецъ возглашеній. Его „Господу помолимся“ производило въ груди томильную пустоту. Когда зажигали свѣчи для заупокойной обѣдни, то архіерею, двумъ архимандритамъ и двумъ старшимъ священникамъ протодіаконъ подалъ по толстой свѣчѣ зеленого воску. Такую же получила и вдова.

Много разъ разносились уже по церкви слова „болярина Константина“. Потъ шелъ со всѣхъ градомъ. Никто не молился. Кто-то шепчетъ, что будетъ „слово“—и всѣ ужасаются коптѣть еще лишникъ полчаса.

Но и на дворѣ всѣ раздражались отъ мокрой погоды. У паперти стояла группа бойко болтающихъ мужчинъ. Тутъ встрѣтились знакомые самыхъ разнохарактерныхъ



знаний. Бритое лицо актера, — съ выдающимся носомъ и синими щеками, въ мягкой шляпѣ съ большими полями, — наполовину уходило въ мерлушковый воротникъ длиннаго чернаго пальто. Рядомъ съ нимъ выставлялась треугольная шляпа съ камеръ-юнкерскимъ плюмажемъ и благообразное дворянское лицо, простоватое и томное. Сбоку морщился плотный полковникъ, въ каскѣ и съ рыжей бородой, по петлицамъ пальто — военный судья. Они говорили разомъ, рассказывали веселые анекдоты, ругали погоду. Къ нимъ присосѣживались выходящіе изъ церкви и вновь прибывающіе.

По двору гуляли другія группы. Народъ облѣпилъ одну стѣну и выглядывалъ изъ-за главныхъ воротъ, обступалъ катафалкъ, крытый бѣлымъ газетомъ съ бѣлыми перьями по бокамъ и по срединѣ. Экипажи останавливались у воротъ и потомъ отъѣзжали вверхъ по переулку и внизъ къ Дмитровкѣ. Было грязно. Большая лужа выдалась на самой срединѣ паперти. Ее обходили влѣво, слѣдуя широко разбросанному можжевельнику. Фонарщики, въ черныхъ шляпахъ и шинеляхъ съ капюшонами, завернули подолы и бродили по двору, составивъ свои фонари вдоль стѣны, въ тяжелыхъ поружѣлыхъ сапогахъ и полшубкахъ. Жандармы покачивались въ сѣдлахъ.

На похороны Лещова приглашено было поименно до шестисотъ человекъ. Списокъ составлялъ Качѣевъ. Въ него попали купцы, помѣщики, директора банковъ, литераторы, профессора, актеры. Нѣсколько именъ говорили, что покойный посѣщалъ патріотическія гостинныя. Но оказалось, въ числѣ приглашенныхъ, и довольно вольнодумныхъ людей, либерально мыслящихъ на европейскій ладъ, посѣщающихъ, впрочемъ, и патріотическія гостинныя. Покойный зналъ всю дѣловую Москву и сохранялъ связи съ интеллигенціей. Но по лицамъ, провожавшимъ его въ послѣднюю обитель, трудно было узнать — кому его жаль. Только самые простые купцы, „какъ есть изъ русскихъ“, входившіе въ ограду безъ шапокъ и осѣняя себя крестомъ, казалось, соболѣзновали его кончинѣ.

Служба все тянулась. Уже остряки давно напомнили объ адмиральскомъ часѣ. Какой-то лысый господинъ среднихъ лѣтъ выскочилъ съ паперти безъ шапки вслѣдъ за смуглой, долгоносой барыней въ цвѣтной шляпкѣ, и началъ ей кричать:

— Не хочу знать этихъ мерзавцевъ!



И пошелъ по можжевельнику, размахивая рукою.

А дама усовѣщивала его, повторяя:

— Глядятъ! Глядятъ! Постыдись!

На что онъ еще задорнѣе крикнулъ:

— А мнѣ наплевать!..

Въ группѣ около паперти актеръ переглянулся съ собесѣдниками.

— Господа литераторы,—выговорилъ онъ съ актерскимъ подчеркиваніемъ,—народъ сердитый!

— Сердить, да не силенъ!..—крикнулъ военный судья, и всѣ трое расхохотались, послѣ чего вдругъ сдержали себя и уныло поглядѣли на входъ въ церковь.

— Претить?—спросилъ актеръ камеръ-юнкера.

— И очень!..

— Вы, господа, до кладбища?

— Ну, нѣтъ-съ,—отвѣтилъ за всѣхъ судья и запахнулъ въ пальто.

Ударили на колокольні, и похоронный гулъ поплылъ по отсырѣлому воздуху.

XXXII.

За полчаса до выноса тѣла изъ церкви, Палтусовъ входилъ въ ограду и осторожно пробирался, обходя тѣ мѣста, гдѣ грязь растоптали какъ мѣсиво. Онъ ожидалъ чего-то другого... Съ Лещовымъ онъ познакомился только въ этомъ году и нашелъ его „очень занимательнымъ“. Ему не разъ уже приходило на мысль, что онъ самъ идетъ по той же дорогѣ. Лещовъ представлялъ цѣлую полосу московской жизни. Онъ внесъ съ собою въ дѣла какую-то „идею“. Патріоты съ славянскими симпатіями, которыхъ пріятели Палтусова звали „византійцами“, считали его своимъ. Черезъ него они воспитали въ своемъ духѣ нѣсколько миллионщиковъ-купцовъ, заставляли ихъ поддерживать общества, посылать пожертвованія, записываться въ покровители „братъевъ“, давать деньги на основаніе газетъ, журналовъ, на печатаніе книгъ и брошюръ...

Но теперь что-то покачнулось. Онъ не видитъ ни большого горя, ни большого смущенія. И едипомышленниковъ-то Лещова три-четыре человѣка, да и обчелся... Вотъ и на этихъ похоронахъ такъ же. Палтусовъ оглядѣлъ всѣ кучки. Его зоркіе глаза всюду проникли. На дворѣ онъ замѣтилъ только блѣднолицаго брюнета въ очкахъ изъ



„толка“, да старца съ большой бородой, въ старомодной шинели и шапкѣ, изъ-подъ которой падали на воротникъ длинные съ просѣдью волосы. Старецъ говорилъ въ кучкѣ университетскихъ, улыбался и прищуривалъ добрые глаза. До Палтусова донесся его хриплый грудной басъ провинціальнаго трагика и отрывки его горичихъ фразъ.

„Навѣрно будетъ говорить на могилѣ“, — подумалъ Палтусовъ и поспѣшилъ въ церковь.

Онъ не продрался къ серединѣ. Издали увидать онъ лису голову коренастаго старика въ очкахъ, съ густыми бровями. Его-то онъ и искалъ, для счету, хотѣлъ убѣдиться, окажутся ли налицо единомышленники покойнаго. Вправо отъ архіерея стояли въ мундирахъ, тщательно причесанные, Взломцевъ и Красноперый. У обоихъ низко на грудь были спущены кресты, у одного Станислава, у другого Анны.

Но въ церкви Палтусовъ не выстоялъ больше пяти минутъ. Мимо его прошмыгнулъ распорядитель похоронъ, Качѣвъ, тоже его знакомый, и замѣтилъ ему смѣшливо:

— Каковъ парничокъ-то, а?

Влѣво отъ наперти Палтусовъ примѣтилъ группу изъ троихъ мужчинъ, одѣтыхъ безъ всякаго парада. Онъ узналъ въ нихъ зачинщиковъ разныхъ „контръ“, направленныхъ противъ Нѣтова и его руководителей: покойнаго Лещова и Краснопераго. Одинъ, съ большой мохнатой головой и рябымъ лицомъ, осматривался и часто показывалъ гнилые зубы. Двое другихъ тихо переговаривались. Они смотрѣли заурядными купцами: одинъ брился, другой носилъ жидковатую бороду. Вслѣдъ за Палтусовымъ спустился съ наперти и Красноперый, и тотчасъ присталъ къ кучкѣ, гдѣ торчала треугольная шляпа камеръ-юнкера.

— Каковъ?—доносился до него шепелявый голосъ Краснопераго. — Царство-то небесное какъ захотѣлъ заподучать!.. Перебѣзчикомъ на тотъ свѣтъ явится.

Кто-то изъ группы началъ его разспрашивать.

— Не нашелъ онъ, къ кому обратиться!—кричалъ Красноперый. — Меня не пожелалъ, видите ли... Стрекулистовъ какихъ-то въ душеприказчики взять... Хотя бы въ свидѣтели пригласилъ.

Черезъ минуту актеръ спросилъ:

— Двѣсти тысячъ?.. На школы?.. Молодецъ!



— Да помилюте, батюшка... Одна гордыня!—кричалъ опять Красноперый.

„Вотъ оно что“,—отмѣчалъ про себя Палтусовъ. Все это его чрезвычайно занимало.

— Андрей Дмитриевичъ!—окликнули его.

Съ нимъ раскланивался Нѣтовъ, въ мундирѣ, въ персидской звѣздѣ, очень блѣдный и возбужденный.

— Позвольте познакомиться... Братъ супруги моей... Николай Орестовичъ Леденщиковъ...

Палтусову подалъ руку худой блондинъ, въ длиннѣйшемъ пальто съ котиковымъ воротникомъ. Его прыщавое, чопорное лицо, въ золотомъ ринсе-пез, бритое, съ рыжеватыми усами, смотрѣло на Палтусова, приторно улыбаясь... Сестру онъ напоминалъ развѣ съ носа. Такого вида молодыхъ людей Палтусовъ встрѣчалъ только въ русскихъ посольствахъ за границей, да за абсентомъ Café Riche, на Итальянскомъ бульварѣ. „Разновидность Виктора Станицына“,—опредѣлилъ онъ.

— Enchanté,—выговорилъ братъ Марьи Орестовны, съ необычайно старательнымъ и сладкимъ французскимъ произношеніемъ.

— Слышали, Евлампій Григорьевичъ,—спросилъ Палтусовъ,—завѣщаніе-то Лещова? Двѣсти тысячъ на школы!.. Благородно!

— Слышалъ-съ.

— Да развѣ не вы душеприказчикъ?..

— Нѣтъ-съ!.. Покойникъ просилъ... Дядюшка мой от-казали... Ну, тому и обидно показалось!.. И всякій бы на его мѣстѣ... Онъ обратился къ тѣмъ...

Нѣтовъ указалъ глазами на ту кучку, гдѣ стояли трое „враговъ“ его.

— Неужели?—удивился Палтусовъ.

— И что же-съ?.. Каждый воленъ поступать по совѣсти... Да и какія тутъ-съ партіи?.. Только чтобъ честные люди были... А иной и кричить: я русакъ, я стою за русское дѣло, а на повѣрку выходитъ...

Онъ не досказалъ и раздраженно оглянулся въ сторону наперти, гдѣ замѣтилъ вырѣзанныя поздри своего родственника Красноперого. Палтусовъ прислушивался къ его голосу и смотрѣлъ ему въ лицо. На его глазахъ съ этимъ человѣкомъ что-то происходило... Онъ сбрасывалъ съ себя ярмо...

— Пойдемте въ церковь,—пригласилъ Нѣтовъ своего



зятя.—На кладбище поѣдете?—спросилъ онъ Палтусова, и не дождавшись отвѣта, пошелъ торопливой, развинченной походкой.

XXXIII.

Палтусовъ смотрѣлъ ему вслѣдъ. Умеръ Лещовъ. Марья Орестовна собралась жить въ раздѣлъ съ мужемъ. На чьемъ же попеченіи останется этотъ задержанный обыватель? Надо его прибрать къ рукамъ, пока не явятся новые руководители. Нѣтовъ раскланялся съ Красноперымъ и съ камеръ-юнкеромъ, мимоходомъ, не сталъ съ ними заговаривать, потомъ взялъ въ сторону, раскланялся и съ кучкой, гдѣ выглядывало рябое лицо его врага и „обличителя“, кажется, улыбнулся имъ. Подаль руку всѣмъ тремъ, что-то сказалъ и, сдѣлавъ жестъ правой рукой, перезнакомилъ ихъ съ зятемъ.

Это онъ заявляетъ свою самостоятельность... Въ день похоронъ дядьки показываетъ, что сумѣетъ всячески соблудить себя и подняться. Говорить съ сѣдымъ генераломъ, съ членомъ суда. И очень что-то бойко... Не скоро доберется онъ до церкви. Вошелъ.

На паперти засуетились... Нишіе сбѣжали со ступенекъ и выстроились двумя рядами. Снесли крышку, пѣвчіе въ потертыхъ цвѣтныхъ кунтушахъ съ откидными рукавами, съ фуражками въ рукахъ, начали спускаться, лѣниво поводя головы и подбирали полы. Зазвучало „Со святыми упокой“... Толкотня усиливалась. Показалось духовенство. Протодьяконъ надѣлъ на себя теплую скуфью... Запестрѣли митры и камилавки... Гробъ несли на полотенцахъ артельщики и мелкіе конторщики банка. Распорядитель Качѣевъ что-то кричалъ въ церковь... Вдову поддерживали двѣ дамы... Ея головы не было видно...

На все это глядѣлъ Палтусовъ и раза два подумалъ, что и его, лѣтъ черезъ тридцать, будутъ хоронить съ такой же некрасивой и нестройной церемоніей, стоящей большихъ денегъ... Кисти гроба болтались изъ стороны въ сторону. Иглистый дождь мочилъ парчу. Вѣтеръ раздѣвалъ жирные волосы артельщиковъ въ длинныхъ сибиркахъ.

За гробомъ поплелись сановныя лица и пріятели покойнаго. Камеръ-юнкеръ пошелъ слѣва; сзади несъ свой византійскій ликъ Взломцевъ; курпосый, нахальный профиль Красноперого, въ шитомъ воротникѣ и бѣломъ галс-



тужѣ, говорилъ скорѣй о молебнѣ съ водосвятиемъ, по поводу полученной „святыя Анны“, чѣмъ о погребеніи друга и пріятеля... Нѣтовъ шелъ безъ шляпы, все такой же возбужденный, кидая кругомъ быстрые взгляды, говорилъ то съ тѣмъ, то съ другимъ знакомымъ.

Народъ снялъ шапки, но изъ приглашенныхъ многіе остались съ покрытыми головами. Гробъ поставили на катафалкѣ съ трудомъ, чуть не повалили его. Фонарщики зашагали тягучимъ шагомъ, по двое въ рядъ. Впереди—два жандарма, лѣвая рука—въ бокъ, поморщиваясь отъ погоды, попадавшей имъ прямо въ лицо. За каретами двинулись обитыя краснымъ и желтымъ линейки, онѣ покачивались на ходу и дребезжали. Больше половины провожатыхъ бросились къ своимъ экипажамъ.

— Вы не съ нами-съ?—пригласилъ Палтусова Нѣтовъ, догоняя его на обратномъ пути,—у насъ ландо-съ.

Палтусовъ поблагодарилъ. Ему надо было заѣхать въ городъ; но онъ поспѣетъ на кладбище къ тому времени, когда будутъ опускать гробъ въ могилу.

— Ожидаемъ рѣчей-съ,—сказалъ Нѣтовъ.

— Вы не скажете ли?—посмѣялся Палтусовъ.

— Можетъ и скажу-съ!—отвѣтилъ Нѣтовъ съ особеннымъ выраженіемъ.

Заграничный зять усмѣхнулся и протянулъ:

— Интересно...

„Но ты-то интересенъ ли?“—спросилъ про себя Палтусовъ, усаживаясь въ пролетку.

Похоронное шествіе спускалось къ Большой Дмитровкѣ. Пролетка Палтусова черезъ Тверскую и Вознесенскія ворота была уже на Никольской, когда пѣвчіе поровнялись только съ угломъ Столешникова переулка. Минуть черезъ пятьдесятъ онъ подъѣзжалъ къ кладбищу; шествіе близилось къ оградѣ. На сниманіе, заколачиваніе и спускъ гроба пошло не мало времени. Погода немного прояснилась. Стало холоднѣе; изморось уже больше не падала.

Среди чугунныхъ и мраморныхъ памятниковъ, столбовъ, плитъ, урнъ и крестовъ, зіяла глиняная яма. Гробъ ушелъ низко; чтобы бросать землю на крышку гроба, приходилось или нагибаться, или опуститься на аршинъ. Послѣ литіи, одинъ изъ архимандритовъ сказалъ краткое слово, восхваливъ „ученость“ и благочестіе покойнаго... Настала минута нерѣшимости... Полетѣли горсти песку... Его разносилъ артельщикъ; Качѣевъ наблюдалъ, чтобы все

хватило. Изъ толпы, топтавшейся въ молчаніи, вышелъ тотъ лысый старикъ съ надвинутыми бровями, котораго Палтусовъ отыскивалъ въ церкви, во время отпѣванія.

Онъ началъ хрипло выкрикивать слова, словно подсказывалъ человѣку крѣпкому на ухо. Его рѣчь состояла изъ цѣни сочувственныхъ фразъ: но издали можно было принять ихъ за рядъ окриковъ. Точно онъ сердился на покойника и распекалъ его, какъ подчиненнаго. Сзади многіе ухмылялись... Но старикъ скоро кончилъ и швырнулъ въ гробъ большую горсть песку. За нимъ забросали опоздавшіе... Всѣ начали переглядываться... На противный конецъ ямы, у ногъ покойника, спустился тотъ баринъ, съ длинными волосами, что горячо разговаривалъ въ ограду церкви, въ одной изъ группъ. Онъ долго устанавливалъ какое-то „исконное начало“, и звонкія слова, въ родѣ „прекрасное“, „торжество“, „крѣпость духа“, разлосились по кладбищу. Иные слушатели стали сомнѣваться — сведетъ ли онъ рѣчь свою къ концу. Поднялся шопотъ, а потомъ говоръ, острили, давали прозвища. Онъ все говорилъ и вдругъ, не докончивъ длиннаго періода, воззвалъ къ „вѣчнымъ началамъ правды, добра и красоты“—и раскланялся.

Раздались аплодисменты... Собирались расходиться... Но на краю могилы стоялъ новый ораторъ. Это былъ Нѣтовъ.

XXXIV.

Палтусовъ глазамъ своимъ не вѣрилъ. Ему сдѣлалось даже неловко. Онъ попытался назадъ, но такъ, что лицо и вся фигура Евлампія Григорьевича были ему видны.

— Вотъ, господа-съ,—слышалось ему,—умеръ человѣкъ рѣдкій... въ своемъ родѣ...

— Кто это говорить?—спросилъ кто-то сзади.

— Нѣтовъ!

— Батюшки!

— Какъ въ дѣяніяхъ апостольскихъ... Даръ получилъ по наитію!..

Но Палтусовъ прислушивался.

— И вотъ могила, господа... Иные сейчасъ скажутъ: нашъ онъ былъ, къ нашему согласію принадлежалъ.

„Согласіе? очень недурно!“—одобрилъ Палтусовъ и выдвинулся впередъ.

Евлампій Григорьевичъ скинулъ статсъ-секретарскую

пинель съ одного плеча. Его правая рука свободно двигалась въ воздухѣ. Шитый воротникъ, бѣлый галстукъ, крестъ на шеѣ, на лѣвой груди—звѣзда, вся въ настоящихъ, самимъ вставленнымъ, брильянтахъ, такъ и горять. Весь выпрямился, голова откинута назадъ, волосы какъ-то взбиты, линіи рта волнистыя, возбужденныя глаза... Палтусову опять кажется, что зрачки у него не равны, голосъ съ легкой дрожью, но увѣренный и немного, какъ бы, вызывающій... Неузнаваемъ!

— Зачѣмъ,—продолжалъ ораторъ,—намъ всѣ эти прозвища перебирать, господа?.. Славянофилы, напимѣрь, западники, что ли, тамъ... Все это одни слова. А намъ надо дѣло... Не кличка творить человѣка!.. И будто нельзя почтенному гражданину занимать свою позицію? Будто ему кличка доставляетъ ходъ и уваженіе?.. Надо это бросить... Жалуются всѣ:—рукъ нѣтъ, головъ нѣтъ, способныхъ людей и благонамѣренныхъ. Мудрено ли это?.. Потому, господа, что боятся самихъ себя... Все въ кабалу къ другимъ идутъ!..

— Жена написала, а онъ заучилъ,—раздался надъ ухомъ Палтусова чей-то голосъ.

— Здѣсь она, на похоронахъ?

— Нѣтъ, не видно что-то.

— Отзубрилъ знатно!

„Нѣтъ, это не Марья Орестовна,—думалъ Палтусовъ, продолжая слушать,—это экспромптъ. Евлампій Григорьевичъ не писалъ этого на бумажѣ и не заучивалъ“.

— И вотъ, господа,—кончалъ Нѣтовъ,—помянемъ доброй памятью Константина Глѣбовича. Не забудемъ, на что онъ половину своего достоянія пожертвовалъ!.. Не очень-то слѣдуетъ кичиться тѣмъ, что онъ держался такого или другого согласія... Тѣмъ онъ и былъ силенъ, что себѣ цѣну зналъ!.. Такъ и каждому изъ насъ быть слѣдуетъ!.. Вѣчная память ему!..

Къ концу рѣчи всѣ смолкли. Потомъ захлопали горячо и дружно.

— Емеля-то дурачокъ какъ расходился!—крикнулъ громко Красноперый, взявъ за руку старичка-генерала и пошелъ по мосткамъ къ выходу.

Нѣтову жали руку. Онъ стоялъ все съ непокрытой и откинутой головой. Глаза его перебѣгали отъ предмета къ предмету.

— N'est ce pas?—остановилъ Палтусова, двинувшася

за другими, сладкій братъ Марьи Орестовны...—Мой beau frère a très bien dit son fait? Только, кажется, были намеки... Какъ вы находите?

— Молодцомъ!..—искренно похвалилъ Палтусовъ, протолкался и крѣпко пожалъ руку Нѣтова.

Евламнія Григорьевича окружили. Большая голова и гнилые зубы господина отъ враждебной группы виднѣлись рядомъ съ нимъ.

Когда Палтусовъ подходилъ и протягивалъ ему руку, „вожакъ оппозиціи“ смѣлся и трясъ одобрительно волосами.

— Истину, истину извоили изречь... Евлампій Григорьевичъ... Вамъ зачтется... Хорошій баллъ поставимъ... Давно пора такъ-то!..

Нѣтова не обидѣлъ покровительственный голосъ. Его не оставляло возбужденіе. Рука у него вздрагивала.

— Другая полоса теперь! Другая-съ!..—громко провозгласилъ онъ и надѣлъ бобровую шапку, а шляпу взялъ подъ мышку.

— Расскажите вашей сестрицѣ,—тихо сказалъ Палтусовъ его зятю,—какъ отличился ея супругъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ,—выговорилъ тотъ, и гостинодворскій акцентъ проскользнулъ въ дикцію, наломанную на дворянскій манеръ.

— Къ намъ откушать!—остановилъ Палтусова Нѣтовъ.

Палтусовъ отклонилъ приглашеніе.

— Не все на помочахъ, Андрей Дмитриевичъ! Не такъ ли-съ?..—почти азартно спросилъ его Нѣтовъ и полагъ въ свое четырехмѣстное ландо.

Палтусовъ простоялъ еще минутъ съ пять. Жапдармы ругались съ кучерами линеескъ. Кареты поѣхали вереницей. Купцы разсаживались въ крытые дрожки. Пѣвчіе, артельщики, похоронныя старухи и всякій сбродъ чуть не дрались, влѣзая въ линейки; народъ шлепалъ по грязи... Начало опять моросить.

„Надо держаться Нѣтова“,—рѣшилъ еще разъ Палтусовъ, и уѣхалъ изъ послѣднихъ.

XXXV.

Вечеромъ, за чаемъ, въ будуарѣ Марьи Орестовны, на атласномъ пуфѣ сидѣлъ братъ ея, пріѣхавшій всего три дня назадъ, и рассказывалъ ей, какой успѣхъ имѣла рѣчь Евламнія Григорьевича. Къ обѣду сестра его не



выходила. Она страдала мигренью. Наканунѣ мужъ пришелъ ей сказать, что ея желаніе исполнено, и передалъ ей пакетъ съ цѣнными бумагами, приносящими до пятидесяти тысячъ дохода.

Легкая побѣда потѣшила ее, но не надолго. Евлампій Григорьевичъ сдѣлалъ это слишкомъ скоро, и когда отдавалъ ей слишкомъ тяжелый пакетъ, то въ лицѣ его она усмотрѣла необычайное выраженіе: оно говорило:

„Извольте, будемъ и безъ васъ жить съ царемъ въ головѣ...“

На брата она и безъ того не особенно надѣялась; но въ эти три дня онъ опять весь выдохся передъ ней. Отъ его тощей фигуры, прыщаваго лица, волосъ, изысканныхъ туалетовъ и батистовыхъ платковъ шелъ, во-первыхъ, ненавистный ей запахъ илангилана... Она уже попросила его перемѣнить духи... Потомъ онъ началъ мямлить ей, приторно и желая соблудности свое „консульское“ достоинство, что ему необходимо камеръ-юнкерство, что безъ этого званія онъ не можетъ существовать. Пять разъ, съ разными новыми вариантами, рассказалъ онъ ей, какъ его представляли „королевѣ и королю“, какъ ихъ величества удивлялись, что такой „gentleman“ до сихъ поръ не отличенъ придворнымъ званіемъ. Ему и безъ того тяжело носить фамилію „Леденщиковъ“. Не можетъ же онъ всѣмъ и каждому сообщать, что его мать была столбовая дворянка, племянница одного князя! Еще за границей имя не такъ плохо звучитъ, но въ Россіи, безъ прибавленія на карточкѣ: „Gentilhomme de la chambre de S. M. l'Empereur“—показаться нельзя... И выходило, что хлопотать объ этомъ слѣдуетъ ей, его „чудесной“ Мари. А для этого надо нѣсколько большихъ обѣдовъ и вечеровъ, отрекомендовать его „особенно“ здѣшнимъ властямъ, поѣхать въ Петербургъ, тамъ завести знакомства въ высшихъ сферахъ, жертвовать, сдѣлаться дамой-патронессой, основать пріютъ, его помѣстить куда-нибудь почетнымъ попечителемъ. Съ миллионнымъ состояніемъ это такъ легко.

Нытье брата открыло вдругъ глаза Марьѣ Орестовнѣ на то, что ее ожидаетъ за границей. Братъ не оставитъ ее въ покоѣ. Онъ сдѣлается ея прихвостнемъ. Денегъ она же ему будетъ давать. И теперь она даетъ ему три тысячи. Очень ей пріятно будетъ видѣть, что онъ, ничтожный „консулъ“, ныжится быть дипломатомъ: онъ съ такимъ



куринымъ мозгомъ не можетъ идти по службѣ. Кромѣ уколовъ самолюбія ничего ее не ждетъ. Ужъ и ей рассказали, какъ ея братецъ на одномъ придворномъ балѣ такъ часто забѣгалъ впередъ всюду, гдѣ шла королева, что на него, наконецъ, обратили вниманіе, только не благосклонное. Анекдотъ кто-то завезъ прошлой зимой сюда, и всѣ его знаютъ.

Своихъ плановъ она не сообщила ему вполне. Но братъ засталъ ее еще въ острый періодъ ея душевной тревоги, и она ему намекнула на свое рѣшеніе отдѣлаться отъ Евлампія Григорьевича.

— Я тебя увѣряю,—деликатно выговаривалъ Николай Орестовичъ каждый слогъ,—твой мужъ очень хорошо... *à très bien troussé son discours*. Какъ тебѣ угодно, Мари, но здѣсь ты особа. И зачѣмъ тебѣ уѣзжать въ началѣ вашего московскаго сезона? Я не на то рассчитывалъ, дорогая моя. Извини, что я тебѣ противорѣчу.

Она заставила его замолчать и послала въ залу—сыграть ей вальсъ Шопена. Цѣлыхъ три часа слушала она его разведенныя сиропомъ рѣчи. Ея выкормокъ положительно раздражалъ ее. Жить съ нимъ за границей по цѣлымъ мѣсяцамъ врядъ ли лучше, чѣмъ имѣть около себя такого мужа, какъ Евлампій Григорьевичъ.

И потомъ, въ ея мужѣ есть что-то новое. Оставить его въ покоѣ; только бы зналъ свою роль въ домѣ. Не оставаться съ нимъ за столомъ; а при постороннихъ пропускать мимо ушей его купеческое „изволите видѣть“. Теперь она съ собственнымъ большимъ состояніемъ. Какой мужъ сдѣлалъ бы это такъ джентльменски? Палтусовъ былъ правъ.

И съ этимъ человѣкомъ у ней далеко не все кончено. Онъ какъ будто играетъ съ нею. А, можетъ-быть, онъ честный человѣкъ, не хочетъ показывать ей такого чувства, какого не находитъ въ себѣ. Но времени впередъ много. Вотъ это—характеръ. Если бъ онъ кидался на деньги, онъ бы сейчасъ же сталъ подбивать ее уѣхать за границу, съ капиталами. Онъ не бросится за ней. Даже и намекъ на это нѣтъ. Безъ него тамъ будетъ очень скучно, очень. Знаетъ она этихъ французовъ и англичанъ въ Трувиллѣ, въ Біарицѣ, венгерскихъ гусаръ въ Маріенбадѣ. Тяжело ей съ ними. Когда она говоритъ по-французски, у ней выходитъ все жидко, тускло, книжно, отзывается русской гуввернанткой. И не приобрести ей блеска.



Это дается или не дается. Вот Коля какъ старается, а все-таки комми изъ магазина Дарзанса или Море.

Братъ Марьи Орестовны сошелъ съ Шопена на какую-то сладкую мелодію пѣмца Гумберта, а потомъ заигралъ опереточный мотивъ. Головная боль сестры его утихла. неподвижное положеніе на кушеткѣ усыпляло ее полегоньку. Передъ ея глазами сталъ узкій треугольникъ портьеръ черезъ всю амфиладу комнатъ. Вѣки слипались. Изъ залы долетали, но смягченные коврами и шелкомъ стѣнъ и драпировокъ, фривольные звуки приторнаго Николая Орестовича. Но заснуть его сестрѣ мѣшали два видѣнія:— то спустится ей на грудь пакетъ съ цвѣтными бумагами, то вышлыветъ, точно изъ облака, красивая борода съ свѣтлымъ пробормомъ на подбородкѣ.

XXXVI.

— Кто тутъ?—пугливо окликнула Марья Орестовна и открыла глаза.

Надъ ней наклонилась борода, но не та благообразная съ изящнымъ пробормомъ, а растущая въ разныя стороны борода мужа. Лицо ея было блѣдно и испуганно.

— Что съ вами-съ?—спросилъ онъ боязливымъ шопотомъ.—Я думалъ—обморокъ.

— Нисколько,—недовольно выговорила она, и подняла голову:—Который часъ?

— Двѣнадцатый.

— Коля играетъ?

— Ушелъ къ себѣ.

— А-а!..

Она потянулась и привстала.

— Какъ свѣжо здѣсь.

— Жарокъ, можетъ, у васъ?—заботливо спросилъ Евлампій Григорьевичъ.

Марья Орестовна встала и зѣвнула. Потомъ ей вдругъ сдѣлалось зябко, тошно, весь будуаръ завертѣлся у ней въ глазахъ. Ее накренило въ сторону. Руки мужа удержали ее.

Какая-то новая, неиспытанная ею боль отозвалась гдѣ-то въ тѣлѣ и заставила опуститься на кушетку. И такъ ей стало все противно, она сама, этотъ будуаръ, весь домъ, цѣлый рядъ дней, сулящихъ ей какую-нибудь тайную неизлѣчимуую болѣзнь, медленную потерю силъ, нескончаемыя боли, кто знаетъ: душевный недугъ... Она



разсердилась на свое малодушіе, но не въ силахъ была встать.

Евлампій Григорьевичъ бросился за горничной. Больную перенесли въ спальню. Мужъ вышелъ и сейчасъ послалъ верхового за докторомъ. Прибѣжалъ братъ, сдѣлалъ глупую мину. Она его прогнала. Въ постели головокруженіе прошло. Она опять забылась.

Прибѣжалъ годовой докторъ, постукалъ грудь, прислушался къ сердцу, ничего не нашелъ подозрительнаго, пошутилъ съ нею и намекнулъ на то, что, быть-можетъ, она въ интересномъ положеніи.

Марья Орестовна сначала приняла это съ гримасой, потомъ, по уходѣ доктора, задумалась и вдругъ радостно вздохнула.

Дѣтей у ней не было! Обуза — дѣти, а безъ нихъ какая тоска, какъ она копается въ самой себѣ... Тогда — кровная, живая цѣль, не нужно изводиться въ ѣдкой и себялюбивой заботѣ о томъ, какъ бы мужа вывести на дворянскую дорогу, тревожиться всякой ничтожной газетной статейкой.

Въ будуарѣ она слышала мужскіе шаги. Тамъ сидѣла ея камеристка.

Она позвонила.

— Берта, кто тамъ?

— Баринъ.

— Попросите его.

Глаза Евлампія Григорьевича загорѣлись въ полутьмѣ спальни. Онъ все еще былъ во фракѣ. Корпусомъ онъ наклонился впередъ и на цыпочкахъ подходилъ къ кровати. Въ спальнѣ жены онъ не былъ больше мѣсяца. Лицо его смутило Марью Орестовну. Оно казалось ей слишкомъ возбужденнымъ.

— Присядьте, — сказала она ему и указала на край постели.

Нѣтъ, присѣлъ.

— Какъ докторъ? — серьезно, почти строго спросилъ онъ.

— Онъ вамъ ничего не сказалъ?

— Пишетъ рецептъ въ кабинетѣ...

— Говорить — ничего... только... быть-можетъ...

Щеки Марьи Орестовны зардѣлись.

— Что же такое-съ?

— Можетъ, я въ такомъ положеніи.



— Съ чего бы это-съ?—вырвалось у него.—Нельзя этому быть...

— Почему же?—веселѣе вымолвила она.

Слова ея заставили его вскочить. Онъ метнулся по комнатѣ, въ уголь, потомъ подошелъ къ кровати, взялся за спинку; ему ударило въ голову.

— Вотъ оно-съ,—вскричалъ онъ,—Божье благословенье! Отчего же и не намъ-съ?..—Ха-ха!..

Марья Орестовна слѣдила за его глазами. Глаза то вспыхивали, то тускнѣли, руки дрожали. Ее схватило за сердце... Опять внутри у ней что-то кольнуло и запыло.

Этотъ мужъ больно ужъ не милъ ей! Не можетъ онъ быть отцомъ ея ребенка... Она не мать. Да и весь онъ какой-то чудной сегодня. Непріятно на него смотрѣть!..

Горячія, сухія губы прикоснулись къ ея лбу... Ей захотѣлось плакать. Не желанное рожденье здороваго ребенка представилось ей, а собственная смерть...



Книга третья.

I.

На дворѣ разыгралась вьюга. Рождество черезъ нѣсколько дней. Переулокъ, выходящій на Спиридоновку, заносить съ каждымъ новымъ порывомъ вѣтра. Правый тротуаръ совсѣмъ замело. Газъ трепещетъ и мигаетъ въ обмерзлыхъ фонаряхъ. Низенькіе домики точно кутаются въ бѣлыя простыни. Заборы, покрытые и сверху, и снизу рыхлымъ наметомъ снѣга, ныряютъ въ колеблющемся полусвѣтѣ переулка. Стужа не сильна, но вѣтеръ донимаетъ. Переулокъ пустъ, а часъ еще не поздній, около девяти.

Будка на перекресткѣ примостилась къ одноэтажному деревянному дому, въ шесть оконъ, съ крылечкомъ. Только въ крайнемъ окнѣ виденъ свѣтъ, онъ выходитъ изъ узенькой комнаты. Въ глубинѣ ея поставлена кровать; часть лѣвой стѣны ушла подъ лежанку, темную отъ печки. Горитъ лампочка съ фарфоровымъ пьедесталомъ; отъ нея идетъ копоть; зеленый, сверху обгорѣлый, колпакъ усиливаетъ темноту. На лежанкѣ виднѣтся какая-то груда. Къ окну приставлены пальцы, завернутые въ кисею. Другая стѣна почти вся занята сундукомъ, обитымъ жостью. Тутъ же ютится столикъ съ шитымъ коврикомъ. На немъ мазочка и колокольчикъ. Надъ сундукомъ вся стѣна увѣшана портретами: есть и литографія, и дагеротипы, и черные силуэты. Комнатка оклеена сѣренькими обоями. Въ углахъ отсырѣло и на потолкѣ въ двухъ мѣстахъ пятна.

Комнатка служитъ спальней, рабочей комнатою и го-



стиной двумъ старымъ женщинамъ. Одной уже подъ восемьдесятъ лѣтъ, другой—подъ шестьдесятъ. У лампы нагнулась надъ вязаньемъ высохшая, большого роста, блондинка съ просѣдью. Это меньшая старуха. Ея морщинистое, узкое лицо застыло въ улыбкѣ сжатаго рта, наполовину беззубаго. Лысая около темени голова прикрыта обрывкомъ чернаго кружева. Узкія плечи, костлявый станъ, внапалъ грудь кутаются въ голубую косынку, завязанную за спиной узломъ. Прозрачныя руки такъ и трясутся отъ усиленнаго движенія длинныхъ спиць.

Она вяжетъ платокъ изъ дымчатой, тонкой шерсти. Почти весь опъ уже связанъ. Клубокъ лежитъ на кольцахъ въ продолговатой, плоской корзинкѣ. Спицы производятъ частый, чиликающій звукъ. Слышно неровное, учащающееся дыханіе вязальщицы. Губы ея, плотно сжатые, вдругъ раскроются, и она начинаетъ считать про себя. Изрѣдка она оглядывается назадъ. На кровати кто-то перевернулся на бокъ. Можно разглядѣть женскую голову, въ старинномъ чепцѣ, съ оборками, подвязанномъ подъ уши, и короткое плотное тѣло въ кацавейкѣ. На ногахъ лежитъ одѣяло.

Въ комнаткѣ тепло только около печки. Изъ окна, отпотѣлаго и запыленного, дуетъ. Въ полуотворенную, одностворчатую дверку проникаетъ холодный воздухъ. И все-таки душно:—отъ лампы, отъ пыли, отъ разныхъ тряпокъ, натканыхъ здѣсь и тамъ, корѣбковъ и личичковъ. Пахнетъ заднимъ гнилымъ покоемъ дворянскаго домика. На лежанкѣ, на войлокѣ, копошилось что-то въ корзинкѣ, укутанной сверху. Нѣтъ-нѣтъ, да и зашуршитъ, послышится грызенье, точно мышь скребется, а потомъ и пискъ. Изъ двери доносится стукъ маятника дешевыхъ стѣнныхъ часовъ. Съ заворота улицы вѣтеръ ударяетъ въ уголъ дома; старыя бревна трещать; гулъ погоды проносится мимо окна и выдаетъ въ него горсти снѣга.

Но въ тѣсной, заброшенной комнаткѣ, гдѣ коптитъ керосиновая лампочка, идетъ работа съ ранняго утра, часу до перваго ночи. Восьмидесятилѣтняя старуха легла отдохнуть; вечеромъ она не можетъ уже вязать. Руки еще не трясутся, но слеза мочить глазъ и мѣшаетъ видѣть. Ея сожительница видитъ хорошо и очковъ никогда не носила. Она просидитъ такъ еще четыре часа. Чай они только что отпили. Ужинать не будутъ. Та, что работаетъ, постелетъ себѣ на сундукъ.

II.

— Фифина!—послышался съ кровати голосъ старшей старухи, звучный и низкій. Зубы у нея сохранились, и она выговариваетъ твердо.

— Что, маман?—отозвалась блондинка и повернула голову.

Она говоритъ надтреснутымъ высокимъ фальцетомъ. Отъ выпавшихъ зубовъ выходитъ свистъ. Есть наивность въ ея манерѣ говорить. Не трудно признать въ ней старую дѣвушку.

— Погляди на нашихъ тютекъ... Что-то они пищать. Есть ли у нихъ вода?

— Должна быть, маман...

— Посмотри, cher ange... Къ ночи они что-то безпокойны стали.

Та, кого старуха на кровати назвала Фифиной, оставила работу, положила бережно свое вязанье на столъ и тихо подошла къ лежанкѣ. Она приподняла темный платокъ съ корзины и заглянула туда.

— Что же, cher ange?

— Спать, маман, всѣ вмѣстѣ, прижались.

— Всѣ ли?

— Всѣ.

— Ахъ, милые тютки!—громко вздохнула старуха на кровати, потомъ зѣвнула и перекрестила ротъ.—Pardon de t'avoir dérangée,—прибавила она хорошимъ французскимъ произношеніемъ.

Опять началось вязанье. Въ корзинѣ, стоявшей на лежанкѣ, жило цѣлое семейство песцовъ. Когда Фифина заглянула туда, они всѣ сбились въ кучу; точно небольшая муфта виднѣлась къ одной сторонѣ ихъ жилища.

Тутъ же положена имъ была ѣда и поставлено блюдечко съ питьемъ. Песцы ищутъ тепла. Велѣли они себя тихо и зимой все больше спали. Эта семья считалась любимцами старухи. Остальныхъ держали на кухнѣ, на русской печи. Съ нихъ обирали пухъ, чистили его, отдавали прастъ, а сами вязали платки, косынки и цѣлыя шаги на продажу въ Ножовую линію и въ галереи на модные магазины. Цѣны стояли на это вязанье хорошія. Ихъ продавали за привозный товаръ съ макарьевской ярмарки, нижегородскаго и оренбургскаго производства.

Черезъ полчаса старуха сиросила съ кровати:



- Мужчины уѣхали?
- Кажется.
- Ника не пришелъ проститься... *Pas de sœur...* Такъ вѣдь, Фифина?
- Не знаю, *тамап*, какъ сказать.
- Ахъ, мать моя... Пора тебѣ свое мнѣніе имѣть.
- *Pourquoi m'édire, тамап?*
- Вѣдь я бабка! Отъ меня какія же могутъ быть тайны?

Опять помолчали. Фифина—настоящее ея имя Фелицата Матвѣевна—поправила фитиль лампы, завязала поплотнѣе узелъ своего голубого платка и расправила пальцы. Они снова запрыгали, передвигая спицами. Узоръ выходилъ правильно, скоро, ни одна петелька не была спущена.

- Фифина!
- Что вамъ угодно, *тамап*?
- Фелицата Матвѣевна звала „*тамап*“ свою пріемную мать и воспитательницу, Катерину Петровну Засѣкину.
- Тася придетъ?
- Разумѣется, *тамап*...
- Да который часъ?
- Недавно было девять...
- Я бы пошла ее смѣнить... Да *Hélène...* не любить.
- Почему же, *тамап*?
- Ахъ, *mon ange*, будто я не замѣчаю? Что съ нею взять... *une mortel*!
- Да-а,—глубоко и громко вздохнула Фифина.
- Ты и нынче до часу?
- Надо завтра кончить, *тамап*.
- Надо, надо.

Въ разговорѣ старухъ звучала одна и та же нота—подчиненія своей судьбѣ. У Фифины она выходила мельче и простоватѣе; у ея пріемной матери гораздо сильнѣе и сознательнѣе...

Старуха приподнялась и спустила ноги съ кровати. Ей захотѣлось самой поглядѣть, какъ спятъ ея милые звѣрки, давашіе ей и Фифинѣ заработокъ на лишнюю чашку чаю, на платье и теплые чулки, на маленькій подарочекъ внукѣ.

Она ходила бодро и не горбилась. Небольшого роста, недавно еще полная, Катерина Петровна въ этой затхлой и тѣсной комнатѣ сама держала себя ---чно, хотя по-



сила уже третью зиму все тотъ же шелковый капоть, перешитый два раза.

— Тютеньки!.. спать милые...

Она прозвала псцовъ „тютьками“.

III.

У Катерины Петровны лицо бѣлое, почти не морщинистое, съ крупными чертами. Брови сохранились въ видѣ тонкихъ черточекъ. Изъ-подъ чепца не видно сѣдыхъ волосъ. Глаза уже потухли, а были когда-то нѣжно-голубые. Ротъ не провалился; всѣ передніе зубы налицо и не очень пожелтѣли.

Она постояла надъ своими любимыми „звѣрушками“, покачала головой, прикрыла ихъ и подошла къ столу. Рядомъ темнѣло кожаное вольтеровское кресло. Она сѣла въ него. Фифина пододвинула ей скамейку.

— Вотъ совсѣмъ сна нѣтъ,—заговорила она, прищурившись на свѣтъ лампы.

— Еще рано, шатап...

— Знаю... Да я уже чувствую... ходить бы надо. А гдѣ?.. По залѣ... Темно, да и не люблю... Нѣлене все пугается... боится Богъ знаетъ чего. Прежде Тася играла по вечерамъ. Теперь и этого нѣтъ.

Все это сказано было безъ ворчанія, а такъ, про себя. Старуху сокрушало всего сильнѣе то, что она не можетъ по вечерамъ работать. Фифина привыкла больше слушать, чѣмъ говорить, да и боится напутать въ счетѣ. Читать никому, съ тѣхъ поръ, какъ внучка должна часто быть около матери. Старуха опять вернулась на постель.

Лежитъ Катерина Петровна на постели, въ темнотѣ, чтобы не раздражать зрѣніе, лежитъ и перебираетъ старыя, долгіе годы... Ей кажется, что она прожила цѣлое столѣтіе; но память у ней свѣтла не по лѣтамъ. Ей прекрасно извѣстно, что родилась она въ началѣ этого вѣка. Двѣнадцатый годъ она отчетливо помнитъ. Родилась она тутъ, въ Москвѣ, у большого Вознесенья. Ихъ дома ужъ давно нѣтъ. Онъ былъ деревянный, на дворѣ, бревенчатый, темный, съ пристройками. Такихъ теперь что-то не видать въ Москвѣ. Помнитъ она, какъ отецъ поступилъ въ ополченіе. И мундиръ его помнитъ. Картузъ съ крестоу... Вдругъ всполошились. Ихъ съ матерью, двумя свопченицами матери и сестренкой,—та послѣ умерла въ чахоткѣ,—отправили на своихъ во Владиміръ. Оттуда



онѣ попали въ Нижній. Тамъ поселились онѣ противъ большого дома на Покровкѣ, такая есть улица въ Нижнемъ, гдѣ жили институтки съ начальницей, привезенныя изъ Москвы же. Домъ былъ генеральскій. Отставной генералъ изъ „гатчинцевъ“ командовалъ мѣстнымъ ополченіемъ. Мать познакомилась съ его семействомъ. Своя музыка была у нихъ, полонъ домъ дворни, въ нанковыхъ сюртукахъ, лакеи вязали чулки въ передней. Кончилась кампанія, перебрались опять въ Москву. Отецъ вскорѣ умеръ. Много ее учили, и по-англійски; а по тогдашнему времени это было въ рѣдкость. Иогель танцамъ училъ, „Гюлень-Сорша“ также. На клавинодахъ — Фильдъ... Брала она и уроки арфы... Тогда арфа считалась для барышень красивымъ и поэтическимъ инструментомъ. Надо было при этомъ и пѣть. Писать литературнымъ слогомъ выучилась она только по-французски. По-русски всегда дѣлала ошибки. Да русскихъ писемъ и писать не къ кому было. Зато французскіе стихи могла свободно рѣимовывать. Позднѣ любила Пушкина и Батюшкова. Но это уже замужемъ, въ Петербургѣ. Просидѣла она въ дѣвницахъ до двадцати одного года. Мать разборчива была, да и она сама не торопилась. Нельзя сказать, чтобы она особенно влюбилась въ Никифора Богдановича Засѣкина. Ее всегда считали безчувственной. Стихи она писала, но увлеченій съ ней что-то не случалось. Онъ ей, однакожъ, понравился... Приѣхавъ изъ Петербурга, всѣ имъ интересовались. Высокій, важный, не старый, живавъ подолгу въ чужихъ краяхъ. А главное—умень... Это она отлично поняла. И свое состояніе. Стало, не зарился на деньги... Какъ ужъ это давно!.. Свадьба, посаженнымъ—главнокомандующій,—такъ по-тогдашнему звали генералъ-губернатора, — въ „Модномъ Журналѣ“ князя Шаликова стихи ей посвящены были въ видѣ романса... И на музыку ихъ положили... Она сама пѣла и аккомпанировала себѣ на арфѣ. Вотъ ея миниатюрный портретъ виситъ на кисти, съ птичкой на плечѣ. Находили, что она похожа была на m-lle Georges, только она меньше ростомъ и цвѣтъ волосъ не тотъ. Гдѣ лежатъ теперь ея кавалеры? Сколько милыхъ людей, изъ иностранной коллегіи, польскихъ, изъ колонновожатыхъ,—нынче они по-другому называются,—профессора инженернаго училища, выписанные изъ Парижа императоромъ... Профессоръ Базень... Что за умница! Другой еще... тоже французскій инже-



неръ... Фамилин не припомнишь... Такого тонкого французского разговора больше она уже не вела и не слышала.

IV.

И четырнадцатое декабря... Точно вчера это было!

Нить воспоминаний Катерины Петровны прервется всегда на чемъ-нибудь... Войдутъ, или встать захочется... Они опять поползутъ вереницей... Безъ нихъ слишкомъ тяжело было бы коротать зимніе вечера.

Дверь скрипнула. Изъ темноты на порогѣ выплыла голова молодой дѣвушки. Блестѣли одни глаза, да бѣлѣлъ лобъ, съ котораго волосы были зачесаны назадъ и схвачены круглой гребенкой.

— Почиваетъ бабушка?—тихо спросила она Фифину, взглянувъ въ комнату.

— Нѣтъ, дружокъ, нѣтъ,—откликнулась обрадованнымъ голосомъ Катерина Петровна.

— Чай кушали?

Внучка подскочила къ кровати и поцѣловала старуху въ лобъ. Свѣтъ настолько падалъ на молодую дѣвушку, что выставлялъ ей маленькую, изящную фигуру, въ сѣромъ платьѣ, съ косынкой на шеѣ. Талія перетянута у ней кожанымъ кушакомъ. Каблуки ботинокъ производятъ легкій стукъ. Она подняла голову, обернулась и спросила Фифину:

— Хотите, почитаю?..

Лицо ея теперь выдѣлялось яснѣе. Оно круглое, тонкій подбородокъ удлиняетъ его. На щекахъ по ямочкѣ. Глаза полузакрыты, смѣются; по могутъ сильно раскрываться, и тогда выраженіе лица дѣлается серьезнымъ и даже энергичнымъ. Глаза эти очень темные, почти черные, при русыхъ волосахъ, распущенныхъ въ концѣ и перехваченныхъ у затылка черепаховой застѣжкой.

Ее звали Тася—уменьшительное отъ Таисіи. Это малодворянское имя дали ей по прихоти отца, который „открылъ“ его въ святцахъ.

Тася подошла скорыми шажками и къ Фифинѣ, потрепала ее по плечу, нагнулась къ вязанью.

— Совсѣмъ мало осталось!—сказала она теплымъ, контрастнымъ голосомъ.

— Завтра кончу,—сообщила Фифина.

— Почитать вамъ, бабушка?



- Ты что, мой дружокъ, теперь-то дѣлала?
- Читала... Маман задремала только сейчасъ.
- Отдохни... Головка у тебя заболить здѣсь...
- Это отчего?
- Отъ ламны.
- Вотъ еще!
- Посиди у меня на кровати...

Тася сѣла на краю, положила лѣвую руку на плечо бабушки и нагнула къ ней свое забавное лицо. На душѣ у старухи сейчасъ же стало свѣтлѣть.

— Вамъ холодно, бабушка, милая,—говорила Тася.— Такой у насъ домъ смѣшной—вездѣ дуетъ. Въ залѣ хоть таракановъ морозъ.

— Фи!..

Старуха покачала головой и мягко, укоризненно усмѣхнулась.

— Простите, бабушка, за слово... нецензурное!..

И она звонко расхохоталась. Ея серебристый смѣхъ прозвучалъ ясной струей вдоль старушечьей комнаты и замеръ.

Бабушка внутренне сокрушалась, что ея Тася возьметъ да и скажетъ иногда словечко, какого въ ея время дѣвущкѣ немислимо было выговорить вслухъ... Или вотъ такую поговорку о тараканахъ... Но какъ тутъ быть?.. Кто ее воспитывалъ? И учили-то съ грѣхомъ пополамъ... Слава Богу, головка-то у ней свѣтлая... А что ее ждетъ? Куда идти, когда все рухнетъ?

Глаза старухи наполнились слезами. Она не могла приласкать этой „дѣвочки“, не огорчившись за нее глубоко. А Катерина Петровна не считала себя чувствительной... Вотъ вѣдь старшая ея внука, Ляля, не выдержала, погибла для нея... и для всѣхъ... Развѣ не погибнуть—въ монахины пойти, да еще въ какую-то Дивеевскую пустынь, въ лѣсъ, конопляное маслище ѣсть съ мужичками, грубыми, пожалуй пьяными?.. Ходить по городамъ заставать за подаянiемъ... во всѣ трактиры, кабаки, харчевни... Шлепай по грязи, выноси ругательства отъ каждаго пьянаго дворника!.. Внука Засѣкиной!.. Катерина Петровна не терпѣла ни монахинь, ни поповъ, ни богомолій, никакого ханжества. Не такія книжки она читала когда-то... Она давно привыкла молчать объ этомъ... Но Ляля умомъ не вышла... Можетъ, и лучше, что она теперь тамъ; а Тася? Что ее ждетъ?..



V.

— Нѣтъ, дружокъ,—отвѣтила Катерина Петровна,—не труди глазки. Ты посиди съ нами, а тамъ и поди къ себѣ. Мать-то совсѣмъ уложила?

— Задремала въ платьѣ, бабушка... Раздѣнемъ позднѣе.

— Не дозоешься, я думаю, этой принцессы-то.

Катерина Петровна тихо засмѣялась.

— Пелагеи?

— Да...

— Она больше въ кухнѣ пребываетъ... Дуняша тамъ сидитъ за дверью... Все носомъ клюетъ...

И слово „клюетъ“ не такъ чтобы очень по вкусу Катерины Петровны, для барышни, но она пропустила его.

— Братъ уѣхалъ?

— Да, послѣ папы.

— Куда, не говорилъ?

— Онъ зашелъ на минутку къ татамъ. Ника со мной мало говорить, бабушка...

— Разумѣется...

— Что жъ тутъ мудренаго?.. Я для него глупа...

— Почему же это?

— Такъ... Скучно ему... Онъ собирается послѣзавтра...

— Слышишь, Фифина?

— Слышу, татамъ.

— Много пожилъ...

— Да что же ему здѣсь дѣлать?—съ живостью замѣтила Тася.

— Ахъ, милая ты моя дурочка, добра ты очень... Все выгородить желаешь братцевъ... А выгородить-то ихъ трудно, другъ мой... И не слѣдуетъ... Дурныхъ сыновей нельзя оправдывать... И всегда скажу—ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ, да и не хотѣлъ отплатить хоть малостию за все, что для нихъ дѣлали... Носились съ ними, носились... Какихъ денегъ они стоили... Перевели ихъ въ первѣйшій полкъ... Затѣмъ только, чтобъ фамилію свою...

— Бабушка, голубчикъ,—зажала ротъ старухѣ Тася, дѣлая ее,—что старое поминать!..

— Ну хорошо, ну хорошо!.. Ты не желаешь... Будь по-твоему.

Старушка прижала къ себѣ Тасю и долго держала ее на груди.



— Какъ ваши тютки?—спросила дѣвушка и подошла къ лежанкѣ.

— Спятъ,—сказала Фифина.

— А-а,—протянула Тася.—Я пойду, посмотрю, не започивала ли татапа совершенно... Докторъ говоритъ, чтобы ее укладывать... Я бы надѣла халатъ...

— Надѣнь,—откликнулась Катерина Петровна.

— Еще не поздно... Не заѣхалъ бы кто-нибудь.

— Кто же это?—спросила Фифина.

— Андрюша Палтусовъ.

— Есть ему время, дружокъ,—замѣтила бабушка.—Il est dans les affaires.

— А мнѣ бы очень хотѣлось поговорить съ нимъ.

— О чемъ это?

— Послѣ скажу... Онъ могъ бы быть полезенъ папѣ... Не такъ ли, бабусекъ милый?

Тася опустила на колѣни у кровати и глядѣла въ глаза старушкѣ.

— Никто нынче для другихъ не живетъ. На родственное чувство нельзя рассчитывать.

— Нельзя?—дурачливо переспросила Тася.

— Нельзя, дурочка, да и сердиться нечего... Всѣ обѣд-
пiali, а то и совсѣмъ разорились... Связей ни у кого нѣтъ
прежнихъ. Надо по-другому себѣ дорогу пролагать... Гдѣ
же тутъ рассчитывать на родственныя чувства?.. А вотъ
ты мнѣ что скажи,—старушка понизила голосъ,—далъ ли
что Ника?

— Кому, бабушка?

— Ну, отцу, что ли? Вѣдь доктору сколько времени
не плачено?

— Больше мѣсяца.

— Ничего не далъ?

— Я не спрашивала...

— Да куда отецъ уѣхалъ?..

— Кажется, въ клубъ!..

— А то куда же?..

Катерина Петровна не договорила.

— Я, бабушка,—начала Тася, низко наклоняясь къ
ней,— я съ Пикой поговорю...

— Поговори.

— Только я не надѣюсь... Въ его глазахъ я такъ...
дѣвчонка... Немного поважнѣе Дуняши...

— Поважнѣе!..—повторила Катерина Петровна.



Слово ей очень не понравилось.

— Можетъ, сегодня... захвачу его...

Тася встала и поправила волосы, выбившіеся у ней сзади.

— Иди, иди,—сказала Катерина Петровна, вставши съ постели.—Одна про всѣхъ... Антигона...

— Почему Антигона, бабушка?

— А ты видно не знаешь, кто такое Антигона была?

— Какъ же не знать? Знаю. Эдипъ и Антигона.

— Семенову я видѣла... Помнишь, Фифина?

— Помню, маман.

— Грамотѣ плохо знала. А какой талантъ...

Старушка встала, выпрямилась, кацавейка ея распахнулась. Правую руку она подняла, точно хотѣла показать какой-то жестъ.

— Антигона! ха-ха!..

Тася засмѣялась опять такъ же звонко, какъ въ первый разъ.

— Что смѣешься?.. Ты насъ поведешь всѣхъ... калѣкъ.. Если во-время не приберетъ могилка...

— Полноте, полноте, бабушка! Такъ не надо!—остановила ее Тася, еще разъ поцѣловала и выбѣжала изъ комнаты.

Обѣ старухи переглянулись. Фифина снова опустила голову, и руки ея замелькали. Катерина Петровна медленно прошла изъ угла въ уголъ, раза два вздохнула и легла на кровать.

— Фифина!

— Что вамъ угодно, маман?

— Quel avenir? Что будетъ съ нею? Страшно! Пока мы бродимъ—это наше дитя... Такъ ли?

— Конечно, маман.

Катерина Петровна смолкла и недвижно лежала на кровати.

VI.

Судьба Таси сокрушаетъ ее. А давно ли гремѣло у Долгушинныхъ? Умирали дѣти Катерины Петровны... Только одна дочь досрела до семнадцати лѣтъ и бойко выскочила замужъ. Такъ это скоро случилось, что мать не успѣла и привыкнуть къ наружности жениха. Отца уже не было въ живыхъ. Пенсія сй онъ не оставилъ, но состояніе удвоилъ... Любилъ деньги, копилъ... Въ ломбард-



ныхъ билетахъ лежало больше ста тысячъ на ассигнаціи. И женихъ Елены имѣлъ отличное состояніе. Въ полку служилъ въ самомъ видномъ. Скоро раскусила его Катерина Петровна. Но отказать не отказала. И безъ того начались съ дочерью припадки... Любовь такая, что весь Петербургъ кричалъ. Un beau brun! Усы, глаза на выкатѣ, плечи, танцевалъ мазурку лучше, чѣмъ въ ея время Иванъ Ивановичъ Сосницкій въ русскомъ театрѣ. Стали жить вмѣстѣ. Домъ въ Шпалерной, дача на Петергофской дорогѣ, вояжи, въ двухъ деревняхъ какихъ-какихъ затѣй не было... А тамъ, въ пять лѣтъ, не больше, залогъ, наличныя деньги прожиты и ея часть захватили. Дала. Позволила и свою долю заложить. Пошли дѣти, сначала мальчики. Въ домѣ что-то въ родѣ трактира... Военные, товарищи зятя, обѣды на двадцать человѣкъ, игра, туалеты и мотовство дѣтей, четырнадцать лошадей на конюшнѣ. Все это держалось въ эмансипаціи и разомъ рухнуло. Зять вышелъ въ отставку... Пришлось подвести итоги. Крестьянскій выкупъ пошелъ на долги. Земля осталась кое-какая... и ту продали. Вотъ тогда не надо было ей жалѣть ни дочери, ни зятя, подумать о Тасѣ. Разжалобили... И она осталась ни съ чѣмъ. Въ деревнюшкѣ, чуть не въ избѣ, прожила съ Фифиной пять зимъ. Схватился зять за службу... Дотянулъ въ губерніи до полковника. Сыновей просили выйти изъ полка. Меньшій по службѣ наскандалилъ, старшій и того хуже. Товарищи узнали, что онъ живетъ насчетъ какой-то барыни... И въ карты нечисто играетъ. Потомъ вдругъ огромное наслѣдство съ ея стороны... Наслѣдница дочь. Переселились въ Москву. Зять вышелъ въ отставку съ чиномъ генерала, купили домъ, зажили опять, пустились въ аферы... Какой-то заводъ, компаньономъ въ подрядѣ. Проживали до пятидесяти тысячъ въ годъ. И разомъ „въ трубу“! Старушка узнала силу этого слова. Имѣнье продали!.. Деньги всѣ ушли!.. Все, все... Остались чуть не на улицѣ... У нея же выклянчили послѣднюю ея землишку. Сыновья ничего не даютъ... Меньшій Петя живетъ на содержаніи у жены, пьяный, глупый; старшій Ника бросить раза два въ годъ по три, по четыре радужныхъ бумажки... Вотъ и этотъ домишко скоро пойдетъ подъ молотокъ. Платить проценты не изъ чего. А лошадей держать, двухъ клячь, кучера, дворника, мальчика, повара, двухъ дѣвушекъ. И дочь ея послѣ всякихъ безумствъ, транжирства, увлеченій италъ-

япцами, скрипачами, фокусниками, спиритами, послѣ... всякихъ юнкеровъ, состоявшихъ при ней, пока у ней были деньги, — заживо умираетъ: ноги отнялись... Она только хнычетъ, капризничаетъ, тяготится, требуетъ расходовъ. Не жаль ея Катеринѣ Петровнѣ, хотя она и родная дочь. Она видитъ передъ собою живое наказаніе. И сама чувствуетъ въ лицѣ этой дочери, какъ плохо она ее воспитала.

Но жалобами не искупишь ничего!.. И виновата ли она?.. Гибнетъ цѣлый родъ! Все покачнулось, чѣмъ держалось дворянство: хорошій тонъ, строгіе нравы, или хоть расчетъ, страхъ, исканіе почета и добраго имени... распалось или сгнило... Отецъ, мать, сыновья... безтолочь, лѣнь, дѣтское тщеславіе, грязь, потеря всякой чести... Такъ, видно, тому слѣдовало быть... Написано свыше...

Вотъ онѣ съ Фифиной не мѣняются... Но долго ли имъ самимъ вязать свою песцовую шерсть?.. Не ждетъ ли ихъ богадѣльня не нынче—завтра?.. Да и въ богадѣльню-то не попадешь безъ просьбъ, безъ протекцій... У купчихки какого-нибудь надо кланяться!

Глубоко вздохнула Катерина Петровна. Лицо ея Таси выглянуло передъ ней; а она лежитъ съ закрытыми глазами...

— Антигона,—прошентала старуха и задремала.

VII.

Тася вернулась въ спальню матери. Комната выходила на балконъ, въ палисадникъ. Изъ широкаго итальянскаго окна вѣяло холодомъ. Свѣча, въ низкомъ подсвѣчникѣ, съ бѣлымъ абажуромъ, стояла одиноко на овальномъ столѣ у ширмъ краснаго дерева; за ними помѣщалась кровать. Она заглянула за ширмы.

Въ креслѣ, свѣсивъ голову на грудь, спала ея мать, — Елена Никифоровна Долгушина, закутанная по поясъ во фланелевое одѣяло. Отекшее землистое лицо съ перекошеннымъ ртомъ и закрытыми глазами смотрѣло глупо и мертвенно. На головѣ надѣта была вязаная, изъ сѣраго луха, косынка. Обрюзглое и сырое тѣло чувствовалось сквозь шерстяной капоть въ цвѣтахъ и яркихъ полоскахъ по темному фону. Она сильно всхрипывала.

Дѣвушка взяла мать за одно плечо и громко шепнула.

— Лягъ поживать, тамап.



Глаза Долгушиной оставались закрытыми. Она что-то пробормотала.

— Почивать пора, матан!.. Дуняша!—крикнула Тася за дверь, гдѣ, въ темномъ углу на сундукѣ, спала дѣвчонка.

Дуняша вскочила и со сна влетѣла въ спальню, ничего не видя и не понимая. Ея ситцевая пелеринка вся сбилась, одна косица расплелась.

— Помоги уложить барыню,—сказала ей Тася дѣловымъ тономъ.

— Пора почивать,—повторила Тася, вернувшись къ матери, черпѣливымъ голосомъ.

Елена Никифоровна подняла голову и взялась за ручку кресла.

— Зачѣмъ ты меня будишь?—недовольно спросила она дочь, не совсѣмъ твердо выговаривая слова.—Я такъ хорошо спала!

На глаза ея надвигались плохо поднимающіяся вѣки. Она была точно въ ползузубытьѣ.

— Докторъ приказалъ, ты знаешь!

— Докторъ,—протянула Елена Никифоровна.—Оставь меня... Ай!..

Ее всю передернуло. Лѣвая рука сорвала съ ноги одѣяло и схватилась за колѣно.

— Опять невралгія?—спросила Тася.

Лобъ ея наморщился.

— Впрыснуть!—проныла Долгушина.

— Такъ часто?!

— Впрыснуть,—почти захныкала мать и начала метаться на креслѣ.

— Помилуй, матан, ты пріучилась... Это очень вредно.

— Подай! Я сама!.. Подай! Дуняша, подай мнѣ машинку.

Она не договорила и начала томительно мычать. Тася знала, что боли не такъ сильны, а просто ея матери хочется морфію. Почти каждый вечеръ повторялась та же сцена. Приходилось все-таки уступать.

Елена Никифоровна металась и ныла. Тасѣ стало страшно. Она взяла съ ночного столика пузырекъ съ иглой для впрыскиванія морфина, и очень ловко впустила ей въ погу нѣсколько капель.

Оханье и нытье мгновенно смолкли.

— Quel délice!..—восторженно выговорила Елена Ники-

форовна.—Я не могу быть безъ морфія, не могу... За что ты меня заставляешь мучиться?..

Тася ничего не отвѣчала. Съ матерью она держалась, какъ сидѣлка. Она опять повторила ей, что надо ложиться въ постель.

Съ помощью Дуняши она перевела мать, подъ руки, съ кресла на кровать, раздѣла и уложила. Послѣ выпрыскиванія наступало всегда забытье, иногда съ легкимъ бредомъ. Мать не спросила ни объ отцѣ, ни о братѣ Таси. Она только днемъ, около полудня, дѣлалась говорлива. И то больше жаловалась или болтала про молодые года, про Петербургъ и своего „сынка“ — кавалерійскаго юнкера, котораго Тася помнила очень хорошо. При этихъ воспоминаніяхъ Тасѣ дѣлалось не по себѣ. Она знала и то, что еще годъ назадъ, предъ тѣмъ, какъ начали отниматься ноги у Елены Никифоровны, мать безобразно притиралась, завивала волосы на лбу, пѣла фистулой, восторгалась оперными итальянцами, накупала ихъ портретовъ у Даццаро и писала имъ записки; а у заѣзжаго испанскаго скрипача поцѣловала руку, когда тотъ въ благородномъ собраніи сходилъ съ эстрады. Да и то ли еще знала Тася! И не могла уберечься отъ такого знанія...

Дуняша получила нѣсколько приказаній, но по ея глазамъ было видно, что она все еще не очнулась. Тасѣ даже смѣшно стало глядѣть на усилія дѣвочки держать глаза открытыми.

— Ну, ступай и позови Пелагею,—сказала она въ дверяхъ,—а на тебя надежда плоха.

— Сейчасъ, барышня,—прокартавила Дуняша, и такъ, какъ была въ ситцевомъ платьѣ, побѣжала въ кухню, черезъ дворъ.

VIII.

Надо было обойти остальные комнаты, посмотрѣть, заперта ли дверь въ передней. Мальчика Мити навѣрно нѣтъ. Онъ играетъ на гитарѣ въ кухнѣ, въ обществѣ поара и горничной. А слѣдуетъ приготовить закусить отцу. Онъ въ клубѣ ужинаетъ не всегда,—когда деньги есть, а въ долгъ ему больше не вѣрять... Закуска ставится въ десять часовъ въ залѣ, на ломберномъ столѣ. Мальчикъ долженъ постлать потомъ отцу и брату, одному въ кабинетъ, другому въ гостиной.

Тася завернула изъ коридорчика палѣво, въ свою ком-



патку. Тамъ стояла темнота. Она зажгла свѣчку, пошаривъ рукой на столикѣ у кровати. У ней было почище, чѣмъ въ другихъ женскихъ комнатахъ, но такъ же холодно и черезъ день непременно угарь. У окна письменный столикъ, остатокъ прежней жизни, съ синимъ, теперь обтертымъ бархатомъ и рѣзбой изъ цѣльнаго орѣха. Есть у ней и этажерка съ книгами, и швейная машинка, ручная, въ пятнадцать рублей... Да теперь и шить-то некогда. Только въ этой комнатѣ она совсѣмъ дома. Здѣсь она можетъ уходить въ себя, задавать себѣ разные вопросы и думать... Тутъ же и всплакнетъ. А больше ни при комъ. Даже и съ бабушкой—никогда!

Почитать старушкамъ? Она предлагала. Онѣ долго просидятъ. А ей надо дожидаться брата Нику. Ника придетъ поздно, часу во второмъ, а то и позднѣе. Днемъ она никакъ его не схватить. И смѣлости у нея нѣтъ настоящей, а ночью, когда всѣ уснутъ, вотъ тутъ-то она и заговорить съ нимъ, какъ должно.

Книжку Тася взяла съ этажерки. Это былъ томъ сочиненій Островскаго. Она нагнулась надъ нимъ, просмотрѣла оглавленіе и заложила ленточкой на комедіи „Шутники“. И старухамъ будетъ пріятно, и она прочтетъ лишній разъ Вѣрочку. Можетъ-быть, сегодня у ней выйдетъ гораздо лучше.

Со свѣчей она прошла въ кабинетъ отца, гдѣ пахло жуковскимъ табакомъ. На диванѣ еще не было постлано. Въ залѣ не стояло закуски. Въ гостиной тоже не устроили спанья для Ники. Она дождалась прихода горничной Целагеи—неряшливой и сонной брюнетки, послала Дуняшу за мальчикомъ Митей и всѣмъ распорядилась.

Старухи ждали ее. Она принесла книжку и присѣла къ лампѣ. Катерина Петровна уже два раза вставала и прохаживалась по комнатѣ до прихода Таси.

— Что такое, дружокъ?..—спросила она.

— Пьесу, бабушка... Островскаго.

— Любишь ты этого Островскаго. А прежде объ немъ не слыхать было. Хмѣльницкій—вотъ былъ сочинитель...

— Я знаю, бабушка.

— Что знаешь-то?

— Волшебные замки.

— Да, да... Альнаскарровъ. Въ благородныхъ спектакляхъ все играли... И въ Петербургѣ... и здѣсь... помню.

— Вы послушайте, обратилась Тася больше къ Фифинѣ,—какъ у меня выйдетъ роль Вѣрочки.

— Это дочь старичка?—спросила Фифина.—Ты намъ читала.

— Да,—тихо отвѣтила Тася.—Давно... Бабушка не узнаетъ.

— Что, что?—весело спросила старуха.

— Ничего, бабушка,—подмигнула Тася и начала читать пмена дѣйствующихъ лицъ.

— Что это за фамилія нынче,—разсуждала вполголоса Катерина Петровна, лежа на кровати.

А того не думала бабушка, что она первая заронила въ Тасю театральную искру... Сколько разъ та, маленькой дѣвчуркой, слыхала отъ бабушки длинные рассказы про театръ, про Семенову, Сосницкаго, Каратыгина, Брянскаго, Яковлева, мужа и жену Дюръ... Катерина Петровна любила ѣздить и въ русскій театръ. Тогда и дамы „хорошаго круга“ посѣщали представленія новыхъ пьесъ. И про французовъ шли такіе же рассказы. Всѣхъ ихъ знала Тася поименно. Была *madame Allan*, Плесси, а изъ мужчинъ Лаферьеръ, давно, когда еще мать Таси ходила въ панталончикахъ. И про московскій театръ охотно говорила Катерина Петровна. Отъ нея Тася узнала, что „Петровский“ театръ—такъ старуха называетъ до сихъ поръ Большой театръ—держалъ какой-то Медоксъ, какъ у него давали оперу „Русалка“. Бабушка иногда напѣвала арію:

„Приди въ чертогъ златой,
О, князь мой дорогой“,—

а потомъ уморительно дѣлала губами и повторяла стишки про какихъ-то „Тарабариковъ“ и „Кифариковъ“. Театръ Медокса сгорѣлъ. И опять горѣлъ тотъ же театръ недавно, передъ крымской войной, когда Таси не было на свѣтѣ. Еще простой плотникъ отличился, спасъ танцовщицу съ крыши, медаль ему повѣсили, и пьесу давали, гдѣ онъ выставленъ героемъ. Бабушка хвалила Щепкина, Рѣпину, знакома была съ Верстовскимъ. Онъ ей писалъ лоты въ альбомъ, еще въ Петербургѣ. И кто-то тутъ же, рядомъ, чернымъ карандашомъ нарисовалъ сго за фортепьянами... Знала Тася отъ бабушки, что въ афишахъ печатали, съ какого подъѣзда надо подъѣзжать къ театру и съ какимъ „лажемъ“ будутъ приниматься ассигнаціи. Она и афишу такую видѣла.

И незамѣтно театральная зала получила для Таси осо-

бое обаяніе. Она любила все въ театрѣ, какой бы онъ ни былъ: большой и роскошный или маленькій, вонъ какъ въ домѣ Секретарева или Нѣмчинова. Ее охватывала пріятная дрожь отъ запаха коридоровъ, газа, отъ вида капеллинеровъ, отъ люстры, занавѣса... Три раза она была на репетиціяхъ благотворительныхъ спектаклей. Одинъ разъ играла въ комедіи: „До поры—до времени“, ужасно сбѣла передъ выходомъ; но на подмосткахъ—„точно ее носили по воздуху ангелы“. Объ ней явилась хвалебная статейка въ газетахъ. Всякой книгѣ, роману, статьѣ она предпочитала пьесу, русскую или французскую. Особенно такую, гдѣ есть „хорошая“ женская роль.

Играла въ Москвѣ въ первый разъ Росси. Мать еще тогда выѣзжала. Они абонировались. Мать восторгалась его голосомъ, лицомъ, покупала карточки, ѣздила представляться ему. Тася не пила и не ѣла послѣ „Лира“, „Макбета“, „Ричарда III“. Ей минутами казалось, что стоить только захотѣть и создашь „Дѣву Орлеанскую“, „Марію Стюартъ“, „Василису Мелентьеву“. Она запира-лась по ночамъ и громкимъ шопотомъ читала монологи. Но трагедія не шла. Разъ она бросила взглядъ на себя въ зеркало и начала хохотать. Такъ смѣшна она самой себѣ показалась въ роли Марины у фонтана, въ діалогѣ съ Димитріемъ. Тутъ она почувствовала, что ей надо изучать, о чемъ она можетъ мечтать... Но учиться? У кого? Въ консерваторіи?.. Гдѣ же!.. Она одна во всемъ домѣ... Какъ мать бросить?.. Да и средства нужны. Теперь о платѣ за ученіе нечего и думать. Есть двѣ старушки, имъ можно каждый вечеръ читать и слушать самое себя. У бабушки свои взгляды. Она не понимаетъ теперешняго театра. Фифина все молчитъ...

IX.

Тася дошла до того мѣста въ комедіи „Шутники“, когда отецъ зоветъ дочь, и Вѣрочка выглядываетъ изъ окна. Выглянуть неоткуда было Тасѣ. Она вытянула шею и сдѣлала милую мордочку. Фифина поглядѣла на нее въ эту минуту и улыбнулась.

— Такъ?—радостно спросила Тася.

— Не знаю.

— Ахъ, тебѣ,—она иногда называла ее тетей,—что это вы такая? Никогда отъ васъ ничего не добьешься.

— Что такое?—вмѣшалась бабушка.



— Да вот я выглянула въ окно, спрашиваю Фелицату Матвѣевну—похоже ли, какое выраженіе?

— Да откуда же ты выглянула-то?—весело спросила Катерина Петровна.

— Ахъ, бабушка, какая вы, право... Изъ окна. Направо отъ зрителей окно. Ну, Вѣрочка и выглядываетъ изъ него.

— Хорошо,—ласково выговорила Фифина.

Она знала, что у Таси есть страсть къ театру, но помочь ей совѣтомъ она не могла. Для нея все было „хорошо“.

Тася продолжала чтеніе. Она мѣняла голосъ, за мужчинъ говорила низкимъ тономъ, старалась припомнить, какъ произносилъ Шумскій. И его она видѣла въ „Шутникахъ“ дѣвочкой лѣтъ тринадцати. Только она и жила интересомъ и содержаніемъ пьесы. Фифина считала про себя свои петли. Бабушка дремала. Нѣтъ, нѣтъ, да и пробормочетъ:

— Continue, mon bijou...

Но Тасѣ ловко. Она привыкла къ этой безмолвной аудитории. Точно она одна въ комнатѣ. Предъ глазами ея театральная рампа, рожки газа, проволока, будка суфлера. Она бѣгаетъ по сценѣ, дурачится, смѣется, ласкается старому отцу. Потомъ она видитъ, какъ на-яву, сцену подъ воротами Китай-города. Это не она, а бѣдный чиновникъ, страстно мечтающій о томъ, какъ бы ему чѣмъ-нибудь скрасить жизнь своей доченьки. Вотъ онъ нашелъ пакетъ съ пятью печатами. Какъ онъ схватилъ его... Тася чуть не уронила лампу.

— Что, что такое?—просыпается бабушка.

Фифина отвѣчаетъ своимъ неизмѣннымъ, простоватымъ тономъ:

— Ничего, маман.

Тасѣ ужасно весело. Но тотчасъ же затѣмъ охватываетъ ее горькая обида этого жалкаго Обрѣшенова. Она не можетъ продолжать. Въ горлѣ у ней слезы. Губы ея сводитъ книзу отъ усилія не расплакаться.

Бабушка громко всхрипнула. Фифина какъ будто понимаетъ. Въ послѣднемъ актѣ надо Вѣрочкѣ пройтись по сценѣ свѣтлымъ лучомъ. Тася не спрашиваетъ самое себя: удастся ей это или нѣтъ? Она играетъ въ полную игру. Все вобрала она въ себя, всѣ чувства дѣйствующихъ лицъ. Ея сердце и болитъ, и радуется, и наполняется надеж-

дой, вѣрой въ свою молодость. Если бъ вотъ такъ ей сыграть на настоящей сценѣ въ Маломъ театрѣ!.. Господи!

Тася закрыла глаза. Книга выпала у ней изъ рукъ.

— Все?—невозмутимо спросила Фифина.

— Да,—чуть слышно выговорила Тася.

Бабушка опять проснулась.

— Continue,—шепчетъ она,—continue, chérie.

— Она кончила, тамап,—докладываетъ Фифина.

— А?.. Ужъ конецъ!.. Сколько же тутъ актовъ?.. Пять?..

Тася молчитъ. Она сидитъ съ закрытыми глазами. Ей не хочется выходить изъ своего мірка. Передъ ней все еще движутся живые люди, съ такими точно лицами, платьемъ, прическами, какія она видѣла въ театрѣ, дѣтъ больше восьми назадъ.

Вѣрочку играла тогда ея любимая актриса...

Но было ли у ней столько чувства и огня, и веселости, какъ у Таси, вотъ сейчасъ?.. Кто рѣшить, у кого справиться?

— Мерсі, дружокъ, мерсі!..—бормотала Катерина Петровна.—Сна не было... а теперь... я чувствую, что засну...

— Бабушка милая! за откровенность спасибо! Почивайте...

— А который часъ?

— Скоро двѣнадцатъ,—сказала увѣренно Фифина.

— Пора и спать,—выговорила, зѣвая, Катерина Петровна.—Ты кончила, Фифина?

— Я сейчасъ постелю, тамап.

— Дайте я!—вызвалась Тася.

— Зачѣмъ это, дружокъ... Ты столько читала, трудилась!..

— Мы сейчасъ!

Онѣ поднялись вмѣстѣ съ Фифиной, принесли изъ темной каморки тюфячокъ, простыню, двѣ подушки и вазаное полосатое одѣяло. Старухи никогда не звали горничныхъ и дѣлали все сами. Постель была готова въ двѣ-три минуты. Тася простилась съ бабушкой, пожала руку Фифинѣ и спросила, стоя въ двери:

— Что скажете про Вѣрочку?

— Мастерница ты читать... Что же она, подъ конецъ-то умираетъ?

Тася расхохоталась.

— Нѣтъ, бабушка! Это не драма...



— А мнѣ казалось... къ этому идти дѣло.

Старуха начала тихо смѣяться и сдѣлала рукой внушкѣ.
„Сердиться на нихъ нельзя... Надо читать вслухъ... это главное... А потомъ?“

Тася остановилась со свѣчой въ рукахъ въ залѣ, гдѣ на ломберномъ столѣ виднѣлся подносъ съ графинчикомъ водки, бутылкой вина и закуской. Она поставила свѣчку на піанино... Давно она не играетъ... И музыку она любила, увлекалась одно время опереткой, разучивала цѣлыя партитуры. Но это не долго длилось. У ней голосъ, когда она запоетъ, жидкій, смѣшной. Да и далеко ушла та полоса ея дѣвичьей жизни, когда она видѣла себя въ опереточной примадоннѣ. Теперь она знаетъ, что такое она будетъ на подмосткахъ, если когда-нибудь попадетъ туда.

Въ залѣ очень свѣжо. Тася вернулась къ себѣ, накинула на плечи короткое, темное пальтецо и начала ходить около піанино. Изъ передней раздалось сопѣнье мальчика. Мать спитъ послѣ приѣма морфія. Не надо ей давать его, а какъ откажешь? Еще мѣсяцъ, и это превратится въ страсть, въ родъ запоя... Такие случаи бывають... И докторъ ей намекалъ... Все равно умирать...

Тася поймала себя на этой мысли—и вспыхнула. Кому она желала смерти? Родной матери! Ужели она дошла до такого бездушія? Бездушіе ли это? Докторъ не скрываетъ, что ноги совсѣмъ отнимутся, а тамъ рука, языкъ... вѣдь это ужасно!.. Не лучше ли сразу?.. Жизнь уходитъ вездѣ—и въ спальнѣ матери, и въ комнатѣ старухъ. И отецъ доѣдаетъ послѣднія крохи... И братья... Оба „жертвецы“!..

Она давно зоветъ ихъ такъ. Сегодня она попробуетъ... Но вѣдь спасти никто не можетъ все семейство? Дѣло идетъ о кускѣ, о томъ, чтобы дотянуть... Дотянуть!..

Въ передней вздрогнуть надтреснутый колокольчикъ.

Х.

Мальчикъ не сразу услышалъ звонокъ. Тася растолкала его и осмотрѣла закуску, состоявшую изъ селедки и кусочка икры. Хлѣбъ былъ одинъ черный.

Въ залу вошелъ ея отецъ. Валентину Валентиновичу Долгушину минуло пятьдесятъ-девять лѣтъ. Онъ одѣвался отставнымъ военнымъ генераломъ. Росту онъ средняго, съ четырехугольной головой, наполовину лысой. Лицо его пожелтѣло. Подъ глазами лежали мѣшки и зелено-

ватныя полосы. Широкия бавенбарды торчали щетками. И безъ того густыя брови онъ хмурилъ и надувалъ губы. Въ глазахъ перебѣгаль безпокойный огонекъ... Его генеральскій сюртукъ спереди, у петель, сильно лоснился. Шноръ онъ уже не носилъ. Животъ его выдавался впередъ и одну ногу онъ слегка волочилъ. Его пришибъ, года четыре назадъ, первый ударъ.

— Еще не спишь?—спросилъ онъ дочь, и бросилъ картузъ на тотъ столъ, гдѣ стояла закуска. — *Et maman?.. Comment va-t-elle?..*

Этотъ вопросъ задавалъ онъ каждый разъ, непремѣнно по-французски, по въ спальню жены входилъ рѣдко... Цѣлый день онъ все ѣздилъ по городу и домой возвращался только обѣдать и спать.

— Былъ маленькій припадокъ,—отвѣтила Тася.

— *Que faire!*

Валентинъ Валентиновичъ издалъ особый звукъ своими выпяченными губами, налилъ себѣ водки, отломилъ корочку чернаго хлѣба и сильно наморщилъ переносицу, прежде чѣмъ проглотить.

Потомъ онъ присѣлъ къ столу и началъ ковырять икру.

— *Nica n'est pas rentré?*

— Non, papa...

Съ отцомъ Тася говорила свободно; но больше смотрѣла на себя, какъ на наперсницу въ трагедіи, когда онъ изливался за ночной закуской или за обѣдомъ.

— Въ клубъ его не было...

— Ты изъ клуба?

— Да... кабакъ! Ыда отвратительная... Хотѣлъ заказать судачка. Подали такую мерзость — я приказалъ отнести назадъ. И что это за народъ теперь собирается... какіе военные? Шулеръ на шулеръ... Я заѣхалъ... по дѣлу... Думалъ найти тамъ одного нужнаго человѣка.

О дѣлахъ отецъ говорилъ Тасѣ постоянно. Его не оставлялъ духъ предпріятій. Онъ все ищетъ чего-то: не то мѣста, не то залоговъ для подрида. Тася это знаетъ... Вотъ уже нѣсколько лѣтъ доѣдаютъ они крохи въ Москвѣ, а отцу не предложили, и въ шутку, никакого мѣста... хотя бы въ смотрители какіе... Она слышала, что какой-то отставной генералъ пошелъ въ акцизъ простымъ надзирателемъ, кажется... Отчего же бы и отцу не пойти?

— Не нашелъ?—равнодушно спросила она.

— Разумѣется, прождалъ,—съ какимъ-то удовольствіемъ



отвѣтилъ Долгушинъ.—Вонъ вездѣ, пахнетъ ѣдой, въ читальнѣй депешъ не могъ добиться... Кабакъ!..

Онъ крикнулъ и выпилъ рюмку краснаго вина.

Вино покупали крымское. Но и оно — шесть гривенъ бутылка. Отецъ не можетъ не пить краснаго вина... А долго ли онъ будетъ пить его? Доктору больше мѣсяца не плачено... Но говорить съ нимъ объ этомъ бесполезно.

— Послушай, Тансін, — началъ опять генераль другимъ тономъ, — который тебѣ годъ?

— Двадцать-второй, папа.

— Однако!..

Голось у него давно охрипъ; онъ думалъ, что хрипота къ нему очень идетъ.

— Ни больше, ни меньше, папа...

— Надо выѣзжать...

— Куда?

— Выѣзжать! здѣсь нечего и тратиться... А въ Петербургъ другое дѣло. Братъ, можетъ, раскошелится...

— Ника?

— Это его дѣло! Мѣсяца два-три ты проведешь тамъ... Пора объ этомъ подумать.

— Полно, папа, — серьезно возразила Тася. — Мамап — недвижима... Въ домѣ — никого.

— Мамап будетъ недвижима... очень долго... Ты это знаешь.

— Я не пойду къ Никѣ!..

Она не боялась отца и знала, что все это онъ затѣялъ такъ, сейчасъ вотъ, ни съ того, ни съ сего.

— Партію пужно!..

— Ахъ, полно, — махнула она рукой и отошла къ пианино.

Генераль жевалъ селедку.

— Однако, мой другъ, — началъ онъ болѣе тронутымъ голосомъ, — вникни ты въ свое положеніе... Я мечусь, ищу, бьюсь и такъ и этакъ. Но развѣ моя вина...

— Да я и не виню тебя.

— Нѣтъ, моя это вина, что нынче такое подлое время? *Qu'est-ce la noblesse? Rien!..* Всякая борода тычетъ тебя носомъ и кубышкой. Неудобно ли къ нему въ подрядчики идти?.. Въ винный складъ надсмотрщикомъ... Этого еще не доставало!

— Поступи на службу, — сказала опять очень серьезно Тася.

Опа бросила быстрый взглядъ на бумажникъ.

— Ну, такъ что жъ?

— И сегодня выигралъ, я вижу... Не хочу я у тебя выпрашивать. Дай мнѣ взаймы...

— Безъ отдачи?

— Нѣтъ, я серьезно. Не обижай меня. Взаймы дай, вотъ сейчасъ—и больше у тебя въ теченіе года никто не попросить. Ни мать, ни отецъ, я тебѣ ручаюсь.

— Да я и не дамъ. Не разорваться же мнѣ!

Тася глядѣла все на бумажникъ. Оттуда выставлялись края радужныхъ бумажекъ. Батюшки! Сколько денегъ! Тутъ не одна тысяча. И все это взято въ карты даромъ, все равно, что вынуто изъ кармана. Да и какъ выиграно? Вѣдь брата ея и за карты тоже попросили выйти изъ полка.

— Да, да,—говорила она, схвативъ его за руки,—я знаю... Ты не давай отцу... Они уйдутъ зря... Не можешь на годъ, дай на полгода. Только на полгода, Ника. До лѣта. Взять сидѣлку на тѣ часы, когда меня нѣтъ. Консерваторія, или уроки... на все это... я сосчитала... не больше какъ сто пятьдесятъ рублей. Расходъ на лѣкарство... доктора. Дай хоть по сту рублей на мѣсяцъ, Ника! Черезъ полгода я буду знать...

— Что тебѣ не слѣдовало заниматься глупостями.

— Ну, да, ну, да,—почти со слезами повторила Тася и просительными глазами смотрѣла въ широкое лоснящееся лицо брата.—Положись на меня, Ника. Я прошу взаймы. Меня не обманываетъ мое чувство.

— Тру-ля-ля! чувство!

— Ну, назови какъ хочешь... Больше ничего не придумаешь... Вѣдь непустишь же ты нашихъ стариковъ по міру... На Петю надежда плохая. Лучше не будетъ! Согласенъ...

Братъ лѣниво усмѣхнулся. Онъ былъ дѣйствительно въ солидномъ выигрышѣ, забастовалъ круто, послѣ того, какъ загребъ кушъ.

— Bonnet blanc, blanc bonnet... Только я родителю ничего не дамъ,—сказалъ онъ и взялъ въ руки бумажникъ.—И тебѣ загорѣлось сейчасъ же?

— Можешь проиграть, Ника!

— И то правда! Смекалка у тебя есть.

Онъ вынулъ изъ бумажника пачку пожиже.

— Счастливъ твой богъ, дѣвчурка, бери... Не считаю..



Ника вышелъ въ отца—только на два вершка больше его ростомъ. Онъ начиналъ уже толстѣть. Щеки съ черными бакенбардами по плечамъ, двойной подбородокъ, скулы, калмыцкіе глаза и широкій носъ,—все вмѣстѣ составляло наружность ремонтера, балетнаго любителя и клубнаго игрока. Ноги въ рейтузахъ онъ разставлялъ, какъ истый кавалеристъ. На крупныхъ пальцахъ его съ непріятно бѣлыми ногтями блестяли кольца. Изъ-подъ манжеты лѣвой руки выползалъ браслетъ. Отъ него сильно пахло духами. Лицо покраснѣлось и запахъ духовъ смѣшивался съ парами шампанскаго. Подъ сюртукомъ онъ жилета не носилъ. Бѣлая, топкаго полотна рубашка, съ грахмальной грудью, золотыми пуговицами и стоячимъ, глухимъ воротникомъ, поверхъ офицерскаго галстука, дѣлала грудь еще шире.

Тася подошла къ нему и взяла за обѣ руки.

— Ника,—начала она шопотомъ,—извини... Тебѣ не очень хочется спать?

— Какъ сказать!

— Ты сними галстукъ. Халатъ у тебя есть?.. Да не надо. Останься такъ въ рубашкѣ. Эта комната теплая.

— Въ чемъ дѣло?—шутливо-самодовольно спросилъ онъ горловымъ голосомъ, какой нагуливаютъ себѣ въ гвардейскихъ казармахъ и у Дюссо.

— Ты потише... Папа пріѣхалъ. Онъ можетъ проснуться. Миѣ не хочется, чтобъ онъ зналъ, что я у тебя. Я тебя и подождала сегодня.

— Ладно.

Онъ отошелъ къ столу и снялъ съ себя часы на длинной и массивной цѣпочкѣ съ жетонами, двумя стальными ключами и золотымъ карандашомъ. На столѣ лежалъ уже его бумажникъ. Тася посмотрѣла въ ту сторону и замѣтила, что бумажникъ отдулся. Она сейчасъ догадалась, что братъ игралъ и пріѣхалъ съ большимъ выигрышемъ.

— Присядь... минутку. Я тебя не задержу.

Она было запрыгала около него, но удержалась. Не можетъ она говорить ему: „милый, голубчикъ, Никеша“, какъ говорила маленькой. Она не уважаетъ его. Тася знаетъ, за что его попросили выйти изъ того полка, гдѣ носить золоченыхъ птицъ на каскахъ. Знаетъ она, чѣмъ онъ живетъ въ Петербургѣ. Жалованья онъ не получаетъ, а только носить мундиръ. Да она и не желаетъ одолажаться по-родственному, безъ отдачи.



— Спать хочется,—сказалъ онъ, опускаясь на постель, и громко зѣвнулъ.

Тася сѣла рядомъ съ нимъ и лѣвую руку положила на подушку.

— Ника,—заговорила она шопотомъ, но внятно и одушевленно, съ полужакрытыми глазами,—ты знаешь, въ какомъ мы положеніи? Вѣдь да? Отецъ все мечтаетъ о какихъ-то прожектахъ. Мѣста не беретъ... Да и кто дастъ? Мамап не встанетъ. Ты вотъ уѣдешь... Черезъ мѣсяцъ, докторъ сказалъ мнѣ... ноги совсѣмъ отнимутся...

Сынъ поморщился и досталъ папиросу изъ массивнаго серебрянаго портсигара.

— Къ тому идетъ,—выговорилъ онъ равнодушно.

— На что же жить? Я не для себя.

— Исторія старая... Сами виноваты... Я и такъ даю...

— Ника, Ника, выслушай меня. Я въ первый разъ обратилась къ тебѣ. Я не хочу тащить изъ тебя... На что рассчитывать? Вѣдь не на что? Ты согласишься!

— Et après?—пробасилъ онъ.

— Отецъ сейчасъ говорилъ, что мнѣ надо въ Петербургъ... выѣзжать...

— Съ кѣмъ это?

— Должно-быть, съ тобой.

— Со мной?

Ника опять поморщился.

— Ты не смущайся! Я не желаю.

— Да... родитель далъ маху!.. У меня для молодой дѣвушки... совсѣмъ... не подходящее мѣсто...

И онъ нахально засмѣялся.

— Тс!..—остановила его Тася.—Пожалуйста, тише... Я и сказала... Все это не то.

Тася встала и въ волненіи прошла по гостиной. Въ первый разъ будетъ она вслухъ высказывать свои планы... Не нужно ей одобренія Ники. Но необходима его поддержка.

Съ такимъ братомъ ей тяжелѣе, чѣмъ съ постороннимъ, дѣлиться самой горячей мечтой. Точно она собирается оторвать отъ сердца кусокъ и бросить его на съѣденіе.

XII.

— Когда же ты разрѣшишься?—цинически спросилъ братъ.

— Вотъ что, Ника. Въ двухъ словахъ...

Тася встала передъ нимъ. Ямочки пропали съ ея щекъ, грудь высоко поднималась. Волосы падали ей на лобъ.

— Говори скорѣй!

— Вотъ видишь... Партіи я не сдѣлаю... Выѣзжать не на что. Жениховъ у меня нѣтъ.

— А этоть... Въ очкахъ...

— Кто? Пирожковъ?

— Ну, да.

— Никогда онъ на мнѣ не жепится. Онъ такъ и останется холостякомъ... Да я и не думаю о замужествѣ. У меня другое призваніе...

— Призваніе... туда же!..

— Да. Не смѣйся, Ника, прошу тебя.

Щеки Таси горѣли.

— Не томи и ты!

— Моя дорога—театръ. Ты меня не знаешь. Для тебя это новость. Не возражай мнѣ, сдѣлай милость. Отецъ не станеть упираться, если ты меня поддержишь.

— Я?

— Ты долженъ меня поддержать. Не для одной себя я это дѣлаю. Еще годъ—и отецъ, мать, бабушка, Фелицата Матвѣевна—нищіе, на улицѣ...

— А ты ихъ спасать будешь?

— Не смѣйся, Ника, умоляю тебя. Я не воображаю о себѣ ничего... Ты меня не знаешь. Я не говорю тебѣ, что у меня огромный талантъ. Сначала надо увѣриться, а для того, чтобы знать навѣрно, надо учиться, готовиться.

— Сонни!

— На это надо средства. И, главное, время... Вотъ я и подумала... Годъ должна я быть свободнѣе... Только годъ... И ходить въ консерваторію... или брать уроки. А какъ я могу? Около шатап никого. Необходимо будетъ взять кого-нибудь... компаньонку или бонну, сидѣлку что ли... Пойми, я не отказываюсь! Но вѣдь время идетъ. А черезъ годъ я могу быть на дорогѣ.

— Quelle idée!.. Въ статистики!..

— Ты не можешь такъ говорить, Ника. Наконецъ, я прямо тебѣ скажу: тебѣ вѣдь все равно. Ты насъ не жалѣешь... Сдѣлай, разъ въ жизни, хорошее дѣло...

Голосъ ея возвышался. Братъ крикнулъ совершенно такъ, какъ отецъ, и затянулся.

— Говори толкомъ!

— Ты играешь...

Опа бросила быстрый взглядъ на бумажникъ.

— Ну, такъ что жъ?

— И сегодня выигралъ, я вижу... Не хочу я у тебя выпрашивать. Дай мнѣ взаймы...

— Безъ отдачи?

— Нѣтъ, я серьезно. Не обижай меня. Взаймы дай, вотъ сейчасъ—и больше у тебя въ теченіе года никто не попроситъ. Ни мать, ни отецъ, я тебѣ ручаюсь.

— Да я и не дамъ. Не разорватися же мнѣ!

Тася глядѣла все на бумажникъ. Оттуда выставлялись края радужныхъ бумажекъ. Батюшки! Сколько денегъ! Тутъ не одна тысяча. И все это взято въ карты даромъ, все равно, что вынуто изъ кармана. Да и какъ выиграно? Вѣдь брата ея и за карты тоже попросили выйти изъ полка.

— Да, да,—говорила она, схвативъ его за руки,—я знаю... Ты не давай отцу... Они уйдутъ зря... Не можешь на годъ, дай на полгода. Только на полгода, Ника. До лѣта. Взять сидѣлку на тѣ часы, когда меня нѣтъ. Консерваторія, или уроки... на все это... я сосчитала... не больше какъ сто пятьдесятъ рублей. Расходъ на лѣкарство... доктора. Дай хоть по сту рублей на мѣсяцъ, Ника! Черезъ полгода я буду знать...

— Что тебѣ не слѣдовало заниматься глупостями.

— Ну, да, ну, да,—почти со слезами повторила Тася и просительными глазами смотрѣла въ широкое лоснящееся лицо брата.—Положись на меня, Ника. Я прошу взаймы. Меня не обманываетъ мое чувство.

— Тру-ля-ля! чувство!

— Ну, назови какъ хочешь... Больше ничего не придумаешь... Вѣдь непустишь же ты нашихъ стариковъ по міру... На Петю надежда плохая. Лучше не будетъ! Согласенъ...

Братъ лѣниво усмѣхнулся. Онъ былъ дѣйствительно въ солидномъ выигрышѣ, забастовалъ круто, послѣ того, какъ загребъ кушъ.

— Bonnet blanc, blanc bonnet... Только я родителю ничего не дамъ,—сказалъ онъ и взялъ въ руки бумажникъ.—И тебѣ загорѣлось сейчасъ же?

— Можешь проиграть, Ника!

— И то правда! Смекалка у тебя есть.

Онъ вынулъ изъ бумажника пачку пожиже.

— Счастливъ твой богъ, дѣвчурка, бери... Не считаю...

Но онъ отлично зналъ, что въ пачкѣ всего семьсотъ рублей.

Тася припала къ его плечу и разрыдалась.

XIII.

Братъ почти выпроводилъ ее отъ себя и сталъ раздѣваться, зѣвая и харкая. У него были уже одышка и кашель. Вечеръ ему удался. Засыпалъ онъ съ папиросой въ зубахъ, и ему долго представлялся зеленый столъ... въ номерѣ „Славянскаго Базара“... плотная фигура купчика. Только ему говорили, что онъ миллионщикъ... А видно, что больше десяти тысячъ у него не было въ бумажникѣ. Тятенки испугался. Какъ бишь его фамилія? Ну, да все равно... Рукавишниковъ, Сырейщиковъ... И туда же—въ амбицію!.. Не такіе виды онъ видалъ... Вѣдь онъ не Расплюевъ. Изъ него „не нащеплешь лучины“. Онъ помнитъ, въ квартирѣ Колемина, когда полиція вошла въ большую комнату въ разгаръ игры, всѣ черетрусили... до гадости... А онъ и бровью не повелъ. И выигрышъ свой успѣлъ сгрести, какъ ни въ чемъ не бывало... тридцать золотыхъ. Не испугался онъ и имя свое дать полицейскому... Этакая важность! Есть чего стыдиться! Весь Петербургъ играетъ, въ двадцати притонахъ... И не въ такихъ еще... Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, вотъ когда его попросили изъ полка выйти,—нибавъ обысковъ не было... Модничанье одно! Прокурору захотѣлось себя показать. Тогда „пижоновъ“, да и не однихъ пижоновъ стригли безъ всякаго милосердія... Онъ счетчикомъ состоялъ, да и то какія деньги перепалили...

Папироса выпала у него изъ рукъ... Онъ засопѣлъ, но въ головѣ, до полнаго погруженія въ сонъ, все еще проходили соображенія и обрывки мыслей. Онъ даже разсмѣялся. Родитель „удралъ идею“, нечего сказать! Тасю къ нему отправить на два мѣсяца. Жить у него... Чудакъ!.. Юза что ли съ ней станетъ выѣзжать въ гранжондъ? Онъ и дома-то почуветь разъ въ недѣлю. Надо завтра купить гостинецъ Юзѣ, московскаго что-нибудь... мѣхъ у ней есть, да и дорого. Не говорить, до сихъ поръ, подлая, сколько у ней лежитъ въ государственномъ банкѣ билетовъ восточнаго займа? И когда напоишь ее—не развязывается языкъ. Залоговъ у ней тысячь на двадцать-пять есть. Годика съ два можно будетъ съ ней повазандаться, не больше... И скаредна дѣлается; да и рас-

плавается, грудь уже не прежняя и на полу красныя жилки. Да и полка ли она? Врядъ ли. Скорѣй жидовка, даромъ что блондинка! Барыня... хорошаго рода, съ нервами... куда лучше... Было и ихъ не мало... Особенно если глупенька... То ли не житье?.. А все-таки денегъ пѣтъ... Осенью совсѣмъ проигрался... Надо почаще въ Москву ѣздить... на Святки... къ Свѣтлому празднику и въ сентябрь, когда отъ Макарія возвращаются... Но безъ Петербурга все-таки жить нельзя...

— Дура Тася! — вслухъ выговорилъ братъ. — „Собой жертвую!..“ Ну ихъ къ Богу!..

На этихъ словахъ Никаноръ Валентиновичъ повернулся къ стѣнѣ и тотчасъ же захрапѣлъ. На дворѣ вѣтеръ все крѣпчалъ. Но гулъ вьюги и трескъ стараго дома не мѣшали ему спать тяжелымъ сномъ игрока, у котораго желудокъ и печень готовятъ въ скоромъ времени завалы и водяную.

А черезъ коридоръ, изъ комнаты его сестры, все еще выходилъ свѣтъ сквозь дверную щель. Тася сидѣла на кровати въ кофтѣ, съ распущенными волосами, и держала въ рукахъ пачку сторублевыхъ. Она уже нѣсколько разъ ихъ перечла. Ихъ было семь штукъ—не больше, семьсотъ рублей. Этого хватить до іюля, по сту рублей въ мѣсяцъ. Ея ученье не будетъ стоить больше пятидесяти, компаньонку можно нанять за двадцать рублей. Спать она будетъ въ угловой. Остается еще не мало. Доктору рублей полтора. Взять его надо годовымъ. Аптекѣ—около ста рублей. А потомъ можно долго забирать на книжку.

Спать она не можетъ. Съ деньгами въ рукахъ—чѣмъ-то вдругъ смущена. Время не ждетъ, завтра или на этой же недѣлѣ надо начинать. Поговорить съ Андрюшей Палтусовымъ. Онъ все какъ-то подсмѣивается, даетъ ей разныя прозвища... Съ Пирожковымъ... Тотъ знаетъ все про театръ, отлично судить... вхожъ къ той... къ Грушевой... И насчетъ консерваторіи все ей узнастъ... Еще примутъ ли ее теперь, послѣ праздниковъ?

Страшно! И сладко, и страшно! Отцу она не станетъ говорить. Просто скажетъ, что нашла работу... Какую?.. Онъ не захочетъ, чтобъ она давала уроки... Ну, все равно... Что-нибудь да выдумаетъ... А мать будетъ рада новому лицу... Ее мать не любитъ. Никогда и не любила. Лгать или не лгать: какая у ней связь съ родными?.. Зачѣмъ же

она сейчас говорила, что дѣлаетъ это для нихъ. Значить, лгала? И да, и нѣтъ. Жаль ихъ. Старухъ еще жалче. Тѣ честныя, тихія, сидитъ Фифина до глубокой ночи, бабушка встаетъ съ огнемъ и тоже вяжетъ... Все у ней вытянули... Она нищая, надо заработать и для нея, когда она въ полную дряхлость впадетъ. А это скоро будетъ. И мать жаль. Хотя въ больницу неизлѣчимыхъ, такъ и то нужны деньги, комнату...

Тася опустила голову. Бумажки упали на кровать. Она этого не замѣтила, потому очнулась, увидала, что у ней нѣтъ ничего въ рукѣ, испугалась. Долго ли потерять? Она вскочила, подошла къ письменному столу и заперла дспяги въ ящикъ, гдѣ у ней лежало нѣсколько тетрадокъ, переписанныхъ ея рукой—роли.

Пирожковъ представился ей въ эту минуту, его добрая усмѣшка, поощряющій тонъ, умные глаза сквозь очки. Она припомнила, что онъ весной, передъ отъѣздомъ въ деревню, рассказывалъ, какое жалованье получаютъ теперь актрисы въ провинціи, да не на оперетки только,—на драму, комедію, *ingénues*. Ему говорилъ въ клубѣ членъ комитета. Онъ приводилъ цифры. Есть актрисы—ихъ нѣсколько—меньше тысячи рублей въ мѣсяцъ „и слышать не хотятъ“.

Тысячу рублей въ мѣсяцъ! Но деньги ли однѣ? Даже если и половину, треть этой суммы! А игра! Она сейчасъ бы пошла даромъ. Какъ же ей нейти, когда нужны эти деньги—безъ нихъ и ей на что же жить? Что дѣлать? Искать жениха? Продавать себя?

Пора, пора! Домъ — гробница, отъ всего ей больно, жутко, только старушки и согрѣваютъ. Отецъ, мать, братъ Ника... Лучше устроить тѣхъ, кого жалко, а самой—дальше, не звать ничего, кромѣ подмостковъ. Ничего!

XIV.

Крутилъ легкій спѣжокъ, часу въ девятомъ, наканунѣ сочельника. Къ крыльцу, освѣщенному двумя фонарями, подъѣхали извозчичы сани. Отъ тротуара перекинута мостки, съ лабитыми на нихъ планками, обмерзлые и обтопанные т. я. зячью ногъ.

Изъ саней вылѣзъ, первымъ, высокій мужчина, въ цилиндрической шляпѣ, въ плотно застегнутомъ пальто съ неширокимъ, чернымъ, барашковымъ воротникомъ и началъ высаживать даму, маленькую фигурку, въ шубкѣ,

крытой сукномъ. Голова ея повязана была бѣлымъ, вязанымъ платкомъ. Лицо все ушло въ края платка. Только глаза блестѣли какъ двѣ искристыя точки.

— Пріѣхали, — сказалъ Пирожковъ, — онъ привезъ Тасю, — такимъ тономъ, какимъ пугаютъ дѣтей, когда приводятъ ихъ къ дантисту.

— Ахъ, Иванъ Алексѣичъ, — раздался голосъ Таси изъ-подъ платка. — Какъ вы пугаете!

И она разсмѣялась.

— Пожалуйста, пожалуйста, — продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ. — Авось пронесетъ, Таисія Валентиновна. Полезно будетъ бросить *соур d'œil*... Можетъ, и накроютъ насъ.

— Кто же? — не очень смѣло спросила Тася и остановилась на тротуарѣ.

Вправо, подалѣе, сгучилось нѣсколько извозчичьихъ сапей парами, какія по вечерамъ дежурятъ около клубовъ. Тася была тутъ всего разъ, на спектакль одного общества. Давали шекспировскую пьесу. Еще ей такъ захотѣлось тогда сыграть Беатриче изъ „Много шума изъ ничего“. Но тогда она была въ ложѣ, со знакомыми. А одну на простой вечеръ или спектакль ее бы не пустили. Ни отецъ, ни мать, ни бабушка... Сюда нельзя ѣздить дѣвушкамъ „изъ общества“. Тутъ бываетъ „Богъ знаетъ кто“. Это — актерская биржа. И она одна, вечеромъ, съ мужчиной... Должна будетъ скрывать до тѣхъ поръ, пока не объявитъ, чѣмъ она занимается.

Случилось все такъ скоро потому, что она не дождалась Палтусова, а вызывать его не хотѣла. Да и не надѣялась на него. Онъ навѣрно сталъ бы все подсмѣиваться... Такой эгоистъ ничего для нея не сдѣлаетъ!.. Она давно его поняла. Можетъ-быть, онъ и согласится съ ея идеей; но поддержки отъ него не жди. Заѣхалъ очень кстати Иванъ Алексѣичъ. Съ нимъ не нужно долгихъ объясненій. Онъ понялъ сразу. Мягкій, умный, шутливый... Но задумался.

— Добрая моя Таисія Валентиновна, — говорилъ онъ ей третьяго дня, — они сидѣли въ залѣ, — и за обѣ руки ее взялъ, — выдержите ли? Вотъ вопросъ!

— Выдержу! — почти крикнула она.

— Охъ, хорошо, кабы такъ! А видѣли пьесу „Кинъ“?

Она видѣла самого Росси и не забыла сцены, гдѣ Кинъ отговариваетъ молодую дѣвушку отдаваться театру.

Она плакала тогда и въ театрѣ, и у себя, вернувшись домой. Но что же это доказываетъ?

— Какъ я играла тогда въ любительскомъ спектаклѣ?— спросила она Ивана Алексѣевича.

— Огонекъ есть. Но довольно ли этого?

Она убѣжала въ свою комнату, схватила томъ, гдѣ „Шутники“, увела Пирожкова въ гостиную и прочла нѣсколько явленій съ Вѣрочкой.

Онъ зааплодировалъ

— Ну, поговоримте, хорошій человѣкъ,—онъ всегда ее такъ зоветъ,— вамъ въ консерваторію не стоитъ поступать. А лучше заняться у опытнаго актера или актрисы. Теперь я немного поотсталъ отъ этого міра, но я васъ въ Грушевой свезу, если желаете.

Такой онъ былъ милый, что она чуть не расцѣловала его.

Вотъ тогда онъ и сказалъ ей:

— Въ видѣ опыта, поѣдемъ... инкогнито въ такое мѣсто, гдѣ собираются артисты. Это вамъ дастъ предвкусіе. Можеть, и отшатнетесь. Передъ Рождествомъ у нихъ дня три вакаціи. Мы тамъ много народу увидимъ.

Она смѣло согласилась. Ну что за бѣда, если ее кто-нибудь и встрѣтитъ? Кто же? Изъ знакомыхъ отца? Быть не можетъ. Да и надо же начать. Она увидитъ, по крайней мѣрѣ, съ кѣмъ ей придется „служить“ черезъ годъ. Слово „служить“ она уже слыхала. Актеры говорить всегда „служить“, а не „играть“.

Но когда Иванъ Алексѣевичъ взялся за ручку двери, у ней ёкнуло на сердцѣ.

— Разъ,—дурачился онъ,—два, три.. Пожалуйста...

— А посторонніе бываютъ?—робко спросила она.

— Бываютъ-съ и посторонніе... Пожалуйста... Сожигать корабли, такъ сожигать!

Онъ отворилъ дверь. Они вошли въ наружныя сѣнцы, гдѣ горѣлъ одинъ фонарь. Нанесено было снѣгу на ногахъ. Пахнетъ версиномъ. Похоже на входъ въ номера. Еще дверь... И ее отворилъ Пирожковъ. Назадъ уже нельзя!..

XV.

Иванъ Алексѣевичъ ввелъ ее во внутреннія сѣни, на три ступеньки. Ихъ встрѣтилъ швейцаръ въ потертой ливрѣ съ перевязью, видомъ мужичокъ, съ русой шер-



шавой бородой. Другой привратникъ тутъ же возился около него, въ засаленномъ полусубукѣ и валенкахъ.

Полъ былъ затоптанъ. Перила и стеклянная дверь—выкрашены въ темно-коричневую краску. Стѣны закоп-тѣли. Охватывалъ запахъ лакейскаго житья, смазныхъ сапогъ, тулупа и табаку. Тася сдѣлалась вдругъ брезгливо. Она почувала въ себѣ барышню, дочь генерала Долгушина, внучку Катерины Петровны Засѣкиной.

„Вѣдь это Богъ знаетъ что“,—мимоходно подумала она. и въ нерѣшительности остановилась на площадкѣ.

Швейцаръ отворилъ дверь. Пирожковъ обернулся и смотрѣлъ на нее поверхъ запотѣвшихъ очковъ.

Онъ понялъ ея колебаніе и ея брезгливость. Подби-вать ли дальше милую дѣвушку, вводить ли ее въ этотъ „постоялый дворъ“ господъ артистовъ? Хорошо ли онъ поступаетъ?

Ивана Алексѣевича схватила за сердце мысль, что вѣдь онъ, Пирожковъ, могъ бы избавить ее отъ такой риско-ванной попытки... Зачѣмъ ему искать лучшей дѣвушки? Кончить вѣдь женитьбой. Въ томъ-то и бѣда, что онъ не искалъ... А тамъ, дома, развѣ ее ждетъ что-нибудь свѣтлое или просто толковое, осмысленное?.. Генералъ съ его потѣшной фанаберіей и „проектами“, братъ шулеръ и содержанецъ, колченогая и глухая мать. Еще два-три года, и пойдетъ въ бонны, или... попадетъ на сцену; но ужъ не на этакую, а на ту, гдѣ собой торгуютъ...

— Пожалуйте-съ!—крикнулъ онъ и предложилъ ей руку—подняться въ гардеробную.

Тася поглядѣла вправо. Окошко кассы было закрыто. Лѣстница освѣщалась газовымъ рожкомъ; на противопо-ложной стѣнѣ, около зеркала, прибиты двѣ цвѣтныхъ афиши,—одна красная, другая синяя,—и бѣлый листъ съ печатными заглавными строками. Лѣвѣе выглядывала ви-трина съ краснымъ фономъ, и въ ней полъ-листа, испи-саннаго крупнымъ почеркомъ съ какой-то подписью. По лѣстницѣ шелъ половникъ, безъ ковра. Запахъ сѣней смѣ-нился другимъ сладковатымъ и чаднымъ отъ куренія по-рошкомъ и кухоннаго духа, проползавшаго черезъ сто-ловую.

Они взяли вправо, въ низкую комнату, ухидившую въ какой-то провалъ, отгороженный перилами. Вдоль стѣны, на необитомъ диванѣ, лежало кучками платье. Въ углу, у конторки, дежурилъ полный, бритый лакей въ синемъ

лифрейномъ фракѣ и красномъ жилетѣ. У перилъ стоялъ другой, худощавый, пониже ростомъ, съ бакенбардами.

Пирожковъ записалъ что-то въ книгу и заплатилъ полному лакею. Долго снимала Тася шубку, калоши и платокъ. Она все сильнѣе волновалась. Барышни все еще не успокоились въ ней. Платье она парочно надѣла домашнее, сѣренькое съ кожанымъ кушакомъ. Но волосы заплетла въ косу. Не богато она одѣта, но видно сразу, что ея туалетъ, перчатки, воротничокъ, лицо, манеры мало подходятъ къ этому мѣсту.

И вдругъ на лѣстницѣ, когда они будутъ подниматься туда наверхъ, встрѣтится какой-нибудь знакомый отца...

— Знаете что,—угадалъ ея волненіе Пирожковъ,—если васъ кто спроситъ, какъ вы сюда попали, говорите—на репетицію.

— Какую?

— Ахъ, Боже мой,—благотворительную!

Тася прошла мимо афишъ, и ей стало легче. Это уже пахло театромъ. Ей захотѣлось даже посмотреть на то, что стояло въ листѣ за стекломъ. Половикъ посрединѣ широкой деревянной лѣстницы пестрѣлъ у ней въ глазахъ. Никогда еще она съ такимъ внутреннимъ безпокойствомъ не поднималась ни по одной лѣстницѣ. Баловъ она не любила, но и не боялась,—нигдѣ. Ей все равно было: идти ли вверхъ, по мраморнымъ ступенямъ благороднаго собранія, или по красному сукну генералъ-губернаторской лѣстницы. А тутъ она не рѣшилась вскинуть голову.

Наверху она остановилась у бѣлыхъ перилъ, гдѣ стоялъ новый лакей.

— Есть репетиція?—спросилъ его Пирожковъ.

— Сейчасъ кончится.

— А въ конторѣ кто?

Тотъ назвалъ кого-то по имени и отчеству.

Тутъ Тася оглянулась. Она припомнила эту комнату—родъ площадки, съ ея голубой мебелью, множествомъ афишъ направо, темной дверью съ надписью—*контора* и аркой. Лѣвѣ рядъ комнатъ. Она помнила, что совсѣмъ налѣво—опять бѣлые перила и ходъ въ театральную залу съ двумя круглыми лѣсенками на галлерею.

— Оправились?—шепнулъ ей Пирожковъ.

— Не бойтесь,—шутливо сказала она.

— Надо начать съ чаевъ.

плавается, грудь уже не прежняя и на полу красныя жилки. Да и полька ли она? Врядъ ли. Скорѣй жидовка, даромъ что блондинка! Барыня... хорошаго рода, съ нервами... куда лучше... Было и ихъ не мало... Особенно если глупенька... То ли не житье?.. А все-таки денегъ нѣтъ... Осенью совсѣмъ проигрался... Надо почаще въ Москву ѣздить... на Святки... къ Свѣтлому празднику и въ сентябрѣ, когда отъ Макарія возвращаются... Но безъ Петербурга все-таки жить нельзя...

— Дура Тася! — вслухъ выговорилъ братъ. — „Собой жертвую!“ Ну ихъ къ Богу!..

На этихъ словахъ Никаноръ Валентиновичъ повернулся къ стѣнѣ и тотчасъ же захрапѣлъ. На дворѣ вѣтеръ все крѣпчалъ. Но гулъ вьюги и трескъ стараго дома не мѣшали ему спать тяжелымъ сномъ игрока, у котораго желудокъ и печень готовятъ въ скоромъ времени завалы и водяную.

А черезъ коридоръ, изъ комнаты его сестры, все еще выходилъ свѣтъ сквозь дверную щель. Тася сидѣла на кровати въ кофтѣ, съ распущенными волосами, и держала въ рукахъ пачку сторублевыхъ. Она уже нѣсколько разъ ихъ перечла. Ихъ было семь штукъ—не больше, семьсотъ рублей. Этого хватить до іюля, по сту рублей въ мѣсяцъ. Ея ученье не будетъ стоить больше пятидесяти, компаньонку можно нанять за двадцать рублей. Спать она будетъ въ угловой. Остается еще не мало. Доктору рублей полтора. Взять его надо годовымъ. Аптекѣ—около ста рублей. А потомъ можно долго забирать на книжку.

Спать она не можетъ. Съ деньгами въ рукахъ—чѣмъ-то вдругъ смущена. Время не ждетъ, завтра или на этой же недѣлѣ надо начинать. Поговорить съ Андрюшей Палтусовымъ. Онъ все какъ-то подсмѣивается, даетъ ей разныя прозвища... Съ Пирожковымъ... Тотъ знаетъ все про театръ, отлично судить... вхожъ къ той... къ Грушевой... И насчетъ консерваторіи все ей узнаеть... Еще примутъ ли ее теперь, послѣ праздниковъ?

Страшно! И сладко, и страшно! Отцу она не станетъ говорить. Просто скажетъ, что нашла работу... Какую?.. Онъ не захочетъ, чтобъ она давала уроки... Ну, все равно... Что-нибудь да выдумаетъ... А мать будетъ рада новому лицу... Ее мать не любитъ. Никогда и не любила. Лгать или не лгать: какая у ней связь съ родными?.. Зачѣмъ же

она сейчас говорила, что дѣлать это для нихъ. Значить, лгала? И да, и нѣтъ. Жаль ихъ. Старухъ еще жалче. Тѣ честныя, тихія, сидитъ Фифина до глубокой ночи, бабушка встаетъ съ огнемъ и тоже вяжетъ... Все у ней вытянули... Она нищая, надо заработать и для нея, когда она въ полную дряхлость впадетъ. А это скоро будетъ. И мать жаль. Хотя въ больницу неизлѣчимыхъ, такъ и то нужны деньги, комнату...

Тася опустила голову. Бумажки упали на кровать. Она этого не замѣтила, потомъ очнулась, увидала, что у ней нѣтъ ничего въ рукѣ, испугалась. Долго ли потерять? Она вскочила, подошла къ письменному столу и заперла деньги въ ящикъ, гдѣ у ней лежало нѣсколько тетрадокъ, переписанныхъ ея рукой—роли.

Пирожковъ представился ей въ эту минуту, его добрая усмѣшка, поощряющій тонъ, умные глаза сквозь очки. Она припомнила, что онъ весной, передъ отъѣздомъ въ деревню, рассказывалъ, какое жалованье получаютъ теперь актрисы въ провинціи, да не на оперетки только,—на драму, комедію, *ingénues*. Ему говорилъ въ клубѣ членъ комитета. Онъ приводилъ цифры. Есть актрисы—ихъ нѣсколько—меньше тысячи рублей въ мѣсяцъ „и слышать не хотятъ“.

Тысячу рублей въ мѣсяцъ! Но деньги ли однѣ? Даже если и половину, треть этой суммы! А игра! Она сейчасъ бы пошла даромъ. Какъ же ей нейти, когда нужны эти деньги—безъ нихъ и ей на что же жить? Что дѣлать? Искать жениха? Продавать себя?

Пора, пора! Домъ—гробница, отъ всего ей больно, жутко, только старушки и согрѣваютъ. Отецъ, мать, братъ Ника... Лучше устроить тѣхъ, кого жалко, а самой—дальше, не зная ничего, кромѣ подмошковъ. Ничего!

XIV.

Крутилъ легкій снѣжокъ, часу въ девятомъ, наканунѣ сочельника. Къ крыльцу, освѣщенному двумя фопарями, подъѣхали извозчицы сани. Отъ тротуара перекинута мостки, съ лабитыми на нихъ планками, обмерзлые и обтопанные т. лязью погъ.

Изъ саней вылѣзъ, первымъ, высокій мужчина, въ цилиндрической шляпѣ, въ плотно застегнутомъ пальто съ неширокимъ, чернымъ, барашковымъ воротникомъ и началъ высаживать даму, маленькую фигурку, въ шубѣ,

комаго старшину... Вы съ нимъ поговорите... Полезно за-
ручиться для дебютовъ...

— Для дебютовъ!—вздыхнула Тася.

— А что же? Для маленькихъ дебютовъ здѣсь.

— На клубной сценѣ я бы не хотѣла.

— Въ видѣ опыта.

XVII.

Столовая обдала Тасю спертымъ воздухомъ, гдѣ можно было распознать паръ чайниковъ, волны папироснаго дыма, запахъ котлетъ и пива, шедшій изъ буфета. На-
лѣво отъ входа за прилавкомъ продавала печенья и фрукты женщина съ усталымъ лицомъ, въ темномъ платьѣ. По-
перекъ комнаты шли накрытые столы. Вдоль правой и
лѣвой стѣны столы поменьше, безъ приборовъ, за ними
уже сидѣло по-двое, по-трое. Лакеи мелькали по залѣ.

Пирожковъ посадилъ Тасю за первый столъ, по лѣвой
стѣнѣ, около окна, и заказалъ порцію чаю.

Въ первый разъ она слышала эти слова: „порцію чая“. Имъ подали подносъ съ двумя чайниками, чашками и
пиленымъ сахаромъ въ бумажномъ пакетѣ. Черезъ столъ
отъ нихъ сидѣло двое мужчинъ, оба бритые.

— Актеры,—шепнула ей Пирожковъ.—Одинъ здѣшній,
другого не знаю.

До Таси донеслась сильная картавость одного изъ нихъ,
брюнета съ мелкими чертами красиваго лица.

— Актеръ?—переспросила она.

— Да.

— Какъ же онъ такъ сильно картавить?

— Что дѣлать!..

Она заварила чай. У правой стѣны, за двумя столи-
ками, сидѣли и женщины. Одна глазастая, широкоплечая,
очень молодая и свѣжая, громко говорила, почти кричала.
Волосы у ней были распущены по плечамъ.

— Это кто?—спросила Тася.

— Не знаю... давно здѣсь не былъ.

На речетиціяхъ, за кулисами, гдѣ удалось быть раза
два, она испытывала возбужденіе, какого у ней теперь
не было и слѣда... Ей даже не вѣрилось, что это одно
и то же, что вотъ эти бритые мужчины и женщины съ
размашистыми движеніями принадлежали тому міру, куда
такъ рвалось ея сердце.

— Ну, что же,—заговорилъ Пирожковъ и поглядѣлъ



на нее добрыми глазами,—не очень вамъ здѣсь правится?.. Присмотритесь... Эта столовая, постомъ, была бы для васъ занимательнѣе. Тогда здѣсь настоящій рынокъ... Чего хотите—и благородные отцы, и любовники, и злодѣи. И все это прїѣзжіе изъ провинціи, а ужъ къ концу почти полное истощеніе фипансовъ.

Тася плохо слушала его.

— Вотъ что,—продолжалъ Пирожковъ, — на сяткахъ будетъ тутъ сборный спектакль. Мнѣ старшина сейчасъ говорилъ. Не начать ли прямо съ попытки. Можно и „До поры—до времени“ поставить. Какъ вы думаете?

— Право, не знаю,—отвѣтила Тася.—Я учиться хочу, Иванъ Алексѣвичъ.

— Съ новаго года и начнемъ... А пока для бодрости... Да вотъ и старшина.

Къ нимъ подошелъ сухощавый господинъ, въ бородѣ, въ золотомъ рпсе-пез, въ короткомъ пальтецо, съ крупными чертами лица, тревожный въ пріемахъ.

Пирожковъ представилъ его. Тася не запомнила ни фамилии, ни какъ его звали по имени и отчеству.

— Чайку выпьете?—пригласилъ его Пирожковъ.

— Съ нашимъ удовольствіемъ,—сказалъ старшина и сѣлъ.

Онъ казался очень утомленнымъ.

— Много дѣла?—спросилъ Пирожковъ.

— Просто бѣда! И все одинъ!..

— А другіе?

— Эхъ!..

И онъ махнулъ рукой.

— Что же предполагается на праздникахъ?

— Утренніе спектакли будутъ, дѣтскій праздникъ, костюмированный балъ съ процессіей, да мало ли чего!

— А какъ дѣла?

— Сборы—ничего! Только возни! Я вамъ скажу, скоро пардону запрошу!..

— Вотъ Таисія Валентиновна,—указалъ Пирожковъ на Тасю,—желала бы...

— Вамъ угодно дебютировать-съ?—высокимъ голосомъ выговорилъ старшина.

Тася сильно смутилась.

— Нѣтъ... я не для дебюта...

— Спектакликъ хотите?—не далъ онъ ей докончить.—Дни-то у насъ всѣ разобраны.

Къ старшинѣ подошелъ лакей въ ливреѣ и сказалъ ему что-то на ухо.

— Прошу извиненія,—сказалъ старшина и вскочилъ.— Апаѣемское дѣло!—крикнулъ онъ на ходу Пирожкову и побѣжалъ въ контору.

„Зачѣмъ онъ меня сюда привезъ?“—думала Тася, и ей дѣлалось досадно на „добрѣйшаго“ Ивана Алексѣевича. Все это выходило какъ-то глупо, нескладно. Этотъ торопливый старшина совсѣмъ ей не нуженъ. Онъ даже не заикнулся ни о какомъ актерѣ или актрисѣ, съ которой она могла бы начать работать. А нравы изучать, только расхаживать себя... Тутъ еще можетъ явиться какой-нибудь знакомый отца... Она съ молодымъ мужчиной, за чаемъ... Точно трактиръ!

Тася затуманилась.

XVIII.

Изъ дверей, въ глубинѣ столовой, откуда виднѣлась часть буфетной комнаты, показался мужчина въ черномъ нараспашку сюртукѣ. Его косматая, бѣлокурая голова и такая же борода рѣзко выдѣлялись надъ туловищемъ, нѣсколько согнутымъ. Онъ что-то проговорилъ, выходя къ буфету, махнулъ рукой и приблизился къ столу, гдѣ сидѣли Тася съ Пирожковымъ.

— Ахъ! Иванъ Алексѣевичъ,—взволновалась и почти обрадовалась Тася,—вѣдь сюда идетъ Преженцовъ.

— Кто?

— Мой учитель!.. Вы не помните?..

— Не встрѣчалъ его...

— Да, это давно было... Какъ онъ измѣнился... Онъ, онъ!

Косматая голова все приближалась. Тася окончательно разглядѣла и узнала своего учителя Преженцова. Онъ ходилъ къ нимъ больше года, студентомъ четвертаго курса, лѣтъ шесть тому назадъ, училъ ее русскимъ предметамъ, давалъ ей всякія книжки. Матери ея онъ не понравился; раза два отъ него нахло виномъ... Только у него Тася и занималась какъ слѣдуетъ. Онъ ей принесъ Островскаго... И самъ читалъ купеческія сцены пресмѣшно, и рассказы Слѣпцова хорошо читалъ... Что жъ! Она не боится встрѣчи съ нимъ, здѣсь, въ этой столовой... Онъ все пойметъ...

Учитель ее замѣтилъ и узналъ.

— А-а!—крикнулъ онъ и скорыми шагами подошелъ къ столу.

— Николай Александровичъ!—обрадованно назвала его Тася.

Пирожковъ оглянулся на косматого блондина. Отъ него пахло спиртными парами. Лицо его сильно раскраснѣлось.

— Какими судьбами?—спросилъ онъ Тасю.

Учитель крѣпко пожалъ ей руку.

— Вотъ, можно сказать, сюрпризъ. Вы здѣсь... И въ будничныи день... Какими судьбами? А кавалеръ вашъ... Познакомьте насъ.

Она ихъ познакомила.

— А!—еще громче крикнулъ учитель. — Пирожковъ!.. Какъ пріятно... У насъ есть общіе пріатели... Калашникова... Василия Дмитріевича, знаете, а?

— Какъ же,—сказалъ со сдержанной улыбкой Пирожковъ.

— Я присяду... Можно?..

— Пожалуйста,—пригласилъ его Пирожковъ.

Тася поглядѣла на своего учителя. Его щеки, глаза, волосы,—все показалось ей немного подозрительнымъ...

— Такъ вотъ гдѣ я съ ученичкой-то столкнулся,—говорилъ Преженцовъ и держалъ руку Таси. — Ростомъ не поднялись... все такая же маленькая... И глазки такіе же... Вотъ голосъ не тотъ сталъ... возмужалъ... Ихъ превосходительство какъ изволить поживать? Папенька, маменька? Мамаша меня не одобряла... Нѣтъ!.. Не такого я былъ строенія... Ну, и парле-франсе не имѣлось у меня. Бабушка какъ? Все еще здравствуетъ? И эта, какъ ее: Полина, Фифина!.. Да, Фифина!.. Бабушка — хорошая старушка!..

Онъ дѣлался болтливъ. Тася видѣла, что учитель ея выпилъ. Она не знала, какъ съ нимъ говорить. Это былъ какъ будто не тотъ Николай Александровичъ, не прежній.

Пирожковъ тоже почувствовалъ себя стѣсненнымъ.

— Вы здѣсь членъ?—спросилъ онъ Преженцова.

— Я-то? Это цѣлая исторія... Вотъ видите ли, какой казусъ случился... Меня здѣсь не выбрали. Не подхожу къ такому избранному заведенію. А сегодня съ пріателемъ зашли выпить пива... Все равно... Вы не хотите ли?

Онъ перегнулся къ Тасѣ и спросилъ:

— А это знаменье времени... коли и вы съ нами сидите... Какой ужас!

Прошелъ по столовой старшина. А черезъ минуту въ буфетѣ раздался крупный разговоръ.

Учитель Таси сейчасъ же всталъ, побѣжалъ туда и только крикнулъ:

— Такъ и есть!

Пирожковъ приподнялся и началъ глядѣть въ томъ же направленіи.

— Поѣдьте отсюда,—тихо сказала ему Тася.

Голоса все возвышались, перешли въ звонкіе, крикливые возгласы... Отъ буфета шелъ старшина и другой еще господинъ, съ сѣдоватой бородой, а за нимъ учитель Таси.

— Вы не имѣли права!—говорилъ старшина.

— Я буду протестовать!—повторилъ господинъ съ бородой.

— Протестуйте... Сдѣлайте ваше одолженіе!

Учитель забѣжалъ впередъ и на всю залу крикнулъ:

— Оставь втуне, пренебреги... потребуемъ торжественнаго вывода... Идемъ, Вася...

И обратившись къ столу Таси и Пирожкова, кинулъ имъ:

— Прощенія просимъ!.. Видите, чаю съ вами пить не могу... Паршивая овца!..

Всѣ въ недоумѣніи глядѣли на эту сцену. Передъ конторой еще долго раздавались голоса, и потомъ внизу по лѣстницѣ.

Пирожковъ и Тася молчали. Ивану Алексѣвичу было не по себѣ.

„Зачѣмъ завезъ я ее сюда?—спрашивалъ и онъ себя.— Этакая досада! Такъ неудачно... И старшина ни на что ей не годенъ, а теперь и давно“.

Она опустила голову и пила потихоньку чай.

— Таисія Валентиновна,—началъ Пирожковъ, сооротивъ комическую мину, — простите великодушно... Незадача намъ.

— Поѣдьте,—шептала она.

— Да вы не бойтесь.

— Нѣтъ, поѣдьте, пожалуйста.

Онъ наскоро расплатился. Тася шла вслѣдъ за нимъ, все еще съ поникшей головой... И боялась она чего-то, и жутко ей было тутъ отъ всего, отъ этихъ лакеевъ, гостей,



чаду, тусклаго освѣщенія, не находила она въ себѣ мужества сейчасъ же превратиться въ простую „актерку“, распивать чай въ перемѣну между двумя актами репетицій.

„Барышня я, барышня“,—повторяла она, сходя въ швейцарскую, и была довольна тѣмъ, что никто изъ знакомыхъ отца не встрѣтилъ ее.

Вѣдь она уѣхала тихонько. Мать, хоть и разбита, но то и дѣло спрашиваетъ ее. Ей не скажешь, что ѣздила смотрѣть на актеровъ... Да и бабушка напугается...

— Какъ же, Таисія Валентиновна?—остановилъ ее Пирожковъ у кассы.—Первый блинъ комомъ. Угодно, чтобы я познакомилъ васъ съ Грушевой?

— Ахъ, погодите... Я что-то совсѣмъ маленькая.

— Подожду...

Тася свободно вздохнула на воздухѣ.

XIX.

На другой день, передъ обѣдомъ, дѣвчонка вбѣжала къ Тасѣ и заторопила ее.

— Маленька гнѣваются, пожалуйста поскорѣе.

Тася нашла мать въ креслѣ, въ сильной ажитации.

— Отравить меня хотите!—закричала Елена Никифоровна, тараща на нее глаза.

— Что такое, маман?

— Какая гадость! Ышь сама!

Она тыкала ложкой въ тарелку супа.

Тася попробовала и чуть замѣтно улыбнулась.

— Супъ хорошъ... изъ курицы.

Мать прослѣдила глазами ея усмѣшку и вся побагровѣла.

Не успѣла Тася выпрямиться, какъ на щекѣ ея прожгѣла пощечина.

Она схватила за щеку. Въ глазахъ у ней потемнѣло. Она сдѣлала надъ собой усиліе, чтобы не толкнуть мать.

Пощечина! Передъ дѣвчонкой Дуняшей! Ей, дѣвушкѣ во двадцать второму году!

Это ее ошеломило.

— Смѣяться!..—кричала и заикалась мать,—смѣяться! Надо мной? Ахъ, ты, мерзкая! Мерзкая... Тварь! Я тебѣ дамъ!

И она опять потянулась къ ней, но Тася схватила Елену Никифоровну за обѣ руки и посадила ее въ кресло.

— Не смѣйте, не смѣйте!—шептала она съ нервной дрожью.—Я не позволю... хуже будетъ!..

Голосъ ея такъ задрожалъ, что мать испугалась.

— Стушай вонъ!.. Вонъ, вонъ!—кричала она и начала метаться и плакать.—Морфію мнѣ, морфію!..

— Какого лѣкарства?—спросила Тасю Дуняша, задерживая ее.

— Не знаю!

И она кинулась въ свою комнату, внѣ себя. Щеки ея пылали, слезы душили ее, но не лились.

Дѣвочкой семи лѣтъ ее выскли разъ... Когда ей было четырнадцать лѣтъ, мать схватила ее за ухо, но она не далась... И теперь, двадцати одного года!.. Мать больна, разбита, близка къ параличу... Но развѣ это оправданіе?..

Бросилась Тася на кровать. Ее всю трясло. Черезъ минуту она начала хохотать. Съ ней случилась первая въ ея жизни истерика. Прежде она не вѣрила въ припадки, видя, какъ мать напускала на себя истерики. А теперь она будетъ знать, что это такое!

Изъ комнаты Таси ничего не долетало ни до старушекъ, ни до кабинета. Отца ея не было дома и брата также. Какъ ни старалась она переломить себя, хохотъ все прорывался, и слезы, и судороги... Такъ билась она съ полчаса. Только и помогла себѣ тѣмъ, что уткнула голову въ подушки и обхватила ихъ обѣими руками.

Потомъ, славивъ съ собою, сѣла на кровать и мутными глазами оглядывала свою комнату. Смеркалось... черезъ полчаса будетъ совсѣмъ темно. Ее зазнобило. Она встала, надѣла платокъ и тихо двинулась отъ кровати къ письменному столу.

Прибила мать! Дала пощечину, какъ горничной!.. Да и тѣхъ теперь нельзя бить. Жаловаться пойдутъ, а то и сами тѣмъ же отвѣтятъ. Примѣры были... На-дняхъ ей рассказывали про знакомую барыню. Но чего же она такъ изумляется? Чѣмъ она лучше Кунцевой?.. А той мать въ прошлую зиму надавала пощечинъ при постороннихъ. И до сихъ поръ кричитъ на нее, какъ на послѣднюю судомойку, ругаетъ ужасными словами, хоть и по-французски: *récore, salope, старуie!* Она и не припомнить всего! И вѣдь это въ хорошемъ, барскомъ обществѣ... Самыя старыя фамиліи... И Лея Тарусина ей жаловалась, что мать ее бьетъ. А она графиня! Ей двадцать третій годъ. И всѣ терпятъ, злятся, презираютъ матерей, называютъ ихъ

за глаза дурами, рассказываютъ про нихъ всякіи гадости... А не уйдутъ! Почему?

Куда идти? Въ гувернантки? Не пойдутъ! И не знаютъ ничего серьезно, да и бояться бѣдности. Какъ же имъ можно! Тутъ есть расчетъ на мужа, а не выйдетъ—все равно на родительскихъ хлѣбахъ проживетъ, хоть и битая.

„Рабство! Рабство!—шепчетъ Тася, ходи по своей комнатѣ.—Какъ низко, гнусно!“

Она ничего дурного не рассказываетъ знакомымъ про мать. Не могла она ее ни любить, ни уважать. И это уже не малое горе. Ей жаль было этой женщины. Она смотрѣла на нее, какъ на „Богомъ убитую“, ходила за ней, хотѣла съ ней дѣлиться, когда встанетъ на свои ноги, будетъ зарабатывать. Ее смущало еще сегодня утромъ то, что она хочетъ оставить ее по цѣлымъ часамъ на понеченіе компаньонки.

Но теперь!.. Исчезли всѣ колебанія... Какъ бы мать ни была „убита“, она понимаетъ, что дѣлаетъ. Вытерпѣть—это значить рисковать, что она будетъ драться каждый день.

Вотъ прійдетъ отецъ, Тася скажетъ ему, что къ матери нужно приставить постороннюю женщину. Если вчера, послѣ посѣщенія клубной столовой, у нея явилось малодушное чувство, то теперь... вонъ, поскорѣе, безъ всякихъ думъ и сомнѣній!

Она не могла оставаться въ своей комнатѣ. Ей было душно. Перешла она въ залу, присѣла къ пианино и заиграла громко, громко.

— Барышня,—прибѣжала Дуняша,—маменька не приказываютъ играть... У нихъ головка болитъ.

— Хорошо,—отвѣтила Тася и захлопнула крышку.

Да, играть не слѣдуетъ. У матери боли. Но развѣ боли оправдываютъ битье по щекамъ взрослой дочери?

„Напишу къ Пирожкову, — думала она, — попрошу его поскорѣе повезти меня къ Грушевой, скорѣй, скорѣй!“

Она не слыхала, какъ въ передней позвонили. Ее засталъ въ залѣ, всю въ слезахъ, съ помятой прической, гость—ихъ дальній родственникъ—Палтусовъ.

XX.

Тася не видала Палтусова давно, больше двухъ мѣсяцевъ. Онъ ѣздилъ къ нимъ очень рѣдко. Прежде онъ больше интересовался ею, когда слушалъ лекціи въ уни-

верситетѣ. Онъ же привезъ къ нимъ и Пирожкова. На родственныхъ правахъ они звали другъ друга „Тася“ и „Андрюша“.

— Что съ вами, кузиночка?—спрашивалъ ее Палтусовъ, уводя въ гостиную.— Вы какая-то растрепѣ, пошутить онъ и оглядѣлъ ее еще разъ.

Тася жала ему руку. Его пріѣздъ пришелся очень кстати.

— Андрюша, милый,—заговорила она ласковѣе обыкновеннаго,—поддержите меня.

— Что такое?

Она не могла сказать ему, что мать дала ей пощечину. Этого она не скажетъ... кромѣ отца, никому. Онъ услышалъ отъ нея только то, что ей теперь надо, сейчасъ, сію минуту.

— Пожалуйста, не труните надо мной, Андрюша, я долго готовлюсь къ этому.

Слово „сцена“ было произнесено. Палтусовъ задумался. Ему жалко стало этой „дѣвочки“,—такъ онъ называлъ ее про себя. Она умненькая, съ прекраснымъ сердцемъ, веселая, часто забавная. Женишка бы ей...

— Замужъ не хотите, Тася?

— За кого?—серьезно спросила она. — Что объ этомъ толковать! Выѣзжать не на что. Такъ, я никому не нравлюсь... да нѣтъ, Андрюша! Это совсѣмъ не то...

И она начала горячо развивать ему свою „идею“. Онъ слушалъ съ тихой усмѣшкой. Очень все искренно, молодо, смѣло, то она говоритъ. Можетъ, у ней и есть талантъ. Жаль все-таки такую дѣвочку... Попадетъ на сцену... Это вѣдь помойная яма. Многія ли выкарабкиваются и могутъ жить на свой заработокъ?.. А она хочетъ кормить семью... Шутка! Жаль!.. Хорошая, воспитанная барышня, его родственница, все-таки генеральская дочь. Но и то сказать... семейка вымираетъ... гниль, дряхлость, глупое нищенство и фанаберія. А то такъ и просто грязь. Стоить на этакого папашу съ мамашей работать!.. Уйти изъ дома—резонъ...

— Съ родителемъ поговорить, что ли?—спросилъ Палтусовъ.

— Пока не надо, Андрюша... Послѣ, можетъ-быть... а вы мнѣ все узнайте хорошенько... Вотъ Пирожковъ хотѣлъ; онъ добрый, но немного мямля... совсѣмъ не туда меня повезъ. Онъ знакомъ съ актрисой Грушевой.

— Да и я ее знаю!

— Знаете, я помню; вы мнѣ рассказывали.

— Такъ чего же вы хотите, кузиночка?

— Съѣздить къ ней, милый... предупредить... поговорить обо мнѣ хорошенько... чтобы она меня выслушала. Я готовлюсь. Можетъ ли она со мной заняться? Хоть эту зиму. А то я въ консерваторію поступлю, авось, примутъ и съ новаго года.

Палтусовъ слушалъ. Все это было легко исполнить. Одинъ какой-нибудь визитъ. Довольно онъ своими дѣлами занимается. Не грѣхъ для такой милой дѣвочки потерять утро.

— Извольте-съ,—сказалъ онъ шутливо.

— Да?—радостно вырвалось у Таси.

— Брата нѣтъ?—спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ.

— А родитель?

— И отецъ еще не пріѣзжалъ.

— Какъ же это онъ меня просилъ, а самъ по городу рыщеть?

Палтусовъ всталъ и прошелся по гостиной. Онъ пріѣхалъ на просительную записку генерала. Тотъ писалъ ему, что возлагаетъ на него особую надежду. Сначала Палтусовъ не хотѣлъ ѣхать... Долгушинъ навѣрно будетъ денегъ просить. Денегъ онъ не дастъ и никогда не давалъ; заѣхалъ такъ, изъ жалости, по дорогѣ пришлось. Не любить онъ его рожи, его тона, всей его болтовни.

— Папа сейчасъ долженъ быть,—сказала Тася и подошла къ Палтусову.—Только вы, Андрюша, про меня ему ничего еще не говорите. Теперь не стѣдить... Я ему на дняхъ сама скажу, что съ матерью я ладить не могу, и надо взять компаньонку. Деньги у меня есть... на это...

— Гдѣ же добыли?

— Завяла,—шопотомъ отвѣтила Тася.

Она не скажетъ ему, что деньги взяла у брата Ники.

— Подождите минутку.

Ей хотѣлось, чтобы Палтусовъ подождалъ отца. Онъ ей скажетъ, что отецъ затѣялъ. Ей надо все знать. Кто же, кромѣ нея, есть взрослый въ домѣ?

Она смотрѣла на Палтусова. Въ гостиной было уже темно. Его лицо никогда ей особенно не нравилось. И въ сердце его она не вѣрила. Сейчасъ она говорила

ему „милый Андрюша“. Вѣдь это не хорошо! Нуженъ онъ ей, такъ она и ласкаетъ его словами.

Тася примолкла. Не довольна она была собой. Но что же дѣлать? Андрюша единственный человѣкъ вокругъ нея, у котораго есть характеръ, знаетъ жизнь, ловокъ... Съ Иваномъ Алексѣвичемъ далеко не уйдешь. И что же она такое сдѣлала? Попросила переговорить съ актрисой. Если онъ эгоистъ, тѣмъ лучше... Хоть за кого-нибудь похлопочетъ безкорыстно.

— Вотъ и папа,—громко сказала Тася, услышавъ звонокъ въ передней.

Палтусовъ закуривалъ папиросу.

— Задержитъ онъ меня!

— Подите, подите... Вѣдь вы все равно не расчувствуетесь,—пошутила она.

И тому уже была она рада, что разговоръ съ Палтусовымъ отвлекъ ее отъ ощущенія обиды, заставилъ забыть о дикой выходкѣ матери.

Къ ней она не пойдетъ до завтра, даже если мать и будетъ присылать за ней. Надо дать почувствовать. А отцу она сегодня же скажетъ очень просто:

„Не хочу получать пощечинъ. Наймите компаньонку. Я ей буду платить“.

— Андрюша!—шепнула она,—одно словечко...

Палтусовъ подставилъ ухо.

— Позвольте мнѣ сказать отцу, что вы мнѣ дали взаймы...

— Онъ вытянетъ.

— Нѣтъ, я не дамъ.

— Говорите, Тася!

— Спасибо.

Это ей послужитъ. Отдать долгъ надо; вотъ она и скажетъ, что ей слѣдуетъ искать самой выгодной работы.

Палтусовъ пожалъ ей руку, приостановился на порогѣ, обернулся и тихо сказалъ:

— Если вамъ понадобится... вы не скрывайтесь отъ меня.

У него на текущемъ уже лежало десять тысячъ.

— Теперь не нужно.

„У него все лучше было взять, чѣмъ у Ники,—мелькнуло въ головѣ Таси.—А кто его знаетъ, впрочемъ, чѣмъ онъ живетъ?“

XXI.

— А! волонтеръ!..—встрѣтилъ генераль Палтусова, въ кабинетѣ, гдѣ уже совсѣмъ стемнѣло.

„Волонтеромъ“ прозвалъ онъ его послѣ сербской кампаніи. Палтусовъ не любилъ этого прозвища и вообще не жаловалъ безцеремоннаго тона Валентина Валентиновича, котораго считалъ „жалкимъ мыльнымъ пузыремъ“. Но онъ до сихъ поръ не могъ заставить его переимѣнить съ собою фамиліярнаго тона. Не очень нравилось Палтусову и то, что Долгушинъ говорилъ ему „ты“, пользуясь правомъ старшаго родственника.

Сегодня все это было ему еще непріятнѣе. Нуждается въ немъ, пишетъ ему просительныя записки, а туда же хорохорится.

— Здравствуйте, генераль,—отвѣтилъ Палтусовъ насмѣшливо и небрежно пожалъ его руку.

Валентинъ Валентиновичъ снималъ сюртукъ, стоя у обгнзлаго письменнаго стола, на которомъ, кромѣ чернильницы, лежали только счеты и календарь.

Кабинетъ его вмѣщалъ въ себѣ большой съ проваломъ клеенчатый диванъ и два-три стула. Обои въ одномъ мѣстѣ отклеились. Въ комнатѣ стоялъ спертый, табачный воздухъ.

— Темно очень, генераль,—замѣтилъ Палтусовъ.

— Сейчасъ, топ сгег, лампу принесутъ. Митька!—крикнулъ онъ въ дверь.

Принесли лампу. Отъ нея пошелъ чадъ керосина. Долгушину мальчикъ подаль короткое генеральское пальто, изъ легкаго сѣраго сукна.

— Ступай,—выслалъ его генераль.

Палтусовъ сѣлъ на диванъ и ждалъ.

— Ты извини, что подождать меня.

„То-то!“—подумалъ Палтусовъ и нарочно промолчалъ.

— Мои стервецы виноваты.

— Какіе такіе?

— Да лошади. Кле возять. Морковью скоро будемъ кормить, братецъ! Ха-ха-ха!

„Ну, братца-то ты могъ бы и не употреблять“,—подумалъ Палтусовъ.

— Зачѣмъ держите?

— Зачѣмъ? По глупости... Изъ гонору.

Генераль опять засмѣялся, подошелъ къ углу, гдѣ у



него стояло нѣсколько чубуковъ, выбралъ одинъ изъ нихъ, уже приготовленный, и закурилъ самъ бумажкой.

Палтусовъ поглядѣлъ на его затылокъ, красный, припухлый, голый, подъ включенной щеткой посѣдѣлыхъ волосъ, точно кусокъ сырого мяса. Весь онъ казался ему такимъ ничтожнымъ индѣйскимъ пѣтухомъ. А говорить ему „братецъ“ и прозвалъ „волонтеромъ“.

— Плохандросы!—прохрипѣлъ генералъ и зачадилъ своимъ жуковымъ.—Послѣдніе дни пришли... Ты вѣдь знаешь, что Елена безъ ногъ.

— Совсѣмъ?—холодно спросилъ Палтусовъ.

— Докторъ сказалъ: черезъ двѣ недѣли отнимутся окончательно... И ротъ уже светло. Une mer à boire, mon cher. Онъ присѣлъ къ Палтусову, засопѣлъ и запыхтѣлъ.

— Я тебя побезпокоилъ. Ну, да ты молодой человѣкъ... Службы нѣтъ.

— Но дѣла много.

— А-а... Въ дѣлахъ!.. Слышалъ я, братецъ, что ты въ подряды пустился.

— Въ подряды?.. Не думалъ. Вы, небось, ссудили капиталомъ?

— У Калакуцкаго, говорили мнѣ въ клубѣ, состоишь чѣмъ-то.

Палтусову не очень понравилось, что въ городѣ уже знаютъ про его „службу“ у Калакуцкаго.

— Враки!

— Однако, и на биржѣ тебя выдаютъ.

— Бываю...

— Ну да, я очень радъ. Такое время. Не хозяйствомъ же заниматься! Здѣсь только бородѣ и почетъ. Ты пой-дешь... у тебя есть нюхъ. Но нельзя же все для себя. Молодежь должна и нашего брата старика поддержать... Сыновья мои для себя живутъ... Отъ Ники всегда какое-нибудь вниманіе, хоть въ малости. А ужъ Петька... Mon cher, je suis un père...

Генералъ не кончилъ и затынулся. Чувствительность ему не удавалась.

— Вы, ваше превосходительство, меня извините, — насмѣшливо заговорилъ Палтусовъ и посмотрѣлъ на часы.

— Занять, небось? Биржевой человѣкъ.

— Спѣшу.

— Сейчасъ, сейчасъ. Дай передохнуть.

Онъ еще ближе подсѣлъ къ Палтусову и обнялъ его лѣвой рукой.

— Вы все жуковский?—спросилъ Палтусовъ, отворачивая лицо.

— Привычка, братецъ!

— Дурная...

— Какая есть!

Генералъ началъ пикироваться.

XXII.

— Вотъ въ чемъ моя просьба, Андрюша—(Палтусовъ еще сильнѣе поморщился).—Есть у насъ тутъ родственникъ жены, троюродный братъ тещи, Куломзовъ, Евграфъ Павловичъ, не слыхалъ про него?

— Слышалъ.

— Извѣстный богачъ, скряга, чудодѣй, старый холостякъ. Однѣхъ уставныхъ грамотъ до пятидесяти писалъ. И ни одной деревни не заложено. Есть же такіе аспиды! Къ намъ онъ давно не ѣздитъ. Ты знаешь... въ какомъ мы теперь аллюрѣ... Да онъ и никуда не ѣздитъ... Въ англискій клубъ разъ въ мѣсяцъ... Видишь ли... Моя старшая дочь, вѣдь ты ее помнишь, Ляля?

— Помню.

— Она ему приходится крестницей; но вышло тутъ одно обстоятельство. Une affaire de rien du tout... Поручиться его просилъ... По пустому документу... И какъ бы ты думалъ, этотъ старый шутъ m'a mis à la porte. Закричалъ, ногами затопалъ. Никогда я ничего подобнаго не видалъ ни отъ кого!

— Такъ вы теперь повторить хотите?

— Дай досказать, братецъ,—уже раздраженно перебилъ генералъ и прислонился къ спинкѣ дивана.—Вѣдь у него деньжищевъ однѣхъ полмилліона, страсть вещей, картинъ, камней, хрусталу... Ограбить давно бы слѣдовало. Женѣ моей онъ приводится вѣдь дядей. Наслѣдниковъ у него нѣтъ. А если есть, то въ такомъ же колѣнѣ!..

— Вы уже справочки навели?

— Навелъ, братецъ. Не продастъ онъ своихъ деревень. Изъ амбиціи этого не сдѣластъ, а деревни всѣ родовыя. Меня онъ можетъ прогнать, но тебя онъ не знаетъ. Ты ужьнешь съ каждымъ найтись. Родственникъ жены...

— Тоже наслѣдникъ!

— Отчасти.



— А потомъ?

— А потомъ, mon cher, — ты мнѣ договорить все не даешь, — пускай онъ одновременно дастъ племянницѣ... или хоть кредитомъ своимъ поддержать.

— Ничего изъ этого не выйдетъ.

— Разжалоби его, братецъ. Ты краснобай. Ты знаешь, въ какомъ положеніи Елена. Не на что лѣчить, въ аптеку платить. И я... самъ видишь, на что я сталъ похожъ.

— Знаете что, генераль?

— Не возражай ты мнѣ...

— Это вѣрнѣйшее средство заставить его все обратить въ деньги.

— Да, если ты бухнешь сразу... Я тебя не объ этомъ прошу. У меня обжектъ на мази... богатый.

— Мѣшки дѣлать изъ травы? Слышалъ! Ха-ха!..

— Нечего, братъ, горло драть... Кредиту нѣтъ... Что мнѣ надо? Появлять ты? Чтобы этотъ старый хрѣнь не отрещивался отъ моей жены, чтобы онъ не скрывалъ, что она послѣдница. А для этого разжалобить его. И начать слѣдуетъ съ того, что я душевно сожалею о старомъ недоразумѣніи... понимаешь?

— И все это вы взваливаете на меня?

— Прошу тебя, mon cher, какъ родного... Не на колѣняхъ же мнѣ передъ тобой стоять!

— Знаете что, генераль?

— Ну, что еще?

— Есть у меня знакомый табачный фабрикантъ. Ему нужно на фабрику акцизнаго надзирателя.

— Такого у меня нѣтъ на примѣтѣ.

— Какъ нѣтъ, а я думалъ, вамъ слѣдуетъ взять это мѣсто.

Долгушинъ вскочилъ съ дивана. Чубукъ вертѣлся у него въ правой рукѣ. Глаза забѣгали, лисина покраснѣла. Палтусовъ въ первую минуту боялся, что онъ его прибить.

— Мнѣ?—задыхался крикнулъ онъ. — Мнѣ надзирателемъ на табачную фабрику?

— А почему же нѣтъ?

— Почему, почему?..

Генераль былъ близокъ къ удару.

— У него уже былъ отставной генераль. Мѣсто покойное... квартира, пятьдесятъ рублей, и лошадокъ можно держать.

— Brisons-là... Я шутку допускаю... но есть всему мѣра.

— Я не шучу,—сухо сказалъ Палтусовъ и поднялся съ дивана.—Пропустите случай, хуже будетъ.

— Хуже... Чего хуже?..

— Хуже того, что теперь есть. Тогда и надзирателя не дадутъ.

— Какъ вы смѣете?—крикнулъ Долгушинъ.

Но потѣхи довольно было Палтусову, онъ перемѣнилъ тонъ.

— Ну, ваше превосходительство, извините... Я не хотѣлъ васъ обижать. Извольте, такъ и быть, съѣзжу къ вашему Крезу.

— Я не желаю.

— Не желаете?—съ удареніемъ переспросилъ Палтусовъ.

— Если по-родственному...

— Да, да. Для вашей дочери дѣлаю... не для васъ.

Долгушинъ что-то пробурчалъ и задымилъ.

Палтусовъ тихо разсмѣялся. Очень ужъ ему жалокъ казался этотъ „индѣйскій пѣтухъ“.

— Когда же ты, братецъ?—какъ ни въ чемъ не бывало, спросилъ генераль.

— На-дняхъ. Дайте адресъ.

Они разстались друзьями. Къ Тасѣ Палтусовъ не зашелъ. Было четыре часа.

XXIII.

На биржу онъ не торопился. У него было свободное время до поздняго обѣда. Сани пробирались по сугробамъ переулка. Бобровый воротникъ пріятно щекоталъ ему уши. Голова нѣжилась въ собольей шапкѣ. Лицо его улыбалось. Въ головѣ все еще прыгала фигура генерала съ чубукомъ и съ краснымъ затылкомъ.

Палтусовъ смотрѣлъ на такихъ родственниковъ, да и вообще на такое дворянство, какъ на нѣчто разлагающееся, имѣющее одинъ „интересъ курьеза“. Слишкомъ ужъ все это ничтожно. Что такое несъ генераль? О чемъ онъ просилъ его? Что за нелѣпость давать ему порученіе къ богатому родственнику?

Но поѣхать опять-таки „для курьеза“ можно, посмотреть—полно, есть ли въ Москвѣ такіе „старые хрычи“ съ нѣтьюдесятью деревнями, окруженные драгоценностями? Палтусовъ не вѣрилъ въ это. Онъ видѣлъ кругомъ одно наденіе. Кто и держится, такъ и то проживаютъ одну

треть, одну пятую прежнихъ доходовъ. Гдѣ же имъ тягаться съ его пріятелями и пріятельницами, въ родѣ Нѣтовыхъ или Станицыныхъ и цѣлаго десятка такихъ же коммерсантовъ?

Каждый разъ, какъ онъ попадаетъ въ эти края, ему кажется, что онъ пріѣхалъ осматривать „катакомбы“. Онъ такъ и прозвалъ дворянскіе кварталы. Ёдетъ онъ вечеромъ по Поварской, по Пречистенкѣ, по Сивцову Вражку, по переулкамъ Арбата... Нѣтъ жизни. У подъѣздовъ хотъ бы одна карета стояла. Въ комнатахъ темнота. Только гдѣ-нибудь въ передней или угловой горитъ „экономическая“ лампочка.

Фонари еще зажигали. Послѣдній отблескъ зари догоралъ. Но можно было еще свободно разбирать дома. Сани давно уже колесили по переулкамъ.

— Стой!—крикнулъ вдругъ Палтусовъ.

Небольшой домикъ съ палисадникомъ всплылъ передъ нимъ внезапно. Сбоку примостилось зеленое крылечко съ навѣсомъ, чистенькое, посыпанное пескомъ.

Сани круто повернули къ подъѣзду. Палтусовъ выскочилъ и дернулъ за звонокъ. На одной половинѣ дверей мѣдная доска была занята двумя длинными строчками съ большой короной.

Зайти сюда очень кстати. Это избавляло его отъ лишняго визита, да и когда еще попадетъ онъ въ эти края?

Приотворилъ дверь человекъ въ сюртукѣ.

— Княжна у себя?

— Пожалуйте.

Онъ впустилъ Палтусова въ маленькую, опрятную переднюю, уже освѣщенную висячей лампой.

Лакей, узнавъ его, еще разъ ему поклонился. Палтусовъ попадалъ въ давно знакомый воздухъ, какого онъ не находилъ въ новыхъ купеческихъ палатахъ. И въ передней, и въ залѣ съ складнымъ столомъ и роялемъ стоялъ особый воздухъ, отзывавшійся какими-то травами, одеколономъ, немного пылью и старой мебелью.

Онъ вошелъ въ гостиную, куда человекъ только что внесъ лампу и поставилъ ее въ уголъ, на мраморную консоль. Гостиная тоже приняла его точно живое существо. Онъ не такъ давно просиживалъ здѣсь вечера за чаемъ и днемъ, часа въ два, въ часы дружескихъ визитовъ. Ничто въ ней не измѣнилось. Тѣ же цвѣты на окнахъ, два горшка у двери въ залу, зеркало съ бронзой, въ стилѣ

имперіи, столъ, покрытый шитой шелками скатертью, другой—зеленымъ сукномъ, весь обложенный книгами, газетами, журналами, крохотное, письменное бюро, качающееся кресло, мебель ситцевая, мягкая, безъ дерева, какая была въ модѣ до крымской кампаніи, двѣ картины и на средней стѣнѣ въ овальной рамѣ портретъ свѣтской красавицы—въ платьѣ сороковыхъ годовъ, съ блондами и вѣнкомъ въ волосахъ. Чуть-чуть пахнетъ папиросами „*shagunland doux*“, и запахъ этотъ подѣ-стать мебели и портрету. На окнахъ кисейныя гардины, шторы спущены. Коверъ положенъ около бюро, гдѣ два кресла стоятъ одно передъ другимъ и ждутъ двухъ мирныхъ собесѣдниковъ.

Палтусовъ потянулъ въ себя воздухъ этой комнаты, и ему стало не то грустно, не то сладко на особый манеръ.

Рѣдко онъ заѣзжалъ теперь къ своей дальней кузинѣ, княжнѣ Куратовой; но онъ не забываетъ ея и ему приятно ее видѣть. Онъ очень обрадовался, что неожиданно очутился въ ея переулкѣ.

Изъ двери, позади бюро, безъ шума выглянула княжна и остановилась на порогѣ.

Ей пошелъ сороковой годъ. Она наслѣдовала отъ красавицы-матери — что глядѣла на нее съ портрета — такую же мягкую и величавую красоту и высокій ростъ. Черты остались въ видѣ линий, но и только... Она вся потускнѣла съ годами, лицо потеряло румянецъ, нѣжность кожи, покрылось мелкими морщинами, ротъ поблекъ, лобъ обтянулся, бѣлокурые волосы порѣдѣли. Она погнулась, хотя и держалась прямо; но станъ пошелъ въ ширину: сталъ костлявъ. Сохранились только большіе, голубые глаза и руки барскаго изящества.

Княжна ходила неизмѣнно въ черномъ послѣ смерти матери и троихъ братьевъ. Все въ ней было, чтобы правиться и сдѣлать блестящую партію. Но она осталась въ дѣвушкахъ. Она говорила, что ей было „некогда“ подумать о мужѣ. При матери, чахоточной, угасавшей медленно и томительно, она пробыла десятокъ лѣтъ на югѣ Европы. За двумя братьями тоже не мало ходила. Теперь коротаетъ вѣкъ съ отцомъ. Состояніе съѣли, почти все, два старшихъ брата. Одинъ гвардеецъ и одинъ дипломатъ. Третій, нумизматъ и путешественникъ, умеръ въ Южной Америкѣ.

Палтусовъ улыбнулся ей съ того мѣста, гдѣ стоялъ. Онъ находилъ, что княжна, въ своемъ суконномъ платьѣ

съ пелериной, въ черной косынкѣ на рѣдкихъ волосахъ и строгомъ отложномъ воротникѣ, должна правиться до сихъ поръ. Ее онъ считалъ „своимъ человѣкомъ“ не по идеямъ, не по традиціямъ, а по расѣ. Расу онъ въ себѣ очень цѣнилъ и не забывалъ при случаѣ упомянуть, кому нужно, о своей „умницѣ“—кузинѣ, княжнѣ Лидіи Артамоновнѣ Куратовой, прибавляя: „прекрасный остатокъ добраго стараго времени“.

XXIV.

— Здравствуйте,—сказала она ему своимъ ровнымъ и низкимъ голосомъ.

Такихъ голосовъ нѣтъ у его пріятельницъ изъ купечества.

Глаза ея тоже улынулись.

— Давненько васъ не видно, садитесь.

Они сѣли на два ситцевыхъ кресла; княжна немного наклонила голову и потерла руки — ея обычный жестъ послѣ того, какъ ей пожмешь руку.

— Каюсь,—выговорилъ Палтусовъ полусерьезно.

Онъ любилъ немного пикироваться съ ней въ дружескомъ тонѣ. Темой, въ послѣдній годъ, служили имъ обширныя знакомства его „dans la finance“, какъ выражалась княжна.

— Гдѣ же вы пропадаете?

— Да все дѣлишки. Я вѣдь теперь приказчикъ.

— Приказчикъ? Поздравляю.

— Это васъ огорчаетъ?

— Не очень радуеть.

— Да почему же, chère cousine,—началъ онъ горячѣе.— Здѣсь, въ Москвѣ, надо дѣлаться купцомъ, строителемъ, банкиромъ, если папенька съ маменькой не припасли ренты.

Княжна вздохнула, повернула голову и взяла съ своего бюро шитье, tapisserie, не оставлявшее ее, когда она бесѣдовала.

— Вы вздохнули?—спросилъ Палтусовъ.

— Не буду съ вами спорить, степенно выговорила она, — у васъ своя теорія.

— Но вы не хотите оглянуться.

Она усмѣхнулась.

— Я ничего не вижу—это правда. Выхожу гулять на бульваръ, и то въ хорошую погоду, въ церковь...

— Вотъ отъ этого!

— Послушайте, André,—она одушевилась,—развѣ въ самомъ дѣлѣ... *cette finance... prend le haut du pavé?*

— Абсолютно!

— Вы не увлекаетесь?

— Нисколько.

И онъ началъ ей приводить факты... Кто хозяйничаетъ въ городѣ? Кто распоряжается бюджетомъ цѣлаго нѣмецкаго герцогства? Купцы... Они занимаютъ первыя мѣста въ городскомъ представительствѣ. Время прежнихъ Титовъ Титычей кануло. Милліонныя фирмы передаются изъ рода въ родъ. Какое громадное вліяніе въ скоромъ будущемъ! Судьба населенія въ пять, десять, тридцать тысячъ рабочихъ зависить отъ одного человѣка. И человѣкъ этотъ—не помѣщикъ, не титулованный баринъ, а коммерціи совѣтникъ или просто купецъ первой гильдіи, крепить лобъ двумя перстами. А дѣти его проживаютъ въ Ниццѣ, въ Парижѣ, въ Трувиллѣ, кутятъ съ наслѣдными принцами, прикармливаютъ разныхъ упраздненныхъ князьковъ. Жены ихъ все выписываютъ не иначе, какъ отъ Ворта. А дома, обстановка, картины, цѣлые музеи, виллы... Шопенъ и Шуманъ, Чайковскій и Рубинштейнъ,—все это ихъ обыкновенное меню. Тягаться съ ними нѣтъ возможности. Стоить побывать хоть на одномъ большомъ купеческомъ балѣ. Дошло до того, что они не только выписываютъ изъ Петербурга хоры музыкантовъ на одинъ вечеръ, но они выписываютъ блестящихъ офицеровъ, гвардейцевъ, кавалеристовъ, чуть не цѣлыми эскадронами, на мазурку и котильонъ. И тѣ ѣдутъ и пляшутъ, и пьютъ шампанское, любящееся въ буфетахъ съ десяти до шести часовъ утра.

Палтусовъ весь раскраснѣлся. Картина увлекла его самого.

— Вотъ какъ!—точно про себя вымолвила княжна.—Говорать... Я не отъ васъ перваго слышу... Какая-то здѣсь есть купчиха... Рогожина? Такъ, кажется?..

— Есть. Я бываю у нея.

— Это львица?

— Ея татенька былъ калачникъ... да. калачникъ... А теперь къ ней всѣ ѣздятъ.

— Кто же всѣ?

— Да всѣ... Дамы изъ вашего же общества. Я въ прошломъ году танцевалъ тамъ съ madame Кузьминой, съ

княжной Пронской, съ madame Ореусъ, съ Кидищевыми...
То же общество, что у генералъ-губернатора.

— Est-elle jolie?

— На мой вкусъ—нѣтъ. Умѣла поставить себя... Une dame patronesse.

— Она?

— А какъ бы вы думали?!

Княжна положила работу на колѣни.

— Однако, André,—заговорила она съ усмѣшкой,—всѣ эти ваши коммерсанты только и думаютъ о томъ, какъ бы чинъ получить... или крестикъ... Ихъ мечта... добиться дворянства... C'est connu...

— Да! кто потщеславнѣе...

— Ils sont tous comme cela!

— Есть ужъ и такіе, которые стали сознать свою силу. Я знаю молодыхъ фабрикантовъ, заправляющихъ огромными дѣлами... Они не лѣзутъ въ чиновники... Кончить курсъ кандидатомъ... и остается купцомъ, заводчикомъ. Онъ честолюбивъ по-своему.

— А въ концѣ, все-таки... il rêve une décoration!

— Не всѣ! Словомъ,—это сила, и съ ней надо уже считаться.

— И вы хотите поступать къ нимъ... въ...

Слово не сходило съ губъ княжны.

— Въ обученіе,—подсказалъ Палтусовъ и немного покраснѣлъ.—Ничего больше—какъ въ обученіе!.. Надо у нихъ учиться.

— Чему же, André?

— Работѣ, смѣткѣ, кузина, умѣнью производить цѣнности.

— Какой у васъ сталъ языкъ...

— Настоящій!.. Безъ экономическаго вліянія нѣтъ будущности для насъ.

— Для кого?

— Для насъ... Для людей нашего съ вами происхожденія... Если у насъ есть воспитаніе, умъ, раса, наконецъ, надо все это дисконтировать... а не дожидаться сложа руки, чтобы господа коммерсанты съѣли насъ—и съ хвостикомъ.

Лицо княжны стало еще серьезнѣе.

— Il y a du vrai!.. въ томъ, что вы говорите... Но чья же вина?

— Объ этомъ что же распространяться! Все, что есть!

лучшаго изъ мужчинъ, женщинъ... Я говорю о дворянствѣ, о самомъ видномъ, все это принесено въ жертву... Вотъ хоть бы васъ самихъ взять.

— Я очень счастлива, André!..

— Положимъ. Спорить съ вами не стану. Но теперь это къ слову пришлось. Переберите свою семейную хронику... Какая пустая трата силъ, денегъ, земли... всего!..

— Не вездѣ такъ.

— Вездѣ, вездѣ!.. Я стою за породу, если въ ней есть что-нибудь, но негодую за прошлое нашего сословія... Одно спасеніе—учиться у купцовъ и сѣсть на ихъ мѣсто.

XXV.

— Рара!—обернулась княжна къ двери и привстала.

Всталъ съ своего кресла и Палтусовъ.

Въ гостиную вошелъ старичокъ, очень небольшого роста. Его короткія ручки, лысая голова и бритое лицо, при черномъ суконномъ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, пріятно настраивали. Щеки его съ мороза смотрѣли свѣжо, а глаза мигали и хмурились отъ свѣта лампы.

— Князь, здравствуйте,—сказалъ ему громко Палтусовъ.

Князь былъ туговатъ на одно ухо, почему часто улыбался, когда чего-нибудь не разслышитъ. Онъ пожалъ руку Палтусова и ласково его обглядылъ.

Старичку пошелъ семьдесятъ четвертый годъ. Двигался онъ довольно бодро и каждый день, какаа бы ни была погода, ходилъ гулять передъ обѣдомъ по Пречистенскому бульвару.

— Bonjour, bonjour,—немного прошамкалъ онъ.

Переднихъ зубовъ онъ давно не досчитывался.

— Какъ погода?—спросила его дочь.

— Прекрасная, прекрасная погода,—повторилъ князь и сѣлъ на качающееся кресло.

— Съ бульвара?—обратился къ нему Палтусовъ.

— Мало гуляетъ въ этотъ часъ, мало,—проговорилъ князь и дѣтски улыбнулся.—Вѣтерокъ есть. Который часъ?

— Пять часовъ, рара,—отвѣтила княжна.

— Да, такъ и должно быть. Вы все ли въ добромъ здоровьи?—спросилъ онъ Палтусова.—Давно васъ не было. Лиза, я на полчаса... Газету принесли?

— Да, рара.

— Что есть... въ депешахъ?

— Ничего особеннаго въ политикѣ. Большіе холода въ Парижѣ... бѣдствіе...

— А-а!.. Зима ихъ одолѣла. Хе-хе!.. Скажите...

— Боятся, что ихъ занесетъ снѣгомъ.

— Скажите, пожалуйста!

Старичокъ звѣнулъ, и его кругленькое, чистое личико совершенно по-дѣтски улыбнулось.

— Поди, рара...

— Я пойду...

Онъ всталъ, сдѣлалъ ножкой Палтусову, подмигнувъ еще и вышелъ скорыми шажками.

Этотъ старичокъ наводитъ на Палтусова родъ усыпленія. Когда онъ говорилъ, у Палтусова пробѣгали мурашки по затылку и по спинѣ. Точно ему кто чешетъ пятки мягкой щеткой.

— Какъ князь свѣжъ,—сказалъ тихо Палтусовъ, когда шаги старика стихли въ залѣ.

— Да, я очень довольна его здоровьемъ... особенно въ эту зиму.

— Ему который?

— Семьдесятъ три.

Палтусовъ помолчалъ.

— Кузина, ваша жизнь вся ушла на мать, на братьевъ, на отца. Ну, а послѣ его кончины?

Она сдѣлала движеніе.

— Но вѣдь это будетъ. Останетесь вы однѣ... Вы еще вонъ какая...

— André, я не люблю этой темы...

— Напрасно-съ... На что же вторая половина жизни пойдетъ? Все *abnégation*, да *recueillement*. Вѣдь это все отрицательныя величины, какъ математики называютъ.

— Я не согласна. У меня есть жизнь, вы это знаете. Маленькая по-вашему. По моимъ силамъ и правиламъ, André. Я васъ слушала сейчасъ, до прихода рара, не спорила съ вами. Вы правы... въ фактахъ... Но сами-то вы слѣдите ли за собой? Простите мнѣ *cette reprimande*, ужъ я старуха... Надо слѣдить за собой, а то легко *s'embourber*...

— Какія страшныя слова, кузина!

— Мнѣ кажется, это настоящее слово. По-русски вышло бы рѣзче,—прибавила она съ умной усмѣшкой.—Хотите, чтобы я сказала вамъ мое впечатлѣніе... насчетъ васъ...

— Говорите.

— Вы ужъ не тотъ, что годъ тому назадъ. У васъ были другія... *d'autres aspirations*... Вы начали смѣяться надъ вашимъ увлеченіемъ, надъ тѣмъ, что вы были въ Сербіи... волонтеромъ, и потомъ въ Болгаріи. Я знаю, что можно смотрѣть на все это не такъ, какъ кричали въ газетахъ... которыя стояли за славянъ. Но я васъ лично беру. Тогда я какъ-то васъ больше понимала. Вы слушали лекціи, хотѣли держать экзаменъ... Я ждала васъ на другой дорогѣ.

— Какой?—почти крикнулъ Палтусовъ и перевернулся въ креслѣ. — Въ ученье я не мѣтилъ, чиновникомъ не хочу быть — и это мнѣ надо поставить въ заслугу. Я изучаю русское общество, кухня, новые его слои... смотрю на себя, какъ на піонера.

— Піонеръ,—повторила княжна и на секунду закрыла глаза.

— Ищу живого и выгоднаго дѣла.

— Выгоднаго, André?

— А то какъ же? Въ этомъ сила—повѣрьте мнѣ. Безъ опоры въ накопленномъ трудѣ ничего нельзя достать.

— Для себя?

— Нѣтъ-съ, не для себя, а для того же общества, для массы, для трудового люда. Я тоже народникъ, я, кухня, чувствую въ себѣ связь и съ мужикомъ, и съ фабричнымъ, и со всякимъ, кто потѣетъ... *raison* за это неизнѣстное слово.

— Можетъ-быть... Только вы другой стали, André!.. И въ очень короткое время.

— Не мудрено... Но не говорить ли въ васъ задѣтое сословное чувство?

— Вы, сколько я вижу, не стыдитесь нашего происхожденія.

— Расу допускаю. Но особенно не горжусь тѣмъ, что я видѣлъ въ своей фамиліи.

— Зачѣмъ это трогать?

— Это законная жалоба, кухня... Родители передаютъ намъ наслѣдственно не запасы душевнаго здоровья, а часто одно вырожденіе.

— На то есть свобода воли, André!

— Свобода воли! А я вамъ скажу, что если кто изъ насъ въ теченіе десяти лѣтъ не свихнется, онъ долженъ смотрѣть на себя, какъ на героя!

- Все родители виноваты?
— Наполовину—да.
Онъ всталъ, подошелъ къ ней и нагнулъ голову.
— Пора мнѣ. Продолженіе слѣдуетъ.
— Sans gâchepie, André.
— Еще бы!.. Вы вобрали въ себя всю добродѣтель
нашего фобура.
— Не останетесь обѣдать?
— Нѣтъ, не могу. Званъ.
— Dans la finance?
— Къ купчихѣ на сверхъестественную привозную рыбу...
baguie. Въ Москвѣ-то!
— Bon appetit!
Онъ поцѣловалъ у нея руку.

XXVI.

Поздно раскрылъ глаза Палтусовъ. Купеческій обѣдъ съ выписной рыбой „baguie“ затянулся. Было выпито много разныхъ крушоновъ и ликеровъ. Онъ это не очень любилъ. Но отказываться отъ обѣдовъ, ужиновъ и даже попоекъ ему уже нельзя. Онъ скоро распозналъ, что за исключеніемъ двухъ-трехъ домовъ построже, въ родѣ дома Нѣтовыхъ, все держится „за компанію“, въ широкомъ, московскомъ значеніи этого слова. Безъ пріятелей, питья брудершафтовъ, безъ „голубчика“ и „мамочки“ никогда не войдешь въ нутро колоссальной машины, выкидывающей рубли, акціи, тюки хлопка, штуки „пунцового“ товара. Художественная сторона натуры Палтусова помогала ему... Онъ часто забавлялся про себя. Каждый день заводились у него новыя связи. Ему ничего не стоило, безъ всякаго ущерба своему достоинству, подойти къ тону любого „обывателя“. И никто, какъ думалось ему, не понималъ его. Иной, быть-можетъ, считалъ за пройдоху, за „стрекулиста“; но ни у кого не хватало ума и чутья, чтобы опредѣлить то, что онъ считалъ своимъ „мировоззрѣніемъ“.

Сторы были спущены въ его спальнѣ. Онъ еще жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, но за квартиру далъ задатокъ, переберется въ концѣ января. Ему жаль будетъ этихъ номеровъ. Здѣсь онъ чувствовалъ себя свободно, молодо, точно какой пріѣзжій, успѣшно хлопочущій по отысканію наслѣдства. Номерная жизнь напоминаетъ ему



и военную службу, и время слушанія лекцій, и заграничныя поѣздки.

Номера, гдѣ онъ жилъ, считались дорогими и порядочными. Но нравы въ нихъ держались такіе же, какъ и во всѣхъ прочихъ. Стояли тутъ около него двѣ иностранки, принимавшія гостей... во всякое время. Обѣ принимали помѣсячно нарядныя квартирки. Жило три помѣщичьихъ семейства, водилась картежная игра, останавливались заграничныя нѣмцы, изъ комми-вояжеровъ. Но подъѣздъ и лѣстница, ливрея швейцара и половики держались въ чистотѣ, не пахло кухни, лакеи ходили во фракахъ, сливки къ кофе давали не прокислыя.

Умывшись, Палтусовъ, въ свѣтло-сѣромъ сюртукѣ съ голубымъ кантомъ, перешелъ въ другую комнату, отдѣланную гостиной, и позвонилъ.

Коридорный служилъ ему отлично. Онъ получалъ отъ него по пяти рублей. То-и-дѣло Спиридонъ—такъ звали его—сообщалъ ему разныя новости о квартиранткахъ.

И на этотъ разъ, подавая кофе, онъ со степеннѣйшей миной своего усатаго, сухого лица доложилъ:

— Изъ Петербурга есть пріѣзжій товаръ.

— Какой?

— Француженка.

— Дорого?

— Не объявляла еще.

Палтусовъ подумалъ, по уходѣ Спиридона, о своемъ вчерашнемъ разговорѣ съ княжной Куратовой. Его слегка защемило. Ея гостиная дышала честностью и достоинствомъ не напускнымъ, а настоящимъ. Неужели она вѣрно угадала — и онъ уже подернулся пленкой? А какъ же иначе? Безъ этого нельзя. Но жизнь на его сторонѣ. Тамъ — усыпальница, катакомбы. Но отчего же княжна такъ симпатична? Онъ чувствуетъ въ ней женщину больше, чѣмъ въ своихъ пріятельницахъ „dans la finance“.

Палтусовъ засидѣлся за кофеомъ. Перебралъ онъ въ головѣ всѣхъ женщинъ прошлой зимы и этого сезона. Ни одна не заставила его ни разу забытья, не дрогнулъ въ немъ ни одинъ нервъ. Зато и притворяться онъ не хотѣлъ. Это ниже его. Онъ не Никита Долгушинъ. Но вѣдь онъ молодъ, никогда не тратилъ силъ зря, чувствуетъ онъ въ себѣ и артистическую жилку. Не очень ли ужъ онъ слѣдитъ за собой? Надо же „поиграть“ немного. Долго не выдержишь.

Двѣ женщины смотрѣли на него изъ рамокъ толстаго альбома: Анна Серафимовна... Марья Орестовна. Въ сущности ни та, ни другая—не его типъ. Съ Нѣтовой у него въ послѣднія шесть недѣль гораздо больше пріятельства. Но она собирается за границу. Кажется, ей хотѣлось, чтобъ и онъ поѣхалъ. Съ какой стати? Въ этой женщинѣ есть что-то для него почти противное. Никогда она не вызоветъ въ немъ ни малѣйшихъ желаній. Хоть и надѣваетъ чулки по двадцати рублей пара. Все равно—она поручаетъ ему свои дѣла. Анну Серафимовну онъ не видѣлъ больше мѣсяца. Это—своеобразная фигура! Прекрасно сложена. У ней должна найтись „страсть“ и смѣлость. Но такія женщины опасны.

Палтусовъ, одѣваясь, распредѣлялъ обыкновенно свой день. Онъ вспомнилъ про Долгушина, про разговоръ съ генераломъ, разсмѣялся и рѣшилъ, что заѣдетъ къ этому старику, Куломзову.

„Не однихъ купцовъ-милліонщиковъ, и баръ надо знать „поименно“,—разсудилъ онъ.

Сани ждали его у подъѣзда.

XXVII.

День держался яркій, съ небольшимъ морозомъ. Ѣзда на улицахъ, по случаю праздника, началась съ ранняго утра. Въ четверть часа докатилъ Палтусовъ до церкви Успенья на Могильцахъ. Въ этомъ приходѣ значился домъ гвардіи корнета Евграфа Павловича Куломзова.

Городового ни въ будкѣ, ни на перекресткѣ не оказалось. Въ мелочной лавочкѣ кучеру Палтусова указали на свѣтло-палевый штукатуренный домъ съ мезониномъ и стеклянной галлереей, выходившей на дворъ.

— Къ которому подъѣзду прикажете?—спросилъ кучеръ у Палтусова.

Ихъ было два.

— Одинъ заколоченъ,—разглядѣлъ Палтусовъ.

Сани подъѣхали къ первому, рядомъ съ воротами.

Долго звонилъ Палтусовъ. Онъ уже заносилъ ногу обратно въ сани, когда дверь съ шумомъ отворилась.

— Евграфъ Павловичъ?—увѣренно спросилъ Палтусовъ у стараго лакея въ картузѣ съ позументомъ.

Тотъ помолчалъ и не сразу впустилъ гостя въ длинный свѣтлый ходъ, весь расписанный фресками. Направо и нѣско стояли вѣшалки.

— Какъ объ васъ доложить?

Палтусовъ далъ карточку. Старикъ пошелъ медленной походкой. Галерея стояла не топленной. Въ глубинѣ ея, на площадкѣ, куда вели пять ступеней, виднѣлся каминъ съ зеркаломъ и боковая стѣна, расписанная деревьями и цвѣтами.

Пришлось подождать.

— Пожалуйста,—раздался дряблый голосъ старика. — Пожалуйста сюда. Тамъ холодно будетъ раздѣваться.

Онъ взбѣжалъ по ступенькамъ и взялъ вправо. Темная комната, — родъ приѣмной, гдѣ онъ со свѣту ничего не разобралъ, — показалась ему, когда онъ скинулъ пальто, немного теплѣе галереи.

— Наверхъ-съ,—повелъ его слуга,—въ мезонинъ пожалуйста.

Лѣстница съ деревянными перилами, выкрашенными подъ букъ, скрипѣла. По ступенькамъ лежалъ половинокъ на мѣдныхъ прутьяхъ. Какъ только началъ Палтусовъ подниматься, сверху раздался сначала жидкій лай двухъ собачекъ, а потомъ глухое рычанье водолаза или датскаго дога.

„Да я въ звѣринецъ попалъ“,—весело думалъ Палтусовъ, идя за слугой.

На площадку свѣтъ выходилъ изъ полуотворенной двери налѣво. Выскочилъ желтый, громадный песъ сенъ-бернардской породы, остановился въ дверяхъ и отрывисто залаялъ.

— Не бойтесь,—сказалъ старикъ.—Нерошка, тубо!.. Онъ не кинется.

Жидкій лай продолжался, но въ комнатѣ.

— Пожалуйста-съ.

Палтусовъ попалъ въ высокую комнату, свѣтло-зеленую, окнами на улицу. Одну стѣну занимала большая клѣтка, раздѣленная на отдѣленія. Въ одномъ прыгали двѣ крохотныя обезьянки, въ другомъ щелкала бѣлка, въ просторной половинѣ скакали разноцвѣтныя птички. Онъ сейчасъ же замѣтилъ зеленыхъ попугайчиковъ съ красными головками.

Къ нему подбѣжали двѣ собачки, кингъ-чарльсъ, глазастыя, обросшія, черныя съ желтыми подпалинами, рѣдкой красоты. Пальцы лапъ у нихъ тоже обросли, точно у голубей. Бѣгали онѣ, виляя задомъ и топча на мѣстѣ. Лаять и та и другая перестали и замахали хвостомъ.

Въ лѣвомъ углу, въ ярко-отчищенной круглой клѣткѣ сидѣлъ бѣлый какаду и покачивался.

„Звѣринецъ и есть“, подтвердилъ Палтусовъ и бросилъ взглядъ на остальное убранство комнаты. Мебель вся была соломенная, узорчатая. Стоялъ еще акварій. Цвѣты и горшки съ растеніями придавали ей оживленіе. Свѣтъ игралъ на всевозможныхъ оттѣнкахъ зеленой краски.

Когда Палтусовъ вошелъ — все немного притихло. Потомъ опять защелкало, запрыгало и защебетало. Съ лѣвой стѣны отъ входа торчали оленье рога и надъ шкапомъ съ чучелами выглядывала голова скелета какой-то большой птицы.

Эта гостиная заинтересовала его. Онъ съ любопытствомъ ждалъ выхода хозяина изъ узенькой двери, оклеенной также обоями, еле замѣтной между двумя горшками растеній. Собаки обнюхивали гостя. Сень-бернаръ поглядѣлъ на него грустными и простоватыми глазами и легъ подъ тростниковый столъ, на шкуру бѣлаго медвѣдя.

„Гдѣ же драгоценности? — спросилъ себя Палтусовъ, вспомнивъ хриплую болтовню Долгушина. — Все-то вралъ курьезный дяденька, все-то вралъ“.

Дверка скрипнула. Палтусовъ выпрямился. Какаду крикнулъ. Собачки побѣжали къ хозяину.

XXVIII.

Къ Палтусову вышелъ скорыми шажками сухой старикъ въ туфляхъ и короткомъ свѣтломъ шлафрокѣ, выше средняго роста, бритый. Острый носъ и узкій овалъ лица моложавили его. Круглая голова блестѣла отъ припорошеннаго, рыжеватаго паричка съ хохломъ, какіе носили въ тридцатыхъ годахъ. Подъ носомъ торчали усъ точно два кусочка подстриженной и подкрашенной шерсти. Щеки сохранили неестественный румянецъ. Во всей наружности и въ домашнемъ туалетѣ хозяина проглядывала старомодная франтоватость холостяка. Палтусовъ успѣлъ разглядѣть, что онъ притираетъ щеки. Когда хозяинъ раскрылъ свой морщинистый ротъ съ блѣдными и тонкими губами, двѣ новыхъ челюсти такъ и заблестали. Держался онъ, слегка нагнувшись впередъ.

— Чѣмъ могу быть къ услугамъ вашимъ? — встрѣтилъ онъ гостя и, протягивая руки, любезно указалъ на одно изъ соломенныхъ креселъ.

Палтусовъ сѣлъ.



Хозяинъ вертѣлъ въ рукѣ его карточку.

— Палтусовъ, Андрей Дмитріевичъ,—твердо выговорилъ онъ.—Фамилія мнѣ очень знакома. Я служилъ въ колонновожатыхъ... съ однимъ Палтусовымъ... имя, отчество позабылъ.

— Это былъ, вѣроятно, Ѳеодоръ Ильичъ, братъ отца, мой родной дядя.

— Весьма пріятно... Фамилія извѣстна... чѣмъ могу?..—спросилъ опять хозяинъ и пристально поглядѣлъ на гостя.

— Евграфъ Павловичъ,—началъ Палтусовъ,—вы извините, если я скажу вамъ сразу, что мой визитъ кажется мнѣ самому... курьезнымъ...

— Какъ это? Не совсѣмъ понимаю, молодой человѣкъ.

Собачки влѣзли старику на колѣни, большой песъ легъ у ногъ.

— Видите ли, я взялся исполнить порученіе... одного вашего родственника. А мнѣ не хотѣлось бы беспокоить васъ. Я очень радъ съ вами познакомиться... Мнѣ такъ много говорили про васъ и вашъ домъ. Старая Москва уходить, надо пользоваться...

Куломзовъ усмѣхнулся.

— Вы опоздали,—сказалъ онъ,—у меня дѣйствительно были разныя вещи... картины, бронза... фарфоръ... Сорокъ лѣтъ собиралъ... для себя; но теперь ничего нѣтъ.

— Продали?

— Нѣтъ, Боже избави... Но здѣсь не держу. Въ деревню перевезъ все до послѣдней вазочки и заколотилъ низъ... Не топлю. И мебели тамъ нѣтъ никакой.

— Живете въ мезонинѣ?

— Въ трехъ комнатахъ. Вотъ это моя менажерія, люблю птицъ и всякихъ звѣрей... Тамъ мой кабинетъ. Половину книгъ оставилъ. Спальня... ванная... и все. Кухни не держу. Иногда въ клубъ... рѣдко... а то гдѣ придется... въ кабачкѣ... въ Эрмитажъ... въ Англіи у Дюссо.

„Книжки читаетъ“,—отмѣчалъ про себя Палтусовъ.

— И круглый годъ въ Москвѣ?

— Въ деревню не ѣзжу... Что тамъ дѣлать?.. Съ мужичками не спорю... вездѣ сдалъ землю... Имъ хорошо. За границу ѣзжалъ... еще не такъ давно. Я вамъ, молодой человѣкъ, не предлагаю курить... самъ не курю...

— Я не такой страстный курильщикъ.

— Такъ вы изволили упомянуть о родственникахъ моихъ. Кто это, любопытно? У меня нѣтъ никого.

„Каковъ генералъ!“—подумалъ Палтусовъ.

— Вотъ видите, Евграфъ Павловичъ, какъ я попался. А меня увѣрялъ Валентинъ Валентиновичъ Долгушинъ...

— А! вотъ что! Валентинъ! Понимаю...

И онъ улыбнулся.

— Вы его знаете?

— Какъ не знать!.. Онъ выдаетъ свою жену за мою прямую наслѣдницу. Весьма сожалѣю, молодой человѣкъ, что вы вдалились въ этотъ... обманъ... Не занималъ ли онъ у васъ?

— Богъ миловалъ!

Они оба разсмѣялись.

— Именно... У меня была тутъ дѣлая исторія. Это—отпѣтый человѣкъ. И такими-то теперь полна Москва. Прожились, изолгались, того гляди, очутятся въ этихъ... какъ ихъ теперь называютъ?

— Въ червонныхъ валетахъ,—подсказалъ Палтусовъ.

— Такъ, такъ... въ червонныхъ валетахъ... Вы понимаете... съ вами можно говорить... Ну, куда, ну, куда?—прикрикнулъ старикъ на одну изъ собачекъ, которая лѣзла къ нему на грудь и хотѣла лизнуть его прямо въ лицо.—Тутъ, Жолька, лежи... Вотъ,—обратился онъ къ гостю,—какая ласковая у меня собачурка. Изъ Испаніи самъ вывезъ, здѣсь нѣтъ такой чистой породы. Съ собаками и умирать буду. Былъ такой нѣмецкій философъ... какъ бишь его?.. вы должны знать... на фамиліи плохъ сталъ... Я французскія извлеченія читалъ изъ его мыслей... Онъ смотрѣлъ на жизнь здраво. Съ нами вѣдь природа шутки шутить. Мы своей воли не имѣемъ... бьемся, любимъ... любовь къ женщинѣ... это природа приказываетъ... воля... la volonté... Онъ это по-своему объясняетъ...

— Не Шопенгауэръ ли?—спросилъ Палтусовъ.

— Именно! Онъ, онъ! И біографія его. Вотъ какъ я же... холостякомъ жилъ... У меня и книжки есть... хотите взглянуть?.. Вотъ онъ и сказалъ, что умирать надо съ собаками. Я вамъ покажу... Не хотите ли перейти въ кабинетъ?.. Здѣсь свѣжо...

Онъ всталъ, спустилъ на полъ собачекъ и растворилъ дверку, приглашая рукой гостя.

XXIX.

Вторая комната, такихъ же размѣровъ, съ бѣлыми обоями, заставленная двумя шкапами краснаго дерева и

стариннымъ бюро, съ металлическими инкрустациями, смотрѣла гораздо скучнѣе. Направо, на каминѣ, часы и канделябры желтой мѣди сейчасъ же бросились въ глаза Палтусову своей изящной работой. Кромѣ нѣсколькихъ стульевъ и креселъ и двухъ гравюръ въ деревянныхъ рамахъ, въ кабинетѣ ничего не было.

— Вотъ въ этой книжкѣ...

Хозяинъ отыскалъ на бюро томъ въ желтой оберткѣ и подалъ Палтусову.

— Статья о Шопенгауэрѣ...

— Да, умный нѣмецъ... И своихъ колбасниковъ честишь... Писать не умѣютъ... говорилъ. Это совершенно вѣрно, глаголъ подъ конецъ страницы. Есть ли смыслъ человѣческій?.. Что жъ вы не сядете, чѣмъ могу?

„Память-то отшибло у него“,—подумалъ Палтусовъ и поглядѣлъ еще разъ на часть стѣны, ничѣмъ не занятую.

Его зоркій глазъ отличилъ отъ обоевъ закрашенную полосу, дырочку для ключа и темныя полосы съ трехъ сторонъ. Это былъ вдѣланный въ стѣну несгораемый шкафъ. Онъ отвелъ глаза, чтобы старикъ не замѣтилъ.

— Я не стану васъ беспокоить,—заговорилъ онъ весело и почтительно.—На генерала Долгушина я смотрю, какъ онъ этого заслуживаетъ. Но онъ мой родственникъ. Очень ужъ присталъ ко мнѣ... и все обижается, когда ему скажешь, что лучше бы онъ выпросилъ себѣ мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ.

— Что, что такое? Надзирателя? Онъ и на это не способенъ.

— Ваша правда!

Они опять посмѣялись. Старикъ правился гость.

„А вѣдь ты ростовщикъ?“—вдругъ спросилъ про себя Палтусовъ и поглядѣлъ попристальнѣе на ротъ и зеленатые тусклые глаза гвардіи корнета.

„Ростовщикъ на десятки тысячъ“,—прибавилъ онъ.

Знакомству съ нимъ онъ порадовался на всякій случай.

— Никакихъ у меня наслѣдниковъ здѣсь нѣтъ,—началъ Куломзовъ.—Очень пріятно было познакомиться. Молодыхъ людей... какъ вы... люблю... Но генералъ напрасно беспокоится. Впрочемъ—бѣдность не свой братъ.

Онъ вздохнулъ.

— Жаль не его,—сказалъ Палтусовъ,—жена безъ ногъ, въ параличѣ... старуху-тещу онъ ободралъ... дочь—милая... дѣвица.



— Чего жалѣть? Сами виноваты... У меня здѣсь есть не мало старухъ... моихъ невѣсть... хе-хе! охаютъ, жалуются... клянуть теперешнее время... Дуры вы,—я имъ говорю, когда къ нимъ заѣду,—вы—дуры, а время хорошее... Земля та же, ее не отняли. До эмансипаціи,—онъ произносилъ это слово въ носъ,—десятина въ моихъ мѣстахъ пятьдесятъ рублей была, а теперь она сто и сто десять. Аренда—вдвое выше... Я ничего не потерялъ! Ни одного вершка. А доходы больше. Хозяйство я бросилъ... Зато рента стала вдвое, втрое. И кто же виновать? Скажите на милость. Транжирять-транжирять... и все на вздоръ. Жалости подобно. Только я не жалѣю никого... Не стоить, молодой человѣкъ, не стоить. Чего же удивляться, что дворянство теперь—нуль... такъ что-то... неодушевленное... ха-ха! Вотъ мреть много народу. Это производить эффектъ... Ёдешь такъ по Поварской, по бульвару... Тутъ въ этомъ домѣ всѣ вымерли, въ другомъ, въ третьемъ... Цѣлые переулки есть выморочные. Никого изъ моихъ-то сверстниковъ. Тоскливо бываетъ... хоть и знаешь, что пора ложиться... туда... А все неприятно... Только этого и жаль. А что всѣ прожились... и пускай! Не то что въ надзиратели, будутъ и въ городскихъ, въ извозчикахъ, въ трубочистахъ, а то въ жуликахъ... въ этихъ... валетахъ... Хе-хе!..

Онъ долго смѣялся. Пора было Палтусову и откланяться.

— Жалѣю,—сказалъ онъ, поднимаясь,—что не могъ полюбоваться вашими коллекціями.

— Забито... въ ящикахъ... И деревеньку выбралъ глухую. Воровство большое. И отъ жидковъ отбою не было... все это они знаютъ, и точно въ лавочку какую бѣгали. Очень радъ... Съ племянникомъ сослуживца... Я всегда по утрамъ... милости прошу...

Собачки и желтый песъ проводили Палтусова до лѣстницы.

„Что же это,—кольнуло его,—а за Тасю-то бѣдную хоть бы слово сказалъ потеплѣе. Ну, да все равно ничего бы не далъ. А если онъ вретъ и генеральша—наслѣдница, нечего беспокоиться“.

Въ теченіе зимы онъ завернулъ еще къ этому подрумяненному читателю Шопенгауэра.

„Шопенгауэръ куда залетѣлъ! Москва! Другой нѣтъ!“

Палтусовъ былъ доволенъ этимъ визитомъ, хотя и называлъ его „отмѣнно глупымъ“.



Слугѣ въ галунномъ картузѣ онъ далъ почему-то рубль.

XXX.

Завтракать заѣхалъ Палтусовъ къ Тѣстову; ѣсть ему все еще не хотѣлось со вчерашней ѣды и питья. Онъ на-скоро закусилъ. Сходя съ крыльца, онъ прищурился на свѣтъ и хотѣлъ уже садиться въ сани.

— Куда вы?—крикнули ему сзади.

— Пирожковъ!

Иванъ Алексѣевичъ, въ неизмѣнной высокой шляпѣ и аккуратно застегнутомъ мерлушковомъ пальто, улыбался во весь ротъ. Очки его блестѣли на солнцѣ. Мягкія, бѣ-лыя щеки розовѣли отъ пріятнаго морозца.

— Со мной! не пушу,—заговорилъ онъ, и взялъ Палту-сова по привычкѣ за пуговицу.

— Куда?

— Несчастный! Какъ куда? Да какой сегодня день?

— Не знаю право,—заторопился Палтусовъ, обрадован-ный, впрочемъ, этой встрѣчей.

— Хорошъ любитель просвѣщенія. Татьянинъ день, батюшка! Двѣнадцатое!

— Совсѣмъ забылъ.

Палтусовъ даже смутился.

— Вотъ оно что значить съ коммерсантами-то пребы-вать. Университетскую угодницу забылъ.

— Забылъ!..

— Ну, ничего, во-время захватимъ. Ёдемъ на Моховую. Мы какъ разъ попадемъ къ началу акта, и мѣсто по-лучше займемъ. А то эта зала предательская—ничего не слышно.

— Какъ же это?

Палтусовъ наморщилъ лобъ. Ему надо было побывать въ двухъ мѣстахъ. Ну да для университетскаго празд-ника можно ихъ и по-боку.

— Везите меня, нечего тутъ. Дѣло мытаря надо сего-дня бросить.

Съ этими словами Пирожковъ садился первый въ сани.

Они поѣхали въ университетъ. Дорогой перемолвились о Долгушинныхъ, о Тасѣ, пожалѣли ее, рѣшили, что надо ее познакомиться съ Грушевой и слѣдить за тѣмъ, какъ пойдетъ ученье.

— Баба-ѣра,—сказалъ весело Пирожковъ.—Въ ней всѣ семь смертныхъ грѣховъ сидятъ.



Разсказалъ ему Палтусовъ о порученіи генерала. Они много смѣялись и съ хохотомъ въѣхали во дворъ стараго университета. Палтусовъ оглянулъ рядъ экипажей, карету архіерея съ фореитормъ въ мѣхвой шапкѣ и синемъ кафтанѣ, и ему стало жаль своего ученья, цѣлыхъ трехъ лѣтъ хожденія на лекціи. И онъ могъ бы быть теперь кандидатомъ. Пошелъ бы по другой дорогѣ, стремился бы не къ тому, къ чему его влекутъ теперь „Китай-городъ“ и его обыватели.

— Alma mater!—шутливо сказалъ Пирожковъ, слѣзая съ саней, но въ голосѣ его какая-то нота дрогнула.

— Здравствуй, Леонтій,—поздоровался Палтусовъ со сторожемъ въ темномъ проходѣ, гдѣ ихъ шаги зазвенѣли по чугуннымъ плитамъ.

Палто свое они оставили не тутъ, а наверху, гдѣ въ передней толпился уже народъ. Палтусовъ поздоровался и со швейцаромъ, сухимъ старикомъ, неизмѣннымъ и подъ парадной перевязью на синей ливреѣ. И швейцаръ тронулъ его. Онъ никогда не чувствовалъ себя, какъ въ этотъ разъ, въ стѣнахъ университета. Въ первой залѣ—они прошли чрезъ бібліотеку—лежали шинели званныхъ гостей. Мимо проходили синіе мундиры, генеральскіе лампы мелькали вперемежку съ бѣлыми рейтузами штатскихъ генераловъ. Въ амбразурѣ окна приземистый господинъ, съ длинными волосами, весь ушедшій въ шитый воротникъ, съ Владиміромъ на шеѣ, громко спорилъ съ худымъ, испитымъ юношей во фракѣ. Старое бритое лицо „суба“ показалось изъ дверей; и оно напомнило Палтусову разныя сцены въ аудиторіяхъ, сходки, волненія.

Пирожковъ шелъ съ нимъ подъ руку и то и дѣло раскланивался. Они провели какихъ-то пріѣзжихъ дамъ и съ трудомъ протискали ихъ къ кресламъ. Полукруглая колоннада вся усыпана была головами студентовъ. Сквозь зелень блестяли золотыя цифры и слова на темномъ бархатѣ. Было много дамъ. На всѣхъ лицахъ Палтусовъ читалъ то особенное выраженіе домашняго праздника, не шумно-веселаго, но чистаго, такого, безъ котораго тяжело было бы дышать въ этой Москвѣ. Шептали тамъ и сямъ, что отчетъ будетъ читать самъ ректоръ, что онъ скажетъ въ началѣ и въ концѣ то, чего всѣ ждали. Будутъ рукоплесканія... Пора, молъ, давно пора университету заявить свои права...

Пропѣли гимнъ. Началось чтеніе какой-то профессор-



ской рѣчи. Ее плохо было слышно, да и мало интересовались ею... Но вотъ и отчетъ... Все смолкло... Слабый голосъ разлетается въ залъ; но ни одно „хорошее“ слово не пропало даромъ... Ихъ подхватывали рукоплесканія. Палтусовъ переглянулся съ Пирожковымъ, и оба они бьютъ въ ладоши, подняли руки, кричатъ... Обоимъ было ужасно весело. Кругомъ Палтусовъ не видитъ знакомыхъ лицъ между студентами; но онъ сливается съ ними... Ему очень хорошо!.. Забылъ онъ про банки, конторы, Никольскую, амбары, своего патрона, своихъ купчихъ.

Вонъ сидитъ Нѣтова. И рядомъ хмурое лицо ея мужа. Онъ не подойдетъ къ нимъ. Онъ отъ нихъ за тысячи верстъ. Здѣсь чувствуетъ онъ, какъ ему съ ними тошно... Иванъ Алексѣевичъ подзадориваетъ его своей усмѣшкой, умными глазами, своимъ брюшкомъ; въ немъ есть что-то тонкое, культурное, доброе, чуждое всякихъ гешефтовъ.

„Гешефтъ“—слово пронизало мозгъ Палтусова.

Опять рукоплещутъ. Еще сильнѣе. Онъ не слыхалъ за что, да развѣ это не все равно!

Всѣ смѣшались. Глаза у всѣхъ блестятъ. Онъ пожмаетъ руку постороннимъ.

— Ловко! Молодецъ!—кричатъ кругомъ его студенты.

Лица дѣвушекъ—есть совсѣмъ юныя—рдѣютъ... И онѣ стоятъ за дорогія вольности университета. И онѣ знаютъ, кто врагъ и кто другъ этихъ старыхъ, честныхъ и выносливыхъ стѣнъ, гдѣ учатъ одной только правдѣ, гдѣ знаютъ заботу, но не о хлѣбѣ единомъ.

— Куда вы?—спросилъ Пирожкова какой-то рыжій паренъ въ большихъ сапогахъ.—Неужто въ Благородку? Вайте съ нами.

— Въ „Эрмитажъ“?

— Да.

— Ыдемъ!—подмигнулъ Палтусову Пирожковъ.—Вѣдь иъ сегодня путь одинъ—изъ „Эрмитажа“ въ „Стрѣльну“.

Палтусовъ кивнулъ головой и молодо такъ оглянулъ еще разъ туго пустѣющую залу, каедру, портреты и золотыя цифры на темномъ бархатѣ.

XXXI.

Извозничья пара, взятая у купеческаго клуба, лихо легла къ Триумфальнымъ воротамъ. Сани съ красной обивкой такъ и ныряли въ ухабы Тверской-Ямской. Мелкій снѣжокъ заволакивалъ свѣтъ поднимающейся луны. Пал-

тусовъ и Пирожковъ, прихвативъ съ собой знакомаго учителя словесности изъ малороссовъ, ѣхали въ „Стрѣльну“. У нихъ стоялъ еще въ ушахъ звонъ, гамъ и ревъ отъ обѣда въ „Эрмитажъ“. Они попали въ самую молодую компанію. На двѣ трети были студенты. Чуть не съ супа начались рѣчи, тосты, пожеланія. И безъ шампанскаго чокались и пили „здравіцы“ чѣмъ попало: краснымъ виномъ, хересомъ, а потомъ и пивомъ. „Gaudeamus“ только въ началѣ пѣлась въ унисонъ. Перешли къ русскимъ пѣснямъ. Тутъ уже все смѣшалось, повскакало съ мѣстъ. Нельзя уже было ничего разобрать. Пошла депутація въ сосѣднюю комнату, гдѣ обѣдало нѣсколько профессоровъ. Привели двоихъ — одного бѣлокураго, въ очкахъ, художаваго, другого — брюнета, очень еще молодого, но непомятно толстаго. Обоихъ стали качать съ азартомъ, подбрасывая ихъ на воздухъ. Толстякъ хохоталъ, взвизгивалъ, поднимался надъ головами точно перина и просилъ пощады. Товарищъ его выносилъ качаніе стоически. И Палтусовъ съ Пирожковымъ принимали участіе въ этомъ варварскомъ, но веселомъ чествованіи. До трехъ разъ принимались качать. Притащили еще двухъ профессоровъ, просили ихъ сказать нѣсколько словъ, ставили имъ вопросы, цѣловались, говорили имъ „ты“, изливались, жаловались. Становилось тяжело. Въ коридорѣ вышелъ крупный споръ съ прислугой. Пора было и на воздухъ.

— Какъ вы, господа? — спрашиваетъ ихъ учитель, когда они выѣхали на шоссе. — Очень шумить въ головѣ?

— У меня нѣтъ... даже досадно, — откликнулся Палтусовъ.

— Наверстаемъ въ „Стрѣльнѣ“, — сказалъ Пирожковъ. — Тамъ полутрезвымъ оставаться нельзя, противно традиціи.

— *Restauratio est mater studiosorum!* — разсмѣялся учитель. Его маленькіе хохлацкіе глаза искрились и слезились противъ вѣтра. — Автомедонъ, пошелъ! — крикнулъ онъ извозчику. — *Regeat классическій обскурантизмъ!*

— Bravo, филологъ! — откликнулся Палтусовъ.

Въ головѣ его дѣйствительно не очень еще сильно шумѣло; хоть за обѣдомъ онъ пилъ брудершафтъ съ цѣлымъ десяткомъ неизвѣстныхъ ему юношей. Одинъ отвелъ его въ уголъ, за колонну — обѣдали въ новой бѣлой залѣ — и спросилъ его:

— Совѣсть не потерялъ еще? Въ принципъ вѣришь?

Это была фраза опьянѣвшаго студента; но Палтусова



она задѣла; онъ началъ увѣрять студента, что для него выше всего связь съ университетомъ, что онъ никогда не забудетъ этой связи, что судить можно человѣка по результатамъ, а время подлое—надо заручиться силой.

— Подлое время! Это ты правильно!—прокричалъ студентъ, и глаза его сразу посоловели. Онъ навалился обѣими руками на плечи Палтусова и вдругъ крикнулъ:— А ты кто такой, могу ли я съ тобой разговаривать? Или ты соглядатай?

Его пришлось отвести освѣжиться. Но это пьяное а parte всю дорогу щекотало Палтусова. Есть, видно, въ молодой честности что-то такое, отчего мурашки пробѣгаютъ и вспыхиваютъ щеки, даже и тогда, когда много вышито, точно отъ внезапнаго „memento mori“.

Пара неслась. Становилось все ярче. Мелькали, всѣ въ инеѣ, деревья шоссе. Вотъ и „Яръ“, весь освѣщенный, съ своей бесѣдкой и террасой, укутанными въ снѣгъ.

— Хочется напиться... до зеленого змія!—крикнулъ учитель.

— Тамъ отъ одного воздуха опьянѣешь!—подхватилъ Пирожковъ.

Захотѣлось напиться и Палтусову; за обѣдомъ это ему не удалось. Но не затѣмъ ли, чтобъ не шевелить въ душѣ никакихъ лишнихъ вопросовъ? Когда хмель вступить въ свои права, легко и сладко со всѣми цѣловаться, и съ чистымъ юношей, и съ пройдохой-адвокатомъ, и съ ожирѣлымъ клубнымъ игрокомъ, съ кѣмъ хочешь! Не разбираешь: кто былъ студентомъ, кто нѣтъ.

Извозчикъ ухнулъ. Сани влетѣли на дворъ „Стрѣльны“, а за ними еще двѣ тройки. Вылѣзали всѣ шумно, переговаривались съ извозчиками, давали имъ на чай. Кого-то вели... Двое лепетали какую-то шансонетку. Сѣни привали ихъ точно передбанникъ... Не хватало номеровъ въшать платье. Изъ залы и коридора лился цѣлый каскадъ хаотическихъ звуковъ: говоръ, пѣніе, бряцанье гитары, смѣхъ, чмоканье, гулъ, визгъ женскихъ голосовъ.

— Татьянашка! Выноси, святая угодница!—гаркнулъ кто-то въ дверяхъ.

XXXII.

Учителя словесности сейчасъ же подхватили двое пирующихъ и увлекли въ коридоръ, въ отдѣльный кабинетъ. Палтусовъ и Пирожковъ вошли въ общую залу. По ней



плавали волны табаку и пряных спиртных испарений жжонки. Этотъ ароматъ покрывалъ собою всѣ остальные запахи. Лица, фигуры, туалеты, мужскія бороды, платья арфистокъ — все сливалось въ дымчатую, угарную, колышущуюся массу. За всѣми столиками пили; посрединѣ коренастый господинъ съ калмыцкимъ лицомъ, въ разстегнутомъ жилетѣ и во фракѣ, плясалъ; нѣсколько человѣкъ, взявшись за руки, ходили, пошатываясь, обнимались и чмокали другъ друга. Красивый и точно восковой брюнетъ сидѣлъ съ арфисткой въ пестрой юбкѣ и шитой рубашкѣ, жалъ ей руки и тоже лѣзъ цѣловаться.

— А!.. Quelle chance!.. — встрѣтилъ Палтусова около двери въ боковую комнату братъ Марьи Орестовны, Nicolas Леденьщиковъ, во фракѣ и *блломъ* жилетѣ, по новой модѣ, и съ какой-то нерусской орденской ленточкой въ петлицѣ.

Палтусову очень не по вкусу пришлась эта встрѣча. Леденьщиковъ былъ навеселѣнъ, закатывалъ глаза, подгибалъ колѣни и съ пренебрежительной усмѣшкой оглядывалъ залу.

— Одинъ?—спросилъ его Палтусовъ и шепнулъ Пирожкову:—Уведите меня.

— Non, мы здѣсь... у цыганъ... Allons... Я васъ представлю... Здѣсь кабакъ...

— А вы бывший студентъ?—съ своей характеристической улыбочкой освѣдомился Пирожковъ.

— Какой вопросъ!—обидѣлся Леденьщиковъ и оглядѣлъ Пирожкова.

— Знаете что,—сказалъ ему Палтусовъ,—вы ужъ ваши онѣры на нынче оставьте.

— Comment l'entendez-vous...

— Да такъ. Сегодня надо быть студентомъ... или не быть здѣсь... Васъ ждутъ... Идите къ вашей компаніи... Меня тоже ждутъ.

Леденьщиковъ хотѣлъ что-то сказать и круто повернулся. Палтусовъ убѣждалъ отъ него, увлекая за собой Пирожкова.

— Тоже студентъ!—горичился Палтусовъ. Онъ зналъ, что Nicolas кончилъ курсъ. — И такихъ здѣсь десятки, если не сотни.

— И я этому радуюсь,—замѣтилъ Пирожковъ. — Вотъ видите: большая борода... въ сюртукѣ по залѣ похаживаетъ... бакалейщикъ, а на магистра исторіи держалъ.



Вотъ у насъ какъ!.. Пускай черносливъ продаетъ, а онъ все-таки нашъ.

Гдѣ-то заплѣли „Стрѣлочка“.

— Уйдемъ отсюда,—потапцилъ Пирожковъ Палтусова,—этой пошлости я не выношу.

Они искали знакомыхъ. Но никого не попадалось. А пить надо! Безъ питья слишкомъ трудно было бы оставаться.

— Господа! Vivat academia! Позвольте предложить...

Ихъ остановилъ у выхода въ коридоръ совсѣмъ не „академическаго“ вида мужчина, лѣтъ подъ пятьдесятъ, сѣдой, стриженный, съ плохо бритыми щеками, въ вицмундирѣ, смахивающій на приказнаго старыхъ временъ. Онъ держалъ въ рукѣ стаканъ вина и совалъ его въ руки Палтусова.

Тотъ переглянулся съ Пирожковымъ.

— Отъ студента студенту,—пьянѣющимъ, но еще довольно твердымъ голосомъ говорилъ онъ, немного покачиваясь.

„Вы бывший студентъ?“—хотѣли его спросить оба пріятеля.

— Сядемъ, выпьемъ съ нимъ, не все ли равно...—шепнулъ Палтусовъ Пирожкову.

— Вы одни?—спросилъ Пирожковъ.

— Не вижу однокурсниковъ... Старъ... и къ обѣду опоздалъ... Пріѣзжай я... вотъ сюда, къ столику... еще стаканчикъ...

— Нѣтъ, не то!—скомандовалъ Палтусовъ.—Вы съ нами жонки... вонъ тамъ... займемъ уголь...

Съ любопытствомъ осматривали они своего новаго товарища. Не все ли равно съ кѣмъ побрататься въ этотъ день?.. Онъ говоритъ, что учился тамъ же, и довольно этого.

— Юристъ?—спросилъ его Палтусовъ, когда жонка была разлита.

— Всеконечно! Въ управѣ благочинія служилъ. За симъ въ губерніи погрязъ... въ полиціи... въ казенной палатѣ... бываетъ и хуже.

— А теперь?

Пирожковъ прислушивался и попивалъ.

— А теперь? При мировомъ сѣздѣ приставъ... И то слава Тебѣ, Господи... Не о томъ мечталъ... когда бралъ билетъ у Никиты Иваныча.



— Помнишь! — вскричалъ Палтусовъ и перешелъ съ нимъ на „ты“.

„Приказный“, такъ они опредѣлили его, сладко закрылъ глаза, выпилъ цѣлый стаканъ и откинулъ голову.

XXXIII.

— Какъ же не помнить! — воскликнулъ приставъ, поднявъ стаканъ и расплескавъ жжонку. — Пять съ крестомъ получилъ. Кануло, — въ голосъ его слышались слезы, — кануло времечко... Поминаютъ ли его добромъ?.. Поди, небось... ругаютъ... теперешніе... вонъ что тамъ съ арфянками... маменькины сынки?.. А я сѣмарь!

— Ты сѣмарь? — переспросилъ его Палтусовъ.

Пирожковъ слушалъ и улыбался. Приказнаго онъ считалъ находкой для дня св. Татьяны.

— Сѣмарь... Изъ вологодской семинаріи. По двадцать третьему году поступилъ. И только у Никиты Иваныча и почувствовалъ, что такое есть право.

Онъ говорилъ съ сѣвернымъ акцентомъ.

— *Justitia*, — подсказалъ Палтусовъ.

— А ты послушай... Я тебѣ представлю. Точно живой онъ передо мною сидитъ. Влѣзетъ на кафедру... знаете... тово немножко... Табачку нюхнулъ, хе-хе! Помните хе-хеканье-то? „Господа, — онъ сильнѣе сталъ упираться на „о“, — сегодняшнюю лексію мы посвятимъ сервитутамъ. А? хе-хе! Великолѣпнѣйшій институтъ!“

— Очень похоже! — крикнулъ Палтусовъ и ударилъ пристава по плечу.

— Похоже? Знаю, что похоже. Я тамъ въ губерніи сколько разъ воспроизводилъ... Великолѣпнѣйшій институтъ. Разные сервитуты были... *Servitus ligni immittendi*. А? Сосѣда бревномъ въ бокъ, дымку ему пустить. А?.. Дымку! Стѣна смежная, хе-хе-хе! *Servitus balnearii habendi*, съ вѣничкомъ къ сосѣду сходить, съ вѣничкомъ... *Servitus luminis, servitus prospectus*, свѣтъ, солнце... для всѣхъ... А? Я — римлянинъ, я — свободнѣйшій гражданинъ! Не смѣешь отнимать у меня видъ... моремъ хочу любоваться, закатомъ! А? А русскій человѣкъ маленькій, убитый человѣкъ... Не знаетъ сервитутовъ... Иду на Москву-рѣку. А? Хочу любоваться видомъ Кремля, хе-хе... Нельзя... мѣшаетъ домъ... домъ мѣшаетъ... Вывелъ откупщикъ... хе-хе... *Eques!*.. всадникъ!.. И не могу... потому что я — русскій человѣкъ... Скудный... захудалый человѣкъ!..



— Ха-ха!—дружно расхохотались оба пріятеля.

Они придвинулись къ приставу. Палтусову сдѣлалось необычайно весело... Онъ и самъ сознавалъ, что въ лекціяхъ того чудака, котораго представлялъ теперь передъ нимъ приставъ, была творческая, живая струя.

Точно въ отвѣтъ на эти мысли, приставъ вскричалъ:

— Понималъ ли ты, какой онъ есть артистъ? Высокаго таланта! А я понималъ. Маленькины сынки, въ узкихъ брючкахъ, только пошлые анекдотики рассказывали, да по-ослиному гоготали, да хныкали по гостинимъ... Двойку мнѣ закатилъ!.. Семинаристъ проклятый!.. Кто зналъ, у кого въ мозгу не простокваша была, тому не ставилъ... Ну, „ты“ говорилъ на экзаменахъ. Экая важность! Армяшка одинъ, восточный скудоумный человѣкъ, разъ началъ на него орать: „не смѣешь мнѣ говорить ты! Не смѣешь!“ Онъ потомъ надъ собой подтруниваетъ: „обругалъ, говорить, меня восточный человѣкъ. Не тѣ времена... Ругательски обругалъ... И армяне тоже въ исторіи записаны... Римлянъ въ кои-то вѣки побили, при Тиграноцертѣ какомъ-то... Дай Богъ памяти!“

Глаза рассказчика подернулись масломъ. Память о любимомъ профессорѣ, успѣхъ передачи его голоса, манеры, мимики дѣйствовали на него подымательно. И слушатели нашлись чуткіе.

— А эта лекція еще,—увлекался онъ, покачиваясь на стулѣ,—о фидейкомиссахъ?

— Что такое?—не слышалъ Пирожковъ.

— О фидейкомиссахъ,—повторилъ приставъ,—терминъ мудреный... Сушь, казуистика, а какъ у него выходило: романъ, картина, людей живописалъ, какъ художникъ... „Господа... былъ проконсулъ Лентулъ, хе-хе-хе... Египтомъ правилъ... Губернаторъ... И награвилъ...“—Онъ засунулъ руку въ карманъ панталонъ характернымъ жестомъ.—„Много награвилъ... Танцовщицъ держалъ... хе-хе. Прелестныя танцовщицы были въ Египтѣ! Дѣти пошли... А что грабилъ... съ Августомъ дѣлился... Хе-хе! Старъ сталъ... Дѣтей обезпечить надо. Пишетъ онъ цезарю: *Rogo, prescor, deprescor, fidei tuæ committo*. Я тебѣ все отдалъ, что наворовалъ... Мошенникъ! Дѣтей моихъ не обидь... Честію прошу... тебѣ вѣрю... на слово... *fidei committo*... А? Вотъ откуда пошелъ институтъ!..“

Подражатель входилъ въ роль. Никогда еще Палтусовъ не слышалъ такого вѣрнаго схватыванія знакомыхъ зву-



ковъ и въ особенности этого „хе-хе“, извѣстнаго десяткамъ университетскихъ поколѣній.

— Спасибо, спасибо,—говорилъ онъ приставу и подливалъ, и подливалъ ему изъ серебряной миски.

Тотъ пилъ, но мало хмѣлѣлъ; возбужденіе поддерживало его. Ему страстно хотѣлось истощить всѣ свои воспоминанія. Слушатели поощряли его.

— Вотъ тоже,—заново одушевился рассказчикъ,—ругали его за отсталость... закорузлые педанты... Болтаютъ вѣчно, что въ числѣ цензоровъ проврался... Байборода обличилъ въ журналѣ. На смѣхъ подвляли! Бѣсновался онъ тогда! Ну, навралъ. Экая важность... А вотъ мнѣ изъ новенькихъ сказывалъ... у насъ тамъ слѣдователемъ служить... Съ мозгомъ голова. Недавно... ну... лѣтъ пятнадцать... послѣ насъ, а то и меньше... Лексія — приставъ и самъ произносилъ „лексія“—о лежащемъ наслѣдствѣ...

— Какомъ? Лежащемъ?—Пирожковъ расхохотался.

Рассказчикъ кивнулъ на него головой и комически спросилъ Палтусова:

— Не юристъ?

— Естественникъ.

— То-то. Лежащее наслѣдство... Haereditas jascens полатыни. Штука мудренѣйшая... И такъ, и этакъ можно истолковать... Вотъ, приходитъ онъ и говоритъ:—„Господа! на haereditas jascens... ученые смотрѣли до сегодня... хе-хе... какъ на юридическое лицо... И я тридцать безъ малаго лѣтъ повторялъ то же... хе... И съ каеэды утверждалъ... Позвольте вамъ сказать, что я вралъ... И другіе втали. Вышла книжка... хе-хе! Нѣмецкая книжка... Жилъ недавно... въ Берлинѣ... одинъ жидъ, Ляссаль... Умнѣйшій человѣкъ, геніальнѣйшій. За актерку на дуэли убили... хе-хе! За актерку! Онъ доказалъ... какъ дважды два... что всѣ мы втали, хе-хе! Доказалъ, что haereditas jascens... лежащее наслѣдство есть фиксія... хе!.. Фиксія?.. Каюсь... что же, хе-хе... и то сказать... Пухта вралъ, Савинья вралъ... а они почище меня! Мнѣ и Богъ простить!“

Лицо „приказнаго“ сіяло.

— Что? каковъ?.. это небось почестнѣе, чѣмъ по цѣлымъ годамъ квасы-то разводить по новымъ книжкамъ и считать себя непогрѣшимымъ? Тридцать лѣтъ ошибался. Прочелъ. Видить, вѣрно... Ну, и повипислся!.. Вѣчная ему память! Старичокъ! Не вернется! А то онъ бы и здѣсь былъ. Въ послѣдній разъ... въ Сокольникахъ



встрѣтился съ нимъ... Тоже что-то о евреяхъ зашла рѣчь. Способный, говорю, народъ, Никита Ивановичъ, какъ тамъ ни чурайся ихъ. А онъ это въ синихъ брюкахъ своихъ, руку въ карманъ засунулъ лѣвую, съ палочкой, въ картузъ идетъ... и говоритъ: „Мудренаго нѣтъ... хе-хе, при сотвореніи міра съ Іеговой кашу изъ одной чашки ѣли! хе!“ Кто такъ кромѣ его скажетъ?.. Артисты!.. Искра была! Художникъ! Когда умирать собрался, могъ бы воскликнуть: *Qualis artifex pereo!*.. Ученость, братцы, наживное дѣло, а вотъ талантъ: воспитать въ насъ, неотесанныхъ, пониманіе... римскаго духа. И умирать буду, душу отведу на Никитѣ Ивановичѣ!

Всѣ примолкли. Зато изъ залы и изъ сосѣдней комнаты несся все тотъ же пьяный гулъ... Хоръ подхватывалъ куплеты. Цыганскій женскій голосъ въ ность, съ шутковскимъ вывертомъ прозудѣлъ:

„А поручикъ разсудилъ,
Пятьсотъ палокъ закатилъ!
Горричихъ!..

И десятки голосовъ гаркнули вслѣдъ за солисткой:

— Горричихъ!

— А мнѣ вотъ это противно!—заговорилъ приставъ,—хоть я и ушелъ отъ *alma mater*. „Закатилъ!“ Хороша цивилизація! Не римская... Вотъ были бы сервитуты. Я бы пошелъ да и сказалъ: оскорбляете мой слухъ, такіе-сякіе! Срамники! Хоть пѣсню-то почеловѣкоподобнѣе бы выбрали. Что жъ, что вы пьяны? И я пилъ... не меньше вашего, а не буду подтягивать: горричихъ... Чего? Палокъ!.. Эхъ! Татарва, рабы, холопы! отъ головы до пятъ! Больше-то мы должно-быть не стоимъ, какъ пятьсотъ палокъ!

— Брось ихъ!—успокаивалъ Палтусовъ.

— Выпьемъ, товарищъ: отъ тебѣ духами пахнетъ, отъ меня приказной избой! А выпьемъ. *Pereat stultitia, pereant osiores!*

Жжонка не была еще допита. Потекли менѣе связныя рѣчи. Все вокругъ колебалось. Чадъ обволакивалъ пьющихъ и пляшущихъ. Пили больше по инерціи... Пощелуи, объятія грозили перейти въ схватки.

XXXIV.

Началось обратное движеніе въ городъ. Тройки, пары, одиночки неслись къ Триумфальнымъ воротамъ. Часа два вышли на крыльцо и наши пріятели. Они поддержи-



вали новаго знакома. Онъ долго крѣпился, но на морозѣ сразу размякъ, говорилъ еще довольно твердо, только ноги отказывались служить.

— Жжонка подкузьмила, — лепеталъ онъ, — давно не пилъ академическаго напитка.

Его посадили на широкую скамейку рядомъ съ Пирожковымъ. Палтусовъ помѣстился къ нимъ лицомъ на сидѣнье около облучка.

— Братцы, — жалобно просилъ онъ, — вы меня сдайте съ рукъ на руки. Я въ Чельшахъ... въ третьемъ отдѣленіи.

— Опасно, — пошутилъ Пирожковъ.

— А!.. третье отдѣленіе... точно. И сегодня небось изъ пляшущихъ-то были соглядатаи.

Палтусовъ вспомнилъ, какъ студентъ спросилъ его: не изъ соглядатаевъ ли онъ?

— И пускай ихъ, — говорилъ приставъ. — Съ меня взятки-гладки... Нынче Татьянинъ день... можно и лишнее сказать... Римскаго духу нѣтъ въ насъ... И русскій чело-вѣкъ — скудный, захудалый чело-вѣкъ. Никита Ивановичъ, батюшка! Ты воистину рекъ... А и соборы были земскіе... При тишайшемъ царѣ... Недовольныхъ сто чело-вѣкъ и больше... въ Соловки, на цѣпь... Вотъ-те и представители!

Сани подѣзжали къ Тверскимъ воротамъ.

— Куда прикажете, господа? — обернулся извозчикъ. — По Грачевкѣ?

— Куда-а? — протянулъ приставъ.

— Приглашаетъ въ злачное мѣсто, слышишь? — сказалъ ему Палтусовъ. — Иванъ Алексѣевичъ... должно-быть, Татьянинъ день не можетъ иначе кончиться...

— Танцовщицы!.. Проконсулъ Лентулъ... Прелестнѣйшія! Возьмите и меня старичка... только не бросайте... Rogo, dergesog!..

Глазки Ивана Алексѣевича сластолюбиво щурились.

— Пьяно тамъ, въ знаменитыхъ залахъ, наскочишь на скандалъ... Полѣзетъ какое-нибудь животное цѣловаться... Слюняво... Развѣ такъ, келейно?.. И приказный будетъ забавень.

Онъ мигнулъ утвердительно.

— Трогай! — крикнулъ Палтусовъ.

— Эхъ, вы, обывательскія!.. — гикнулъ извозчикъ.

Поскакалъ онъ внизъ по Страстному бульвару, мимо „Эрмитажа“, еще освѣщеннаго во второмъ этажѣ, вскачь



пролетѣлъ площадь и подъемъ на Рождественскій бульваръ и ухнулъ на Грачевку.

— „Крымъ“, — узналъ приставъ и качнулъ головой. — Трущоба!..

Грачевка не спала. У трактировъ и номеровъ подслѣповато горѣли фонари и дремали извозчики, слышалась пьяная перебранка... Городовой стоялъ на перекресткѣ... Сани стучались въ ухабы... Изъ каждаго дверей несло виномъ или постнымъ масломъ. Кое-гдѣ въ угольныхъ комнатахъ теплились лампы. Давно не заглядывали сюда приятели... Палтусовъ больше двухъ лѣтъ.

— Иванъ Алексѣичъ, — толкнулъ онъ Пирожкова. — Помните... Мы всей компаніей отъ Стародумова сюда?.. Какъ жилось тогда!

— Да что это вы, Андрей Дмитриевичъ, точно все извиняетесь. Очень ужъ, батюшка, омѣщались съ коммерсантами!

Палтусову и эти переулки сдѣлались дороги, нужды нѣтъ, что это—презрѣнная Грачевка! На душѣ было не то, не то и въ мысляхъ. Тогда не думалось о ловлѣ людей и капиталовъ. Одно есть только сходство съ тѣмъ временемъ. Нѣтъ любви... Нѣтъ и простой интриги. Ему стало даже смѣшно... Молодъ, ловокъ, вездѣ принять, нравится... если бъ хотѣлъ... Но не захочетъ, и долго такъ будетъ.

Вскачь начали подниматься сани по переулку, въ гору, къ Срѣтенкѣ. По обѣ стороны замелькали огни, сначала въ деревянныхъ домикахъ, потомъ въ двухъэтажныхъ домахъ, съ настежь открытыми ходами, откуда смотрѣли ярко освѣщенные узкія крутыя лѣстницы.

— Юсь!—растолкалъ Пирожковъ сосѣда. — Нашли новый сервитутъ.

— Какой?—пробормоталъ тотъ спросонокъ.

— Увидишь, старче. Вылѣзай! — скомандовалъ Палтусовъ.

Извозчикъ осадилъ лошадей. Круглый зеркальный фонарь бросалъ сношъ свѣта на тротуаръ. Они стояли у подъѣзда новаго трехъэтажнаго дома съ скульптурными украшеніями...

Книга четвертая.

I.

— Дома Иванъ Алексѣевичъ Пирожковъ?—спрашивала Тася Долгушина у толстенькой хорошенькой горничной въ сѣняхъ меблированныхъ комнатъ мадамъ Гужо.

— А вотъ я сейчасъ узнаю-сь...

Горничная убѣжала. Тася поднялась по нѣсколькимъ ступенькамъ на площадку съ двумя окнами. Направо стеклянная дверь вела въ переднюю, налѣво—лѣстница во второй этажъ. По лѣстницамъ шелъ коверъ. Пахло куреньемъ. Все смотрѣло чисто; не похоже было на номера. На стѣнѣ, около окна, висѣла пачка листовъ съ карандашомъ. Тася прочла: „Leider, zu Hause nicht getroffen“ — и двѣ большихъ буквы. Въ стеклянную дверь видна была передняя съ лампой, зеркаломъ и новой вѣшалкой.

Вотъ тутъ бы ей жить, если бъ нашлась недорогая комната... Мать съ каждымъ днемъ ожесточается... Отцу Тася прямо сказала, что такъ долго продолжаться не можетъ... Надо думать о кускѣ хлѣба... Она же будетъ кормить ихъ. На Нику имъ надежда плохая... Бабушка сильно огорчилась, отецъ тоже началъ кричать: „срамишь фамилію!“ Она потерпитъ еще, пока возможно, а тамъ уйдетъ... Скандалу она не хочетъ; да и нельзя иначе. Но на что жить одной?.. Наняла она сидѣлку. И та обойдется въ сорокъ рублей. Даромъ и учить не станутъ... Извозчики, то, другое...

— Пожалуйте въ гостиную, — доложила горничная и миг-



нула своими калмыцкими глазками.—Иванъ Алексѣвичъ сейчасъ сойдутъ.

Изъ передней, гдѣ Тася сняла свое мѣховое пальтецо, она прошла въ гостиную съ двумя арками, сквозь которыя видѣлась большая столовая. Столъ накрытъ былъ къ завтраку, приборовъ на шестнадцать. Гостинная съ триповой мебелью, ковромъ, лампой, картинами и столовая съ ея просторомъ и иностранной чистотой нравились Тасѣ. Пирожковъ говорилъ ей, что живетъ совершенно какъ въ Швейцаріи, въ какомъ-нибудь „пансіонѣ“, завтракаетъ и обѣдаетъ за табльдотомъ, въ обществѣ иностранцевъ, очень доволенъ кухней.

Тася присѣла на диванъ. Пробѣжала собачка. Двѣ горничныя доканчивали уставлять приборы. Было около одиннадцати часовъ. На столѣ передъ диваномъ, около лампы, лежалъ альбомъ. Она занялась альбомомъ.

— Извините, Таисія Валентиновна,—заговорилъ Пирожковъ и подошелъ къ ней маленькими шажками.

— Видите, Иванъ Алексѣвичъ, я васъ отыскала, вы, кажется, испугались за меня?

— Почему такъ?

— Да съ того вечера, когда мы были въ клубѣ... Я сама тоже смутилась... Но съ тѣхъ поръ еще сильнѣе стремлюсь. На Андриюшу плохая надежда... его не залучишь... Повезите меня къ Грушевой.

— Извольте, извольте.

Пирожковъ присѣлъ около нея на диванѣ, хотѣлъ еще что-то сказать и остановился.

— Да вы какъ будто не сочувствуете, Иванъ Алексѣвичъ?

— Не подождать ли вамъ приѣма въ консерваторію?

— Нѣтъ,—горячо возразила Тася,—ждать мнѣ нельзя. Вотъ Новый годъ прошелъ... скоро и масленица... Что жъ мнѣ ждать, Иванъ Алексѣвичъ?

— А Петербургъ?

— Какъ Петербургъ?

— Тамъ можно въ двухъ мѣстахъ учиться и...

— Нѣтъ,—перебила Тася, вся нервная и съ пылающими щеками,—не разстраивайте моего плана... Вы единственный человѣкъ во всей Москвѣ. Въ Петербургъ я не поѣду... Гдѣ я тамъ буду жить? У брата я не стану...

Онъ самъ сейчасъ же сообразилъ, что у такого брата ей жить не пристало.

— Да вы скажите прямо,—продолжала она,—что васъ удерживаетъ?.. Я тогда сама поѣду къ ней.

Пирожковъ протянулъ Тасѣ руку.

— Таисія Валентиновна,—началъ онъ, — боюсь взять грѣхъ на душу.

— Вы все сцену изъ „Кина“ помните!..

— Нѣтъ, не одно это... Грушева талантлива и опытна. Если она заинтересуется вами, вы найдете отличную учительницу... Но какъ это сдѣлать, не бывая у нея, не входя въ ея общество?

— И войду... Я на все рѣшилась...

— Вы не посѣтуете на меня... Я на себя не возьму грѣха.

— Надо было раньше...

Тася отвернулась... Какой байбакъ этотъ Иванъ Алексѣвичъ! Совсѣмъ и на мужчину не похожъ... Все сочувствовалъ, почти подбивалъ, и вдругъ какой-то *cas de conscience*.

— Мы поищемъ,—успокаивалъ ее Пирожковъ,—я поѣду къ Ивану Васильевичу... можетъ, онъ согласится...

— Не надо!—отрѣзала Тася.

— Вы не сердитесь на меня.

— Не надо, не надо! Извините, что побеспокоила!

Она встала. Пирожковъ мягко улыбался.

— Если угодно,—началъ онъ.

— Нѣтъ, я сама... Ахъ, мужчины, мужчины!—вырвалось у ней.—И Андрюшу не буду просить.

— Устроимъ иначе...

— Не надо, Иванъ Алексѣвичъ!

— Я за васъ боюсь...

— Мнѣ двадцать одинъ годъ... Слава Богу, совершеннолѣтняя.

Тася начинала не на шутку сердиться. Она пошла въ переднюю. Пирожковъ за ней. Онъ хотѣлъ было объяснить ей многое, но Тася поспѣшно надѣла свою шубку, кивнула ему головой и сбѣжала съ лѣстницы.

— Позвоните,—кратко сказалъ ей вслѣдъ Пирожковъ съ площадки.

Она дернула за ручку звонка, откуда проволока шла въ кухню.

Ей отперла другая, тоже хорошенькая, горничная. Тася почти выбѣжала на улицу.

Иванъ Алексѣвичъ вернулся въ залу и, заложивъ свои



бѣлая ручка на полную спину, началъ ходить вдоль накрытаго стола... Онъ немного задумался, но губы вскорѣ распустились опять въ улыбку.

Сердится барышня... Ничего! Да, онъ за нее испугался. Сначала онъ гораздо легче посмотрѣлъ на знакомство Таси съ Грушевой, такъ, по-московски... Потомъ, какъ-то на-дняхъ, вспомнилъ все и сообразилъ.

Отворилась половинка двери изъ комнаты, выходящей въ столовую.

— Bonjour, madame, — поздоровался Пирожковъ.

Хозяйка отвѣтила ему громкимъ: „Bonjour, cher monsieur“, и начала сама поливать цвѣты изъ небольшой зеленой лейки. Madame Гужо была дородная француженка, уроженка Москвы. Въ инныя минуты на нее жутко становилось смотрѣть — того и гляди хватить ее ударъ. Но она здравствовала, двигалась легко и скоро, точно пузырь по водѣ, на своихъ короткихъ ногахъ, всегда прекрасно обутыхъ. Голова ея, прикрытая маленькой косой и рѣдкими русыми волосами, совсѣмъ точно приросла къ шеѣ. Красное лицо съ сѣрыми, веселыми глазками и крошечнымъ носомъ слегка вздрагивало, когда она шла по комнатѣ. Темное шелковое платье — неизмѣнный ея туалетъ — сидѣло на ней въ обтяжку, всегда отлично сшитое. Такъ же неизмѣнно надѣвался узкій полотняный воротничокъ и банты изъ широкихъ лентъ.

По-русски ее звали Дениза Яковлевна. Она не потеряла манеры немного гдѣть, когда говорила по-французски; русскій разговоръ вела также свободно, съ тѣмъ изяществомъ произношенія, какое дается многимъ француженкамъ, родившимся въ русскихъ городахъ. Дениза Яковлевна любила Россію и находила, что въ Парижѣ и вообще за границей жизнь маленькая, мѣщанская, и желала умереть въ Москвѣ. Свой „пансіонъ“ она держала не то чтобы особенно строго, но кое-кого къ себѣ не пускала, не прибывала вывѣски и даже не печатала объявленій въ газетахъ. Она принимала жильцовъ по рекомендаціи, больше иностранцевъ, охотнѣе мужчинъ, чѣмъ женщинъ. Ей хотѣлось, чтобы ея „maison“ былъ единственный во всемъ городѣ. Порядочность, мягкость, хорошій тонъ поддерживались ею и за табльдотомъ, гдѣ она сидѣла на хозяйскихъ мѣстѣхъ, противъ арокъ гостиной. Она любила завести игривый, но пристойный разговоръ и даже нѣмцевъ-контристовъ приучала къ „causerie“. Кормила она сво-

ихъ жильцовъ сытнымъ французскимъ обѣдомъ, но не избѣгала русской ѣды. Завтраки были въ два блюда. Она не долюбивала тѣхъ, кто опаздывалъ, особенно къ завтраку, и затягивалъ ѣду до двухъ часовъ. Ровно въ двѣнадцать становилось на столъ первое, холодное блюдо.

Съ Пирожковымъ они скоро поладили. Она находила Ивана Алексѣевича едва ли не самымъ порядочнымъ изъ своихъ постояльцевъ. Такихъ молодыхъ людей, дворянскихъ фамилій, живущихъ по зимамъ, „des jeunes savants“, она предпочитала иностранцамъ, даже англичанамъ. Тѣ иногда оказывались за обѣдомъ или безобразно молчаливыми, или безпереронными на свой ладъ. Въ прошломъ году она должна была сдѣлать выговоръ двумъ англичанамъ-пріятелямъ. Они вздумали бросать хлѣбные шарики съ одного конца стола на другой. А иногда ни съ того, ни съ сего обидятся и что-нибудь скажутъ грубое, нѣмцы всплывутъ. Безъ ея вмѣшательства выходили бы исторіи. То ли дѣло Пирожковъ!.. Говорить умно, тихо... il a toujours un petit mot pour rire.

— Хорошо почивали?—спросила madame Гужо по-русски.

— Прекрасно!

II.

Часы въ столовой пробили густымъ, медленнымъ боемъ двѣнадцать.

— Варя!—не громко крикнула Дениза Яковлевна горничной, садясь на свое мѣсто.

Стали собираться пансіонеры. Первымъ вошелъ нѣмецъ съ нѣжно-голубыми глазами и рыженатой бородкой, приѣзжающій на зиму за свѣжей икрой, комиссіонеръ изъ Кенигсберга, потянулъ въ себя воздухъ и заткнулъ себѣ салфетку за галстукъ. Онъ молча поклонился въ сторону хозяйки. За нимъ пришла старая дѣвица-дворянка, лѣтъ подъ семьдесятъ, но еще подвижная, не очень сгорбленная, въ наколкѣ и шали. Она каждое утро, послѣ прогулки, съ десяти часовъ играла этюды и сонаты, справлялась часто о цѣнахъ на разныя бумаги, по-нѣмецки говорила какъ нѣмка, обожала пирожное, заводила разговоры на патріотическія темы, печенки боялась точно яду, а ветчину ѣла только вареную.

Въ боковыхъ комнатахъ около столовой жили пензенскія помѣщицы, мать съ дочерью. Онѣ пріѣхали на зиму. Дочь большая, широколицая, румяная, тяжелая на ходу,



въ провинціальныхъ туалетахъ; мать—сухая, съ просѣдью, вѣчно въ кружевной косынкѣ, съ ужаснымъ французскимъ и нѣмецкимъ языкомъ вмѣшивалась во всѣ разговоры. Дениза Яковлевна съ трудомъ выносила ихъ, особенно мать. Но онѣ были „d'une famille honorable“ и аккуратно платили. Съ собой онѣ привезли сорокъ пудовъ клажи, посуду, горшки, перины, соленье и варенье, даже кадушку моченыхъ яблоковъ. Онѣ было устроили у себя jours fixes, занимали столовую до трехъ часовъ ночи, собирали родню, офицеровъ, танцевали. Но Дениза Яковлевна прекратила эти вечеринки по жалобѣ всѣхъ квартирантовъ. Съ тѣхъ поръ эти дамы дулись на весь табльдотъ и поговаривали, что поѣдутъ доживать зиму въ Петербургѣ. Весь дворъ былъ заставленъ ихъ коробами и ящиками.

Онѣ вышли отъ себя одна за другой, поклонились на ходу и сѣли рядомъ. Дочь сейчасъ же обратилась къ Пирожкову и громко, точно она говоритъ на улицѣ, спросила его:

— Были на бенефисѣ?

— Нѣтъ, собираюсь на повтореніе...

— А я думала, вы намъ расскажете пьесу...

Пирожковъ промолчалъ. Пара пензенскихъ помѣщицъ сначала забавляла его; но въ немъ не было злости; смѣяться надъ ними не хотѣлось.

Собрался весь почти табльдотъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ контористовъ, занятыхъ по утрамъ. Противъ Пирожкова сѣлъ нѣмецъ съ женой и дочерью, дѣвочкой лѣтъ восьми, продающій какіе-то мѣшки въ хлѣбныхъ губерніяхъ, толстый швабъ съ тупымъ взглядомъ и бритыми усами, при бородѣ. Рядомъ съ швабомъ часовой фабрикантъ изъ Женева, лысый брюнетъ, за сорокъ лѣтъ, съ тягучимъ французскимъ выговоромъ, чопорный, въ тугихъ, высокихъ воротничкахъ... Русскихъ молодыхъ людей, кромѣ Пирожкова, не жило въ пансіонѣ. Всего больше правился ему англичанинъ, учитель и корреспондентъ, въ усахъ, въ характерной лондонской жакеткѣ и двѣтномъ галстукѣ, говорившій на трехъ языкахъ, вѣжливый, образованный, самый порядочный изъ всѣхъ иностранцевъ. Онъ былъ, вмѣстѣ съ Пирожковымъ, слабостью Денизы Яковлевны. Зато она не знала, какъ отдѣлаться отъ американца, верзилы вершковъ двѣнадцати, широкоплечаго, пучеглазаго, съ пробормомъ посрединѣ и съ круглой живописной бородой. Онъ приходилъ завтракать и обѣ-

дать, никому не кланаясь, точно въ трактиръ, не могъ выговорить ни одного звука по-французски или по-нѣмецки, изрѣдка бросалъ два-три слова англичанину, откидывался на спинку стула, мылъ руки водой изъ графина и шумно полоскалъ ротъ.

Пензенскія помѣщицы и съ нимъ порывались бесѣдовать, но ихъ англійскій языкъ не пошелъ дальше пяти-шести вокабулъ.

Дѣвушки обносили первое холодное блюдо—винегретъ. Изъ двухъ оставшихся мѣстъ занялъ одно блондинъ, прилизанный, нѣмецкаго профиля, въ черномъ сюртукѣ и очкахъ, съ чуть замѣтной бородкой и усами—балтійскій уроженецъ, дерптскій кандидатъ правъ, проживавшій въ Москвѣ для практики русскаго языка. Все лѣто провелъ онъ около Химокъ, у стараго деревенскаго попа, получившаго извѣстность между нѣмцами искусствомъ практически обучать иностранцевъ, ѣлъ съ нимъ щи и кашу, болталъ съ двумя поповнами и вернулся хоть и съ прежнимъ акцентомъ, но съ гораздо большимъ навыкомъ. За табльдотомъ его обо всемъ спрашивали, посиѣивались надъ его памятью и обстоятельностью. Онъ уже зналъ множество вещей о Москвѣ, всевозможные адреса, часы и дни у докторовъ, адвокатовъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, въ банкахъ и конторахъ, праздники и названія книгъ и улицъ.

III.

Тасю попросила подождать минутку горничная, введя ее въ гостиную Настасьи Викторовны Грушевой.

На Пирожкова Тася махнула рукой, назвала его „тряпочкой“. Къ Палтусову она тоже не хотѣла обращаться... Всѣ они на одинъ ладъ... сначала сочувствуютъ, общаются, дразнятъ, а потомъ и на попятный дворъ... Постыдно!.. Она мигомъ все сдѣлала, узнала адресъ Грушевой, когда ее вѣрнѣе застать, и безъ всякихъ рекомендацій взяла да и явилась.

Грушева жила въ небольшомъ штукатуренномъ флигелѣ съ подъѣздомъ на улицу. Тася легко нашла домъ и попала въ тотъ часъ, когда Грушева кончила завтракать. Гостиная, темноватая широкая комната съ низкими по-голкамъ, заинтересовала Тасю. Стояло много цвѣтовъ. Гемная, репсовая мебель наполняла комнату съ малиш-



комъ. На стѣнахъ висѣло множество фотографическихъ портретовъ. На двухъ столахъ лежали богатые альбомы. Въ шкафчикѣ изъ зеркальных стеколъ поставлены были подарки: сервизъ, позолоченный вѣнокъ, серебряный, выкованный ковчежецъ въ старинномъ вкусѣ. Эти подарки наполнили Тасю особымъ чувствомъ... Нигдѣ ничего подобнаго не дѣлается. Только въ театрѣ!.. Женщина можетъ съ гордостью выставить цѣнные вещи, поднесенныя ей въ бенефисъ отъ восторженныхъ почитателей. И воздухъ въ гостиной Грушевой казался Тасѣ особеннымъ... Пахло, правда, папиросами, но и еще чѣмъ-то хорошимъ, независимымъ трудомъ артистки... Будь это всякая другая квартира—она попала бы къ баринѣ, чиновницѣ, женѣ кого-нибудь или вдовѣ безъ всякой своей физиономіи... А тутъ женщина сама по себѣ значить все... И мужъ при ней только состоялъ бы... Онъ мужъ извѣстной артистки, ничего больше...

Изъ другой комнаты раздавались голоса, мужскіе и женскій... Тася раза два схватывала голосъ Грушевой, знакомый ей по сценѣ. Вѣдь она ужъ не молода, а все еще на первомъ планѣ, переходитъ на другое, болѣе пожилое амплуа... и такъ же талантлива. Про нее всѣ говорятъ, интересуются ею, встрѣчаютъ и провожаютъ рукоплесканиями, когда она читаетъ на какомъ-нибудь вечерѣ съ благотворительною цѣлью... Это особа. Сколько барынь желали бы играть такую роль... завидно!..

Изъ-за портьеры выглянуло сначала лицо. Тася узнала Грушеву, встала съ кресла и покраснѣла.

Къ ней подошла большого роста женщина въ пестрой блузѣ. Широкое, поблеклое и морщинистое лицо ея улыбалось большимъ ртомъ и прищуренными, умными и вызывающими глазами. Ей казалось на видъ лѣтъ подъ сорокъ. Скулы у ней выдавались, довольно длинный носъ сохранялъ пріятную, волнистую линію и загибался немного вверхъ, зубы пожелтѣли, шея, видная изъ-подъ кружевного воротничка отъ кофты, потемнѣла. На головѣ ея былъ надѣтъ домашній батистовый чепчикъ съ оборкой и лентами. На лобъ спускались городки изъ темпорусыхъ волосъ. Станъ ея раздался, но былъ сухошавъ, почти съ плоской грудью. Большія кисти рукъ падали внизъ, какъ у актрисы, хорошо владѣющей ими. На длинныхъ пальцахъ Тася замѣтила нѣсколько колецъ.

— Садитесь, садитесь,—громко пригласила она Тасю, и

сама присѣла къ ней на табуретъ въ позѣ старой знакомой, готовой выслушать что-нибудь интересное.

Тася опустилась на кресло. Она назвала себя, Грушева сдѣлала жестъ головой. Тася въ двухъ словахъ объяснила ей поводъ своего визита. Она не хотѣла упоминать ни о Палтусовѣ, ни о Пирожковѣ, какъ о знакомыхъ Грушевой.

— Вотъ что-о! — оттянула актриса. — А въ консерваторію не хотите?

Тася объяснила ей, что уже поздно, а терять время до будущей осени она не хочетъ.

— Вамъ къ спѣху! — разсмѣялась Грушева и взяла со стола папиросу. — Курите? — спросила она. — Нѣтъ? и прекрасно дѣлаете... У меня вотъ отъ куренья всѣ зубы пожелтѣли.

Она затынулась, еще больше прищурила глаза и нагнула голову къ самому лицу гостыи.

— Настасья Викторовна, — сказала Тася, — вы видите, я серьезно...

Ее опять охватило волненіе. Она не могла докончить.

— Вижу, голубчикъ, вижу!.. Вотъ что я вамъ скажу... Много у меня времени нѣтъ... Знаете, дѣло... Репетиціи, спектакли... я каждый день занята... А вотъ послѣ репетиціи... разъ, другой... въ недѣлю.

Она остановилась.

— Вы... при родныхъ?

— Да, — тихо отвѣтила Тася.

— Они какъ же на это смотрятъ? Кто вашъ отецъ?

— Генераль, — съ усмѣшкой выговорила Тася, и прибавила: — отставной.

— Вонъ видите... Вы меня, пожалуйста, не впутывайте... Я вамъ прямо скажу... Если сразу искры Божьей не окажется... нѣтъ вамъ моего благословенія...

И она потрепала ее по плечу.

Тася опять пріободрилась.

— Настасья Викторовна, — начала она рѣшительнымъ тономъ, — прослушайте меня.

— Роль какую?

— Да, изъ „Шутниковъ“... Я знаю наизусть... Со мной книга.

— Вонъ вы какая! Это хорошо! Книга съ вами есть?

— Есть.

Грушева оглянулась на дверь въ столовую.

— У меня тамъ гости... свои люди... для васъ самый



полезный народъ... одинъ... Рогачевъ... артистъ... вы знаете... а другой авторъ... Сметанкинъ... Они завтракали у меня.

Она встала, подошла къ двери и крикнула:

— Идите сюда, господа!

IV.

Играть при актерѣ, при авторѣ! Сначала у Таси духъ захватило. Грушева, крикнувъ въ дверь, ушла въ столовую... Тася имѣла время приободриться. Пьесу она взяла съ собой „на всякій случай“. Книга лежала въ карманѣ ея шубки. Тася сбѣгала въ переднюю, и когда она была на порогѣ гостиной, изъ столовой вышли гости Грушевой за хозяйкой. За ними слѣдомъ показалась высокая дѣвочка лѣтъ четырнадцать въ длинныхъ косахъ и въ сѣренькомъ, еще полукороткомъ платьѣ.

— Дочь моя,—указала на нее Тася Грушева.

Дочь похожа была на мать глазами и широкими скулами. Она присѣла и прошла черезъ гостиную.

Грушева познакомила Тасю съ обоими мужчинами. Актера Тася видѣла на сценѣ. Онъ былъ сухой, высокій блондинъ, съ большимъ носомъ и сѣрыми глазами на выкатѣ, въ короткомъ пиджакѣ и нестромѣ галстукѣ. Авторъ — какъ-то на бокъ перекосившаяся фигурка, также блондура, взъерошенная, плохо одѣтая, съ ухмыляющимся, фальшивымъ лицомъ. Тася въ другомъ мѣстѣ приняла бы его за „человѣка“.

— Mademoiselle Долгушина... какъ по имени? — спросила Грушева.

— Таисія Валентиновна.

— Намъ кофей подадутъ... А вы, господа, прослушайте... Владиміръ Антонычъ, — обратилась она къ автору, — вы вашу вѣдь успѣете прочесть?

— Конечно-съ,—пожимаясь, сказалъ драматургъ.

— Я дома цѣлый день... Оставляйтесь у меня обѣдать... а вы, Костенька... давайте реплики этой барышнѣ... Сценку, другую... изъ „Шутиковъ“. Наружность самая настоящая, для ingénue. Не такъ ли, господа?

Актеръ одобрительно промывчалъ, авторъ кисло усмѣхнулся. Грушева сѣла къ столу. Тася осталась посрединѣ гостиной, актеръ около нея на стулѣ, держалъ книгу, авторъ помѣстился на диванѣ.

Принесли кофей. Грушева кивнула Тасѣ головой: не желаетъ ли? Тася отказалась. Ей было не до кофейю.

— Костенька! Начинайте!—скомандовала Грушева.

Актеръ далъ реплику. Тася заговорила. Сначала у ней немного перехватило въ горлѣ. Но она старалась ни на кого не глядѣть. Ей хотѣлось чувствовать себя какъ въ комнатѣ старухъ, вечеромъ, при свѣтѣ лампочки, пахнувшей керосиномъ, или у себя на кровати, когда она въ кофѣ или рубашкѣ вполголоса говорить цѣлыя тирады.

Сцена пошла все живѣе и живѣе... Актеръ читалъ горловымъ, непріятнымъ голосомъ съ подчеркиваньемъ, но онъ держалъ тонъ; Тасѣ нужно было энергичнѣе выговаривать. Самый звукъ голоса настоящаго актера возбуждалъ ее. Онъ умѣлъ брать паузы и давалъ ей время на мимическую игру. Черезъ пять минутъ она вошла совсѣмъ въ лицо Вѣрочки.

— Вѣрно-съ!—откликнулся съ дивана авторъ жидкимъ голосомъ.

— Такъ, такъ,—какъ бы про себя выговорила Грушева.

Но эти два слова подхвачены были ухомъ Таси. Она пошла смѣлѣе, смѣлѣе. Въ голосѣ у ней заиграли и смѣхъ, и слезы... Движенія стали развязнѣе... Глаза блестя... щеки разгорѣлись... Точно она уже на подмосткахъ.

— Bravo! — крикнула Грушева и поцѣловала ее. — Славно! Костенька! А!..

— Съ огонькомъ,—сказалъ актеръ и тоже всталъ.

Тася поблагодарила его за трудъ.

— Владиміръ Антонычъ, какъ находите? — спросила Грушева автора.

— Пониманье-съ, пониманье-съ и огонекъ... — сказалъ онъ, и его желтые глаза заискрились.

— Вамъ стоить поработать,—рѣшила Грушева.— Вотъ попросите, чтобы Владиміръ Антонычъ вамъ рольку далъ на дебютъ.

— Дебютъ... Еще далеко!—вырвалось у Таси.

— Не такъ далеко!.. Костенька... не правда ли, какъ это она хорошо сказала... въ томъ мѣстѣ?

— Весьма, весьма,—все съ той же важностью подтвердилъ актеръ и закурилъ сигару.

— Послушайте... ахъ забыла... имя у васъ мудреное... Такъ вотъ что, барышня... вы у меня побудьте... Владиміръ Антонычъ намъ пьеску новую прочтетъ... Вы про-



слушайте... Вѣдь ей можно?—обратилась Грушева въ сторону автора.

— Почему же-съ... Сдѣлайте одолженіе...

— Можетъ, и тутъ ролька найдется... У насъ теперь никого нѣтъ.

— Гдѣ?—громко вздохнула Тася.

— Садитесь, садитесь, вотъ сюда,—усадилъ ее Грушева рядомъ съ собой и взяла за руку.—Это нашъ Сарду,—шепнула она ей на ухо.—Ловко передѣлываетъ, отлично труппу изучилъ... Вы съ нимъ полюбезнѣе... въ самомъ дѣлѣ рольку напишете. Онъ нашъ поставщикъ.

Авторъ пошелъ за тетрадью въ столовую. Актеръ расположился на кушеткѣ съ ногами и продолжалъ курить. Тася, вся раскраснѣвшаяся отъ неожиданнаго усиѣха, еле сидѣла на мѣстѣ.

— Костенька!—окликнула Грушева,—вѣдь право хорошо... Барышня-то?..

Онъ только одобительно кивнулъ головой.

— Вы играли?—спросила Тася Грушева.

— Разъ всего, въ любительскомъ.

— И не играйте теперь больше,—сказалъ актеръ.—Любители—губители.

— Это онъ вѣрно,—подтвердила Грушева интонаціей изъ какой-то комедіи.—Ну, да мы поговоримъ съ вами, голубчикъ, послѣзавтра я свободна.

„Поставщикъ“ вернулся и присѣлъ къ столу съ тетрадью.

„Вотъ я какъ,—радостно подумала Тася,—сочинителя буду слушать“.

V.

Чтеніе продолжалось два часа. Авторъ читалъ по-актерски, мѣняя голоса; многое ему удавалось, особенно женскія интонаціи. Пьеса была въ двухъ актахъ, комедія, съ главной ролью для Грушевой. Лица носили русскія фамиліи, но вездѣ сквозила французская подкладка. Тася это понимала. Но ей нравились развитіе сюжета, отдѣльными сценами, бойкость діалога. Она слушала внимательнѣе всѣхъ. Драматургъ это замѣтилъ и нѣсколько разъ улыбнулся ей. Грушева останавливала его часто: то заставить выкинуть слово, то найти, что такая-то сцена „ни къ селу, ни къ городу“. Тотъ отмѣчалъ на поляхъ карандашомъ. Актеръ былъ несовсѣмъ доволенъ своей ролью и больше мычалъ.



— А знаете что, — сказала Грушева послѣ первого акта, — у васъ эта Наденька-то... чуть намѣчена... А вы бы развили... Отличная ingénue выйдетъ...

— Какъ же теперь можно, Настасья Викторовна? Пьеса процензурована... И бенефисъ вашъ черезъ мѣсяцъ.

— Вотъ бы ей, — Грушева указала на Тасю.

— Къ будущему сезончику соорудимъ.

И при чтеніи второго акта, Грушева останавливала автора, требовала сокращеній. Актеръ, напротивъ, находилъ, что ему „нечего почти говорить“. Драматургъ убѣждалъ его въ томъ, что онъ можетъ „создать цѣлое лицо“. Начали они спорить, разбирать разныя сценическія положенія, примѣривать роли къ актерамъ, кому что пойдеть и кто въ чемъ можетъ быть хорошъ. Тася все это слушала, затанувъ дыханіе, чувствовала, что она еще не можетъ такъ разсуждать, что она маленькая, не въ состояніи сразу опредѣлить, какая выйдетъ роль изъ такого-то лица: „выигрышная“ или нѣтъ. Она слушала и щеки ея горѣли. Да, она рождена быть актрисой. Все ей нравилось, пріятно щекотало ее, будило неизвѣданное чувство борьбы, риска, новизны: и эта Грушева съ ея умѣлымъ, пріятельскимъ разговоромъ, и близость „сочинителя“, и актеръ съ его мычаніемъ, бритымъ подбородкомъ, одобрительными восклицаніями и требованіями. Въ этомъ именно мірѣ и будетъ ей хорошо, ни въ какомъ другомъ. И что сравнится съ ощущеніями дебюта, когда и первая „читка“ доставила ей сейчасъ такое наслажденіе? Только тутъ и можно жить! Она и теперь чувствуетъ, что значить „сливаться съ лицомъ“, совсѣмъ забывать самое себя.

Кончилъ читать драматургъ. Грушева встала, подошла къ столу, нагнулась надъ нимъ и дѣловымъ тономъ сказала: — Идетъ!

Актеръ сиустилъ ноги съ кушетки и крикнулъ.

— Константинъ Григорьевичъ недоволенъ, — замѣтилъ сочинитель.

— Къ концу лучше роль.

— Полноте, Костенька, — успокаивала Грушева, — съ гри-мировкой и если воспользоваться хорошенько послѣдней сценой, и очень живеть. А купюры нужно! На одну третъ извольте-ка покровсать, голубчикъ...

Стали торговаться, — что именно и сколько урѣзать. Авторъ сначала убѣждалъ, а потомъ сталъ входить въ амбицію.



Но Грушева повернула по-своему, не дала ему торгаться, сама отчеркнула въ разныхъ мѣстахъ карандашомъ, и онъ послушался.

Тася начала прощаться съ ней. Грушева поцѣловала ее, увеза въ спальню, потрепала еще разъ по плечу, сказала съ удареніемъ, что „искра есть“, назвала нѣсколько пьесъ и назначила два раза въ недѣлю между репетиціей и обѣдомъ.

— Какія же ваши условія, Настасья Викторовна? — чуть слышно выговорила Тася.

— Что?.. Условія?.. Да вы богатая?..

— Нѣтъ,—не затруднилась отвѣтить Тася.

— Уже это мы послѣ... Что жъ мнѣ съ васъ брать? Если настоящую плату... въ родѣ моихъ разовыхъ... Дорого! Вотъ въ Петербургѣ, я слышала, по семидесяти пяти рублей за роль берутъ... Я этимъ не живу, голубчикъ... Ходите...

— Даромъ,—шептала она,—я не хочу...

— Глядя, по разсмотрѣнію,—разсмѣялась Грушева.

Все это было сказано такъ добродушно и просто, что Тася чуть не прослезилась. Она бросилась цѣловать Грушеву.

— Глядя, по разсмотрѣнію,—повторила Грушева и проводила ее въ переднюю.

Въ саняхъ Тася чуть не прыгала. И чего этотъ Пирожковъ пугалъ?.. Славная жепщина! Сейчасъ оцѣнила, приняла участіе, такъ съ ней ловко и хорошо! И прилично... Правда, актеръ сѣлъ съ ногами на кушетку... Но они товарищи.

Полгода какихъ-нибудь и съ такою учительницей—дебютъ, поддержка. Всѣ ее знаютъ, слушаются, „сочинитель“ не очень-то съ ней разсуждаетъ. Взяла карандашъ и вычеркнула всѣ „длинноты“.

Захотѣлось Тасѣ заѣхать къ Пирожкову и сказать ему, что онъ „тряпочка“. Но она не войдетъ къ нему, а только напишетъ тамъ на стѣнѣ и попроситъ горничную...

Такъ она и сдѣлала—позвонила, вошла, оторвала листокъ и написала карандашомъ:

„Ахъ, Иванъ Алексѣичъ! Тряпочка вы! Была; нашли талантъ. Плыву на всѣхъ парусахъ и вамъ того же желаю“.

Листокъ она свернула въ трубочку и отдала Варѣ.

Къ обѣду Тася поспѣла домой.

VI.

Только что Пирожковъ поднялся къ себѣ, послѣ завтрака, за нимъ приближала Варя. Его прислала звать хозяйка.

— Очень нужно васъ,—прибавила запыхавшаяся Варя.

Онъ сошелъ внизъ. Дениза Яковлевна ходила по залу скорыми шагами, въ большомъ волненіи.

— Mon ami!..—воскликнула она,—это ужасно!

И тутъ, пополамъ по-французски, пополамъ по-русски, рассказала цѣлую исторію своихъ несчастій, грозящихъ ей совершеннымъ разореніемъ.

Пирожковъ ничего не зналъ. Оказалось, что она заарендовала домъ у купца, пять лѣтъ платила аккуратно, потомъ концовъ съ концами не свела и задолжала ему. Онъ въ уплату долга взялъ всю ея мебель и позволилъ ей продолжать дѣло уже въ званіи распорядительницы, за что она оставила себѣ пятьдесятъ рублей, а весь чистый барышъ ему. Все шло хорошо; но она перестала ладить съ поваромъ. Онъ воровалъ, умничалъ, кричалъ на нее, а теперь, когда она его разочла, стакнулся съ приказчикомъ хозяина и грозитъ выгнать ее вонъ, буянить пьяный въ кухнѣ. Завтра будетъ приказчикъ... Онъ уже приходилъ разъ и сказалъ, что Гордей Парамонычъ приказалъ вамъ „отдать отчетъ и ежели дохода за три послѣдніе мѣсяца нѣтъ, то не прогнѣваться“.

Дениза Яковлевна, рассказывая все это, то била кулакомъ по столу и вскрикивала „le gredin“, то принималась плакать, то проклинала страну, гдѣ „нѣтъ никакихъ законовъ“. Пирожковъ старался доказать ей, что нельзя было съ купчиной ладиться безъ контракта, не выговорить на бумагѣ даже того, какія вещи изъ мебели, посуды, бѣлья составляютъ ея собственность. Дениза Яковлевна соглашалась, называла себя „vieille sotte“, а черезъ минуту начинала опять возмущаться, вздѣвать кверху руки и кричать, что „dans ce gueux de pays tout est possible“.

Иванъ Алексѣевичъ предложилъ ей поговорить съ другими пансіонерами за чаемъ, не согласятся ли они обратиться съ письмомъ къ этому „Гордею Парамонычу“, гдѣ сказать, что всѣ они чрезвычайно довольны госпожей Гужо и не желаютъ очутиться въ номерахъ, управляемыхъ грязнымъ поваромъ.



Дениза Яковлевна расцѣловала его въ обѣ щеки.

Пирожковъ тутъ же набросалъ текстъ письма. Въ десятомъ часу собирались жильцы пить чай. Дениза Яковлевна прилегла на постель. Ее душило. Она не могла справиться съ волненіемъ. Да и какъ же ей самой просить пансіонеровъ. Чай разольетъ Варя.

Сошли въ залу: старая дѣвица-дворянка, американецъ, дерптскій кандидатъ и помѣщица съ дочерью. Пирожковъ сообщилъ имъ, въ чемъ дѣло. Мать съ дочерью разохались, вторила имъ старая дѣвица, кандидатъ сталъ по-русски разсматривать дѣло съ юридической точки зрѣнія. Но когда Пирожковъ предложилъ подписать письмо, всѣ отказались, говоря, что они не могутъ входить въ такіа дѣла; американецъ ничего не понялъ и даже отвернулся отъ Пирожкова. Дениза Яковлевна изъ своей комнаты все это слышала. Отворилась дверь, она выбѣжала съ примочкой на головѣ, но въ застегнутомъ до-верху корсажѣ, подбѣжала къ самовару и начала говорить. Посыпались упреки, увѣреніе, что ей ничего не надо, что она не думала выпрашивать у нихъ заступничества, что „cet excellent monsieur Pirochkoff“ самъ отъ себя предложилъ имъ, что она завтра же очутится „sur le ravin“, послѣ шестнадцати лѣтъ, въ продолженіе которыхъ „elle gérait une maison modèle“... Кончилось слезами, дамы тоже заговорили, обидѣлись, дерптскій кандидатъ старался найти „законную почву“, Пирожковъ не зналъ, куда ему дѣваться. Madame Гужо расплакалась и убѣжала обратно къ себѣ. Всѣ накинулись на Пирожкова. Онъ надѣлалъ всю эту кутерьму; особенно брюзжала старая дворянка. Наслыу онѣ ушли, спрашивая его же: а будутъ ли ихъ держать до конца мѣсяца и кому жаловаться, если вдругъ хозяинъ дома погонитъ сначала мадамъ Гужо, потомъ и нѣ?...

Варя попросила его къ Денизѣ Яковлевнѣ. На нее страшно было смотрѣть. До истерики дѣло, однакоже, не дошло. Пирожковъ сѣлъ у кровати и старался толкомъ разспросить ее: имѣетъ ли она хоть какія-нибудь фактическія права на инвентарь? Ничего на бумагѣ у ней не было. Онъ ей посовѣтовалъ, — отложивъ свой гоноръ, — поѣхать завтра утромъ къ Гордею Парамонычу, просить ее оставить до весны, а самой искать компаньона.

— *Perdue, perdue!*..—повторила Дениза Яковлевна, поводя налившимися кровью глазами.

Объщала она рано утромъ ѣхать къ хозяину, только просила Пирожкова быть дома, когда придетъ приказчикъ. Она боялась повара, ждала „quelque brutalité“ и жалобно охала, растягивала возгласы.

А внизу, въ кухнѣ, бушевалъ пьяный поварь,—его не хотѣли-было пускать ночевать.

Онъ вломился силою, занялъ свой уголъ, послалъ кухоннаго мужика за пивомъ, зажегъ нѣсколько свѣчей и порывался по лѣстницѣ въ комнаты.

— Я тебя, толстая колода!—хрипѣлъ онъ, нахлобучивая на затылокъ бѣлый беретъ.—Вотъ тебя завтра фуктелями, фуктелями!..

Варя прибѣжала къ хозяйкѣ въ страшномъ перепугѣ. Дениза Яковлевна вскочила и хотѣла посылать за полицейскими. Пирожковъ насилу удержалъ ее. Онъ же долженъ былъ призвать дворника; но дворникъ держалъ руку повара, черезъ него и домовый приказчикъ подружился съ поваромъ.

До двѣнадцатаго часу пансіонъ находился въ осадномъ положеніи, пока поварь не заснулъ, мертвецы напившись.

Старая дворянка сошла сверху освѣдомиться: будетъ ли завтра утромъ какой-нибудь завтракъ.

Пирожковъ, измученный, поднялся въ свою комнату. Онъ съ грустью посмотрѣлъ на свои книги, покрытыя пылью, на микроскопъ и атласы. День за днемъ уплывали у него въ заботахъ „съ боку-припѣка“, Богъ знаетъ за кого и за что, точно будто самъ онъ не имѣетъ никакой личной жизни.

И вездѣ-то всплывалъ передъ нимъ купецъ. Въ исторіи его квартирной хозяйки, француженки, опять онъ, опять „Гордей Парамонычъ“. А вотъ самъ онъ—дворянское дитя—состоитъ въ какихъ-то приспѣшникахъ и сочувственникахъ, никому онъ не можетъ помочь, какъ слѣдуетъ, безсиленъ сдѣлать и пакость, и фактическое добро, никто за нимъ не охотится, не возжелѣтъ къ его мощнѣ, потому что „мощны“—то нѣтъ. Даже Тася, и та написала: „Тряпочка вы, Иванъ Алексѣичъ“.

Еще мѣсяцъ, два—и зима прошла, то-есть цѣлый годъ; а все что-то притягиваетъ къ этой мужицкой и купеческой Москвѣ. Иванъ Алексѣичъ покраснѣлъ, вспомнивъ, какъ давно онъ не видался ни съ кѣмъ изъ прежнихъ знакомыхъ, университетскихъ, изъ того „кружка“, кото-



рый казался ему талантливѣе и лучше всего, что могъ дать ему Петербургъ.

VII.

Рано утромъ, часу въ девятомъ, въ передней, на желтомъ ясеневомъ диванѣ, уже сидѣлъ, сгорбившись, остриженный въ скобку мужичокъ-приказчикъ Гордея Парамонича. Его приняли бы за кучера или старшаго дворника по короткой ваточной сибиркѣ изъ темно-синяго сукна и смазнымъ сапогамъ, пустившимъ духъ по гостиной и столовой. Тулупъ онъ оставилъ въ кухнѣ, черезъ которую и поднялся.

Горничныя, убиравшія обѣ комнаты, ходили мимо него и шумѣли накрахмаленными юбками. Онъ имъ уже поклонился раза два, при чемъ волосы падали ему на посъ и онъ ихъ отмахивалъ назадъ привычнымъ движеніемъ головы. Ему на видъ казалось лѣтъ подъ пятьдесятъ.

Варя уже два раза докладывала, что приказчикъ пришелъ, но Дениза Яковлевна, плохо спавшая, проснулась еще нервнѣе вчерашняго; а этотъ ранній приходъ приказчика разстроилъ весь ея планъ. Онъ предупредилъ ея визитъ хозяйну. Какъ тутъ быть?.. Помочь, наставить ее можетъ только „cet excellent Pirochkoff“. Варя была послана наверхъ. Ивана Алексѣевича будили въ нѣсколько приемовъ. Къ девяти часамъ онъ, наконецъ, пробормоталъ, что сейчасъ одѣнется и сойдетъ внизъ. Дениза Яковлевна съ вечера уже приготовила свое черное шелковое платье съ кружевной мантилей и разложила ихъ по комнатѣ. Она одѣвалась торопливо, оборвала двѣ пуговицы спереди на корсажѣ, который такъ и трещалъ. Больше полугода не надѣвала она этого платья.

— Что онъ дѣлаетъ?—спрашивала она у Вари въ пятый разъ о приказчикѣ.

— Сидитъ-съ...

— И ничего не говоритъ?

— Ничего-съ...

— А Филатъ?

Филатъ было имя повара, виновника всей исторіи, въ самомъ дѣлѣ грозившей ей возможностью очутиться вдругъ „sur le pavé“.

— Дрыхнеть-съ...

Варя разсмѣялась.

— Nein... что такое?



— Храпять-съ... — съ презрѣніемъ выговорила Варя и подала хозяйкѣ мантилью и батистовый носовой платокъ, sprыснутый одеколономъ.

— А тотъ... другой... поваръ?

— Еще не бываль-съ.

— Господинъ Пирожковъ?

— Сейчасъ сойдутъ... одѣваются...

Кофею Дениза Яковлевна напилась основательно. Съ пустымъ желудкомъ, какъ всѣ французы и француженки, она чувствовала себя и съ пустой головой. Для всякаго разговора по дѣлу, а особенно по такому, ей необходимо было имѣть что-нибудь „sur l'estomac“. Она скушала три тартинки. Въ залу не вошла она прежде, чѣмъ не услышала короткихъ шажковъ Ивана Алексѣевича, съ перевальцемъ и съ пріятнымъ поскрипываніемъ.

— Il est là! — съ дрожью и глухо вскрикнула она, пожавъ руку Пирожкову.

— Кто?

Онъ спросонья все еще не особенно понималъ, въ чемъ дѣло.

— Mais lui... le pricastchik... Je le connais!.. c'est l'ami de l'autre.

И она опустила жирный указательный палецъ внизъ, къ полу, желая показать, что „тотъ“, то-есть поваръ Филать, тамъ внизу.

— Вѣда еще не большая, — успокоительно замѣтилъ Пирожковъ, — онъ вѣдь и хотѣлъ прислать приказчика.

Но Дениза Яковлевна заволновалась. Она не знаетъ, что съ нимъ говорить, не побывавъ у Гордея Парамоныча.

— Такъ ему и скажите... Онъ подождетъ...

— Mais il est capable de faire une saisie!..

— Какая saisie?.. — остановилъ ее Пирожковъ. — Ему не пужно прибѣгать ни къ какимъ мѣрамъ. Вѣдь здѣсь и безъ того все принадлежитъ вашему Гордею Парамонычу.

— Dieu, Dieu! — заплакала Дениза Яковлевна и схватилась за голову.

Предстояло повтореніе вчерашней сцены. Пирожковъ чуть замѣтно поморщился. Искренно жаль ему было француженку, но и очень ужъ она его допекала своей тревожностью. Онъ видѣлъ, что она ничего не добьется. Дениза Яковлевна, кромѣ гонора женщины, смотрящей



на себя какъ на тонко воспитанную особу, приобрѣла въ Москвѣ чисто русское барство... Ей не по чину было кланяться всякому приказчику въ сибиркѣ и ладить съ пьянымъ поваромъ, хотя бы это былъ вопросъ о кускѣ хлѣба.

— Parlez lui de grace...—упрашивала она Пирожкова.

— Позовите его сюда...

— Non, non... я уйду!..

И она убѣжала опять къ себѣ. Пирожковъ дошелъ до передней, гдѣ приказчикъ кланялся ему уже разъ, когда онъ проходилъ мимо, и окликнулъ его:

— Вы отъ Гордея Парамоныча?

— Такъ точно,—мягко отвѣтилъ приказчикъ и сейчасъ же всталъ.

— Пожалуйте сюда...

Приказчикъ сталъ у порога гостиной. Пирожковъ объяснилъ ему, что Дениза Яковлевна сама поѣдетъ къ его хозяину, а онъ будетъ такъ добръ и обождетъ или сѣздить съ ней вмѣстѣ.

— Да это они напрасно-съ, — заговорилъ приказчикъ, поглядывая на полъ и въ бокъ, — Гордей Парамонычъ ихъ препоручили. Со мной и документикъ, довѣренность... если мадамъ сумлѣвается... а такъ какъ по описи надо принять все и расчетъ за три мѣсяца...

Пирожковъ потрепалъ его по плечу и тихо сказалъ:

— Вы, дружище, успѣете... а она дама, надо же и ей уваженіе сдѣлать...

— Это точно... Я подожду-съ...

— Вы ужъ безъ Денизы Яковлевны ничего не производите... она боится...

— Что жъ я могу безъ нихъ? Напрасно онѣ беспокоятся...

Приказчикъ тряхнулъ волосами и прибавилъ:

— Женское дѣло!.. Извѣстно.

VIII.

Варя сбѣгала за извозчикомъ. Дениза Яковлевна надела на голову тюлевую косынку, на шею нитку янтарей и взяла всѣ свои книжки: по забору провизин, приходо-расходную и еще двѣ какихъ-то. Она записывала каждый день; но чистаго барыша за всѣ три мѣсяца приходилось не больше ста рублей. Она успѣла рассказать это Пирожкову, пригласивъ его къ себѣ въ комнату еще разъ.



— Знаете,—шепнул онъ ей,—для своего спокойствія, возьмите вы его съ собой... приказчика...

— Онъ не поѣдетъ...

— Поѣдетъ... я ему скажу...

Въ передней мадамъ Гужо гордо поклонилась приказчику и предоставила Пирожкову переговорить съ нимъ.

— Вотъ онъ, — указалъ Иванъ Алексѣвичъ на француженку, — просить васъ съ ними доѣхать до Гордея Парамоньча.

— Да я и здѣсь подожду-съ... ничего...

— Успокойте... даму, — съ комической миной сказалъ Пирожковъ.

Приказчикъ появился на одномъ мѣстѣ, повернулъ голову къ двери въ коридоръ, точно поджидая, не появится ли оттуда его благопріятель-поваръ, и выговорилъ:

— Это не суть важно...

Онъ взялъ со стула свою барашковую шапку и отошелъ къ двери.

— Сейчасъ... шубенка моя въ кухнѣ...

Дениза Яковлевна въ шелковой бѣличьей ротондѣ громко дышала и натягивала новую черную перчатку на лѣвую руку.

— Вы видите, онъ смиренный, — сказалъ Пирожковъ.

— Oh! Ces moujiks! La perfidie même!..

Наконецъ-то она уѣхала; но Пирожковъ долженъ былъ общаться не выходить изъ дома и дожидаться ея, — Гордей Парамоньчъ въ пяти минутахъ ѣзды, на бульварѣ.

— Чаю вамъ, баринъ, или кофею? — спросила Варя, почувствовавъ къ нему большое сожалѣніе.

— Все равно, чего-нибудь... сюда.

Наверхъ онъ уже не хотѣлъ подниматься на какихъ-нибудь полчаса. Варя поставила ему большую чашку кофею на столикъ около двери въ комнату мадамы, подъ гравюру „Реформаціи“ Каульбаха, къ которой Пирожковъ сдѣлалъ привычку подходить и въ сотый разъ разглядывать ея фигуры. Принесла ему Варя и газету.

Пирожковъ остановился передъ окномъ, наполовину заслоненнымъ растеніемъ въ кадкѣ. Шелъ мелкій снѣжокъ. Сбоку, влѣво виденъ былъ конецъ бульвара, вправо — пивная съ красно-сипей вывѣской. Прямо изъ переулка поднимался длинный обозъ, должно-быть, съ Николаевской желѣзной дороги. Все та же картина зимней, будничной Москвы.



Раздался громкій, нервный, порывистый звонокъ.

„Это madame“,—подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, и его доброе сердце сжалось, звонокъ что-то не предвѣщалъ ничего хорошаго, хотя могъ быть такой и отъ радости.

Не снимая своей мѣховой ротонды, вкатилась Дениза Яковлевна въ столовую красная и на ходу, задыхаясь, бинула ему:

— Venez, cher monsieur, venez!..

Сибирка приказчика, успѣвшего сбросить съ себя тулупъ на лѣстницѣ, показала въ глубинѣ анфилады.

„Вотъ наказанье!“—про себя воскликнулъ Пирожковъ, отправляясь вслѣдъ за мадамой.

— Oh! le brigand!..—ужъ завизжала Дениза Яковлевна и заметалась по комнатамъ. — Et lui, et sa femme, oh, les coquons!

Послѣдовательно она не въ состояніи была рассказывать. Наткнулась она на жену... та приняла ее за просящую на бѣдность... и сказала: „не прогнѣвайся, матушка“,—передразнила она купчиху. „Elle m'a tutoyé!“ А самъ давно ей „ты“ говорилъ. Онъ только и сказалъ: „Ты мнѣ не ко двору!.. Тысячу рублей привезла ли за три мѣсяца?! „Mille roubles!“...—За домъ мнѣ четыре тысячи даютъ безъ хлопотъ!“

— И дадутъ,—подтвердилъ Пирожковъ.

— Je suis perdue!..—ужъ трагически прошептала Дениза Яковлевна и упала на диванъ, такъ что спинка загремѣла. — Il m'a donné mes quinze jours! Comme à une civinière!..

Слезы текли обильно, за слезами рыданія, за рыданіями маяла-то икота, грозившая ударомъ. Удара боялся Иванъ Алексѣевичъ пуще всего.

— Вотъ что, — заговорилъ онъ ей такъ рѣшительно, что толстуха перестала икать и подняла на него свои круглые, красные глаза, полные слезъ,—вотъ что, у меня есть пріятель...

— Un ami,—машинально перевела она.

— Палтусовъ, онъ съ кушцами въ знакомствѣ, въ дѣлахъ.

— Dans les affaires, — продолжала переводить Дениза Яковлевна.

— Надо черезъ него дѣйствовать... я сейчасъ поѣду.

— Голубчикъ! Родной, батюшка мой!—прорвало французенку.

Она начала душить Пирожкова, прижимать къ своей груди короткими, перетянутыми у кисти ручками.

— Oh, les Russes! Quel coeur! Quel coeur! — всхлипывала она, провожая его въ столовую, гдѣ еще стояла недопитая чашка Ивана Алексѣевича.

IX.

— Вотъ это хвалю!— встрѣтилъ Пирожкова Палтусовъ въ дверяхъ своего кабинета.—Позвольте облобызаться.

Иванъ Алексѣевичъ проѣхалъ сначала въ тѣ меблированныя комнаты, гдѣ жилъ Палтусовъ еще двѣ недѣли назадъ. Тамъ ему сказали, что Палтусовъ перебрался на свою квартиру около Чистыхъ Прудовъ.

Квартира его занимала цѣлый флигелекъ съ подъездомъ на переулокъ, выкрашенный въ желтоватую краску. Окна поднимались отъ тротуара на добрыхъ два аршина. По лѣсенкѣ заново выштукатуренныхъ стѣн шелъ красивый половикъ. Вторая дверь была обита свѣтло-зеленымъ сукномъ съ мѣдными бляшками. Передняя такъ и блистала чистотой. Докладывать о гостѣ ходилъ мальчикъ въ сѣромъ полуфрачкѣ. Въ этихъ подробностяхъ обстановки Иванъ Алексѣевичъ узнавалъ франтоватость своего пріятеля.

Первая комната—столовая—тоже показывала заботливость хозяина, хотя въ ней и не бросалось въ глаза никакихъ особенныхъ затѣй. Тратиться сверхъ мѣры Палтусовъ не желалъ. Кабинетъ отдѣлалъ онъ гораздо богаче остальныхъ двухъ комнатъ, маленькаго салона и такой же маленькой спальни. Кабинетъ онъ оклеилъ темными обоями подъ турецкую ткань и установилъ мягкою мебелью такого же почти рисунка и цвѣта. Книгъ у него еще не было, но шкафъ подъ черное дерево, завѣшанный изнутри тафтой, занималъ всю стѣну, позади кресла за письменнымъ столомъ. Комната смотрѣла изящнымъ „furniture“.

Пирожковъ и Палтусовъ не видались съ самаго Татьяна дни, когда они повезли приказнаго въ веселое мѣсто.

— Чему обязанъ,—шутливо спросилъ Палтусовъ, вводя пріятеля въ кабинетъ, — въ такой ранній часъ? Ужъ не въ секунданты ли?

Онъ на взглядъ Пирожкова пополнилъ, борода разрослась, щеки порозовѣли. Домашній, синій костюмъ, въ



родъ военной блузы, выставялъ его стройную, крѣпкую фигуру. Пирожковъ замѣтилъ у него на четвертомъ пальцѣ лѣвой руки прекрасной воды рубинъ.

— Въ секунданты!—разсмѣялся Иванъ Алексѣевичъ.— Не тѣ времена. Вы въ губерніи сильный человѣкъ, мы къ нашимъ стопамъ прибѣгаемъ.

Палтусовъ подумалъ, что Пирожковъ дурачится, потомъ сѣлъ съ нимъ на низкій, глубокій диванчикъ, на двоихъ. Обстоятельно, полусерьезно, полшутливо разсказалъ ему пріятель исторію „о нѣкомъ поварѣ Филатѣ, его другѣ приказчикѣ, Гордѣѣ Парамоничѣ и его жертвѣ, французской гражданкѣ, Денизѣ-Элоизѣ Гужо“. Исторія насмѣшила Палтусова, особенно картина бушеванія повара и поведеніе жильцовъ со старой дворянкой включительно, спустившейся внизъ узнать, дадутъ ли ей завтракать на другой день.

Но лицо Ивана Алексѣевича сдѣлалось вдругъ серьезнымъ.

— Гогартовская сцена, — сказалъ онъ, — но ее ужасно жаль, она вѣдь очутится sur la raille, какъ въ мелодрамахъ говорится. Я подумалъ, что спасителемъ можете быть только вы.

— Почему?—со смѣхомъ вскричалъ Палтусовъ.

— Купцовъ много знаете...

— Вотъ что...

Но на вопросъ, кто такой этотъ Гордей Парамоновичъ, Пирожковъ затруднился отвѣтить. Онъ не былъ увѣренъ—прозывается ли онъ Федюхинымъ или Дедюхинымъ.

— Такого не знаю, — уже дѣловымъ звукомъ откликнулся Палтусовъ.

Ему радъ онъ былъ услужить хоть чѣмъ-нибудь. Этого человѣка онъ выдѣлялъ изъ всего московскаго обывательства и никогда на него и въ помыслахъ не разсчитывалъ. Онъ записалъ его въ разрядъ милыхъ, бесполезныхъ теоретиковъ, и даже, когда разъ о немъ думалъ, сказалъ себѣ: „Если Пирожковъ проѣстъ свою деревушку, и я къ тому времени буду въ капиталахъ—я его устрою“.

— Справьтесь, другъ, справьтесь... Кто-нибудь изъ вашихъ знакомцевъ.

— Да кто онъ такой?.. ну, хоть приблизительно.

— Кажется, кирпичомъ промышляеть.

— Чудесно! коли это такъ, тогда мы до него доберемся. Да позвольте, можетъ-быть, и я вспомню... Дедехинъ... Федюкинъ...

Палтусовъ началъ припоминать. Пирожковъ окликнулъ его.

— Андрей Дмитриевичъ!

— Что прикажете, дорогой?

— Вѣдь купецъ въ самомъ дѣлѣ все прибралъ къ своимъ рукамъ... въ этой Москвѣ...

— А вы какъ бы думали? — съ этими словами Палтусовъ вскочилъ и заходилъ передъ диваномъ.

Онъ попадалъ на свою любимую тему.

— Вы дайте срокъ, — прибавилъ Пирожковъ, — тутъ еще другая исторія... васъ тоже просить приказано... но только на обѣдъ... И здѣсь купецъ, и тамъ купецъ...

— Раскусили? — съ разгорѣвшимися глазами вскричалъ Палтусовъ, наклоняясь къ гостю. — Я говорю вамъ... никто и не замѣтилъ, какъ вахлакъ наложилъ на все лапу. И всѣхъ съѣстъ, если вашъ братъ не возьмется за умъ. Не одну французскую madame слопаешь такой Гордѣй Парамонъчъ! А онъ навѣрно пишетъ „руль“ — буквами „пъ“. Онъ нѣмца нигдѣ не боится. Ярославскій калачникъ выживаетъ нѣмца-булочника, да не то, что здѣсь, а въ Питерѣ, съ Невского, съ Морской, съ Васильевского острова...

Рѣчь Палтусова прервалъ звонокъ.

— Приемный часъ? — спросилъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Нѣтъ... я позднѣе принимаю... Это кто-нибудь свой. Можеть, Калакуцкій... мой, такъ сказать, принципаль... Вотъ было бы кстати... Онъ навѣрное знаетъ.

— Онъ вѣдь „enterperneur de bâtisses“, какъ въ пѣсенкѣ поется?

— Именно.

Палтусовъ ввелъ въ кабинетъ Калакуцкаго и тотчасъ же познакомилъ съ нимъ Пирожкова.

Иванъ Алексѣевичъ не безъ любопытства оглядѣлъ фигуру подрядчика „изъ благородныхъ“ и остался ею доволенъ; она показалась ему достаточно типичной.

— Душа моя, — торопливо захрипѣлъ Калакуцкій, — я къ вамъ на секунду... завернулъ, чтобы напомнить насчетъ...

Онъ отвелъ Палтусова къ окну и басовымъ хрипомъ досказалъ ему остальное.

Палтусовъ только кивалъ головой. По тому, какъ онъ держался съ „принципаломъ“, Иванъ Алексѣевичъ заключилъ, что подрядчикъ имъ дорожить. Такъ оно и должно



было случиться... Ловкій и бывалый молодецъ, какъ Палтусовъ, стоялъ дюжины подобныхъ „enterperneurs de bâtisses“, про которыхъ поется въ шутовской пѣсенкѣ... Пирожковъ сталъ ее припоминать и припомнилъ весь первый куплетъ:

„Que j'aime à voir autour de cette table
Des scieurs de long, des ébénistes,
Des enterperneurs de bâtisses,
Que c'est comme un bouquet de fleurs!“

— Вотъ, Сергѣй Степанычъ, обяжите маленькой услугой моего пріятеля,—заговорилъ громко Палтусовъ и подвель Калакуцкаго къ дивану.

— Чѣмъ могу?

Палтусовъ объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Какъ зовутъ этого Гордея Парамоныча?

— Не то Федюхинъ, не то Дедюхинъ,—стыдливо произнесъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Федюхинъ!.. А!.. Не Федюхинъ, батюшка, Нефединъ... Это вотъ такъ! Каменоломни имѣеть...

— Да, да!..—обрадовался Пирожковъ.

— Знаю... мужикъ простота.

— А не плутъ?

— Плутъ... разумѣется... но плутуетъ онъ по-христіански, простота... жирный... все у него приказчики... Жена, говорятъ, бьетъ его... По пяти дней запоетъ пьеть каждый мѣсяцъ.

— Какъ вы все это знаете?—вырвалось у Пирожкова.

— Еще бы, на томъ стоимъ... Его просить... да о чемъ же, я все въ толкъ не возьму.

— Сергѣй Степанычъ, вы позвольте мнѣ, — вмѣшался Палтусовъ.—Вы вѣдь въ дѣлахъ съ нимъ...

— Былъ, да и теперь еще придется, но веснѣ.

— Ну, такъ я отъ васъ съѣзжу... и съ Иваномъ Алексѣевичемъ мы обсудимъ... чего практичнѣе добиваться для этой Гужо.

— Вотъ и прекрасно... Какой у васъ пріятель-то,—уважалъ Калакуцкій Пирожкову на Палтусова. — На все время есть!.. Сдѣлалъ бы другой!.. Держите карманъ!.. Андрей Дмитріевичъ у насъ единственный... Вотъ всероссійская выставка будетъ на Ходынскомъ полѣ... Будемъ его выставять! Merci, merci, mon cher... Еще на пару словъ... Мочи нѣтъ, какъ тороплюсь... Мое вамъ почте-



піе, — онъ кивнулъ Пирожкову и увлекъ Палтусова въ столовую.

Тамъ еще минуты съ двѣ слышался его хрипъ, который то опускался, то поднимался. Оба чему-то разсмѣялись и шумно пошли въ переднюю.

„Хлестко живутъ, — думалъ Иванъ Алексѣевичъ, располагаясь поудобнѣе на диванѣ, — въ гору идутъ... Тутъ-то вотъ и есть настоящая русская жизнь, а не тамъ, гдѣ мы ее ищемъ... Палтусовъ и я — это взрослый человѣкъ и ребенокъ“.

Но Иванъ Алексѣевичъ не способенъ былъ кому-либо завидовать. Ему надо одно: быть болѣе хозяиномъ своего времени. Это-то ему и не удалось. Быть-можетъ, съ годами придетъ особый талантъ, будетъ и онъ умѣть бѣдить на почтовыхъ, а не на долгихъ въ своихъ занятіяхъ, въ выполненіи своихъ работъ.

— Каковъ... на вашъ вкусъ? — раздался надъ нимъ звонкій голосъ Палтусова.

— Принципаль?

— Да.

— Матёръ!

— Между нами, — заговорилъ Палтусовъ потише, — онъ ненадеженъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Зарывается... Плохо кончить...

Иванъ Алексѣевичъ услышалъ тутъ же цѣлую исповѣдь Палтусова: какъ онъ попалъ въ агенты къ Калакуцкому, какъ успѣлъ въ какихъ-нибудь три-четыре недѣли подняться въ его глазахъ, добылъ ему поддержку самыхъ нужныхъ и „тузистыхъ“ людей, какъ онъ присмотрѣлся къ этому процессу „объегориванья“ путемъ построекъ и подрядовъ и думаетъ начать дѣло на свой страхъ съ будущей же весны, а Калакуцкаго „lâcher“, разумѣется, благороднымъ манеромъ, и сдѣлаетъ это не позднѣе половины поста. Тогда онъ начнетъ иначе, на другихъ основаніяхъ, безъ татарскихъ замашекъ, на англійскій, солидный образецъ. Да и въ Москвѣ есть люди въ такомъ вкусѣ... Пирожковъ услышалъ имя какого-то Осетрова... Вотъ это человѣкъ! Университетскій кандидатъ, до всего дошелъ умомъ, знаніемъ, безупречной честностью. Кредитъ по всему волжскому бассейну; безъ документовъ наберетъ сколько угодно денегъ въ Нижнемъ, Казани, Астрахани... въ Сибири... Вадимъ Павлычъ, одно слово — и ку-



бышки раздаются и изъ нихъ текутъ рубли въ руки высокодаровитаго предприимателя.

— Вы съ нимъ ужъ въ дѣлѣ? — спросилъ Пирожковъ, проникаясь удивленіемъ къ своему пріятелю, къ той быстротѣ, съ которой онъ проникъ „въ міръ цѣнностей и производствъ“, какъ выражался самъ Палтусовъ.

— Онъ мнѣ далъ два пая въ своемъ послѣднемъ крупнѣйшемъ предпріятіи, — конфиденціальнымъ тономъ сообщилъ Палтусовъ. — Это вздоръ; но дорого вотъ что: поддержать съ нимъ связь.

— Фортуна заполучите, — ласково спросилъ Иванъ Алексѣвичъ, пристально взглянувъ на пріятеля. — И повинность соблюдете.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Вотъ вамъ, какъ духовнику, все разсказать.

Но онъ забылъ или не хотѣлъ сообщить Пирожкову того, что наканунѣ Марья Орестовна Нѣтова, собираясь за границу, поручила ему полной формальной довѣренностью завѣдываніе своимъ „особымъ“ состояніемъ.

— Завлекательно, — выговорилъ Иванъ Алексѣвичъ.

Палтусовъ предложилъ ему закусить. Иванъ Алексѣвичъ съ большой радостью принялъ предложеніе.

— Но, любезный другъ, — говорилъ Пирожковъ, закусывая кускомъ ветчины — они перешли въ столовую, — все это такъ; а конечная цѣль? Дѣльцомъ быть хорошо только до извѣстнаго предѣла... для человѣка, вкусившаго, какъ вы, высшаго развитія.

Палтусовъ не смутился.

— Конечно, — согласился онъ, — что жъ! Вы думаете, я, какъ парижскій лавочникъ или limonadier, забастую съ рентой и буду ходить въ домино играть, или по-россійски въ трехъ каретахъ буду ѣздить, или палатцу выведу на Комскомъ озерѣ и тамъ хоръ музыкантовъ, балетъ, оперу заведу? Нѣтъ, дорогой Иванъ Алексѣвичъ, не такъ я на это дѣло гляжу-съ!.. Силу надо себѣ приготовить... общественную... политическую...

— Ну ужъ и политическую...

— А вы какъ бы думали, Иванъ Алексѣвичъ?.. Изъ-за чего же вы всѣ бьетесь?..

— Кто всѣ? — кротко остановилъ Пирожковъ.

— А вотъ то, что называется интеллигенціей?

— Да мы не изъ чего не бьемся, а киснемъ.

— Ха-ха! Именно! Я не хотѣлъ употреблять это слово...



Я только временно примазывался, Иванъ Алексѣвичъ, къ университету... Но я вкусилъ все-таки отъ древа познанія... И люди, какъ вы, должны будутъ сказать мнѣ спасибо, когда я добьюсь своего... Если вы всё мечтаете о томъ, что нынче называется „идея“, ну представительство, что ли... пора подумать, кто же попадетъ въ вашу палату?..

— Палата!—вздыхнулъ Пирожковъ.

— Кто? Вотъ отъ города Москвы? А? У кого въ рукахъ цѣлыя волости, округи, кто скупаетъ земли, кто кормитъ десятки тысячъ рабочихъ? Да все тѣ же господа коммерсанты, тотъ же Гордей Парамонычъ! Въ думѣ они выкурили дворянъ! Выкурятъ и въ вашей будущей палатѣ.

— Если такіе, какъ Андрей Дмитріевичъ, не возьмутся за умъ,—прибавилъ весело Пирожковъ.

— Безъ ложной скромности, да-съ!..

Палтусовъ выпилъ стаканъ вина.

— Вотъ такіе Калакуцкіе ничего не сдѣлаютъ... Это мыльные пузыри... Раздулся въ нѣсколько минутъ и пафъ!.. Но Осетровъ—вотъ сила... Мнѣ лучшаго образца и не надо!..

— Хотъ бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на вашего богатыря.

— Познакомитесь... современемъ... Вотъ, дорогой Иванъ Алексѣвичъ, мой объектъ...

— Хвалю!

— Такъ вы нашимъ пріятелямъ и скажите: изъ тѣхъ, кто въ Оивайдѣ жили... Палтусовъ, молъ, только временно въ плутократію пустился... Силу накапливаетъ.

— Пріятели!—подхватилъ съ горечью Пирожковъ.—Я никого не вижу... Просто срамъ... Такую ослиную жизнь веду, ничего не дѣлаю, диссертацию заколодило.

— Эхъ, Иванъ Алексѣвичъ, не одни вы... то же поютъ... здѣсь только и можно, что вокругъ купца орудовать... или чистой наукой заниматься... Больше ничего нѣтъ въ Москвѣ... Послѣ будетъ, допускаю... а теперь нѣтъ. Учиться, стремиться, знаете, натаскивать себя на хорошія вещи... надо здѣсь, а не въ Питерѣ... Но человѣку, какъ вы, коли онъ не пойдетъ по чисто ученой дорогѣ, нечего здѣсь дѣлать! Закиснетъ!..

Пирожковъ только вздыхалъ.

— Исключеніе допускаю... для сочинителя, романы кто



пишетъ, комедію... О! здѣсь нища богатаи! Такъ и черпай!.. А за симъ прощайте, буду васъ гнать—пора и за мажачество приниматься.

Онъ позвонилъ и приказалъ мальчику закладывать лошадей.

— И четвероногихъ завели?—спросилъ Пирожковъ, переходя съ хозяиномъ въ кабинетъ.

— Завель, дешевле обходится. А какое же у васъ еще дѣло ко мнѣ?

— Вотъ оно!.. Я забылъ, а вы помните... Поэтому-то вы и достигнете своего; а я съ диссертацией-то превращусь въ ископаемаго, въ улитку... И назовутъ меня именемъ какого-нибудь московскаго трактира... Есть „Terebratula Alfonskii“. Ректоръ такой здѣсь былъ. А тутъ откроютъ „Terebratula Patrikewii“. И это буду я!

Пріятели поцѣловались. Палтусовъ предложилъ-было сани, но Иванъ Алексѣевичъ пошелъ гулять на Чистые Пруды. Они условились повидаться на другой же день утромъ: обработать дѣло мадамъ Гужо.

Х.

Плохо освѣщенная зала Малаго театра пестрѣла публикой. Играли водевиль передъ большой пьесой. Въ амфитеатрѣ сидѣло больше женщинъ, чѣмъ мужчинъ. Всѣ посѣлительницы бенефисовъ значились тутъ на-лицо. Верхняя скамья почти сплошь была занята дамами. Онѣ оглядывали другъ друга, надѣвали перчатки, наводили биночки на бѣгуары и ложи бельэтажа. Двѣ модныхъ шляпки заставили всѣхъ обернуться, сначала на средину второй скамейки сверху, потомъ на правый конецъ верхней. У одной бенефисной щеголихи шляпка, въ видѣ большого блюда, обшитаго атласомъ, сидѣла на затылкѣ, покрытая бѣлыми перьями; у другой — черная шляпка выдвигалась впередъ точно кузовъ. Изъ-подъ него выглядывала голова съ огромными цыганскими глазами. Двѣ круглыхъ, позолоченныхъ булавы придерживали на волосахъ этотъ кузовъ. Пришли еще три пары, всегда появляющіяся въ бенефисахъ, уже не первой молодости, барыни и купчихи, и при нихъ молодые люди, ражіе, съ русыми и черными бородами, въ цвѣтныхъ галстукахъ кольцахъ.

Кресла къ концу водевиля совсѣмъ наполнились. Въ первомъ ряду неизмѣнно виднѣлись тѣ же головы. Между



ними всегда очутится какой-нибудь проѣзжій гусарь, или фигура помѣщика, иногда прямо съ желѣзной дороги. Онъ только что успѣлъ умыться и переодѣться, и купилъ билетъ у барышниковъ за пятнадцать рублей. Въ бельэтажѣ и бенуарахъ не видно особенно изящныхъ туалетовъ. Купеческія семьи сидятъ, дочери впередъ, въ розовыхъ и голубыхъ платьяхъ, съ румяными щеками и приплюснутыми носами. Второй ярусъ почти сплошь купеческій. Въ двухъ ложахъ даже женскія головы, повязанныя платками. Купоны набиты разнымъ людомъ: пріѣзжія, небогатые дворянскія семьи, жены учителей, мелкихъ адвокатовъ, офицеровъ; есть и студенты. Одну ложу совсѣмъ расперли человекъ девять техниковъ. Верхи—бенефисные: чужекъ и кацавеекъ очень мало, преобладаетъ учащаяся молодежь.

Убогій оркестръ, точно въ ярмарочномъ циркѣ, заигралъ что-то послѣ водевиля. Раекъ еще не уgomонился и продолжалъ вызывать водевильнаго комика. Въ креслахъ гудѣли разговоры. Въ залѣ сразу стало жарко.

Вдоль поперечнаго прохода въ кресла подъ амфитеатромъ уже встали въ рядъ: дежурный жаандармскій офицеръ, частный, два квартальныхъ, два-три не дежурныхъ капельдинера въ штатскомъ, старичокъ изъ кассы, чиновникъ конторы и ихъ знакомые, еще нѣсколько неизвѣстнаго званія людей, всегда проникающихъ въ этотъ служебный рядъ.

Всѣмъ хочется посмотрѣть: какой будетъ „пріемъ“ первой актрисѣ. По лѣвому коридору, мимо бенуара, уже понесли двѣ корзинки и вѣнокъ съ буквами изъ фіалокъ и гіацинтовъ. Пріѣхалъ уже старый генералъ въ очкахъ. Передъ нимъ вытянулись внизу, у дивана дежурный солдатикъ и у дверей въ кресла плацъ-адъютантъ. Капельдинеръ, съ этой стороны, развѣтывалъ билеты и глядѣлъ на нихъ въ ріпсе-пез, прикладывая его каждый разъ къ носу. Въ глубинѣ коридора, на скамейкѣ, около хода за кулисы, старичокъ въ длинномъ сюртукѣ съ свѣтлыми пуговицами сидитъ и зѣваетъ.

Послѣ водевиля, сверху затопали по каменнымъ ступенямъ, началось перекочевываніе въ буфетъ черезъ холодныя сѣни мимо кассы, куда все еще приходили покупать билеты, давно распроданные. Сторожа, въ валенкахъ и полушубкахъ, совали входящимъ афиши. Изъ „кофейной“,—такъ зовутъ буфетъ по-московски,—въ ободраную

дверь валить царь. Съ подъѣзда доносятся крики жандармовъ и окрики квартальныхъ. Подъ лѣстницей, при поворотѣ въ кресла, молодецъ въ сибирскѣ бойко торгуетъ пирожками и крымскими яблоками. Въ фойе, гдѣ со всѣхъ лѣстницъ и изъ всѣхъ дверей такъ и вторгается сквозной вѣтеръ, публика уже толчется, ходитъ, сидитъ, усиленно пьетъ сельтерскую воду и морсѣ. Такая же сибирка, какъ и внизу, едва успѣваетъ откупоривать бутылки, наливаетъ и плещетъ на полъ и подносы. Оркестръ смолкъ. Раздался звонокъ со сцены. Два солдата у царской ложи уже наполнили все фойе запахомъ своихъ смазныхъ сапоговъ.

XI.

Передъ самымъ поднятіемъ занавѣса къ большой пьесѣ въ кресла вошелъ Палтусовъ. За зиму онъ пропустилъ много бенефисовъ; вечера были заняты другимъ. На этотъ бенефисъ слѣдовало поѣхать, припомнить немного то время, когда онъ съ пріятельской компаніей отправлялся въ купоны и вызывалъ оттуда, до потери голоса, сегодняшнюю бенефициантку.

Онъ любилъ сидѣть въ мѣстахъ амфитеатра. Въ кассѣ ему оставили крайнее мѣсто на одной изъ нижнихъ скамеекъ. Войдя, онъ остановился въ проходѣ и оглядѣлъ въ бинокль всю залу. Напередъ зналъ онъ, кого увидитъ и въ бенуарѣ, и въ бельэтажѣ, и въ креслахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ заниматься Москвой въ качествѣ „піонера“, онъ все больше и больше убѣждался въ томъ, что „общество“ вездѣ одно и то же — куда ни поѣдешь. Людей много, но люди эти — „обыватели“, какъ выражается и его пріятель Пирожковъ. Вотъ хоть бы сегодня — не къ кому подойти, ни одной интересной женщины. Все купцы и купцы! Палтусовъ начиналъ находить, что изучать ихъ полезно, но по вечерамъ надо хоть бы чего-нибудь поигривѣ. Направо, въ бенуарѣ — знакомое ему семейство. Онъ раскланялся издали. Страшно богатые и недурные люди, гостепріимные и не безъ образованія, но неизлѣчимо скучные. Палѣво тоже знакомые. Тутъ все на дворянскую ногу, жена сейчасъ о литературѣ заговоритъ. И онъ напередъ знаетъ: что именно, и какими тономъ.

Палтусовъ чувствовалъ себя вообще очень довольнымъ. За три дня передъ тѣмъ въ его дѣловой дорогѣ произо-



шелъ поворотъ въ сторону скорого и большого обогащенія. Онъ ужъ болѣе не агентъ Калакуцкаго. Они распрошались безъ непріятностей, по-джентльменски. Черезъ своего принцепала онъ сошелся съ тѣмъ самымъ каменщикомъ, у котораго madame Гужо завѣдывала меблированными комнатами. Этому мужику, по натурѣ доброму, но всегда въ рукахъ какого-нибудь приказчика, понравился статный и рѣчистый баринъ. Отъ него Палтусовъ узналъ въ точности, что Калакуцкій сильно зарвался. Состоять при немъ не было никакого расчета. Палтусовъ откровенно сказалъ Калакуцкому, что хочетъ попробовать начать свое дѣло. Тотъ не сталъ его удерживать. Купецъ обѣщалъ ему залоги. Навертывался выгоднѣйшій подрядъ. До весны все будетъ обработано.

Когда Палтусовъ сѣдился на свое мѣсто, онъ бросилъ взглядъ вверхъ, на ряды амфитеатра. Подъ царской ложей сидѣла Анна Серафимовна Станицына въ своей шляпкѣ съ гранатовымъ перомъ и черномъ платьѣ, прикрытая короткой пелеринкой изъ чего-то блестящаго. Она его тотчасъ же замѣтила, поклонилась степенно, но глаза улыбнулись. Рядомъ съ ней раскинулась ея кузина Любаша, безъ шляпки, съ длинными двумя косами, въ зеленомъ платьѣ съ вырѣзомъ на груди. Палтусовъ не зналъ, кто она. Онъ почтительно поклонился Станицыной, обратилъ вниманіе и на Любашу, и на блондина съ курчавой, чисто купеческой головой, сидѣвшаго рядомъ съ ней. Это былъ Рубцовъ.

Станицыну Палтусовъ не видалъ больше двухъ мѣсяцевъ. Хотѣлъ-было онъ на-дняхъ поѣхать къ ней и поговорить съ ней насчетъ ея „муженька“. Но онъ этого не сдѣлалъ изъ чувства нравственной щекотливости. Это было бы похоже на подлаживанье къ богатой купчихѣ, которая, въ концѣ концовъ, можетъ настоять на разводѣ, выплатить своему Виктору Миронычу тысячъ триста-четыреста отступного... Нѣтъ, Палтусовъ не такъ ведетъ свои дѣла съ купчихами. Вотъ хоть бы Марья Орестовна Нѣтова! Хотя онъ и не фатъ, а трудно ему было не понимать, что она къ нему начинала чувствовать... А развѣ онъ сталъ ее эксплуатировать?.. Она сама передъ отъѣздомъ за границу попросила его быть ея „chargé d'affaires“, дала ему полную довѣренность, поручила свой капиталъ, прямо показала этимъ, что довѣряетъ ему безусловно... Иначе и не могло случиться... Онъ такъ велъ себя съ ней...

Лицо Анны Серафимовны обратилось опять къ нему. Глаза ея, въ полусвѣтѣ театра, казались больше и еще красивѣе. Она немного похудѣла, носъ сталъ тоньше, черный корсажъ изъ шелковаго трико—самая послѣдняя мода—обвивалъ ея грудь и прекрасныя руки. Палтусовъ все это могъ осматривать на свободѣ въ свой бинокль. Препородистая женщина! Онъ не найдетъ привлекательнѣе ея въ гостинныхъ коммерсантовъ. Пора бы ему почаще бывать у пей. Она заслуживаетъ полной симпатіи... Свою печальную долю она несетъ съ достоинствомъ. Дѣло, какъ слышно, она ведетъ отлично, на фабрикѣ устроила школу... Чего же больше желать?.. Нѣтъ въ ней этого противнаго залѣзанья въ баре, не тянется она за титулованными дамами-патронессами, ѣздитъ только въ свое общество, и то очень мало...

А главное, вѣдь она свободная и одинокая молодая женщина. Развѣ она можетъ считать себя обязанной чѣмъ-нибудь передъ Викторомъ Миронычемъ?.. Палтусовъ вспомнилъ тутъ разговоръ съ ней въ амбарѣ, въ началѣ осени, когда они остались вдвоемъ на диванѣ... Какая она тогда была милая... Только песочное платье портило. Но она и одѣваться стала лучше...

XII.

Занавѣсъ поднялся. Черезъ десять минутъ вышла бенефициантка. Театръ захопалъ и закричалъ. Послѣ перваго треска рукоплесканій, точно залповъ ружейной пальбы, протянулись и возобновлялись новые аплодисменты. Капельмейстеръ подаль изъ оркестра корзины одну за другой. Съ каждымъ подношеніемъ рукоплесканія крѣпчали. Актриса—любимица кланялась въ тронутую позѣ, прижимала руки къ груди, качала головой, потомъ взялась за платокъ и въ волненіи прослезилась.

Когда-то Палтусовъ находилъ ее очень даровитой. Но съ годами, особенно въ послѣдніе два года, она потеряла для него всякое обаяніе. Они съ Пирожковымъ зачислили ее въ разрядъ „кривлякъ“ и въ очень молодыхъ роляхъ съ трудомъ выносили. Пьеса шла шекспировская. Бенефициантка играла молоденькую, игривую и ѣдко-острую дѣвушку, очень старалась, брала всевозможные тоны и ни одной минуты не забывала, что она должна плѣнить всѣхъ молодостью, тонкостью и блескомъ дарованія. Но Палтусову дѣлалось не по себѣ отъ всѣхъ этихъ намѣреній

актрисы сильно за тридцать лѣтъ, съ круглой спиной и широкимъ, пухлымъ лицомъ. Онъ поглядѣлъ въ сторону Анны Серафимовны. Она тоже обернула голову. Глаза ея говорили, что и она чувствуетъ то же самое.

„Вѣдь вотъ,—мысленно одобрилъ ее Палтусовъ,—понимаетъ... не то, что всѣ эти барыни и купчихи съ ихъ доморощенными восторгами“.

Въ слѣдующій антрактъ ему захотѣлось подсѣсть къ ней. Но это было не легко. Справа рядомъ съ ней сидѣла странная особа въ косахъ, налѣво, тоже рядомъ,—курчавый молодецъ въ коричневомъ пиджакѣ.

„Вѣроятно, родственники, — соображалъ Палтусовъ. — Вотъ это неприятно: имѣть такую родню!“

Онъ всталъ, наклонилъ голову, улыбнулся Аннѣ Серафимовнѣ и показалъ ей, что ему хочется съ ней поговорить. Она поняла и что-то сказала Любашѣ. Та кивнула головой и вскочила съ мѣста. Ея широкія плечи, руки, размашистыя манеры забавляли Палтусова.

„Прогнала бы ихъ преспокойно, — говорилъ онъ про себя,—пускай идутъ ѣсть крымскія яблоки въ коридоръ“.

Но Любаша сама предложила Станицыной идти въ фойе.

— Сходи съ Рубцовымъ, — сказала Анна Серафимовна не безъ задней мысли.

— Сеня, желаете? — громко спросила Любаша черезъ Станицыну.

— Покурить мнѣ хочется...

— Мы сначала въ фойе... А оттуда и покурите.

— Какъ же ты одна останешься?

— Экая важность! Съѣдятъ меня, что ли?

— Я бы пошла, — хитрила Анна Серафимовна, — да я боюсь сквозного вѣтра.

— А я не боюсь... Сеня, айда!

Анна Серафимовна поглядѣла на Любашу и даже дернула ее легонько за рукавъ.

— А мнѣ наплевать! — шепнула Любаша своей кузинѣ, махнула рукой Рубцову и стала проталкиваться, задѣвая сидѣвшихъ за колѣна.

Не очень ловко было за нее Аннѣ Серафимовнѣ. Но ѣздить одной ей было еще неприятнѣе. Надо непременно завести компаніонку, чтицу, да скоро ли найдешь хорошую, такую, чтобы не мѣшала.

Любаша и Рубцовъ ушли изъ кресель. Анна Серафи-

мовна взглянула влѣво. Палтусовъ улыбнулся и улыбкой своей благодарилъ ее. Ее этотъ человѣкъ очень интересуетъ. Только она-то для него, должно думать, не занимательна. Не бываетъ у ней по цѣлымъ мѣсяцамъ... Какое мѣсяцъ?.. Съ самаго Рождества не былъ!.. Ему не съ такими женщинами, какъ она, весело... Видно, всѣ мужчины на одну стать... Во всѣхъ хоть чуточку да сидитъ ея Викторъ Миropyчъ, который на-дняхъ угостилъ-таки ея векселькомъ изъ Парижа: нашлись добрые люди, дали ему тридцать тысячъ франковъ, навѣрно по двойному документу. И тамъ этимъ не хуже нашего занимаются. О мужѣ она теперь думаетъ только въ видѣ векселей и долговъ. Человѣкъ совсѣмъ не существуетъ для нея. Свободно ей, никто не портитъ крови, не видитъ она, какъ бывало, его долговязой, жидкой фигуры, противной, подкрашенной шеи, нахальныхъ глазъ, прически, не слышитъ его фистулы, насмѣшекъ, словечекъ и французскихъ непристойностей. Только днями засасываетъ ее одиночество. Если бы не дѣти—превратилась бы она въ злобнаго конторщика, въ хозляку-колотовку. Утромъ—счеты, въ полдень—амбаръ, вечеромъ опять счетныя книги, корреспонденція, хозяйственный разговоръ по торговлѣ и производству, да на фабрику надо съѣздить хоть раза два въ недѣлю. Да еще у ней все нелады съ нѣмцемъ-директоромъ, а контрактъ ему не вышелъ, рабочіе недовольны, были смуты, къ веснѣ, пожалуй, еще хуже будетъ. Деньжищъ за Виктора Миropyча по старымъ долгамъ выплачено—шутка—четыреста тысячъ! Даже ея банкирь и пріятель Безрукавкинъ кряхтѣть начинаетъ, и у него не золотыя яйца насѣдка несетъ...

XIII.

Надо было Палтусову пробраться до самой середины верхняго ряда. Это не такъ легко, когда сидятъ все барыни. Анна Серафимовна смотрѣла на него, и только одни глаза ея улыбались, когда какая-то претолстая дама прибирала-прибирала свои колѣни, и все-таки не могла ухитриться пропустить его, а должна была подняться во весь ростъ.

— Чрезъ Оермопилы прошелъ!—сказала ей Палтусовъ и пріятельски пожалъ руку.

Онъ сѣлъ на мѣсто Любаши. Станицыной сильно хотѣлось упрекнуть его за то, что онъ забылъ ее.

— Вот и васъ увидала,—выговорила она съ улыбкой. Это вышло гораздо задушевнѣе, чѣмъ, можетъ-быть, она сама желала.

— Виновать, виновать,—говорилъ Палтусовъ и не выпускалъ еще ея руки,—забылъ васъ. Нѣтъ, это я лгу, не забылъ нисколько.

— А очень ужъ дѣлами занялись?

— Да!

— Вы, я погляжу, Андрей Дмитричъ, смотрите на насъ, какъ бы это сказать... какъ на рѣдкихъ звѣрей...

— Ха-ха-ха, что вы! Господь съ вами!

— Право, такъ. Мы — звѣринецъ для васъ... Или вы насъ на какое дѣло употребляете... Я вообще говорю... про купцовъ.

Въ словахъ ея слышалась тонкая насмѣшка. Палтусова это задѣло за живое; но онъ не сталъ оправдываться... Ему, въ то же время, и понравилась такая шпилька.

— Вы не въ счетъ, — полушутливо вымолвилъ онъ въ томъ же тонѣ.

Ихъ разговоръ шелъ вполголоса. Анна Серафимовна прикрывалась большимъ чернымъ вѣеромъ, за который заходило немного и лицо Палтусова.

— Полноте,—началъ онъ искренной нотой,—вотъ это то и доказательство, что я на васъ совсѣмъ иначе смотрю.

— Что? Не понимаю!.. Ахъ, да! Что вы два мѣсяца глазъ не кажете?..

Аннѣ Серафимовнѣ сдѣлалось вдругъ весело. Столькимъ времени она одна съ приказчиками и кой-какими родственниками... Вотъ только Сеня Рубцовъ — подходящий для нея человекъ; но и его она мало видитъ, онъ по ея же дѣламъ бѣдитъ: то на одной фабрикѣ побываетъ, то на другой... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, ей въ „черничку“ обратиться?

Она повторила свой вопросъ.

— Именно это, — подтвердилъ Палтусовъ и слегка наклонилъ къ ней голову.

— Мудрено что-то...

Длинные свои рѣсницы Анна Серафимовна опустила въ эту минуту. Лицо ея въ полъ-оборота приняло выражение тихой усмѣшки и граціи, которыхъ Палтусову еще приходилось подмѣчать.

И ему стало особенно жаль эту самобытную, красивую и умную женщину, связанную съ такимъ мужемъ, и



Викторъ Мирунычъ... Надо хоть что-нибудь рассказать ей про его похождения. Теперь можно.

— Знаете, — шопотомъ спросилъ онъ, — съ кѣмъ я купилъ двѣ недѣли назадъ?

— Съ кѣмъ?

— Съ вашимъ мужемъ.

Она немного затуманилась, но тотчасъ же весело спросила:

— Нешто онъ здѣсь былъ?

— А вы не знали?

— Говорили мнѣ что-то... будто онъ въ Славянскомъ Базарѣ проживалъ. Я вѣдь мимо ушей пропустила.

Эти слова отзывались уже другимъ чувствомъ. Прежде, полгода тому назадъ, она не стала бы такъ говорить съ нимъ о мужѣ. Презрѣніе ея растеть, да и тонъ у нихъ другой... Внутри что-то пріятно пощекотало Палтусова.

— Анна Серафимовна, — заговорилъ онъ еще искренне, — вамъ бы надо имѣть свѣдѣнія повѣрнѣе.

Она сидѣла съ опущенной головой.

— Что объ этомъ! — вырвалось у нея. — Новаго ничего нѣтъ, все то же.

— Здѣсь не мѣсто, — началъ было Палтусовъ и остановился.

Глаза ихъ встрѣтились.

— Вы все однѣ? — спросилъ онъ.

— Да, и дома одна... Вотъ родственникъ мой наѣзистъ.

— Какой это?

— А что сидитъ рядомъ... Рубцовъ... его фамилія.

— Изъ какихъ?

— Вы хотите сказать: изъ русскихъ или изъ воспитанныхъ на иностранный ладъ?

— Ну, да!

— Онъ изъ умныхъ, — оттянула она. — Только вѣрно съ виду вамъ показался такимъ... Онъ въ Англіи долго жилъ.

— Въ Англіи? — переспросилъ Палтусовъ.

— И въ Америкѣ. Всякую работу работалъ. По восьмидесятому году уѣхалъ. Самъ себя образовалъ.

— Вотъ какъ! Анна Серафимовна, это отзывается романъ: русскій американецъ, или изъ одной комедіи Сарду... вы знаете, вѣроятно?

— Онъ совсѣмъ не американецъ — русакомъ остался...



Вотъ это я въ немъ и люблю. Другіе сейчасъ все обезьянить начнутъ, и шепелявость на себя напустятъ, и воротничокъ такой, и проборъ... а онъ все тотъ же.

— Вотъ что!—сказалъ съ удареніемъ Палтусовъ и бокомъ поглядѣлъ на нее.

XIV.

— Что это вы такъ на меня посмотрѣли? — спросила Анна Серафимовна.

— Ничего! Такъ!..

— Ахъ, Андрей Дмитричъ, вамъ-то не пристало.

Но она сказала это опять-таки *лече*, чѣмъ бы полгода назадъ.

— Что жъ такое?—сталъ съ живостью оправдываться Палтусовъ.— Не придирайтесь ко мнѣ... Хорошій человекъ, молодой, понимающій, да если бъ вы къ нему и страстно привязались, какъ же иначе?.. Въ вашихъ-то обстоятельствахъ?!

Все это онъ выговорилъ тихо, только она могла его слышать въ общемъ гулѣ антракта. И ей пришлось очень по душѣ тонъ Палтусова, простота, пріятельское, искреннее отношеніе къ ней.

Въ отиѣтъ она подняла на него глаза и ласково остановила ихъ на немъ.

— Полноте, — выговорила она и прикрыла опять лицо вѣеромъ.

— Объ этомъ въ другой разъ, — уже совсѣмъ шутливо сказалъ Палтусовъ.— Такъ вы все одна. А кто же эта дѣвица съ длинными косами?

— Двоюродная сестра.

— Нигилистка изъ Татарской?

— Ха-ха! Какъ вы узнали?

— А въ самомъ дѣлѣ, развѣ нигилистка?

— Нѣтъ, какая нигилистка!.. А такъ—праву моему не препятствуй, нынѣшня... Они съ Рубцовымъ препотѣшно воюютъ. Только онъ ее побиваетъ... И тутъ вотъ, кажется, есть влеченіе.

— Съ ея стороны?

— Знаете, какъ прежде наши маменьки говорили: одно сердце страдаетъ, другое не знаетъ.

— Только вамъ съ ней... тяжело?

— Да-а.

— Вамъ бы взятьъ чтицу.

— Я сама объ этомъ думаю... Да гдѣ?

— Поручите мнѣ.

Палтусовъ началъ говорить ей о Тасѣ Долгушиной. Мать ея умерла отъ нервнаго удара, разбившаго ее въ нѣсколько секундъ. Сидѣлка подавала ей ложку лѣкарства; она хотѣла проглотить и свалилась, какъ спонъ, со своихъ креселъ... Генерала, среди его рысканій по городу, захватила продажа съ молотка домика на Спиридоновкѣ. Палтусовъ умолчалъ о томъ, что онъ далъ имъ поддержку, назначилъ родъ пенсіона старухамъ, отыскалъ генералу мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ и уже позаботился пріискать Тасѣ дешевую квартиру въ одномъ нѣмецкомъ семействѣ. Но онъ зналъ ея гордость... Надо было найти ей заработокъ, который бы не отнималъ у ней цѣлаго дни. Отъ Грушевой онъ, вмѣстѣ съ Пирожковымъ, отвлекли ее не безъ труда... Они убѣдили ее дожидаться осени для поступленія въ консерваторію, а пока подыскиали ей руководителя изъ знакомыхъ учителей словесности, хорошаго чтеца... Все это сдѣлалось въ нѣсколько дней. Палтусовъ дѣйствовалъ съ такой задушевностью, что Пирожковъ сказалъ ему даже:

— Я думаю, изъ васъ Чичиковъ выйдетъ, а вы—человѣкъ-рубашка!

— Это вздоръ!—отвѣтилъ Палтусовъ безъ всякой рисовки.

Дѣлать толковое добро доставляло ему положительное удовольствіе.

Анна Серафимовна кивала все головой, слушая его.

— Что жъ,—откликнулась она тотчасъ же,—я съ радостью возьму вашу родственницу...

— Когда привезти?

— Да каждый день я дома отъ четырехъ часовъ.

Палтусовъ нагнулся къ ея уху.

— Вотъ видите, все-то теперь коммерсантамъ служить.

Генеральская дочь—въ чтицахъ...

— У купчихи,—подсказала Анна Серафимовна.

— Самъ генераль—у табачнаго фабриканта въ надзирателяхъ.

— Вамъ досадно?

— Нѣтъ! Такая коленя.

— А все у насъ,—вздыхнула Анна Серафимовна,—ничего нѣтъ...

Ее затрудняло слово.

— Гдѣ?—спросилъ заинтересованно Палтусовъ.

— Да и здѣсь, и здѣсь!

Она указала на голову и на сердце.

— Давятъ тебя со всѣхъ сторонъ...

— Тюки?—подсказалъ онъ.

— Да, да!

„Какая ты умница“,—подумалъ Палтусовъ, всталъ и протянулъ ей руку.

Антрактъ кончился. Оркестръ доигрывалъ съ грѣхомъ пополамъ какой-то вальсъ. Любаша и Рубцовъ пробирались справа.

— Вы бываєте въ концертахъ?—спросила тихо Анна Серафимовна.

— Въ музыкалѣ?

— Такъ ихъ зовутъ? Я не знала. Да, въ музыкалѣ?

— Билетъ есть; но въ эту зиму забросилъ, да, знаете, въ родѣ барщины какой-то они дѣлаются.

— Это правда...

— Я завтра собираюсь,—проронила Анна Серафимовна и, подавая руку, спросила:—Марья Орестовна Нѣтова какъ поживаетъ за границей?

Палтусовъ быстро поглядѣлъ на нее.

— Все хвораетъ.

„Вотъ что!“—прибавилъ онъ про себя и, вернувшись на свое мѣсто, задумался.

XV.

Она что-нибудь подозрѣваетъ, думаетъ, можетъ-быть, что онъ находится въ связи съ Нѣтовой, слышала, пожалуй, про ихъ дѣловыя отношенія. Это надо разъяснить, показать ей все въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ бы никакъ не хотѣлъ терять въ мнѣнii, именно, этой женщины.

Пьеса шла туго. Бенефицианткѣ и первому любовнику удалась одна сцена. Публика вызвала ихъ нѣсколько разъ, но Палтусовъ сидѣлъ равнодушно, не хлопалъ, разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ. Малый театръ потерялъ для него прежнее обаяніе. Не могъ онъ себя наладить на молодое настроеніе. Пьеса казалась набитой непужными вещами, хоть она и шекспировская, обстановка раздражала своей бѣдностью, актеры читали глухо, деревянно. Совсѣмъ не то, что бывало, когда они брали въ складчину ложу и послѣ, до пѣтуховъ, спорили у себя въ номерахъ, за пивомъ. Насилу дождался онъ слѣдующаго антракта. Къ



Станицыной опъ не поднялся. Блондинъ и дѣвица съ косами оставались на своихъ мѣстахъ.

Палтусовъ пошелъ въ фойе и наткнулся на Пирожкова. Иванъ Алексѣевичъ ходилъ, не снимая своей цилиндрической шляпы.

— Не то,—сказалъ ему Пирожковъ.—Хоть не ходи въ Малый театръ.

— Можетъ, мы сами не тѣ?

— У кого былъ талантъ, тѣ излѣнились, а новые изъ рукъ вонъ плохи...

— А Тасю давно видѣли?—спросилъ Палтусовъ.

— Да она здѣсь! Я съ ней въ купонахъ обрѣтаюсь, пожалуйста.

— Не посмотрѣла на трауръ свой?

— Что жъ трауръ? Страсть у нея... Въ послѣдней пьесѣ ingénue какая-то новая.

Пирожковъ взялъ Палтусова подъ руку и отвелъ за колонны.

— Спасибо, спасибо вамъ, дружище,—заговорилъ онъ, ласково глядя на Палтусова.

— А что?

— Да вотъ, за эту дѣвицу... Она мнѣ все рассказала.

— Это пустяки.

— Однако, вы, я говорю, сложная натура. И купцовъ шломятъ мастеръ, и позывы у васъ хорошіе.

— А вы вотъ что,—перебилъ его Палтусовъ.—Пойдете-ка къ этой самой дѣвицѣ.

Онъ рассказалъ пріятелю, какой разговоръ онъ имѣлъ со Станицыной.

Тотъ одобрилъ планъ.

Они поднялись въ коридоръ.

Пирожковъ вошелъ въ одну изъ дверокъ и показался оттуда минуту спустя, ведя за руку Тасю.

Въ черномъ суконномъ платьѣ, съ узкими рукавами и отложнымъ воротникомъ, похудѣлая въ лицѣ, Тася смотрѣла совсѣмъ дѣвочкой и, подойдя ближе къ нему, сказала тихо:

— Вы на меня не дуетесь, Андрюша?

Она теперь такъ его звала.

— За что?

— А вотъ, что я въ театрѣ.

Палтусовъ пожалъ ей руку.

— Что я за цензоръ нравовъ?



— Такъ захотѣлось, такъ захотѣлось видѣть эту дебютантку!

Оба пріятеля рѣшили, что страсть къ сценѣ у ней—неисправимая. Палтусовъ предложилъ ей тутъ же познакомиться съ Станицыной и прибавилъ—почему.

Тася немного призадумалась, но тотчасъ же взяла Палтусова за руку и пожала.

— Вы славный! Я думала, вы другой! Хорошо... Это самое лучшее. Ведите меня къ вашей купчихѣ.

— Въ слѣдующій антрактъ сойдите въ фойе, а я ее приведу.

— Мнѣ еще и потому полезно будетъ,—соображала вслухъ Тася,—я увижу тамъ типы молодыхъ купчихъ. Это нужно изучить.

— Ненасытная!—разсмѣялся Пирожковъ.

— Да, это правда,—созналась Тася,—что только театральное, все это мнѣ знать, жадность ужасная!

Тася увидала, что занавѣсъ поднимается, и бросилась въ свою ложу.

XVI.

Аннѣ Серафимовнѣ понравилась „генеральская дочка“,—такъ она назвала про себя Тасю. Она просила ее пріѣхать посидѣть запросто. Она не стала говорить ей тутъ же о мѣстѣ чтицы или компаньонки. Ея тактъ не ускользнулъ отъ Палтусова. Когда она вернулась, Любаша, ходившая также въ фойе вмѣстѣ съ Рубцовымъ, сейчасъ же спросила:

— Это что за дѣвчурочка въ черномъ?

— Родственница Андрея Дмитриевича Палтусова. Славная, кажется, дѣвушка.

— Что же это она въ сукнѣ-то?

— Мать у ней умерла.

— Видно, не очень убивается.

— Ахъ, Люба,—остановила Анна Серафимовна,—до всего-то тебѣ дѣло!

— Она ничего... Должно-быть, изъ оголтѣлыхъ?

— А вамъ что?—вступился Рубцовъ.

Онъ видѣлъ Тасю.

— Я люблю, когда съ нихъ фанаберію сбиваютъ,—продолжала задорно Любаша.

— Съ кого?—спросилъ Рубцовъ.

— Да съ дворянской дряни.

— Люба!—удержала опять Анна Серафимовна.

Люба поглядѣла на Рубцова, скосившаго на особый ладъ губы, и почувствовала какую-то новую неловкость въ его присутствіи. Онъ былъ недоволенъ, но это-то и подзадоривало ее.

— Это господинъ Палтусовъ?—тихо спросилъ Рубцовъ Анну Серафимовну.

— Да...

Она хотѣла узнать: какъ онъ ему понравился, но побоялась рѣзкаго отзыва.

— Ловкій, по видимости, человекъ,—замѣтилъ Рубцовъ какъ бы про себя.

— Думаете, ловкій?—спросила она.—Вотъ, однако, не обь однимъ себѣ хлопочеть!

— Ну, это еще не Богъ знаетъ что... Родственниковъ пристроить...

— Послѣ,—остановила его Анна Серафимовна, указавъ на поднимавшійся занавѣсъ.

Ей былъ непріятенъ тонъ Рубцова. И онъ сегодня не далеко ушелъ отъ Любы. Что у нихъ—а еще молодые люди—за замашка: ко всему относиться съ недовѣріемъ, съ злобностью какой-то!

Она, въ теченіе акта, раза два поглядѣла въ сторону Палтусова. Въ антрактѣ онъ издали раскланялся и уѣхалъ до конца пьесы. Онъ ей сказалъ наверху, что будетъ завтра въ концертѣ. И ей показалось, какъ будто онъ жалеетъ говорить съ ней о своихъ отношеніяхъ къ Нѣтовой. Зачѣмъ это? Правда, она слышала разныя вещи. Она имъ не вѣрить.

Однако, это ее все-таки тронуло. Значить, онъ дорожитъ ея мнѣніемъ. А она думала, что онъ и знать ее не хочетъ. У него есть что-то и въ голосѣ, и въ движеніяхъ, и въ словахъ, чтѣ ей особенно нравится.

— Тетя,—Любаша толкнула ее подъ бокъ,—вы куда-то мечтами унеслись.

— Ахъ, это ты!

— Правю, унеслись... все этотъ душка-штатскій васъ въ такую мерехлюдію привелъ.

— Пустяки какіе ты все говоришь,—сказала Анна Серафимовна и отвернула голову.

— Умекъ, очень?—спросилъ ее Рубцовъ пять минутъ спустя.

— Вы про кого?



— Да все про вашего ловкача.

— Не зовите его такъ.

— Ну, не буду.

— Вы спрашиваете, уменъ ли? Вотъ какъ-нибудь, если у меня встрѣтитесь, позжаменуйте его.

— Намъ гдѣ же-съ!

Рубцовъ рѣшительно не нравился ей въ этотъ вечеръ. Она хотѣла пригласить его выпить чаю послѣ театра, но не сдѣлаетъ этого. Съ нимъ она могла обо всемъ толковать: и о дѣлахъ, и о своемъ душевномъ настроеніи, но о Палтусовѣ разговоръ не пойдетъ; пускай они познакомятся. Да врядъ ли сойдутся. Сеня гордъ, въ людей не вѣритъ, барчонковъ не любитъ.

Конечъ шекспировской пьесы и маленькую комедію, гдѣ дебютировала новая *ingénue*, Анна Серафимовна прослушала съ чувствомъ тяжести въ груди и въ головѣ. Только на воздухѣ ей стало легко. Она привезла Рубцова и Любашу въ своей каретѣ и должна была развезти ихъ по домамъ. Любаша напрашивалась на чай; но Анна Серафимовна напирала на поздній часъ. И мать ея будетъ беспокоиться.

— А вы, Сеня, домой?—спросила Любаша.

— А то куда же?

Анна Серафимовна улыбнулась въ темнотѣ кареты. Люба начинала ревновать ее къ Рубцову.

— Ну, вотъ вамъ и Шекспиръ!—крикнула Люба.—Такая пустяковина!.. И скучища непролазная!

— Это точно,—подтвердилъ Рубцовъ.

Спорить съ ними Станицына не могла. Пьеса прошла передъ ней точно рядъ туманныхъ картинъ.

Любашу завезли; Рубцовъ взялъ извозчика на полпути. Домой Анна Серафимовна возвращалась одна. Было уже около часу ночи.

XVII.

Не спится Аннѣ Серафимовнѣ. Она живетъ все въ тѣхъ же хоромахъ, лежитъ на той же постели, что и передъ заключеніемъ „сдѣлки“ съ мужемъ. Низъ запертъ и не топится. Да и верхъ бы она заперла, кромѣ спальни, столовой, да дѣтской. Зачѣмъ ей столько комнатъ? И вообще-то она не любитъ тратить попустому деньги. Просторныхъ двѣ-три комнаты, чтобы чистота была, бѣлье тонкое, свѣту побольше. Платьевъ у ней много. На это



она готова тратиться. По-старому-то лучше жилось, все было на своемъ мѣстѣ; а теперь и мужчины, и женщины вышли изъ пазовъ, ни къ тѣмъ, ни къ этимъ не пристали. Она это чувствуетъ на самой себѣ. Что такое она? Вотъ хоть бы Андрей Дмитриевичъ Палтусовъ, какъ онъ на нее смотритъ? И не купчиха, какія прежде бывали, и не барыня. Есть у ней въ головѣ неплохія вещи. На фабрикѣ надо многое уладить, казармы рабочихъ передѣлать, школу тоже по-другому устроить. „Затѣи!—говорятъ разныя кумушки,—отличиться хочеть, чтобы объ ней въ газетахъ написали, попасть потомъ въ почетныя попечительницы пріюта или въ предсѣдательницы общества“.

Бьетъ два часа. Анна Серафимовна не спитъ.

Да, хорошо бы все это, что у ней есть на душѣ, раздѣлить съ милымъ человѣкомъ. Сеня Рубцовъ — малый умный и понимающій. Онъ не попрекаетъ ее затѣями. Только въ немъ чего-то недостаетъ. Можетъ-быть, того же самаго, чего и въ ней нѣтъ. А все это-то и есть въ Андрѣ Дмитриевичѣ Палтусовѣ. Ей такъ кажется...

Десять разъ перевернулась Анна Серафимовна съ-боку-на-бокъ. Тонкое полотно подушки нагрѣлось. Она и ее раза два перевернула. Она спитъ съ ночникомъ. Въ спальнѣ воздуху много и засвѣжѣло немножко. Чего бы, кажется, не спать?

Что ея за положеніе теперь! Вдова—не вдова, и не дѣвушка, и свободы нѣтъ. Хорошо еще, что мужъ дѣтей не требуетъ. По его безпутству какія ему дѣти; но настанетъ часъ, когда онъ будетъ вымогать изъ нея, что можетъ, этими самыми дѣтьми... Надо заранѣе приготовить... Вотъ такъ и живи! Скоро и тридцать лѣтъ подползутъ. А видѣла ли она хоть одинъ денекъ свѣта, радости, вотъ того, чѣмъ зачитываются въ книжкахъ? Нужды нѣтъ, что послѣ бываетъ горе, безъ риска не проживешь...

Счастье!.. Это вотъ слово какъ часто повторяютъ, особенно въ книжкахъ. А она, видно, такъ и дни свои кончить, не узнавъ, что такое за счастье бываетъ на землѣ, особенно изъ-за котораго люди рѣжутся и топятся... А могла бы, и очень!.. Виктора Миронича, что ли, испугалась, когда жила съ нимъ?..

Бьетъ три часа. Анна Серафимовна глядитъ на драпировку окна, приходящагося противъ кровати. Сопъ ней-детъ. Начинаетъ бить въ виски.

Хуже вдовства ея положеніе. А кто виновать? Сама.



Прямо потребуй развода, а не пойдешь добромъ—излови, докажи... Нешто это трудно съ такимъ развратникомъ? Ей вѣдь рассказывали про бракоразводные процессы. Стоить это, много, десять тысячъ... И свидѣтели найдутся, которые подъ присягой покажутъ. Нѣтъ, на это она не пойдеть! Изловить. Или откупиться?.. Теперь нельзя еще, и раньше двухъ лѣтъ не покроешь долги. Мужнину фабрику не поставишь на полный ладъ... Онъ, поди, и самъ не прочь. Развѣ такъ можно? Все устрой, очисти его отъ долговъ, работай для дѣтей изъ-за купеческой чести своей, а онъ все потомъ заберетъ, да и скажетъ: разводиться давай!.. Такой человекъ на себя вины не возьметъ. Ему новая женитьба нужна будетъ для какой-нибудь новой пакости.

Охъ! Пришла бы страсть-завноба, вмигъ бы она все перевернула! И развязки бы добилась. Половину своего бы собственнаго состоянія отдала. Что жадничать? У дѣтей будетъ кусокъ хлѣба! Ждать ли этой завнобы? Не прошло ли уже время? Не выѣли ли горечь и обида и жизнь съ постылымъ мужемъ то, чѣмъ сердце любить, чѣмъ душа летитъ навстрѣчу другой душѣ?

Душно Аннѣ Серафимовнѣ подъ атласнымъ одѣяломъ. Хоть на какой бы-нибудь пріятной мысли заснуть... А завтра-то? Въ концертѣ... Андрей Дмитричъ общалъ. Туалетъ надо бѣлый. Онъ къ ней идетъ. Любу не возметь съ собой. Одна поѣдетъ. Сядетъ въ дальней залѣ, около арки. Онъ найдетъ ее.

Бьетъ четыре часа. Анна Серафимовна забылась и что-то шепчетъ во снѣ. Ей снится амбаръ съ полками. На прилавкѣ навалены куски всякихъ цѣтовъ... Но приказчикъ вырываетъ у ней изъ рукъ штуку сукна; штука развертывается, сукно протянулось черезъ весь амбаръ, потомъ дальше, по улицѣ... Ей страшно. Она вскрикиваетъ и просыпается... Бьетъ пять часовъ.

XVIII.

По мраморной лѣстницѣ Благороднаго Собранія поднималась на другой день Анна Серафимовна — одна, безъ Любаши.

Она любила выѣзжать одна, и въ театръ лакея никогда не брала. Только на концерты Музыкальнаго Общества ѣздилъ съ ней человекъ, въ скромной черной ливреѣ, болѣе похожей на пальто, чѣмъ на ливрею. Первые сѣни,



гдѣ пожарные отворяютъ двери, хлопали, сквозной вѣтеръ такъ и гулялъ. Въ большихъ сѣняхъ стѣной стояли лакеи съ шубами. Всѣ прибывающія дамы раздѣвались у лѣстницы. Бѣлый и голубой цвѣта преобладали въ платьяхъ. По красному сукну ступенекъ поднимались слегка колеблющіяся, длинныя, обтянутыя женскія фигуры, волоча шлейфы или подбирая ихъ одной рукой. На площадкѣ передъ широкимъ зеркаломъ стояли нѣсколько дамъ и оправлялись. Правѣе и лѣвѣе у зеркала же топтались молодые люди во фракахъ, двое даже въ бѣлыхъ галстукахъ. Они надѣвали перчатки. На этотъ концертъ съѣхалась вся Москва. Въ программѣ стояла пріѣзжая изъ Милапа пѣвица и исполненіе въ первый разъ новой вещи Чайковского.

Мраморный левъ глядится въ зеркало. Его голова и щитъ съ гербомъ придаютъ лѣстницѣ торжественный стиль. Потолокъ не успѣлъ еще закоптиться. Онъ лѣпной. Жирандоли на верхней площадкѣ зжжены во всѣ рожки. Тамъ, у мраморныхъ сквозныхъ перилъ, мужчины стоятъ и ждутъ, перегнувшись книзу. На стулѣ сидитъ частный приставъ и разговариваетъ съ худымъ, желтымъ брюнетомъ въ сюртукѣ, имѣющимъ видъ зрителя.

Анна Серафимовна остановилась на первой площадкѣ у зеркала, подождавъ немного, пока другія дамы отойдутъ. Сначала она смотрѣла внизъ по лѣстницѣ. Она стояла у перилъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они заворачиваютъ наверхъ, около льва. Ей видна была вся суматоха и въ сѣняхъ, и лѣвѣе, за арками, гдѣ отдають на сбереженіе платье пріѣхавшіе безъ своей прислуги. Оттуда выбѣгали обдерганные, нечистые лакеи, нанимающіеся поденно, приставили къ публикѣ, тащили каждый къ себѣ, совали номера. На прилавкѣ складывались шубы и пальто, калоши клались въ холщевые мѣшки—и все это исчезало въ глубинахъ конѣшенія съ перегородками. Публика все прибывала. „Вся Москва“ давала себя знать... Вошло уже болѣе двухъ тысячъ человѣкъ. Съ той площадки, гдѣ остановилась Анна Серафимовна, лѣстница и сѣни въ обихъ своихъ отдѣленіяхъ, съ поднимающимися кверху дамами и мужчинами, толкотней за арками, съ толпой лакеевъ, нагруженныхъ узлами, казались какимъ-то однимъ тѣломъ, громаднымъ пестрымъ червемъ, извивающимся въ разныхъ направленіяхъ... И все это—Москва, „хорошее“ общество, ѣдущее сюда каждую субботу. Она никого почти не знаетъ, кромѣ большихъ купеческихъ фамилій... Это все

господа... А почему она не принимает? Кто мѣшает ей? На міру надо жить! Свое купеческое общество ее не тянетъ. Скучно ей въ немъ до тошноты.

Анна Серафимовна подошла къ зеркалу.

Около него только что вертѣлись двѣ дѣвицы, одна въ ярко-красномъ, другая въ нѣжно-персиковомъ платьѣ, перетянутыя, съ длинными корсажами, въ цвѣтахъ, точно онѣ на балъ пріѣхали. Ихъ французскій языкъ раздражалъ ее... Онѣ, можетъ, и купчихи—нынче не разберешь... Одѣты обѣ богато... Шила на нихъ навѣрно Жозефина или Луиза съ Тверской. Своимъ бѣлымъ сливочнаго цвѣта платьемъ строгаго покроя, съ кружевными рукавами, Анна Серафимовна довольна. Она не надѣла только брильянтовыхъ пуговицы, большія, — каждая тысячи по двѣ... Не любить она своихъ вещей; ихъ дарилъ ей когда-то Викторъ Миновичъ... Купленныхъ самой было немного, но всѣ очень цѣнныя.

Въ зеркало она видна себѣ вся, и за ней лѣстница — внизъ и вверхъ. Парадно почувствовала она себя, жутко немного, какъ всегда на людяхъ. Но ей ловко въ платьѣ, перчатки тоже прекрасно сидятъ, на шесть пуговицъ, въ глазахъ сейчасъ прибавилось блеску, даромъ что плохо спала, изъ-подъ кружевного края платья видны шелковые башмачки и ажурные чулки. Никогда она еще не находила себя такой изящной. Кажется, все тяжелое, купеческое слетѣло съ нея. Осмотрѣла она себя быстро, въ нѣсколько секундъ, поправила волосы, на груди что-то, достала билетъ изъ кармана, скрытаго въ складкахъ юбки, и легкими шагами начала подниматься... Глазамъ ея пріятно; но уже не въ первый разъ обоняетъ она запахъ сапожной кожи... И чѣмъ ближе къ входу въ первую залу, тѣмъ онъ слышнѣе. Запахъ этотъ идетъ отъ артельщиковъ въ сибиркахъ, приставленныхъ къ контролю билетовъ. Она знаетъ отлично этотъ запахъ. Ея артельщики ходятъ въ такихъ же сапогахъ. Она подаетъ одному изъ нихъ свой абонементный билетъ. Онъ у ней номерованный, но въ большую залу она не пойдетъ, хорошо, если бѣ удалось занять поближе мѣсто за гостиниой съ арками, тамъ, гдѣ полуосвѣщено. Вѣроятно, можно. — Еще четверть часа до начала.



XIX.

У входа во вторую продольную залу направо — столъ съ продажей афишъ. Билетовъ не продають. Въ этой залѣ, откуда ходъ на хоры, стояли группы мужчинъ, дамы только проходили или останавливались предъ зеркаломъ. Но въ слѣдующей комнатѣ, гостиной съ арками, ведущей въ большую залу, ужъ размѣстились дамы, по лѣвой стѣнѣ, на диванахъ и креслахъ, въ свѣтлыхъ туалетахъ, въ цвѣтахъ и полуоткрытыхъ лифахъ.

Анна Серафимовна бросила на нихъ взглядъ бокомъ. Она знала трехъ изъ этихъ дамъ, могла назвать и по фамиліямъ... Вотъ жена желѣзно-дорожника въ рытомъ бархатѣ, съ толстой красной шеей, а у той мужъ въ судебной палатѣ что-то, а третья — вдова или „разводка“ изъ губерніи, вездѣ бываетъ, ридится, на что живетъ — неизвѣстно... Всѣ три оглядываютъ ее. Ей бы не хотѣлось проходить мимо нихъ; да какъ же иначе сдѣлать? Виктора МIRONыча и его похождения каждая знаетъ... А ли одна, гляди, хорошаго слова про нее не скажетъ: „купчиха, кумушка, на „онъ“ говоритъ, ему не такая жена нужна была“. Каждую сладочку осматривать. Скажутъ: „жадная, платье больше трехсотъ рублей не стодитъ, а брилліантовъ жалко надѣвать ей, неравно потеряетъ“.

Щеки сильно разгорѣлись у Анны Серафимовны... Она быстро-быстро дошла до одной изъ арокъ, гдѣ уже мужчины тѣснились такъ, что съ трудомъ можно было проникнуть въ большую залу. Люстры были зажжены не во всѣ свѣчи. Свѣтъ терялся въ пыльной мглѣ между толстыми колоннами; съ хоръ виднѣлись ряды головъ въ два яруса, открывались шеи, рукава, иногда цѣлый бюстъ... Все это тонуло въ темнотѣ стѣны, прорѣзанной полукруглыми окнами. За колоннами внизу, на диванахъ, сплошной цѣпью разсѣлись рано забравшіяся посѣтительницы концертовъ, и чѣмъ ближе къ эстрадѣ, помѣщающейся передъ круглой гостиной, тѣмъ женщинъ больше и больше.

Въ сторону эстрады заглянула-было въ большую залу и Анна Серафимовна, но сейчасъ же подалась назадъ. Въ гостиной вдоль арокъ, на четырехъ рядахъ креселъ, на большихъ диванахъ и по всей противоположной стѣнѣ дужить цѣлый рой женскихъ сдержанныхъ голосовъ. Темныхъ платьевъ почти не было видно... Здѣсь только въ началѣ концерта слушаютъ, но разговоры не прекра-



щаются. Это салонъ, приставленный къ концертной залѣ... Углубиться въ симфонію невозможно. Анна Серафимовна хоть и не считаетъ себя много смыслящей въ музыкѣ, но не одобряетъ этой гостиниой.

Она прошла дальше, въ полуосвѣщенную комнату порочее, почти совсѣмъ безъ мебели. Нѣсколько креселъ стояло у лѣвой стѣны и около карниза. Она сѣла тутъ за угломъ, такъ, чтобы самой уйти въ тѣнь, а видѣть всѣхъ. Это мѣстечко у ней — любимое. Тутъ прохладно, можно сѣсть покойнѣе, закрыть глаза, когда что-нибудь понравится, звуки оркестра доходятъ, хоть и не очень отчетливо, но мягко. Они все-таки заглушаютъ разговоры... Найти ее во всякомъ случаѣ не трудно—кто пожелаетъ.

Вотъ приближается улыбающійся лысый господинъ въ черномъ сюртукѣ. Отъ него она хотѣла бы спрятаться. Непремѣнно подойдетъ и начнетъ говорить приторныя любезности. Не нужно ей и вотъ того крошечнаго гусарика въ красныхъ рейтузахъ и голубомъ ментикѣ... Онъ всѣхъ знаетъ, переходитъ отъ одной дамы къ другой, волосики на лбу расчесаны, какъ у ея сына Мити, что-то такое всѣмъ шепчетъ. А вотъ и пары пошли. Она ихъ давно замѣтила. Лучше не смотрѣть! Какое ей дѣло?.. Точно завидуетъ. Есть чему! Такъ открыто держать около себя любовниковъ—срамъ!

Оркестръ грянулъ. Это была „це-мольная“ симфонія Бетховена. Анна Серафимовна не могла бы разобрать ее на фортепиано. Она ноты знала плохо, музыка не давалась ей никогда и въ пансіонѣ, но она любила эту именно симфонію, слыхала ее чуть не десятки разъ, могла своими ощущеніями описать ее. Она знала, что маленькая фраза въ нѣсколько нотъ будетъ на разные лады повторяться, и такъ, и этакъ, стремительнѣе, образнѣе, сложнѣе — и опять прозвучитъ въ первоначальной простотѣ. Рѣшительно не понимала Анна Серафимовна, какъ это можно сдѣлать что-то большое, широкое, забирающее за живое, могучее изъ нѣсколькихъ потоковъ, изъ какого-то окрика или точно кто палочкой или пальцемъ по стеклу ударилъ... И тѣня виолончели ждала она въ *andante*. Не умѣетъ она выразить, почему въ этой мелодіи есть что-то, прямо отвѣчающее на ея душевные порывы, но что оно такъ — она въ этомъ убѣждена. А потомъ, къ концу, вдругъ пронесется какой-то вихрь: могучій и страстный человѣкъ созываетъ всѣхъ на свое торжество.



XX.

Палтусовъ пріѣхалъ къ концу первой части концерта. Онъ остановился у входа въ гостиную съ арками. Наплывъ публики показался ему чрезвычайнымъ. Куда онъ ни поглядитъ, вездѣ туалеты, туалеты, открытыя или полуобнаженныя руки, цвѣты. Правда, тутъ уже „вся Москва“, и та, что притворяется любительницей музыки, и та, что не знаетъ, гдѣ ей показать себя. Онъ давно говоритъ, что „музыкалка“ превратилась въ выставку нарядовъ и невѣстъ, въ вечернюю голофтьевскую галерею, куда ѣздить лорнировать, шептаться по угламъ, громко говорить посредиѣ, зѣвать, встрѣчаться со знакомыми на разѣздѣ. Большой городъ, большое общество, когда видишь его въ кучѣ, и деньгами пахнетъ, и пожить хочется всѣмъ...

Глаза Палтусова искали Анну Серафимовну. Онъ вспомнилъ, что видалъ ее прежде въ дальней залѣ, въ сторонѣ, за карнизомъ... Въ большую залу онъ не пойдетъ. Тамъ ея навѣрно нѣтъ. До антракта онъ постоялъ у первой арки, позади длиннаго хвоста мужчинъ, очень прифранченныхъ. Поклонился онъ хорошенькой докторшѣ въ розовомъ шелковомъ платьѣ, другой тоже красивенькой женщиѣ, женѣ адвоката, оглядѣлъ двухъ жидовочекъ, съ тонкими профилями, въ перетянутыхъ до-нельзя лифахъ, и трехъ дѣвицъ въ бѣлыхъ кашемировыхъ платьяхъ съ высокимъ воротомъ, сидѣвшихъ точно въ молочной ваннѣ.

Длинный молодой человѣкъ съ худощавымъ, румянымъ лицомъ и русой бородкой во фракѣ остановилъ Палтусова, когда онъ началъ пробираться чрезъ гостиную.

— А, докторъ!—откликнулся Палтусовъ, пожимая ему руку.—Я думалъ, вы въ Парижѣ.

— Всю зиму здѣсь, — отвѣтилъ тотъ съ кисловатой усмѣшкой.

— Все по женскимъ болѣзнямъ практикуете?

— Какъ же.

— Со старыми книжками возитесь?

Докторъ повелъ плечами и засмѣялся.

— Всякихъ успѣховъ! — сказалъ ему Палтусовъ и пошелъ дальше.

Докторъ жилъ когда-то въ Оивайдѣ—на Срѣтенкѣ, но онъ тотчасъ по окончаніи курса поѣхалъ домашнимъ вра-

чомъ съ барской фамиліей въ Парижъ и на итальянскую зимовку, и съ тѣхъ поръ понагрѣлъ уже руки около художныхъ, богатенькихъ и старенькихъ княгинь. Какъ личность, и по репутаціи, онъ былъ довольно-таки ему противенъ.

По теоріи Палтусова, можно было располагать къ себѣ женщинъ, но непременно молодыхъ, если уже не красивыхъ, завязывать черезъ нихъ связи, пользоваться ихъ довѣріемъ, но ни въ какомъ случаѣ не дѣйствовать черезъ нихъ на мужей и не ухаживать за ними изъ личныхъ расчетовъ, когда онѣ стары, да еще имѣютъ на васъ любовные виды. Докторъ не отвѣчалъ такой программѣ.

— А! Палтусовъ, голубчикъ! — окликнулъ сзади ласковый, низковатый, женскій голосъ.

Онъ обернулся. Передъ нимъ заблестѣли два черныхъ, бархатныхъ глаза, смотрѣвшіе на него бойко и весело. Ему протягивала бѣлую, полуткрытую руку въ свѣтлой шведской перчаткѣ статная, полногрудая, красивая дама лѣтъ подъ тридцать, брюнетка, въ богатомъ пестромъ платьѣ, переливающимъ всевозможными цвѣтами. Голова ея, съ отблескомъ черныхъ волосъ, бѣлые зубы, молочная шея, яркій, алый ротъ заиграли передъ Палтусовымъ. На груди блестѣла брильянтовая брошка.

— Людмила Петровна!

— Хорошъ, батюшка! Полгода глазъ не кажетъ!

— Виноватъ! Не оправдываюсь...

Это была его давнишняя знакомая Людмила Петровна Рогожина. Онъ еще офицеромъ ѣздилъ въ домъ ея отца, читалъ ей книжки, немножко ухаживалъ. Тогда уже она общала развернуться въ роскошную женщину. Изъ небогатой купеческой семьи она попала за миллионера-мануфактуриста.

Сзади, изъ-за ея плеча улыбался супругъ, бѣлый, съ розовыми щеками, пухлый, обросшій какимъ-то мохомъ вмѣсто волосъ, маленькаго роста, съ начинающимся брюшкомъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ. Онъ несъ голубую съ серебромъ накидку жены.

— Артамонъ Лукичъ! мое почтеніе! — кивнулъ ему Палтусовъ и сдѣлалъ ручкой.

Тотъ усиленно замоталъ бѣлокурой головой съ плоскими, припосаженными височками.

— Виноватъ, — повторилъ Палтусовъ и нагнулъ голову къ плечу Рогожиной.

— Бестія-то та уѣхала?—шепнула она ему въ ухо.
— Какая бестія?—разсмѣялся онъ.
— А та! Нѣтиха!.. Кривляка-то!.. Дохлая!.. При ней, небось, состоите въ адъютантахъ!

— Полноте!

— Да ужъ нечего! Все знаю! Ну, Богъ простить. Вотъ что, голубчикъ, ко мнѣ въ среду на масленицѣ. Большой плясъ. Невѣсту какую подхватить можно!.. У меня и титулованные будутъ. Пальчики оближете.

— Хорошо!

— То-то же. Безъ обмана.

Она пожала ему руку и поплыла. Супругъ тоже пожалъ руку и прибавилъ сладкимъ теноркомъ:

— Безъ обману! Ха-ха-ха! Въ среду!

XXI.

Изъ своего угла Анна Серафимовна видѣла, какъ вошелъ Палтусовъ, съ кѣмъ раскланивался, съ кѣмъ поговорилъ. Рогожина въ этотъ вечеръ показалась ей особенно красивой. Онѣ были съ ней когда-то пріятельницами и до сихъ поръ—на „ты“. Анна Серафимовна рѣдко ѣздитъ къ ней. Очень ужъ въ этомъ домѣ „вѣтерокъ порхаетъ“, какъ она выражалась.

Когда Рогожина пожимала руку Палтусову, а потомъ что-то сказала ему на ухо—Анну Серафимовну ударило въ жаръ... Она начала обмахиваться вѣеромъ.

— Вотъ вы гдѣ!—заслышался сбоку голосъ Палтусова.

Онъ тотчасъ же сѣлъ рядомъ съ ней.

— Сейчасъ пріѣхали?—спросила она не тѣмъ тономъ, какими бы сама желала.

— Передъ антрактомъ.

Станицына показала ему въ этотъ вечеръ гораздо больше дамой, чѣмъ когда-либо. Въ ней онъ цѣнилъ чистоту русскаго, старо-народняго типа. Такихъ бровей ни у кого не было въ этой гостиной, да и глазъ также. Станъ ея сохранилъ дѣвическую стройность. Въ ней чувствовалась страстность женщины, не знавшей ни супружеской любви, ни запретныхъ наслажденій.

— У Рогожиной на масленицѣ большой плясъ,—заговорилъ Палтусовъ,—вы будете?

— Она меня не звала.

— Конечно, позоветь, поѣзжайте,—убѣдительно выговорилъ онъ

— А вы? Собираетесь, небось?

— Буду.

— Видите что, Андрей Дмитриевичъ,—продолжала Станицына потише,—мнѣ какъ-то неловко.

Въ первый разъ она говорила нѣчто такое постороннему.

— Ахъ, полноте!—возразилъ Палтусовъ. — Зачѣмъ это дѣлать изъ себя жертву?

— Я не дѣлаю, Андрей Дмитриевичъ,—перебила она и сдвинула брови.

— Дѣлаете!—горячо, но дружескимъ звукомъ повторилъ Палтусовъ.—Изъ-за чего же вамъ отказывать себѣ во всемъ? Изъ-за того, что вашъ супругъ...

Она остановила его взглядомъ.

— Ну, не буду... Только вы, пожалуйста, не отказывайтесь отъ бала у Рогожиной,—рука его протянулась къ ней,—попляшемъ, поѣдимъ, шампанскаго попьемъ. Кадриль мнѣ пожалуйста сейчасъ же.

Никогда Палтусовъ не говорилъ съ ней такъ оживленно и добродушно.

— Не знаю... платье...

— Ахъ, Боже мой!

— Надо экономію соблюдать, — шутливымъ шопотомъ продолжала она.

— Вы въ эту зиму навѣрно не были и на одномъ балѣ?

— Нѣтъ, не была.

— Такъ раскошуйтесь на пятьсотъ рублей.

— Не сдѣлаешь!—дѣловымъ тономъ сообразила Анна Серафимовна.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Да и нельзя,—прибавила она тѣмъ же тономъ.

— Почему же? Фирму надо поддержать?

— А какъ бы вы думали, Андрей Дмитриевичъ? Каждое кружево сочтутъ... Тысячи рублей и влады.

— Не скупитесь! Въдѣ теперь всѣ фабрики отличныя дѣла дѣлаютъ. Золотая пошлина выручила. У Макарья-то сколько процентиковъ извоили зашибить?

Они оба разсмѣялись надъ своимъ разговоромъ.

Ходьба и гулъ голосовъ стихли въ гостиной. Оркестръ заигралъ. Смолкли и Станицына съ Палтусовымъ. Онъ остался тутъ же, позади ея кресла.

Кто-то игралъ фортепьянный концертъ съ оркестромъ. Такая музыка не захватывала. Анна Серафимовна подъ громкіе пассажи піаниста обдумывала свой туалетъ у



Рогожиныхъ. Завтра же она поѣдетъ къ Жозефиѣ. А если та завалена работой, такъ къ Минангуа... Хочется ей что-нибудь побогаче. Что, въ самомъ дѣлѣ, она будетъ обрѣзывать себя во всемъ изъ-за того, что Викторъ Мировичъ съ „подлыми“ и „безстыжими“ французенками потерялъ всякую совѣсть? Да и въ самомъ дѣлѣ для фирмы полезно. Каждый будетъ видѣть, что платье тысячу рублей стоитъ. А ее знаютъ за экономную женщину.

Давно уже она съ такимъ молодымъ чувствомъ не обдумывала туалетъ. Платье будетъ голубое. Если отдѣлать его серебряными кружевами? Нѣтъ, похоже на оперный костюмъ. Жемчугъ въ модѣ — фальшивымъ она не станетъ обшивать, а настоящаго жалъ, сорвутъ въ танцахъ, раздавятъ... Что-нибудь другое. Ну, да портниха придумаетъ... Коли и Минангуа не возьметъ въ четыре дня сшить—къ Шумской или къ Луизѣ поѣдетъ...

Теперь ее тянетъ на этотъ балъ... Палтусовъ упрашиваетъ. На балъ, въ бѣломъ галстукѣ и во фракѣ, онъ представительнѣе всѣхъ. У него именно такой ростъ, какой нуженъ для молодого мужчины на вечерѣ, въ танцахъ, въ любомъ собраніи. Вѣдь множество здѣсь всякихъ мужчинъ, а никто не смотритъ такъ порядочно и значительно, какъ онъ. Или „адвокатишка“, она такъ и назвала мысленно, или „конторщикъ“, или мелюзга. Фраки натянули—обрадовались случаю; а всего-то въ нихъ и есть содержаніе, что жилеты отъ Бургеса, да лаковые ботинки отъ Широне.

И ее уже не смущаетъ то, что она сидитъ рядомъ съ Палтусовымъ въ полутемномъ уголкѣ на глазахъ всѣхъ снлетницъ.

XXII.

— Анна Серафимовна, — шопотомъ позвалъ ее сбоку Палтусовъ.

Она повернула голову.

— Концертъ этотъ вамъ не очень нравится?

— Нѣтъ.

— Можно поговорить?

Вѣсто отвѣта, она подалась назадъ. Теперь ее видно было только тѣмъ, кто сидѣлъ у стѣны и въ заднемъ ряду стульевъ, а Палтусовъ совсѣмъ скрылся за ея кресломъ.

— Правду ли настоящую скажете? — спросилъ онъ, наклоняясь къ ея затылку.



— Я не охотница лгать.

— Вы зачѣмъ вчера въ театрѣ намекнули на мои отношенія къ Марьѣ Орестовнѣ?

Анна Серафимовна слегка покраснѣла.

— Намекали?—спросилъ съ удареніемъ Палтусовъ.

— Такъ что же?

— Это не отвѣтъ!

— Вамъ непріятно было?

— Нѣтъ,—перебилъ Палтусовъ, — такъ мы не будемъ говорить, Анна Серафимовна. Да здѣсь и не совсѣмъ удобно... Я хотѣлъ только увѣрить васъ, что никакихъ особенныхъ отношеній не было и не можетъ быть... Вы мнѣ вѣрите?

Его лицо было ей видно наполовину... Оно какъ будто немного поблѣднѣло... Голосъ зазвучалъ искренно. По ней пробѣжала внезапная дрожь.

— Я вамъ вѣрю, Андрей Дмитріевичъ.

Эти слова припомнили ей вдругъ сцену, видѣнную на одномъ бенефисѣ... Хорошая дѣвушка, купеческая дочь, вѣрится любимому человѣку... А человѣкъ этотъ—воръ, онъ наканунѣ погрома, ему нужно ея приданое, онъ обводитъ ее, вызвалъ на любовное свиданіе у колодези. Луна свѣтитъ, поэтическая минута. И эта дура сказала ему точь-въ-точь тѣ же слова: „я вамъ вѣрю“. И „жуликъ“ этотъ говорилъ тронутымъ голосомъ; актеръ гримировался ужасно похоже на Палтусова.

— Больше мнѣ ничего и не нужно, — слышался около нея его голосъ.

Онъ оправдывается? Стало-быть, его за живое задрѣло. Не хотѣла она его обидѣть вчера, а такъ, съ языка соскочило. Мало ли что говорятъ! Марья Орестовна—женщина тонкая, воспитанная совсѣмъ на барскій манеръ... Что же мудренаго, если бы и вышло между ними „что-нибудь“. Но врядъ ли. Вотъ она за границу уѣхала, слышно, на полгода. Около денегъ ея поживиться?.. Нѣтъ! Зачѣмъ подозрѣвать?.. Гадко!

— Я вамъ вѣрю, — сказала еще разъ Анна Серафимовна и вбокъ подняла на него свои пушистыя рѣсницы.

„То-то,—говорилъ про себя Палтусовъ,—еще бы ты не вѣрила!“

Въ эту минуту онъ чувствовалъ между собой и всѣмъ тѣмъ людомъ, который мелькалъ предъ нимъ, цѣлую пропасть. Онъ вотъ никому не вѣрилъ изъ этихъ фразни-



ковъ. Каждый на его мѣстѣ извлекъ бы изъ дружескаго знакомства съ Нѣтовой, изъ ея тайной слабости къ нему, что-нибудь весьма существенное... Все кругомъ хапаетъ, воруетъ, производитъ растраты, теряетъ даже сознание того, что свое и что чужое. Теперь, войдя въ дѣлецкій міръ, онъ видитъ, на чемъ держится всякая русская афера. Только у нѣкоторыхъ купеческихъ фамилій и есть еще хозяйская, хоть тоже кулаческая, честность... Такую Анну Серафимовну приходится уважать. Но и она должна уважать его, ставить его „на полочку“ уже по одному тому, какъ онъ съ ней ведетъ дѣло, какъ съ женщиной. Развѣ другой, на его мѣстѣ, не старался бы „примоститься“ тотчасъ послѣ того, какъ она осталась соломенной вдовой?.. Тутъ миллиономъ пахнетъ. Виктора Мironыча спустить, до развода довести, отступного заплатить... Молодая женщина, не старше его, красивая, дѣльная, крупный характеръ. А онъ вотъ два мѣсяца у ней не былъ. Ему не нужно бабьихъ денегъ. Онъ и самъ пробьетъ себѣ дорогу. Какъ же ей не вѣрить ему и не уважать его? И будетъ еще больше уважать. И довѣрять ему станеть, коли онъ захочетъ, точно такъ же, какъ Нѣтова, которую онъ можетъ обокрасть до тла, если ему это вздумается.

Глаза Палтусова перебѣгали отъ одной мужской фигуры къ другой.

„Все жулики!“—говорили эти глаза. Ни въ комъ нѣтъ того, хоть бы дѣльцаго, гонора, безъ котораго, какая же разница между пріобрѣтателемъ и мошенникомъ?..

— Вѣрите?—спросилъ онъ послѣ небольшой паузы.— Спасибо на добромъ словѣ.

Она тихо улыбнулась. Фортепьянный концертъ кончился среди треска рукоплесканій. Теперь говорить было удобнѣе, но почему-то они замолчали. На эстрадѣ, послѣ паузы, зазвѣла всѣмъ обѣщанная, пріѣзжая пѣвица—сопрано. И въ разговорномъ салонѣ немного примолкли. Пѣвица исполнила два номера. Ей похлопали, но умѣренно. Она не понравилась.

— Экая невидаль!—сказалъ кто-то громко въ гостиной. Нѣсколько дамъ переглянулись.

XXIII.

Оставалось еще два номера во второй части программы, но начался уже разъѣздъ. Изъ боковыхъ комнатъ, осо-



бенно изъ гостиной, стали подниматься дамы, шумя стульями, мужчины затопали каблуками, изъ большой залы потянулись также къ выходу. Слушать что-нибудь было затруднительно. Но Анна Серафимовна высидѣла до конца.

Палтусовъ предложилъ ей руку. Она еще въ первый разъ шла съ нимъ подъ руку, въ такомъ многолюдствѣ, предъ всей „порядочной“ Москвой. Хорошо ли она дѣлаетъ? Знакомыхъ пока не попадалось. Но вѣдь ее многіе знаютъ въ лицо. Идти съ нимъ ловко; они одного роста. Съ Викторомъ Мироничемъ она терпѣть не могла ходить и въ первый и во второй годъ замужества, а потомъ онъ и самъ никуда почти съ ней не показывался...

Вотъ они въ той комнатѣ, откуда двѣ боковыя двери ведутъ на хоры и въ круглую гостиную. Сразу нахлынула публика. Съ хоръ спускались дамы и дѣвицы въ простенькихъ туалетахъ, въ черныхъ шерстяныхъ платьяхъ, старушки, пожилыя барыни въ наколкахъ, гимназисты, дѣвочки-подростки, дѣти.

— Посмотрите, какія милыя лица, — указалъ ей Палтусовъ на двухъ дѣвушекъ, остановившихся у одного изъ подзеркальниковъ.

Онѣ были навѣрно сестры. Одна высокая, съ длинной таліей, въ черной, бархатной кофточкѣ и въ кружевной фрезѣ. Другая пониже, въ малиновомъ платьѣ съ свѣтлыми пуговицами. Обѣ брюнетки. У высокой щеки и уши горѣли. Изъ-подъ густыхъ бровей глаза такъ и сыпали искры. На лбу курчавились волосы, спускающіеся почти до бровей. Дѣвушка, пониже ростомъ, носила короткіе локоны вмѣсто шиньона. Носъ шелъ ломаной, игривой линіей. Маленькіе глазки искрились. Талія перехвачена была кушакомъ.

— Кто это? — спросила Анна Серафимовна.

— Не знаю ихъ фамиліи, но вижу всегда въ концертахъ и въ Большомъ театрѣ, — выговорилъ Палтусовъ.

Къ брюнеткамъ подошли трое мужчинъ: толстенный офицеръ съ краснымъ воротникомъ, нервный блондинъ съ подстриженной бородой, въ длинномъ сюртукѣ и, по московской модѣ, въ бѣломъ галстукѣ, и черноватый франтъ во фракѣ и лайковыхъ башмакахъ, — съ виду иностранецъ.

Дѣвушка, повыше, заговорила съ военнымъ. Глаза ея еще больше заиграли. Другая улыбалась блондину.



— Вот толкуютъ — невѣсть нѣтъ, — пошутила Анна Серафимовна, — а куда ни взглянешь — все хорошенькія дѣвушки.

— Милыя! — выговорилъ Палтусовъ.

— Что не женитесь?

— Время не пришло.

— Я не сваха, никого сватать не буду, — прибавила она серьезно. — Да и вы, Андрей Дмитричъ, не женитесь. На это надо талантъ имѣть.

Она сказала „талантъ“, а не „талантъ“ — по-московски. Это ему понравилось.

— Батюшки, — прошептала вдругъ она, — не уйдешь отъ старика!

Ее замѣтилъ тотъ лысый господинъ, котораго она уже видала, когда пріѣхала. По дорогѣ онъ подошелъ къ брюнеткамъ, пожалъ имъ руки продолжительно, съ наклоненіемъ всего корпуса, щуря свои мышиные глазки.

Онъ подошелъ и къ Аннѣ Серафимовнѣ и сдѣлалъ жестъ, точно хотѣлъ приложиться къ рукѣ.

— Анна Серафимовна, — сладко проговорилъ онъ, и глазки его совсѣмъ закрылись. — Какъ ваше здоровье? Викторъ Миранычъ какъ поживаетъ?

Каждый разъ онъ спрашиваетъ ее одно и то же: — о здоровьи и о Викторѣ Миранычѣ.

— Благодарю васъ, — сухо отвѣтила она и рукой нежно нажала на руку Палтусова, давая ему чувствовать, чтобы онъ повелъ ее дальше.

Они перешли въ послѣднюю залу, передъ площадкой. Здѣсь по стульямъ сидѣли группы дамъ, простывали отъ жары хоръ и большой залы. Развѣздъ шелъ туго. Только половина публики отплыла книзу, другая половина ждала или „дѣлала салонъ“. Всѣмъ хотѣлось говорить.

Мужчины перебѣгали отъ одной группы къ другой.

— Хотите присѣсть? — спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, здѣсь на виду очень.

— Все боитесь?

— Ахъ, Андрей Дмитричъ, — выговорила она полушопотомъ, — вы во мнѣ еще долго не выкурите... купчихи.

— Да и не нужно.

— Ой-ли? — вырвалось у нея.

И она довольно громко засмѣялась. Они вышли уже на площадку. Палтусовъ отвелъ ее въ сторону, направо.

— Надо подождать немного, — сказали онъ, указывая на толпу.

XXIV.

— Аннушка, здравствуй! — поздоровалась съ Анной Серафимовной Рогожина и стала передъ ними.

Мужъ накинулъ ей на плечи голубую мантилью, послѣ чего подбѣжалъ къ Станицыной и низко съ ней раскланялся.

Палтусову Рогожина подмигнула. Этотъ взглядъ, говорившій: „вотъ ты куда подбираешься!“ схватила Анна Серафимовна и внутренне съежилась. Она отдернула на половину руку, которую держалъ Палтусовъ.

— Здравствуй, — выговорила она степеннымъ тономъ.

— Искала тебя по всей залѣ... Ты что же это на твоёмъ мѣстѣ не сидишь, а?

— Не люблю... Очень жарко и къ музыкѣ близко.

— Ну, вотъ что, голубчикъ... У меня плясъ въ среду на масленицѣ... Тебя бы и звать не слѣдовало... Глазъ не кажешь. Вотъ и этотъ молодчикъ тоже. Скрывается гдѣ-то. — Рогожина во второй разъ подмигнула. — Пожа-луйста, милая. Вся губернія пойдетъ писать. Маменекъ не будетъ... Только однѣ хорошенькія... А у кого это мѣсто не ладно, — она обвела лицо, — тѣ высокаго полета.

— Вотъ какъ, — кончикомъ губъ выговорила Анна Серафимовна... Тонъ Рогожиной ее коробилъ.

— Будешь?

— Плохая я танцовка... — начала было Анна Серафимовна.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, — вмѣшался мужъ Рогожиной, — это никакъ невозможно. Людмилочка говоритъ истинную правду: однѣ только хорошенькія будутъ. Вамъ никакъ нельзя отказаться.

— Не мѣшайся! — крикнула Рогожина.

Станицына покраснѣла.

Къ нимъ подошелъ пріѣзжій генералъ, совсѣмъ бѣлый, съ золотыми аксельбантами. Онъ весь вечеръ любезничалъ съ Рогожиной.

— А! — заговорилъ онъ, обращаясь къ Рогожиной, — здѣсь салонъ... *Esprit d'escalier!*..

— Такъ будете, князь? — Рогожина повернулась къ нему и взяла его за обшлагъ рукава.

— Непремѣнно...

— Прощай!—сказала Рогожина Аннѣ Серафимовнѣ.—
Пойдемте, князь.

Она увела старичка.

— Бой-баба стала моя Людмила Петровна!—замѣтилъ
Палтусовъ.

— Ваша?—переспросила Станицына.

— Я вѣдь ее еще дѣвушкой зналъ... Мы съ ней даже
на „ты“ были одно время.

— У ней это скоро... А какъ вы скажете, Андрей
Дмитричъ... Хорошо ли такой быть, какъ она?

— Въ какомъ смыслѣ?

— Такъ со всѣми обходиться?

— Видите, хорошо... Всѣ къ ней ѣздить... Вся Москва
будетъ... Вотъ увидите... Только вы-то будьте...

— Буду,—тихо и полузакрывъ глаза выговорила она.

Палтусовъ проводилъ ее внизъ, отыскалъ ея человѣка
и самъ надѣлъ на нее шубу. Въ пуховомъ, бѣломъ платкѣ
Анна Серафимовна была еще красивѣе.

Онъ на нее засмотрѣлся.

— А ваша Тася!—сказала она ему у дверей вторыхъ
сѣней.—Когда же ко мнѣ?

— Послѣзавтра.

— Жду.

Еще разъ кивнула она ему головой и пошла, кутаясь
въ песцовую шубу.

У прилавковъ, гдѣ выдавали платье, давка еще не
прекратилась. Изъ дверей врывался холодный воздухъ.
Палтусовъ разсудилъ подняться опять наверхъ.

Съ площадки, гдѣ зеркало, онъ увидалъ наверху у
перилъ Нѣтова. Евлампій Григорьевичъ стоялъ нагнув-
шись надъ перилами и смотрѣлъ внизъ. Его лицо пора-
зило Палтусова. Онъ не видалъ его больше недѣли. Нѣ-
товъ въ послѣдній разъ, какъ они видѣлись, былъ воз-
бужденъ, говорилъ все о какихъ-то „предателяхъ“, про-
силъ прослушать статью, составленную имъ для напеча-
танія отдѣльной брошюрой, гдѣ онъ высказываетъ свои
„правила“. Къ этому человѣку онъ чувствуетъ жалость.
Прибрать его къ рукамъ очень легко, но какъ-то совѣстно.
Угнускать изъ рукъ тоже не слѣдовало.

Нѣтовъ спустился на площадку. Онъ шелъ, глядя раз-
бѣгающимися глазами. Шляпа сидѣла на затылкѣ. Фигура
маленькая.

— Евлампій Григорьевичъ!—окликнулъ его Палтусовъ.



— А-а!.. Это вы!

Онъ точно съ трудомъ узналъ Палтусова, но сейчасъ же подошелъ, взявъ за руку и отвелъ въ уголъ.

— Когда ко мнѣ?—шепнулъ онъ таинственно.

— Когда прикажете, — отвѣтилъ Палтусовъ, поглядывая на него вопросительно.

— Жду!.. Пообѣдать! Навѣстите меня одинокаго!

И, не прощаясь, онъ сбѣжалъ по ступенькамъ.

„Свихнется“, — подумалъ Палтусовъ и не пошелъ за нимъ. Минуты три онъ стоялъ, облокотясь о пьедесталъ льва. Мимо него прошли сестры-брюнетки и за ними ихъ кавалеры. Тутъ двинулся и онъ.

XXV.

— Андрей Дмитричъ! Monsieur Палтусовъ!—крикнулъ кто-то сзади, съ площадки.

Его догонялъ маклеръ-нѣмчикъ, къ которому онъ обращался когда-то въ Славянскомъ Базарѣ отъ имени Калакупкаго.

Карлуша былъ въ полной бальной формѣ. Изъ концерта онъ ѣхалъ на Маросейку, на празднованіе серебряной свадьбы къ нѣмецкимъ коммерсантамъ-милліонщикамъ.

— Маленечко подождите!

Онъ сбѣжалъ къ Палтусову и шепнулъ ему на ухо:

— Сергѣй-то Степановичъ—въ трубу!

— Что вы говорите?—откинулся назадъ Палтусовъ.

Но онъ тотчасъ же подумалъ: „и слѣдовало ожидать“.

— Скажите, что же? — заговорилъ онъ, беря маклера подъ локоть.

Они поднялись прямо на площадку.

— Да что — векселя пошли въ протестъ. Платежей нѣтъ. Дома на волоскѣ.

— И дома?

— Безпремѣнно! Мнѣ Леонтій Трофимычъ говорилъ, потому товарищество — тоже кувырокъ!.. И я не радъ, что тогда обращался... Ну, да мое дѣло сторона. Вы нешто ничего не слыхали?

— Слышалъ кое-что... Я вѣдь больше не занимаюсь его дѣлами.

— То-то! И разлюбезное дѣло... Прощайте. Мнѣ еще къ Теодору заѣхать.. растрепались всѣ волосы отъ жары! Да-съ, профарфорился герръ Калакупкій.

— Какъ вы говорите?

— Профарфорился!.. Такъ Алексѣй Ивановичъ все изво-
лять выражаться... Наше вамъ, — съ огурцомъ пятнад-
цать.

Онъ засмѣялся, подаль руку Палтусову и, сбѣгая со
ступенекъ, заложилъ свою складную шляпу съ синимъ
подбоемъ подъ лѣвую мышку. Карлуша ѣздилъ въ бобро-
вой шапкѣ.

Палтусовъ остановился. Онъ рѣшилъ сейчасъ же ѣхать
къ Калакуцкому.

Его везъ извозчикъ. Своихъ лошадей онъ ужъ началъ
беречь и не ѣздилъ на нихъ по вечерамъ. До дому Ка-
лакуцкаго было недалеко, но извозчикъ тапился трусцой.

Палтусовъ предчувствовалъ, что „крахъ“ для его быв-
шаго патрона наступитъ скоро. Хорошо, что онъ уже бо-
лѣ двухъ мѣсяцевъ какъ простился съ нимъ. Паевое
товарищество задумано было, въ сущности, на фу-фу...
Быть-можетъ, къ веснѣ, если бы Калакуцкому удалось
завербовать двухъ-трехъ капитальныхъ „мужиковъ“, — дѣло
и пошло бы. Но онъ слишкомъ раскинулся. Припомнились
Палтусову слова: „хапаетъ“, сказанныя ему Осетровымъ.
Вотъ тотъ такъ человѣкъ!

Это пахло полнымъ разореніемъ. Но большой жалости
онъ не чувствовалъ къ Калакуцкому. И даже у него за-
мелькали въ головѣ новыя соображенія. Подряды его
бывшаго патрона не всѣ были захвачены съ глупымъ
рискомъ. Есть и очень выгодныя. Если бы заполучить
хоть одинъ изъ такихъ стоящихъ подрядовъ? Вѣдь и
домовъ у него цѣлыхъ три... Они пойдутъ за безцѣнокъ...
Заложены давно. И строены-то были безъ копейки. Заба-
стуй тогда Калакуцкій — и былъ бы онъ крупный домо-
владѣлецъ, выплачивалъ бы себѣ банковскіе проценты.
Ему давали дутыя оцѣнки, на треть выше стоимости. Да
и теперь можно еще сдѣлаться домовладѣльцемъ такимъ
же способомъ. Все-таки кумовство пужно, или, лучше
сказать, — организованный обманъ. А тутъ дѣло чистое:
приобрѣтъ съ аукциона... Охотниковъ не мало найдется и
съ своими деньгами. А у него сколько же своихъ-то? И
двадцати тысячъ не найдется.

На этомъ вопросѣ остановилъ Палтусова толчокъ въ
рытвину, выбитую сбоку улицы. Онъ оглянулся и крик-
нулъ:

— Стой!

Сани уже поравнялись съ огромнымъ четырехъэтажнымъ домомъ о двухъ подъѣздахъ. Это и былъ одинъ изъ домовъ Калакуцкаго, гдѣ проживалъ самъ владѣлецъ.

Быстро расплатившись съ извозчикомъ, Палтусовъ вбѣжалъ въ подъѣздъ, по-сю сторону большихъ воротъ, сквозь которыя видѣнъ былъ освѣщенный газовыми фонарями глубокой дворъ, весь обстроенный. Ворота стояли еще отворенными на обѣ половинки.

— Сергѣй Степанычъ?—спросилъ онъ у швейцара.

Тотъ встрѣчалъ его у лѣстницы безъ картуза. Палтусовъ замѣтилъ, что лицо у него разстроено.

— Батюшка баринъ,—заговорилъ шопотомъ швейцаръ, съдѣнькій старичокъ,—нездорово у насъ.

— Какъ нездорово?

— Сергѣй Степановичъ...—онъ досказалъ на ухо Палтусову:—Богу душу отдали...

— Когда?..

У Палтусова перехватило голову.

— Да вотъ съ часъ времени будетъ... Полиція тамъ, за слѣдователемъ... или бишь за прокуроромъ послали.

Семейства у Калакуцкаго не было. Но Палтусовъ зналъ, что онъ содержитъ немолодую уже танцовщицу изъ ко-рифеекъ. Она жила въ томъ же домѣ, въ особой квартирѣ.

— А Лукерья Семеновна?—спросилъ онъ.

— Послали-съ... Онѣ въ театрѣ... Танцуютъ сегодня. Ждемъ съ минуты на минуту.

— Да жилъ онъ... хоть немного?

— Нѣтъ-съ... Какъ, значить, пистолетъ приставилъ къ виску—сразу!.. И камардинъ не вдругъ вошелъ. Чай заваривалъ... Входитъ съ подносомъ, а они лежатъ, голова-то на письменномъ столѣ. У стола и сидѣли...

— Такъ тамъ полиція?

— Да-съ — околоточный и хожалый. Докторъ уѣхалъ, изъ части взяли... Что же ему за сухота теперь? И крови-то ничего почти не вышло... Въ мозгъ значить прямо... Страсти!

Старичокъ вздрогнулъ и перекрестился.

— Пожалуйте!..—показалъ онъ рукой вверхъ.

XXVI.

Хозяйская квартира помещалась въ бельэтажѣ. Палтусовъ оглядѣлъ лѣстницу. Матовый, въ видѣ чаши, фонарь,

коверь съ мѣдными спицами, разостланный до первой площадки, большое зеркало надъ мраморнымъ каминомъ внизу, все такъ нарядно и внушительно смотрѣло на него, вплоть до стѣнъ, расписанныхъ въ античномъ вкусѣ, темно-красной краской съ фресками. И въ этой отдѣлкѣ параднаго подъѣзда виднѣлся ловкій строитель изъ дворянъ, умѣвшій все показать „въ авантажѣ“. Ничто не говорило, что за дверьми первой квартиры, по правую руку, доигранъ былъ послѣдній актъ дѣлецкой драмы.

„Навѣрно, уголовщина“, — сказалъ себѣ Палтусовъ. Онъ медленно поднимался по большимъ ступенькамъ широкой лѣстницы съ чугунными, бронзированными перилами.

Безъ уголовныхъ подробностей, изъ-за одной несостоятельности, такой человѣкъ, какъ Калакуцкій, врядъ ли всади́лъ бы себѣ пулю...

Онъ позвонилъ. Отиерь человѣкъ Василій, съ перекосеннымъ лицомъ.

— Андрей Дмитричъ! — растерянно воскликнулъ онъ. — Какъ васъ Богъ принесъ?.. Пожалуйте!..

Въ передней сидѣлъ городской въ киверѣ, въ пальто съ мѣховымъ воротникомъ, и сонно хлопалъ глазами. При входѣ Палтусова онъ всталъ.

— Гдѣ? — спросилъ Палтусовъ.

— Въ кабинетѣ-съ. Такъ и оставили... Слѣдовательно...

И камердинеръ повторилъ ему то, что онъ уже слышалъ отъ швейцара.

— Въ театръ послали, — конфиденціально сообщилъ камердинеръ. — Лукерья-то Семеновна... танцуетъ-съ... У нихъ сегодня, въ новомъ балетѣ, въ самомъ концѣ пѣлый номеръ. Ближе половины двѣнадцатаго не будутъ.

Камердинеръ былъ любитель балета и даже свободно выговаривалъ такія слова, какъ „*pas de deux*“.

Передняя освѣщалась стѣнной лампой. Висѣла илькомъ шуба Калакуцкаго рядомъ съ пальто околоточнаго. На подзеркальникѣ лежала мѣховая шапка и на ней пара новыхъ свѣтлыхъ перчатокъ.

— Хотѣли въ балетъ ѣхать-съ, — доложилъ еще камердинеръ, снимая пальто съ Палтусова. — И лошади были готовы... И вотъ!..

Онъ не dokonчилъ. Барина онъ жалѣлъ, хоть покойный и давалъ иногда зуботычины. Жалованья Василій получалъ тридцать рублей.

Палтусовъ прошелъ черезъ столовую и небольшую го-

стиную—онѣ стояли темными—и остановился въ дверяхъ кабинета между двумя тяжелыми портьерами. Свѣтъ высокой фарфоровой лампы ярко падалъ на письменный столъ, занимавшій всю средину комнаты, просторной и оклеенной темными обоями. Изъ-за спинки креселъ,—передъ большимъ круглымъ столомъ,—Палтусову не видно было тѣла самоубійцы. Его оставили въ такомъ положеніи, какъ засталъ его камердинеръ, все еще боявшійся, что его схватятъ. Околоточный присѣлъ къ письменному столу справа. Его курчавая, рыжеватая голова, съ курносимъ въ очкахъ профилемъ, рѣзко выдавалась на фонѣ зеленого сукна и мѣлы кабинета за столомъ. Онѣ писалъ. Слышно было скрипѣніе пера.

На Палтусова напало что-то схожее съ робостью. Въ трусости онѣ не могъ себя упрекнуть. Ему не досталось Георгія, когда онѣ былъ за Балканами въ волонтерахъ, но саблю за храбрость онѣ имѣлъ. Однако, надо же было посмотрѣть недавняго „принципала“. Его начинала щемить мысль, что денежная карьера дворянина, собиравшагося обогатиться купеческія кувшины, можетъ очень и очень закончиться вотъ такимъ выстрѣломъ.

Палтусовъ вошелъ наконецъ въ кабинетъ. Околоточный поднялъ голову и тотчасъ же всталъ. Ему было плохо видно съ его мѣста. Онѣ могъ принять Палтусова за слѣдователя или товарища прокурора.

— Не беспокойтесь,—сказалъ ему тихо Палтусовъ,—продолжайте ваше дѣло.

Околоточный пристально оглядѣлъ его и призналъ, что это не должностное лицо.

— Что вамъ угодно?—спросилъ онѣ.

— Я заѣхалъ случайно къ Сергѣю Степановичу,—выговорилъ Палтусовъ; но не прибавилъ, что близко зналъ покойнаго, какъ его бывший агентъ.

— Любезнѣйшій,—крикнулъ околоточный Василю,—постороннихъ-то не пускайте!

— Слушаю-съ,—трусливо откликнулся Василій изъ-за портьеры.

— Я на минуту,—сказалъ, какъ бы извиняясь, Палтусовъ.

Тутъ только, около самаго письменнаго стола, онѣ разглядѣлъ тѣло Калакуцкаго. Голова лежала на обѣихъ рукахъ, сложенныхъ подъ нею. Кресло было придвинуто плотно къ столу. Тѣло подалось вправо. На лѣвомъ вискѣ

чернѣлась, повыше уха, маленькая дырочка съ запекшейся кровью. Отложной воротничокъ рубашки былъ въ двухъ мѣстахъ забрызганъ. Лицо, видное Палтусову въ профиль, поблѣднѣло и стало очень красивымъ съ его крупнымъ носомъ, длинными усами и французской бородкой. Можно бы принять мертвеца за спящаго... Одѣлся онъ дѣйствительно въ театръ,—въ двубортный, обшитый ленточкой сюртукъ, застегнутый на четыре пуговицы. Пистолеть лежалъ на полу такъ, какъ его нашелъ Василій.

XXVII.

— Вы такъ и оставили?—обратился Палтусовъ къ околоточному и указалъ на трупъ.

— Да-съ... лакей хотѣлъ на кушетку... Этого нельзя. Слѣдователь забранится. Навѣрняка и прокуроръ будетъ. Поди, какъ бы генераль не пріѣхали.

И околоточный значительно поглядѣлъ на Палтусова.

— Вы не тревожьтесь,—сказалъ Палтусовъ,—я сейчасъ уйду.

— Да и вамъ лучше... Какое удовольствие! И памъ-то съ этими самоубійствами житья нѣтъ. Вѣрьте слову... Хозяева меблированныхъ комнатъ обижаются чрезвычайно. Пріѣдетъ съ желѣзной дороги, какъ слѣдуетъ, номеръ возьметъ, спроситъ порцію чаю... А тамъ и выламываетъ двери. Ночью и натворитъ безобразія. Или опять въ баляхъ, или въ номерахъ для пріѣзжающихъ. Спервоначалу пройдетъ насчетъ женскаго пола...

— Да?—съ улыбкой переспросилъ Палтусовъ.

— Первымъ дѣломъ! Или у проститутки ночевать,—окажется изъ дознанія,—или притащить съ собой, под утро отпустить ее, ну водка или ромъ — и на утро пукнуть... Анаемское время, я вамъ скажу!

— Молодые отъ любви больше?

— Нельзя этого сказать, — вошелъ въ сюжетъ околоточный и даже выпрямился, — студентъ — отъ чувствъ... бывало это, или такъ, сдуру, въ меланхолію войдетъ, оставитъ ерунду какую-нибудь, на письмѣ изложитъ, жалуется на все, правды, говорить, нѣтъ на свѣтъ, а я, говорить, не могу этого вынести... Мечтанія, знаете. Женскій полъ отъ любви, точно... Гимназисты опять попадаютъ, мальчуганы. Они отъ экзаменовъ. А больше растра...

— Растраты?—повторилъ Палтусовъ.

— Такъ точно. Чуть деньги растратилъ, хозяйскія или по довѣренности, или просто запутался...

Околоточный смолкъ на минуту и прибавилъ:

— Жуликовъ расплодилось, нѣсть числа!

И вздохнулъ.

— Не мало,—подтвердилъ Палтусовъ.

Онъ глядѣлъ все на голову Калакуцкаго. Сбоку отъ лампы стоялъ овальный портретъ въ орѣховой рамкѣ. На темномъ фонѣ выступала фигура танцовщицы въ балетномъ испанскомъ костюмѣ и въ позѣ съ одной вскинутой ногой.

— Нѣсть числа жуликовъ!—повторилъ околоточный и поправилъ на носу очки. — Генералъ нашъ хочетъ вотъ нашихъ-то, хотя бы мелюзгу-то карманную, истребить... Ничего не сдѣлаетъ-съ! Переодѣвайся, не переодѣвайся въ полушубокъ—не выведешь. А тысячныя-то растраты? Тутъ ужъ подымай выше... Изволили близко знать Сергѣя Степановича?—вдругъ спросилъ онъ другимъ тономъ.

— Довольно близко, — отвѣтилъ Палтусовъ сдержанно.

— Какъ же это такое происшествіе?.. Въ дѣлахъ, видно, позамыавшись?

— Должно-быть...

— Удивленія достойно... Человѣка миллионщикомъ считали... Домъ одинъ этотъ на триста тысячъ не окупишь... Грѣхи!

— Нашли какое-нибудь письмо?—перебилъ Палтусовъ.

Его точно что удерживало въ комнатѣ мертвеца.

— Мы на столѣ ничего не трогали... Изволите сами видѣть... Вотъ около лампы пакетъ. Какъ будто только что написанъ былъ и положенъ. Кровинка и на него угодила.

Вправо, выше лампы, около бронзоваго календаря, лежало письмо большого формата. На него дѣйствительно попала капля крови. Палтусовъ издали, стоя за кресломъ, прочелъ адресъ: „Госпожѣ Калгановой — въ собственныя руки“.

— Вы прочли адресъ?—освѣдомился Палтусовъ.

— Прочелъ-съ... Рука у покойника четкая такая... Госпожѣ Калгановой. Это ихъ мамашка-съ!

— Что?—не разслышалъ Палтусовъ.

Околоточный ухмыльнулся.

— Мамашка-съ, я говорю, на держаніи, стало-быть,

состояла... Это они напрасно сдѣлали... Что же тутъ дѣвицу срамить? Лучше бы самолично отвезти или со слугителемъ послать. Да всегда на человѣка, коли онъ это самое задумаетъ, найдеть затменіе... Въ балетѣ онѣ состоятъ...

Онъ ткнулъ пальцемъ въ фамилію, написанную на конвертѣ.

— Послали за ней... Напрасно. Дурачье-люди. Прискачеть, ревъ, истерика, крикъ пойдетъ... Въ протоколъ занесутъ, допрашивать еще стануть, слѣдователь у насъ изъ молодыхъ, не умаялся. И только одинъ лишній срамъ... Онѣ вѣдь въ этомъ же домѣ жительство имѣютъ.

— Я знаю,—выговорилъ Палтусовъ.

— Мнѣ вотъ отлучиться-то нельзя... А не надо бы допускать. А какъ не допустить?

„Пускай ее!“—подумалъ Палтусовъ.—Онъ не станетъ мѣшкаться. Танцовщица утѣшится. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Вотъ развѣ покойный что-нибудь наблудилъ; такъ „гражданская сторона“ доберется до разныхъ ея вещей и цѣнныхъ бумагъ. Сумѣетъ спустить. Съ этой Лукерьей Семеновной онъ всего разъ обѣдалъ.

Околоточный вышелъ на средину кабинета. Палтусовъ сдѣлалъ также нѣсколько шаговъ къ двери.

— Прощайте,—громко сказалъ онъ.

— Мое почтеніе-съ... Вы хорошо дѣлаете, что не остаетесь... Протоколъ и все такое... И усталъ же я нынче авосьмски,—околоточный весь потянулся,—передъ вечернимъ пожаръ былъ, только что въ трактиръ зашелъ, подчасокъ бѣжить: мертвое тѣло!.. Мое почтеніе-съ!

Палтусовъ бросилъ еще взглядъ на голову самоубійцы и вышелъ изъ кабинета.

XXVIII.

Швейцара въ сѣняхъ уже не было, когда Палтусовъ проходилъ назадъ. Онъ спускался по ступенямъ замедленнымъ шагомъ, съ опущенной головой. Раза два обернулся онъ назадъ и оглядывалъ сѣни. На тротуарѣ, въ подъѣздѣ, онъ постоялъ немного и вмѣсто того, чтобы кликнуть извозчика, повернулъ направо и вошелъ подъ ворота.

Оставалась отпертою только калитка на цѣпи. Дворникъ въ тулупѣ сидѣлъ подъ воротами на скамейкѣ. Въ глубинѣ подворотни — она содержалась въ большой чи-

стотъ—горѣлъ полукруглый фонарь съ газовымъ рожкомъ.

Странно такъ показалось Палтусову, что въ домѣ совершенная тишина, даже дворникъ по обыкновенію дремлетъ, а хозяинъ дома—мертвый въ кабинетѣ, съ пульей въ черепѣ. Такая же тишина стояла на дворѣ. Онъ былъ гораздо больше, чѣмъ думалъ Палтусовъ. Въ глубинѣ помѣщались сарай, конюшни и прачечная, отдѣльнымъ флигелькомъ, и передъ нимъ родъ палисадника, обнесеннаго низкой чугунной рѣшеткой. Домъ шелъ кругомъ шести-граннымъ ящикомъ съ выступами въ двухъ мѣстахъ, со множествомъ подъѣздовъ. На дворѣ не валялось ни грудъ сколотата снѣгу, ни мусору, ни кадушекъ. Снѣгъ со-всѣмъ почти сошелъ съ него и подъ ногами чувствовался асфальтъ.

Палтусовъ вышелъ на самую средину, сталъ спиной къ рѣшеткѣ и долго оглядывалъ все зданіе. Въ него навѣрное вложено до пятисотъ тысячъ рублей. Постройка чудесная.

Видно, что подрядчикъ для себя строилъ. Расположеніе этажей, подъѣзды, выступы, хозяйственные приспособленія,—все смотрѣло нарядно и капитально.

Въ душѣ бывшаго подручнаго самоубійцы-предпринимателя играло въ эту минуту проснувшееся чувство живой приманки—большой, готовой, сулящей впереди осуществленіе его плановъ... Вотъ этотъ домъ! Онъ отлично выстроенъ, тридцать тысячъ дастъ доходу: приобрести его какимъ-нибудь „особымъ“ способомъ,—больше ничего не нужно. Въ немъ найдешь ты прочный грунтъ. Ты пойдешь дальше, но не замотаешься, какъ этотъ отставной поручикъ, кончившій самоубійствомъ.

Фасадъ дома всегда правился Палтусову. На улицу онъ весь былъ выштукатуренъ и выкрашенъ темнымъ ко-
ломъ. Со двора только нижній этажъ выведенъ подъ ка-
мень, а остальные оставлены въ кирпичикахъ съ обшив-
кой настоящимъ камнемъ. Балакупскій любилъ вѣнскіе
постройки, часто похвалялъ ему разные дома на Ринг-
новыя воздвигавшіяся зданія ратуши, музеевъ, универ-
ситета.

Второй этажъ со двора смотрѣлъ также нарядно, чего
не бываетъ въ другихъ домахъ. Каждое окно съ фронтон-
номъ, колонками и балюстрадой внизу. Такъ аппетитно
смотреть на Палтусова вся стѣна. Онъ считаетъ окна
вдоль и вверхъ по этажамъ. Есть что-то затягивающее

въ этомъ ощупываніи глазомъ каменной громадины цѣнностью въ полмилліона рублей. Не слѣдовало ни въ какомъ случаѣ застрѣливаться, владея такимъ домомъ. Всегда можно было извернуться.

Палтусовъ закрылъ глаза. Ему представилось, что онъ хозяинъ, выходитъ одинъ ночью на дворъ своего дома. Онъ превратитъ его въ нѣчто невиданное въ Москвѣ, нѣчто въ родѣ парижскаго Пале-Рояли. Одна половина—громадные магазины, такіе, какъ Лувръ; другая—отель съ американскимъ устройствомъ. На дворѣ—скверъ, аллеи; службы снесены. Сарай помѣщаются на второмъ, заднемъ дворѣ. Въ нижнемъ этажѣ, подъ отелемъ—кафе, какое давно нужно Москвѣ, гарсоны бѣгаютъ въ курткахъ и фартукахъ, зеркала отражаютъ тысячи огней... Жизнь кипитъ въ магазинѣ-монстрѣ, въ отелѣ, въ кафе, на этомъ дворѣ, превращенномъ въ прогулку. Кругомъ лавки брильянщиковъ, модные магазины, еще два кафе, поменьше, въ нихъ играетъ музыка, какъ въ Миланѣ, въ пассажѣ Виктора-Эммануила. Это дѣлается центромъ Москвы, все стекается сюда и зимой и лѣтомъ.

Тянетъ его къ себѣ этотъ домъ, точно онъ—живое существо. Не кирпичомъ ему хочется владѣть, не алчность разжигаетъ его, а чувство силы, упоръ, о который онъ сразу обопрется. Нѣтъ ходу, вліянія, нельзя проявить того, что сознаешь въ себѣ, что выразишь цѣлымъ рядомъ дѣлъ, безъ капитала или такой вотъ кирпичной глыбы.

Тихо вышелъ Палтусовъ на улицу. У подъѣзда, ведущаго въ квартиру Калакуцкаго, уже стояло двое саней. Онъ перешелъ улицу и сталъ у фонаря. Долго осматривалъ онъ фасадъ дома, а на сердцѣ у него все разгоралось желаніе обладать имъ.

XXIX.

Домой пріѣхалъ Палтусовъ въ первомъ часу. Мальчика онъ отпустилъ, сказавъ, что самъ раздѣнется.

Въ сюртукѣ и не снимая перчатокъ, присѣлъ онъ къ письменному столу, отперъ ключомъ верхній ящикъ и вынулъ оттуда бумагу. Это была довѣренность Марьи Орестовны Нѣтовой. Ея деньги положены были имъ, въ разныхъ бумагахъ, на храненіе въ контору государственнаго банка. Но онъ уже раза два вынималъ ихъ и мѣнялъ на другія.

Прощаясь, она сказала ему:

— Андрей Дмитричъ, вы не гонитесь за большими процентами, а впрочемъ, какъ знаете.

Онъ уже ей тогда говорилъ про акціи рязанской дороги и учетнаго банка.

— Какъ знаете, — повторила она, — я на васъ полагаюсь.

— Ну, а представится случай купить выгодно домъ? — такъ, между прочимъ, спросилъ онъ ее тогда.

— Домъ? Зачѣмъ! Я не знаю, — выговорила она съ гримасой, — какъ мнѣ изъ этой отвратительной Москвы уѣхать.

— Землю или вообще недвижимость?..

— Какъ разсудите, — повторила она. — Только, чтобы меня не привязали къ Москвѣ.

— А домъ доходный, — замѣтилъ онъ, — лучше земли.

— Какъ знаете.

Это были ея послѣднія слова.

Онъ припоминалъ ихъ, перечитывая бумагу. Читала ли она сама хорошенько эту довѣренность? Онъ ее списалъ съ обыкновенной формы полной довѣренности. По ней можетъ онъ и покупать, и продавать за свою довѣрительницу, и расходовать ея деньги, какъ ему заблагоразсудится.

Кровь прилила къ головѣ Палтусова. Онъ два раза перечелъ довѣренность, точно не вѣря ея содержанію, всталъ, прошелся по кабинету, опять сѣлъ, началъ писать цифры на листѣ, который оторвалъ отъ цѣлой стопки, приклеенной къ дощечкѣ.

Въ половинѣ второго онъ вышелъ изъ дому. Мальчика онъ не будилъ, а заперъ дверь снаружы ключомъ, взялъ извозчика и велѣлъ везти себя къ Тверскому бульвару.

На площади у Страстного монастыря онъ сошелъ съ саней.

Черезъ десять минутъ онъ опять стоялъ передъ домомъ Калакудкаго. У подъѣзда дожидались тѣ же двое саней. Въ окна освѣщеннаго кабинета, сквозь расшитыя узорами гардины, видно было, какъ ходятъ; мелькали тѣни и въ слѣдующихъ двухъ комнатахъ, уже освѣщенныхъ.

Но это не занимало его. Онъ глядѣлъ на домъ. Ночь дѣлалась свѣтлѣе. Фасадъ четырехъэтажнаго зданія выступалъ между невзрачными домиками съ мезонинами и заборами. Нѣсколько балконовъ и фонариковъ бѣлѣлись въ полумглѣ ночи.

Обладать имъ есть возможность! Дѣло состоитъ въ выигрышѣ времени. Онъ пойдетъ съ аукціона сейчасъ же, по долгу въ кредитное общество. Денегъ потребуется не очень много. Да если бы и сто тысячъ—онѣ есть, лежать же безъ пользы въ конторѣ государственнаго банка, въ билетахъ восточнаго займа. Высылай проценты два раза въ годъ. Черезъ два-три мѣсяца вся операція сдѣлана. Можно перезаложить въ частныя руки. И этого не надо. Тогда векселя учтутъ въ любомъ банкѣ. На свое имя онъ не купитъ, найдетъ надежное лицо.

Въ мозгу его такъ и скакали одна операція за другой. Такъ это выполнимо, просто—и совсѣмъ не рискованно. Развѣ это присвоеніе чужой собственности? Онъ сейчасъ напишетъ Нѣтовой, и она поддержитъ его; но онъ не хочетъ. Зачѣмъ ему одолжаться открыто, ставить себя въ положеніе кліента? Она довѣряетъ ему—ну и довѣрйй безусловно. Деньги ей нужны только на заграничную жизнь, покупать она сама ничего не хочетъ. Откуда же грозить опасность?

И опять его потянуло внутрь. Онъ перешелъ улицу, нырнулъ въ калитку мимо того же дворника и обошелъ кругомъ, по тротуару, всю площадь двора. Что-то особенно притягательное для него было въ этой внутренности дома Калакуцкаго. Ни на одинъ мигъ не всплыла передъ нимъ мертвая голова съ запекшейся раной, pistolетъ на полу, письмо танцовщицѣ. Подрядчикъ не существовалъ для него. Не думалъ онъ и о возможности такой смерти. Мало ли сколько жадныхъ аферистовъ! Туда имъ и дорога!.. Свою жизнь нельзя такъ отдавать... Она дорого стоитъ.

Такъ же тихо, какъ и въ первый разъ, вышелъ онъ на улицу. Сани все еще стояли. Только свѣту уже не было въ столовой. Голова Палтусова пылала. Онъ пошелъ домой пѣшкомъ.

XXX.

Домъ Рогожиныхъ горѣлъ огнями. Обставленная растеніями галлерей вела къ танцевальной залѣ. У входа въ нее помѣщался буфетъ съ шампанскимъ и зельтерской водой. Тутъ же стоялъ хозяинъ, улыбался входящимъ гостямъ и приглашалъ мужчинъ „пропустить стаканчикъ“. Сѣни и лѣстница играли разноцвѣтнымъ мрахо-

ромъ. Огромное зеркало отражало длинныя вереницы свѣчей во всю анфиладу комнатъ.

Палтусовъ вошелъ въ галлерей передъ самымъ вальсомъ. Хозяинъ подхватилъ его и заставилъ выпить шампанскаго.

— Вы не брезгуйте этимъ мѣстомъ, Андрей Дмитричъ,— говорилъ онъ, придерживая его за руку.— Пойдите здѣсь, всѣ дамы проходятъ. Ревизию можете произвести. Вы вѣдь женихъ... Еще стаканчикъ!

— Довольно,— рѣшительнымъ голосомъ сказалъ Палтусовъ.

— Веселѣй будете! Слава Тебѣ, Господи, что зима на исходѣ. Къ Святой мы съ Людмилой—фюить!.. Въ мѣстечко Парижъ!.. Калакуцкій, слышали, застрѣлился?

Этотъ вопросъ уже разъ сто предложили Палтусову въ послѣдніе пять дней.

— И видѣлъ.

— Разскажите, пожалуйста, голубчикъ! Вотъ хоть этакая исторія, и то слава Богу. Немножко языки почешутъ. А то вѣрите... Вотъ по осени вернешься изъ-за границы, такая бодрость во всѣхъ жилахъ, есть о чемъ покалякать, что разсказать... И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Къ новому году и говорить-то никому ужъ не хочется другъ съ другомъ; а къ посту ходятъ какъ мухи сонныя. Такъ какъ же это Калакуцкій-то?

Румяное лицо хозяина такъ радостно улыбалось, точно будто онъ приготовился слушать скоромный анекдотъ. Палтусовъ передалъ ему что самъ видѣлъ.

— А вѣдь вы знаете, что? Подлогъ открыли по подряду. Это мнѣ судейскій одинъ говорилъ.

Артамонъ Лукичъ еще шире ослабилъ свой ротъ.

По галлерей прошло нѣсколько дамъ.

— Статьи-то, статьи-то какія,— шепнулъ Палтусову хозяинъ и побѣжалъ раскланиваться.

Людмила Петровна сдержала слово: старыхъ и дурныхъ дамъ совсѣмъ не входило. Свѣжія лица, стройныя или пышныя бюсты рѣзко отличали купеческія семейства. Ужъ не въ первый разъ замѣчалъ это Палтусовъ. Къ Рогожинымъ ѣздило и много дворянокъ. У тѣхъ попадалось больше худыхъ, сухихъ талій, слишкомъ длинныхъ шей. Лица были у нѣкоторыхъ нервныя, но неправильныя, съ некрасивыми носами. Туалеты купчихъ рѣшительно убивали дворянскіе.

Въ дверяхъ залы показалась хозяйка въ бѣломъ атласномъ платьѣ, съ красной камеліей въ волосахъ. Она принимала своихъ гостей запросто, особенно мужчинъ. Палтусову она шепнула:

— Посмотрите-ка, голубчикъ, какая барышня. Приданого нѣтъ; зато тѣлеса!

Впереди высокой пожилой дамы съ пепельнымъ шиньономъ шла брюнетка. Палтусовъ видѣлъ ее не въ первый разъ. Онъ зналъ, что эта дѣвица—графиня Даллеръ. Ей минуло уже двадцать семь лѣтъ. Еще военнымъ онъ похитилъ ее на балахъ. Она должна выѣзжать не меньше десяти лѣтъ. Черные глаза, большіе, маслянистые, совѣтъ испанскій овалъ лица, смуглаго, но съ нѣжнымъ румянцемъ, яркія губы, бѣлыя, атласныя плечи, золотыя стрѣлы въ густой косѣ, огненное платье съ корсажемъ, обшитымъ черными кружевами, выступало передъ нимъ на фонѣ боковой двери въ ту комнату, гдѣ приготовленъ былъ рояль для тапера. Какая красавица! И сидитъ въ дѣвкахъ! Еще три-четыре года, и начнетъ блекнуть. Рогожина вѣрно говорить: вотъ ему невѣста. Но когда? Когда онъ будетъ въ двухстахъ тысячахъ дохода, не раньше. Такую ему нужно жену для салона, для отдыха отъ дѣла, съ бойкимъ жаргономъ, съ хорошей фамиліей, титулованную. Нужды нѣтъ, если она не очень умна.

— Представить васъ?—спросила Рогожина.

— Представьте, — почти обрадовался Палтусовъ.

Хозяйка подвела его къ этимъ дамамъ. Тетка дѣвицы важно поклонилась Палтусову. Дѣвица заговорила быстро-быстро, немного картавя на парижскій ладъ; глаза ея замечали искры, плечами она повела, а полная рука, въ перчаткѣ чуть не до плеча, замахала вѣеромъ. Во всемъ ея существѣ было что-то близкое къ отчаянію дѣвицы, считающей одиннадцатый сезонъ. Палтусовъ говорилъ съ ней и глядѣлъ на ея гибкую талію и пышный корсажъ. Сколько тутъ рукъ перебивало, — на этой дѣвичьей таліи. Сколько военныхъ и штатскихъ кавалеровъ кружило ее въ вальсахъ, кадрилихъ и котильонахъ! Онъ пригласилъ ее на кадриль. Красавица такъ ласково взглянула на него, что онъ спросилъ тутъ же: не свободна ли была у ней и мазурка? Она отдала ему и мазурку. Ея французскій разговоръ очень напоминалъ ему парижскихъ женщинъ, съ какими ему случалось ужинать въ *sabine's par-ticuliers*. Никто бы не сказалъ, что это незамужняя жен-

щина. Но съ ней ему было весело. Какъ такая дѣвица жаждетъ жизни! Меньше двухсотъ тысячъ ей нельзя прожить. Зато—жена будетъ заглядѣнье. Для такой захочешь получать и триста тысячъ дохода. И добьешься ихъ. Они пустились вальсировать. Она легла на его руку и отвернула голову, рѣсницы полуопустила. Танцуетъ она съ особой нѣгой. Бѣдная! И такъ-то вотъ вытанцовываетъ она себѣ партію... Одинъ, два, три тура... Кто-то наступилъ ей на платье, когда Палтусовъ сажалъ ее на мѣсто. Она, запыхавшись, говоритъ пѣвуче: „merci“—и скорыми шагами пробирается въ гостиную

XXXI.

Палтусовъ смотритъ ей вслѣдъ. Много тутъ и бюстовъ, и талій, и наливныхъ плечъ. Но у ней походка особенная... Порода сказывается. Онъ обернулся и поглядѣлъ на средину залы. Въ эту только минуту замѣтилъ онъ Станицыну въ голубомъ. Она была хороша; но это не графиня Даллеръ. Купчиха! Лицо слишкомъ строго, держится жестко, не знаетъ, какъ опустить руки, цвѣты не хорошо нашиты и слишкомъ много цвѣтовъ. Голубое платье съ серебромъ—точно риза.

Ихъ взгляды встрѣтились. Анна Серафимовна покраснѣла. И Палтусова точно что кольнуло. Не волненіе влюбленнаго человѣка. Нѣтъ! Его кольнуло другое. Эта женщина уважаетъ его, считаетъ неспособнымъ ни на какую сдѣлку съ совѣстью. А онъ... Что же онъ? Онъ можетъ еще сегодня смотрѣть ей прямо въ глаза. Въ помыслахъ своихъ онъ ей не станетъ исповѣдываться. Всякій въ правѣ извлекать изъ своего положенія все, что исполнимо, только бы не залѣзть къ чужому въ карманъ.

Разомъ пришли ему всѣ эти мысли. Онъ быстро подошелъ къ Станицыной, точно хотѣлъ подавить въ себѣ наплывъ непріятнаго чувства.

— Уже танцовали?—спросила она его и поглядѣла на него съ усмѣшкой женщины, чувствующей неловкость.

— Съ графиней Даллеръ,—отвѣтилъ Палтусовъ тономъ танцора.

— Поздравляю... Красавица.

Слова эти сорвались съ губъ Анны Серафимовны.

— Сколько хорошенькихъ! Молодецъ Людмила Петровна! Какой бомондъ!

У Анны Серафимовны явилась та же усмѣшечка не-
ловкости.

Прониграли ригурнель.

— Вы со мной?—спросилъ Палтусовъ.

— А вы нешто забыли?

„Нешто“ рѣзнуло его по уху. Никогда она не смахи-
вала такъ на купчиху. Ему стоило усилія, чтобы улыб-
нуться. Надо было подать ей руку. Станицына вздрогнула;
онъ это почувствовалъ.

Они стали около дверей. Визави Палтусова былъ
распорядитель танцевъ, низенькій офицеръ съ пухлымъ
лицомъ.

— Масса хорошенькихъ!—еще разъ сказалъ Палтусовъ
и оглядѣлъ пары кадрили.

Анна Серафимовна поглядѣла на него и чуть замѣтно
улыбнулась.

— Славный вечеръ, — замѣтила она. — Людмила Пе-
тровна—мастерица.

Она не завидовала хозяйкѣ бала. Всякому свое. У Ро-
гожиной умѣнье давать вечера. И то хорошо. Заста-
вляетъ ѣздить къ себѣ настоящихъ барынь. Сколько ихъ
тутъ!..

— Какъ вамъ нравится вонъ та дѣвица... Вы ее не
знаете?

Онъ указалъ глазами на графиню Даллеръ, забывъ, что
о ней уже былъ разговоръ.

— Видала. Она давно выѣзжаетъ.

— Да, лѣтъ десять,—подтвердилъ Палтусовъ.—Прежде
я какъ-то мало замѣчалъ ее.

— А теперь замѣтили,—подчеркнула Станицына.

— Мнѣ ее жаль.

— Что такъ?

— Посмотрите... Это цѣлая трагедія. Десять лѣтъ вы-
ѣзжаетъ!..

— Какая жалость!

Тонъ ея раздражалъ Палтусова. Многого совсѣмъ не
понимаютъ эти купчихи, даже и умныя.

И Анна Серафимовна никогда не сознавала такъ рѣзко
разницу между собой и Палтусовымъ. Какъ ни возьми,
все-таки онъ баринъ. Вотъ титулованная барышня, небось,
привлекаетъ его. Понятно. А что бы мѣшало ей самой
привлечь къ себѣ такого мужчину? Вѣдь она ни разу не
говорила съ нимъ задушевно. Онъ, быть-можетъ, этого и

ждать. Разговоръ ихъ во время кадрили не клеился. Въ шенѣ, послѣ шестой фигуры, Анна Серафимовна не захотѣла участвовать. Палтусовъ повелъ ее въ дамскій буфетъ.

Весь въ живыхъ цвѣтахъ — гіацинтахъ, камеліяхъ, розахъ, нарциссахъ — поднимался буфетъ съ десертомъ. Графиня Даллеръ пришла туда позднѣе. Она приняла чашку чаю изъ рукъ Палтусова и сѣла. Онъ стоялъ надъ нею и любовался ея бюстомъ, полными плечами, шеей, родинкой на шеѣ, ея атласистыми волосами, такъ красиво проткнутыми золотой стрѣлой.

Кто-то заговорилъ со Станицыной и отвелъ ее въ сторону. Палтусовъ этого и не замѣтилъ даже. Кавалеръ увлекъ графиню Даллеръ при первыхъ звукахъ новаго вальса. Палтусовъ не пошелъ танцевать. Ему захотѣлось было одному, походить по этимъ купеческимъ хоромамъ. Онъ былъ въ особомъ возбужденіи... Вотъ еще мѣсяцъ, другой, много полгода, ну годъ, — и онъ станетъ членомъ той же семьи пріобрѣтателей и денежныхъ людей. Нѣтъ-нѣтъ, да у него и пробѣгутъ по спинѣ мурашки... Онъ все обсудилъ... Опасности, риску — нѣтъ никакого. Больше нечего и думать. Лучше вбирать въ себя краски, ощущенія вечера. На что ни упадетъ взглядъ — все нарядно и богато. Этотъ буфетный салонъ обдастъ васъ запахомъ живыхъ цвѣтовъ. Со стѣнъ массивныя лампы и жирандоли лили свѣтъ на темно-малиновый штофъ. Вазы съ фруктами и конфетами, стѣна камелій, серебряный самоваръ, бритыя лица официантовъ пестрѣли предъ нимъ. И все это купецъ заказалъ, все это ему сдѣлали. А вѣдь во все это можно вложить свой дворянскій вкусъ... Года черезъ два.

Изъ дверей виднѣлась середина танцевальной залы со скульптурнымъ потолкомъ, блѣдными штофными стѣнами и венеціанскими хрустальными люстрами. Контрастъ съ буфетной комнатою пріятно щекоталъ глаза. Дверь налѣво вела въ первую столовую. Палтусовъ зналъ уже, что тамъ съ 10 часовъ устроенъ родъ ресторана. Это было по-московски. Онъ заглянулъ туда и остановился въ дверяхъ... Тамъ уже шла желудочная жизнь.

XXXII.

Въ этой первой столовой ѣли съ самаго начала вечера. Она дѣйствительно смотрѣла залой ресторана. Накрыты

были маленькіе столики. На каждомъ лежали карточки, какъ въ трактирѣ. Офиціанты подходили и спрашивали— что угодно. За однимъ изъ столиковъ сидѣло трое любителей фды изъ купцовъ и не старый еще генералъ съ бѣлымъ крестомъ на шеѣ. Купцы подливали ему, красные, потные, завязавшіеся салфетками. Палтусовъ узналъ генерала. Еще такъ недавно всѣ носились съ нимъ, какъ съ героемъ. А теперь онъ заживаетъ въ Москвѣ, въ номерѣ гостиницы, пріѣхалъ, слышно, искать денегъ или компаньона на какой-то „гешефтъ“. Видно, энтузіазмъ— дѣло скоротечное. Компаньоны что-то не являются. Быть-можетъ, къ нему же, Палтусову, направить этого генерала, какъ къ дѣльному человѣку, ходко пошедшему въ дѣловомъ мірѣ?.. Ему вспомнилась сцена изъ его волонтерской жизни... Тогда и онъ на все смотрѣлъ иначе... Во что-то вѣрилось. Не очень, впрочемъ, долго. Развѣ не слѣдовало предвидѣть, что герой кончитъ исканьемъ московской кубышки, чтобы не перебиваться въ бѣдности до конца дней своихъ? Всѣ сюда идутъ!

Импровизованный ресторанъ наполнялся. Охотниковъ засѣсть съ самаго начала вечера за столы явилось очень много. Дамъ еще не было. Трактирнымъ воздухомъ сейчас же запахло. Наемные офиціанты внесли съ собой суету клубной службы и купеческихъ парадныхъ поминковъ у „кондитера“. Столовую уже началъ обволакивать паръ... Свѣчи горѣли тусклѣе.

Палтусовъ прошелъ мимо стола съ генераломъ. Ему хотѣлось оглядѣть и другія комнаты. Онъ зналъ, что должна быть поблизости еще комната съ закуской, равняющейся цѣлому ужину, съ водкой, винами и опять шампанскимъ.

Въ закуской, помѣщавшейся въ курильной комнатѣ, рядомъ съ кабинетомъ хозяина, Палтусовъ наткнулся на двухъ профессоровъ и одного доктора по душевнымъ болѣзнямъ. Онъ когда-то встрѣчалъ ихъ въ аудиторіяхъ.

Изъ профессоровъ одинъ былъ очень толстый брюнетъ, съ выдавшимся животомъ, молодой человѣкъ въ просторномъ фракѣ. Его черные глаза смотрѣли насмѣшливо. Въ эту минуту онъ запускалъ въ ротъ ложку съ зернистой икрой. Другой, блондинъ, смотрѣлъ отставнымъ военнымъ. Вдоль его худыхъ, впалыхъ щекъ легли длинныя, загнутые кверху, усы. Оба выказывали нѣкоторую свѣтскость.

— Что-съ,—громко шепнулъ Палтусову толстый,—ка-

ковы купчишки-то? Всю губернію заставили у себя плясать!

— Есть экземпляры богатые,—сказалъ громко блондинъ. Онъ былъ естествоиспытатель.

— Изъ какого класса?—спросилъ его весело Палтусовъ.

— Изъ головорукихъ!

Они расхохотались.

— Вы танцовать?

— Да, пойду,—отвѣтилъ Палтусовъ толстому.

— Нѣтъ, мы вотъ закусить; а закусимъ, и въ ресторанчикъ въ томъ же заведеніи, спросимъ паровую стерлядку или дичинки!

— И бутылочку холодненькаго,—прибавилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, хозяинъ ужъ заставилъ насъ пропустить по гри стакана.

— Вотъ локають-то!—вскричалъ толстый.

Всѣ трое опять разсмѣялись. Въ балагурствѣ этихъ профессоровъ слышались ему звуки завистливаго чувства. Палтусовъ подумалъ:

„Проказивайтесь, милые друзья, надъ купчишками, а все-таки шампанское ихъ локаете и объѣдаетесь зернистой икрой. Съѣдать эти купчишки и васъ, какъ съѣли уже дворянство“.

Профессора ушли. Къ Палтусову пододвинулся докторъ-психіатръ, благообразный, франтоватый, съ окладистой бородой, большого роста.

— А вы все въ Москвѣ?—спросилъ онъ, выпивъ рюмку портвейну.

— Пустилъ корни!

— Что вы!.. Вольный казакъ и коптите въ нашей трясинѣ!.. Хотите, видно, нажить душевную болѣзнь?

— Полноте,—разсмѣялся Палтусовъ,—вы, должно-быть, какъ докторъ Круповъ, всѣхъ считаете сумасшедшими?

— Не всѣхъ, а что на волѣ ходятъ кандидаты въ Преображенскую—это вѣрно.

— Кто же, напримѣръ?

— Да вотъ хоть бы,—заговорилъ потише докторъ,—Нѣтовъ, Евлампій Григорьевичъ, знаете?

— Знаю,—отвѣтилъ спокойно Палтусовъ,—онъ здѣсь?

— Въ карты играетъ въ кабинетѣ.

— И что?

— Готовъ! Прогрессивный...

— Какой?—переспросилъ Палтусовъ.

— Прогрессивный параличъ.

— Скажите, пожалуйста!

И Палтусовъ припомнилъ странные глаза Евлампія Григорьича, его взглядъ, звукъ голоса.

Онъ задумался.

— Нѣтовъ въ кабинетѣ?

— Да!

Палтусовъ отошелъ отъ доктора. Въ кабинетъ онъ не заглянулъ. Ему почему-то не хотѣлось идти раскланиваться съ Евлампіемъ Григорьичемъ. Начинали кадрили. Онъ бросился искать свою даму.

Танцы чередовались. Послѣ третьей кадрили очистили залу и открыли форточки. Хозяйка плавала по комнатамъ, подмигивала мужчинамъ, пристраивала дѣвицъ, сама много танцевала. Хозяинъ съ масляными глазами дежурилъ у шампанскаго и говорилъ неприличности. Таперъ-итальянецъ переигралъ всѣ свои опереточные мотивы. Вечеръ удался на славу.

XXXIII.

Мазурку украшалъ проѣзжій гвардейскій гусаръ въ маляновыхъ рейтузахъ, съ худенькимъ, дѣвичьимъ личикомъ и маленькой головкой на длинной худой шеѣ. Онъ выучился танцевать мазурку въ Варшавѣ. Никто кромѣ него не позволялъ себѣ выкидывать ногу впередъ и нѣсколько вверхъ и дѣлать ею потомъ родъ вѣнзеля. Дирижеръ танцевъ, армейскій пѣхотинецъ, съ завистью поглядывалъ на эти „выкрутасы“, какъ онъ называлъ своей дамѣ штуки гусара. Мазурку соединили съ котильономъ. Въ комнатѣ, гдѣ игралъ таперъ, на столѣ разложены были всѣ вещицы для котильона: множество небольшихъ букетовъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ, звѣзды, банты, картонныя головы. Все это пестрѣло и блестяло въ свѣтѣ двухъ канделябровъ. Нетапцующіе мужчины подходили и разсматривали эти предметы; иные дотрогивались до нихъ. Таперъ игралъ такъ же сильно и шумно, какъ и въ началѣ вечера. Ему была поставлена бутылка шампанскаго на столикъ около рояля.

Анна Серафимовна сидѣла около двери этой проходной комнаты. Ее пригласилъ на мазурку биржевой маклеръ, знакомый Палтусова. Напротивъ нихъ, у двери въ гостиную, помѣстился Палтусовъ съ графиней Даллеръ. Они разговаривали живо и громко. Онъ близко-близко гля-



дѣлъ на свою даму. Имъ было очень весело... Поболтають, посмѣются и оглянутъ залу. Въ ихъ глазахъ Станицына читала:

„Отчего же и не повеселиться у купчишекъ“.

Она не слыхала, что ей говорилъ ея кавалеръ. Карлуша прискучилъ ей ужасно перечисленіемъ тѣхъ вечеровъ, на какихъ онъ долженъ „обязательно“ плясать до поста.

Насилу дождалась она ужина.

Ужинъ подали около четырехъ, на отдѣльныхъ столахъ въ столовой — побольше, рядомъ съ рестораномъ. Растенія густо обставляли эту залу и дѣлали ее похожей на зимній садъ. Воздухъ сгустился. Испаренія широкихъ листьевъ и запахъ цвѣтовъ наполняли его. Огни двухъ люстръ и стѣнныхъ жирандолье выходили ярче на темной зелени.

Свою даму Палтусовъ посадилъ за столикъ въ четыре прибора, подѣ тѣнь развѣсистой пальмы. Онъ во время мазурки раза два поглядѣлъ на Станицыну. Ему сдѣлалось немного совѣстно. Надо бы лишній разъ выбрать ее въ котильонѣ, а онъ сдѣлалъ съ ней всего одинъ туръ, точно тяготился ею. Милая она жепщина; да приѣхалъ ему ужъ очень купчихи... Онъ ей скажетъ это при случаѣ.

— Вы позволите около васъ? — раздался голосъ Карлуши.

Маклеръ велъ подѣ руку Станицыну.

Палтусовъ наклонилъ голову.

— Jolie femme, — сказала громко его дама и улыбнулась Станицыной.

Пара сѣла. Купчиха и титулованная барышня оглядѣли другъ друга. Станицына разгорѣлась отъ танцевъ. Одинъ разъ и Палтусовъ наклонился въ ея сторону и сказалъ что-то, обидное по своему снисходительному тону.

Станицына замолчала. Ей стыдно стало и за своего кавалера. Онъ то и дѣло вмѣшивался въ разговоръ другой пары, фамильярничалъ съ Палтусовымъ, отчего того коробило. Дѣвица съ роскошными плечами улыбнулась раза два и ему.

И конца ужина Анна Серафимовна насилу дождалась.

Карлуша проводитъ Анну Серафимовну по галлерей и въ сѣни и крикнулъ:

— Человѣкъ Станицыной!..

Графиня Даллеръ уже уѣхала. Палтусовъ поднимался по лѣстницѣ въ галлерею. Наемные ливрейные лакеи обступили его, спрашивая его номеръ. Онъ увидалъ на площадкѣ у зеркала Анну Серафимовну и подошелъ къ ней.

Щеки ея горѣли. Глаза съ поволокой играли и немного какъ бы злобно улыбались.

— Проводили вашу красавицу? — спросила она и покачулась всѣмъ корпусомъ.

— Проводилъ, — простымъ тономъ выговорилъ Палтусовъ.

— Остаетесь еще?

— Нѣтъ, пора.

Глаза Станицыной сдѣлались еще ярче.

— Анна Серафимовна, пожалуйста! — раздался снизу голосъ маклера.

— Вы съ нимъ? — спросилъ Палтусовъ и улыбнулся.

— Какъ съ нимъ? — живо переспросила Станицына.

— Онъ васъ провожаетъ?

— Съ какой стати!

— Что жъ, это, кажется, дѣлается въ Москвѣ.

— Не знаю... А вашу лошадь вы отпустили?

— Отпустилъ.

— Хотите, я васъ подвезу?

— Подвезите.

— Пожалуйста! — крикнулъ пѣмчикъ.

— Иду.

Палтусовъ спустился вслѣдъ за нею. Ему показалось странно, что строгая Станицына пригласила его въ карету. Нѣмчикъ укуталъ ее и сказалъ нѣсколько прибаутокъ.

— Вы еще остаетесь? — спросила она.

— Ручку у хозяйки поцѣловать? Это — первымъ дѣломъ.

Онъ убѣжалъ. Палтусовъ надѣлъ шубу, далъ лакею двугривенный и отворилъ дверь Аннѣ Серафимовнѣ.

— Поѣдемте, — смѣло сказала она. Ея глаза сверкнули въ полутьмѣ улицы.

XXXIV.

Карета глухо загремѣла по рыхлому масляничному свѣгугу. Внутри ея свѣтъ отъ фонарей проходилъ двумя мерцающими полосками. Палтусовъ сѣлъ въ уголъ и поглядѣлъ сбоку на Анну Серафимовну.

Она замолчала. Ей вдругъ стало очень стыдно и даже немного страшно. Что за выходка? Зачѣмъ она пригласила его? Это видѣли. Да если бы никто и не видалъ— все равно. Будь онъ другой человѣкъ, старичокъ Кливинъ—ея вѣчный ухаживатель, даже кто-нибудь изъ самыхъ противныхъ адъютантовъ Виктора Мироныча... А то—Палтусовъ!

И ему было неловко. Приглашеніе Анны Серафимовны походило на вызовъ. Въ ней заговорило женское чувство, очень близкое къ ревности. Ни за что онъ не воспользуется имъ. Конечно, другой на его мѣстѣ сейчасъ же бы началъ дѣйствовать... Взялъ бы за руку, подсѣлъ бы близко-близко и заговорилъ на петрудную тему. Вѣдь она такая красивая—эта Анна Серафимовна, по-своему не хуже той дѣвицы... Не виновата она, что у ней нѣтъ чего-то высшего, того, что французы называютъ „фю“.

Онъ не придвигался. Съ женщинами у него особая, строгія правила. Были у него любовныя исторіи. Въ нихъ онъ почти всегда только отвѣчалъ—не изъ фатовства, но такъ случилось. И не помнить онъ, чтобы женщина захватила его совѣмъ, чтобы онъ самъ безумствовалъ, бросился на колѣни или замеръ въ изнеможеніи отъ полноты страсти или сильнаго, случайнаго порыва.

Ничего такого съ нимъ не бывало, сколько онъ себя помнилъ. Онъ правился нѣсколькимъ, его отличали, пожалуй, увлекались, на все это онъ отвѣчалъ, какъ молодой человѣкъ со вкусомъ и нервами, когда нужно. Зачѣмъ же станетъ онъ теперь пользоваться, быть-можетъ, минутнымъ капризомъ хорошей и несчастной женщины? Сдѣлаться ея любовникомъ, такъ, просто, изъ мужского тщеславія или потому, что это „даромъ“—пшло! Онъ на это не способенъ! Привязаться къ ней, жениться? Нѣтъ! Обуза. Живой мужъ, разводъ, исторія... У ней большое состояніе... Какой же это будетъ имѣть видъ? Точно онъ обрадовался устроить свою „фортуну“, разбогатѣть на женинныхъ хлѣбахъ. Никогда!

Отъ шубы Анны Серафимовны шелъ смѣшанный запахъ духовъ и дорогого пушистаго мѣха. Ея изящная голова, окутанная въ бѣлый серебристый платокъ, склонилась немного въ его сторону. Глаза искрились въ темнотѣ. До Палтусова доходило ея дыханіе. Одной рукой придерживала она на груди шубу, но другая лежала на колѣняхъ и кисть ея выставилась изъ-подъ края шубы.

Онъ что-то предчувствовалъ, хотѣлъ обернуться и посмотреть на нее пристальнѣе, но не сдѣлалъ этого.

Молча проѣхали они минуты съ двѣ. Это молчаніе начало тяготить его. Анна Серафимовна вдругъ закрыла глаза и откинулась въ глубь кареты. Стыдъ прошелъ. Ей пріятно было сидѣть рядомъ съ нимъ. Что-то жгучее вдругъ защемило у ней въ груди и потомъ сладко разлилось по всему тѣлу. Столько лѣтъ она терпитъ несносную долю!.. Молода, красива, горячая кровь льется по жиламъ, и некого приласкать, хоть разъ въ жизни отдаться безъ оглядки. Въ головѣ ея стали мелькать образы. Все его лицо представляется. Сидятъ они одни въ амбарѣ послѣ ея сцены съ мужемъ. И тогда онъ глядѣлъ на нее такъ добро, жалѣлъ ее, она ему нравилась. Теперь—онъ смущенъ.

— Хорошій вы человекъ,—раздался тихій голосъ Палтусова.

Онъ беретъ ея свободную руку. Въ горлѣ ея сперся духъ. Ей неудержимо захотѣлось плакать. Она быстро обернулась къ нему, вскинула руками, обвила ими вокругъ его шеи и начала цѣловать крѣпко, точно душила его, молча. Только ея горячее, порывистое дыханіе слышалось въ каретѣ.

Ухабъ заставилъ карету покачнуться. Анна Серафимовна отняла руки такъ же быстро, схватила ими за голову и зарыдала. Палтусовъ хотѣлъ что-то сказать и пододвинулся. Она отстранила его рукой и совсѣмъ отвернулась. Рыданія она сдержала и выпрямила голову.

— Слышите... — шептала она прерывающимся голосомъ,— я васъ умоляю... ничего между нами не было, ничего, ничего!

— Успокойтесь,—сказалъ онъ тихо.

— Ничего!.. Это... это!.. Я не знаю чтѣ... Господи!

Она закрыла лицо руками и уже тихо заплакала.

Палтусовъ не двигался, онъ оставлялъ ее плакать минуты двѣ.

— Полноте,—началъ онъ дружескимъ тономъ.

— Андрей Дмитричъ... вы честный человекъ... Оставьте меня... Нешто не довольно того, чтѣ было?..

Анна Серафимовна не договорила. Щеки ея горѣли, даже уши подъ платкомъ точно жгли ее. Она готова была выпрыгнуть изъ кареты.

— Прошу васъ,—произнесъ Палтусовъ самымъ искреннимъ тономъ.

Она смолкла, подавила слезы, глотала ихъ, чувствовала себя точно маленькой.

— Андрей Дмитричъ... — начала она и не договорила.

Онъ понялъ, что всего лучше ему выйти изъ кареты.

— До моей квартиры два шага,—сказалъ онъ мягко и покойно.

Анна Серафимовна молчала. Палтусовъ дернулъ за шнурокъ, но кучеръ не сразу остановилъ лошадей. Пришлось дернуть еще разъ.

— Хорошій вы человекъ,—прошенталъ онъ, наклонившись къ ней. — Я вашъ другъ, имѣйте ко мнѣ побольше довѣрія.

И онъ поцѣловалъ ея руку, лежавшую поверхъ темной бархатной шубы.

„Не любить, не любить, --- повторяла про себя Анна Серафимовна.— Господи, срамъ какой!..“

Она ничего не могла сказать ему, не могла и протянуть руки. Она сидѣла точно окаменѣлая.

Карета остановилась у бульвара. Палтусовъ вышелъ, заперъ дверку, прежде чѣмъ лакей соскочилъ съ козель, запахнулъ свою шубу и крикнулъ кучеру:

— Трогай!

Было около пяти часовъ утра. Еще не начинало свѣтать; но ночь уже минула. Онъ оглянулся. Стоялъ онъ на площади у вѣзда на Арбатъ, въ десяти шагахъ отъ рѣшетки Пречистенскаго бульвара. Фонари погасли. Онъ посмотрѣлъ на правый угловой домъ Арбата и вспомнилъ, что это трактиръ „Прага“. Разъ какъ-то, еще вольнымъ слушателемъ, онъ шелъ съ двумя пріятелями по Арбату, часу въ двѣнадцатомъ. И всѣмъ захотѣлось ѣсть. Они поднялись въ этотъ самый трактиръ, сѣли въ угловую комнату. Кто-то изъ нихъ спросилъ сыру „бри“. Ею не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли цѣлый кругъ. Запивая пивомъ, они весь его сѣли и много смѣялись. Какъ тогда весело было! Тогда онъ мечталъ о кандидатскомъ экзаменѣ и о какой-нибудь „либеральной“ профессіи, адвокатствѣ, писательствѣ...

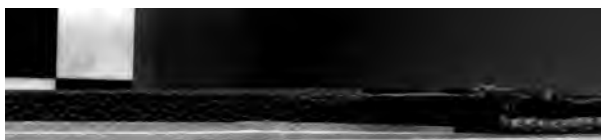
А теперь?

Палтусовъ вошелъ на Пречистенскій бульваръ, сѣлъ на скамейку и смотрѣлъ вслѣдъ быстро удалявшейся каретѣ. Только ея глухой грохотъ и раздавался. Ни души

не видно было кругомъ, кромѣ городского, дремавшаго на перекресткѣ. Истома и усталость отъ танцевъ приковывали Палтусова къ скамьѣ. Но ему не хотѣлось спать. И хорошо, что такъ вышло!.. Ему жаль было Станицыну... Но не о ней сталъ онъ думать. Завтра надо дѣйствовать. Поскорѣй въ Петербургъ—не дальше первой недѣли поста.

Онъ оглянулся. Некрасива матушка-Москва; куда ни взглянешь—все сѣро, грязно, запущено, тускло. Пора очищать ее, пора добираться и до ея сундуковъ... Смѣлымъ Богъ владѣть!..

Подползь извозчикъ. Палтусовъ взялъ его.



Книга пятая и послѣдняя.

I.

Вторая недѣля поста. На улицахъ оттепель. Желтое небо не шлетъ ни дождя, ни снѣга. Лужи и взломанные, темнобурые куски уличнаго льда,—вотъ что видѣла Любаша Кречетова изъ окна гостиной Анны Серафимовны.

Любаша пріѣхала рано для нея. Она вставала въ одиннадцатомъ часу; а сегодня ей удалось быть одѣтой въ десять, чаю напилась она наскоро. Въ четверть двѣнадцатаго она входила уже въ сѣни дома Станицыныхъ.

— Анна Серафимовна выѣхали,—сказалъ ей швейцарь.

Что-нибудь экстренное заставило ея двоюродную сестру выѣхать утромъ. Обыкновенно она выѣзжала послѣ двухъ. Но Любаша все-таки прошла наверхъ, завернула въ дѣтскую, гдѣ бонна-англичанка играла съ дѣтьми въ какую-то поучительную игру, и справилась у Авдотьи Ивановны, въ которомъ часу приходитъ новая „компаньонка“.

Авдотья Ивановна доложила ей, что барышня „приходить“ разное, какъ условятся съ Анной Серафимовной,—иной разъ днемъ, къ полудню, а то и вечеромъ „сидятъ“. Весь день никогда не „остаются“.

— Ты что же,—оборвала ее Любаша,—объ ней говоришь, точно она Милитриса Кирбитьевна какая: остаются, сидятъ?

— А какъ же, матушка?—степенно и кротко спросила Авдотья Ивановна.

— Не велика фря! Мамзель!

— Генеральскаго роду. Сразу видно.

— Въ надзирателяхъ, слышь, отецъ-то, въ акцизныхъ.

— Что жъ, матушка,—возразила Авдотья Ивановна,—

это несчастье, Господь попустилъ. А сейчасъ видно, барышня... обращеніе одно. И добрейшей души. Гордости никакой.

— Еще бы! Изъ милости!.. Чего тутъ гордиться?

Любаша и рвала, и метала. Она не хотѣла даже и продолжать разговоръ о „мамзели“, который сама же начала. Все это оттого, что наканунѣ Рубцовъ сидѣлъ у нихъ и говорилъ о Тасѣ Долгушиной съ сочувствіемъ. Любаша нѣсколько разъ перебывала его возгласомъ:

— Губы!

— Что такое губы? — дакъ онъ ей окрикъ уже не въ первый разъ.

— Губы у вашей милости особенныя, когда вы объ этомъ генеральскомъ потрохѣ изволите расписывать.

Рубцовъ вскочилъ съ кресла.

— Глупо и грубо! — выговорилъ онъ, поводя презрительно губами... — Вамъ, сестричка, до такого потроха далеко, хотъ онъ и генеральскій!

Съ тѣмъ и ушелъ. Любаша бросилась было догонять его, да остановилась посрединѣ залы.

— Наплевать! — вслухъ сказала она и пошла въ свою комнату, стащила съ себя платье, порвала на лифѣ три луговицы, раздѣлась вплоть до рубашки и начала хохотать со злости.

Что за чудо-юдо, эта генеральская дочь? Отчего это Семенъ Тимоѣичъ изволяетъ, говоря о ней, на особый манеръ губами поводить? Надо „обнюхать“ ее. Завтра же она на цѣлый день отправится къ Станицыной, спозаранокъ; туда явится, навѣрно, и „мериканецъ“, умѣющій только поддразнивать ее, какъ негодную дѣвчонку-птичницу или судойку!

Такъ она и сдѣлала. Туалетомъ своимъ она, хотъ и второпяхъ, но занялась больше обыкновеннаго, вымыла руки старательно, вычистила ногти, волосы завернула на затылкѣ и заткнула модной шпилькой.

— А Семенъ Тимоѣичъ, — не утерпѣла, спросила она Авдотью Ивановну, — когда бываетъ больше?

— Да тоже разпо, — продолжала докладывать та, не мѣняя своего истоваго и благодушнаго тона, — частенько и днемъ... Сегодня навѣрно будутъ: Анна Серафимовна посылали за нимъ и приказывали просить подождать.

Любаша выслушала это немного поспокойнѣе; но внутри у ней продолжало елокотать. „Навѣрно тутъ были разныя

„миндальности“. Эта генеральская мамзель подъ шумокъ начала лебезить съ купеческимъ братомъ. Думаетъ: у него милліоны. А онъ только черезъ край о себѣ воображаетъ, а никогда изъ него настоящаго негоціанта не выйдетъ. Анна Серафимовна вотъ что-то директоромъ-то не беретъ... И шельма же эта тетя: чтобъ у ней побольше мужичинъ бывало, такъ она дѣвицу наняла,—читать, изволите видѣть, занимать пріятными разговорами... Сама она по-французски-то съ грѣхомъ пополамъ, да и на „онъ“ отшибаетъ ея говоръ. Такъ подъ прикрытіемъ тонковоспитанной барышни оно будетъ куда превосходнѣе!..“

Надоѣло Любашѣ стоять у окна и хлопать глазами на уличную слякоть. Она подошла къ зеркалу, вдѣланному въ стѣну. И вся эта гостиная съ золоченой мебелью, ковромъ, лѣннымъ потолкомъ раздражала ее.

„Черти, дьяволы! — бранилась она про себя. — И за какимъ шуткомъ, прости Господи, чертоги такіе вывели? Мужъ съ женой не живутъ вмѣстѣ. Она—скарעדъ, дѣлами заправляетъ, надъ каждой копейкой дрожить... Такъ и жила бы на своей фабрикѣ... А то лектрису ей понадобилось. На-ко, поди!.. На Волгѣ-то—тамъ тятка за косы таскалъ; а здѣсь барыню изъ себя корчитъ и подъ предлогомъ благочестія шашни со всѣми заводитъ...“

II.

Тася вошла такъ тихо въ гостиную, что Любаша увидала ее только въ зеркало и круто повернулась на одномъ каблукѣ.

„Такъ вотъ эта Милитриса Кирбитъевна!.. Этакая пиголица: носъ въ пуговку, голова комочкомъ, волосики жидкіе; дѣвчоночка изъ пріютскихъ; только что такіа узка; да и манеръ никакихъ не видно“.

Анна Серафимовна уже говорила Тасѣ про свою двоюродную сестру. Тася видѣла ее въ театрѣ, въ тотъ бенефисъ, когда познакомилась со Станицыной. Сверху, изъ своихъ купоновъ, она замѣтила лицо и фигуру Любаша, когда та говорила, нагнувшись къ Станицыной. Ея размашистыя манеры она также замѣтила и спросила еще тогда Пирожкова:

— Будто бы это купчиха?

— А что?—откликнулся онъ.

— Да она отзывается... какъ бы это сказать?

— Должно-быть, изъ купческихъ дарвинистокъ. Нищче и такіа есть.

Вотъ уже недѣли, какъ Тася ходитъ къ Станицыной. Она все еще присматривалась къ этому, совсѣмъ новому для нея міру... Ей было гораздо ловчѣе, чѣмъ она думала. Анну Серафимовну она сразу поняла, почувствовала въ ней характеръ, заинтересовалась ею, какъ оригинальнымъ типомъ. Въ головѣ Таси сидѣло множество лицъ изъ купческихъ комедій. Она все и сравнивала. Анна Серафимовна ни подъ какое лицо не подходила. Съ Рубцовымъ они уже разговаривали. И его она прикидывала къ разнымъ „Ванямъ“, „Андрюшамъ“ и „Митямъ“ изъ пьесъ Островскаго, но и онъ отзывался совсѣмъ не тѣмъ; только въ говорѣ былъ слышенъ иногда купеческій братъ... Въ немъ все прочно сложилось. Онъ много жилъ, много видалъ за границей, работалъ, говорилъ грубовато, смѣло, безъ утайки и съ какимъ-то „себѣ на умѣ“ въ глазахъ, которое ей нравилось. Насчетъ Любаши Анна Серафимовна ее предупредила, сказала ей даже:

— Ужъ вы, пожалуйста, извините ей—для нея законъ не писанъ, юродство на себя напустила; а дѣвушка недурная и съ мозгомъ.

Тася протянула Любашѣ руку и выговорила:

— Я васъ знаю. Вы—кузина Анны Серафимовны... Садитесь, пожалуйста.

Любаша на рукопожатіе отвѣтила; но внутренно опять обругала ее: какъ смѣетъ изъ себя хозяйку представлять? Сейчасъ: „садитесь“—точно она къ ней пришла въ гости.

Но тихій и веселый тонъ Таси помягчилъ ее немножко. Она сѣла и закурила папиросу. Тася положила припесенную съ собой книгу на столъ и подѣла къ ней.

— Тетя загуляла?—спросила Любаша.

— Какое-нибудь спѣшное дѣло, — замѣтила Тася.— Анна Серафимовна всегда дома въ это время.

„Да ты что мени, мать моя, занимаешь?“ — начала опять обрывать про себя Любаша.

Лицо у ней стало злое, глаза потемнѣли. Она ихъ отводила въ сторону; но пѣтъ-нѣтъ, да и обдастъ ими Тасю. Той сдѣлалось вдругъ тяжело. Эта дарвинистка принесла съ собой какое-то напряженіе, что-то грубое и безцеремонное. На лицѣ такъ и было написано, что она никому спуска не дастъ и на все человѣчество смотреть какъ на скотовъ.

— Что теперь читаете съ тетей?—спросила Любаша.— Романъ, небось, какой французскій?

— Нѣтъ, статью одну критическую.

— Ишь ты!

Въ залѣ по паркету приближались шаги. Любаша покраснѣла. Она узнала шаги Рубцова. Тася тоже подумала: не онъ ли? Ей бы теперь очень пріятель былъ его приходъ. Она просто начинала побаиваться Любашу.

Обѣ дѣвушки обернулись разомъ, когда вошелъ Рубцовъ. Любаша сейчасъ же отмѣтила, про себя, что „Сеня“ одѣтъ гораздо франтоватѣе обыкновеннаго. Къ нимъ онъ ходитъ въ „похожалъ“—сѣренкій сюртучокъ у него такой, затрапезный. Тутъ же, извольте полюбоваться, пиджакъ темносиній, и галстукъ новый, и воротнички особенные. А главное—усы началъ отпускать, не хочетъ, видно, смахивать на голландца-машиниста съ парохода.

Рубцовъ уже два-три раза разговаривалъ съ Тасей. Онъ подошелъ къ ней съ протянутой рукой и совсѣмъ не такъ, какъ онъ поздоровался потомъ съ Любашей. И это рѣзнуло Любашу по сердцу. Въ первый разъ, когда онъ обѣдалъ съ Тасей у Анны Серафимовны, вначалѣ онъ высматривалъ „генеральскую дочь“, какъ-то она еще поведетъ себя. Но Тася начала рассказывать про свою страсть къ сценѣ, про отца и мать, про старушекъ—онъ размякъ. Послѣ обѣда онъ самъ уже присѣлъ къ ней. Она читала какую-то новую повѣсть. Ея голосокъ повѣялъ на него пріятной теплотой. И такъ бойко передавала она разговорную рѣчь, чувствовался юморъ и понимание.

— Барышню вы хорошую приобрѣли, сестричка,—сказалъ онъ Станицыной черезъ три дня.

— Пришелъ ее послушать, небось?—спросила Анна Серафимовна.

— Чтица толковая... И такая субтильненькая, дворянское дитя, а безъ важничанья. Хвалю!

Во второй вечеръ Рубцовъ заговорилъ съ Тасей безъ всякихъ прибаутокъ и угловатостей, такъ что Станицына диву далась.

— Нѣтъ Анны Серафимовны,—встрѣтила его Тася.

Любаша сейчасъ же вмѣшалась въ разговоръ.

— Тетя-то ненасытная какая,—заговорила она, напуская на себя передъ Рубцовымъ еще большую развязность.

— Почему такъ?—суховато спросилъ онъ.

— Къ дѣламъ ненасытная... На Макарьевской, видно, въ этомъ году хочеть полмилліона зашибить! Вонъ какъ ее спозаранку по городу носить...

Тася чуть замѣтно усмѣхнулась. Рубцовъ попалъ значеніе этой усмѣшки.

— Сестричку-то извините,—сказалъ ей Рубцовъ, мотнувъ какъ-то особенно головой.

— Что такое? а?—закричала Любаша и встала.

— Очень ужъ, для Великаго поста, удержу себѣ не можете.

— Это что еще?

Въ другое бы время Любаша начала браниться. А тутъ она точно чѣмъ подавилась, замолчала и съежилась.

— Великій, небось, постъ идетъ, — все съ тѣмъ же спокойнымъ балагурствомъ сказалъ Рубцовъ. — Говѣете, люди?

— Отстань!—вырвалось у Любаши.

Она рѣзко встала и отошла къ окну. Тася вопросительно поглядѣла на Рубцова и тотчасъ же улыбкой какъ бы замѣтила ему: „зачѣмъ вы ее дразните?“

— Вы позволите васъ послушать?—обратился къ ней Рубцовъ, сѣлъ поближе и потеръ руки.

— Сегодня беллетристики не будетъ... критическая статья.

— Тѣмъ пріятнѣе-съ.

Любаша у окна не проронила ни одного слова... Ей дѣлалось невыносимо. И гдѣ это рыщеть „мерзкая“ тетя? Вотъ разлетѣлась сама компаньонку высматривать. И радуйся теперь!

III.

Станицына быстро вошла въ гостиную и остановилась въ двухъ шагахъ отъ двери. Она была очень блѣдна.

— Извините, Тансіа Валентиновна, заждались вы меня. Любаша, здравствуй... Сеня! Спасибо. На минутку пожалуй сюда.

Она не подошла къ нимъ здороваться и жестомъ показала Рубцову.

— Сейчасъ,—обратилась она къ дѣвицамъ.—Сеня, на два слова!

Рубцова она увела черезъ залу въ свою уборную, небольшую комнату, около дѣтской.

Ни шляпы, ни пальто съ мѣховой отдѣлкой она не снимала.

— Дѣла, Сеня!—заговорила она отрывисто.—Викторъ Миронычъ угостилъ на этотъ разъ изрядно... Сто тысячъ франковъ, срокъ послѣзавтра.

— Ловко!—вырвалось у Рубцова.

— И на фабрику не ладно.

— Что такое?

— Дѣло дойдетъ, пожалуй, до стачки... А я этого не хочу. Нѣмца я разочту... Неустойку плачу.

— Сколько?

— Десять тысячъ... Но это важнѣе. Ты идешь ко мнѣ? Рубцовъ помолчалъ.

— Скорѣй говори.

— Да мы, сестричка, вдругъ какъ не поладимъ?

— Это почему?

— Такъ, я замѣчаю.

— Полно...

Она вскинула на него рѣсницы.

— Вы привыкли теперь къ другимъ людямъ...

— Не болтай пустого, Сеня,—строго сказала она.—Ты знаешь, что я тебѣ разумѣю за честнаго человѣка. Дѣло ты смыслишь.

— Ну, ладно, ну, ладно,—шутливо заговорилъ онъ и взялъ ее за руку.

Рука дрожала.

— Сестричка, милая,—почти нѣжно вымолвилъ онъ,—что же это вы какъ разстроились? Стѣнать ли? Все уладимъ. А отъ Виктора Мироныча и надо было ждать этого. Ваша воля носить ярмо-то каторжное!..

— Что же мнѣ дѣлать?—почти съ плачемъ воскликнула она и опустилась на стулъ.

— Извѣстное дѣло—что!

— Говори.

— Оставить его на вѣки-вѣчные.

— Я не хочу, чтобъ дѣти...

— Полноте,—остановилъ ее Рубцовъ,—къ чему жадничать?

— Я не жадничаю.

— Анъ, жадничаєте. У васъ свое состояніе большое. Хватить на двоихъ. Ну, хотѣли поддержать имя, фирму, что ли, опытъ произвели. Ничего вы не подѣлаєте! Купить у него мануфактуру... Достанетъ ли у васъ на это

собственного капитала или кредита?.. Да онъ и не продасть. Онъ безъ продажи съ молотка не кончитъ. А вы не пожелаете покупать съ аукціона, пока онъ вашъ мужъ; да и не нужно вамъ.

— Я не жадничаю,—повторила она, задѣтая его словами.

— Это все отчего идетъ? Гдѣ корень?

— Развестись надо!—обронила она.

— Правильно!

— Шутка сказать!

— И совсѣмъ не трудно... Что же, пятнадцати тысячъ цѣлковыхъ, что ли, не найдется?

— Дешевле будетъ,—точно про себя выговорила Ставицына.

— И дешевле... Такіе доки есть по этой части.

Рубцовъ понизилъ голосъ и опять взялъ ее за руку.

Анна Серафимовна закрыла на минуту глаза.

— Вѣдь вотъ и онъ—честный малый и умница—говорить то же, что и она себѣ уже не разъ твердила... Разореніе и срамъ считаются женой Виктора Мироныча!..“

— Не знаю, Сеня,—промолвила она.

— Да вѣдь это, сестричка, все равно, что когда зубъ гнилой заведется. Одно малодушіе, элексирами его разными смачивать, ковырять, пломбу вкладывать. Дайте дерзнуть хорошенько. И конченное дѣло!..

— Это дѣло длинное, а выйти теперь-то какъ...

— По векселю? Заплатить—извѣстно.

— Оградить себя чѣмъ ни есть...

— Ничѣмъ не оградите. Ужъ позвольте вамъ замѣтить, что тогда вы сгоряча такую сдѣлку предложили супругу-то... Онъ парень не глупъ, сейчасъ же смекнулъ, что ему это на руку... Ступай на всѣ четыре стороны, вотъ тебѣ, батюшка, пенсіону тридцать тысячъ, долги твои всѣ покроемъ, а если тебѣ заблагоразсудится, голубчикъ, еще навypycкaть документиковъ—мы съ полнымъ удовольствіемъ...

— Полно, Сеня,—остановила Анна Серафимовна. — Ну, да, глупость великую сдѣлала въ тѣ поры, каюсь...

— А теперь тѣмъ же манеромъ желаете?

— Охъ, не знаю!

Но она застыдилась самой себя. Точно она какая дѣвочка-подростокъ... И такъ, и этакъ...

Лицо у ней приняло сейчасъ же степенный видъ.

— Ты что же, Сеня, идешь ко мнѣ?
— Да, коли у васъ никого нѣтъ, не стоять же дѣлу...
— Спасибо... Ну, я сейчасъ... поди къ барышнямъ, я приду... Ты у насъ на пѣлый день?
— На пѣлый, коли милости вашей будетъ угодно.
Она усмѣхнулась и ласково кивнула ему головой.

IV.

Оставшись одна, Анна Серафимовна опустила голову—она забыла, что была въ шляпкѣ и пальто—и сидѣла такъ минутъ съ пять.

Прошло больше десяти дней съ того, что случилось въ каретѣ. Она видѣла Палтусова всего разъ, мелькомъ, въ Большомъ театрѣ. Она возила дѣтей въ балетъ, въ утренній спектакль, въ концѣ масленицы. Онъ подошелъ къ бенуару, а потомъ, въ слѣдующій антрактъ, вошелъ и въ ложу. Такъ долженъ былъ поступить умный, тонко чувствующій человѣкъ. Никакой перемены въ тонѣ, разговорѣ. Да и какъ же ему было вести себя? Даже если бы онъ и готовъ былъ полюбить ее? Вѣдь она вела себя какъ безумная... Она замужемъ, желаетъ жить „въ законѣ“, блюдетъ свое достоинство, гордость и хочетъ оставить дѣтямъ имя добродѣтельной матери...

А въ каретѣ кинулась!.. И онъ хоть бы взглядомъ сказалъ ей: „что же вы ломаетесь, не угодно ли и дальше пойти, я такъ дурачить себя не позволю!“ Не любить. Равнодушенъ? Противна она ему? Кто это сказалъ? Чего же она-то ждетъ? Зачѣмъ не высвободить себя? Вотъ, Сеня Рубцовъ, и тотъ прямо говоритъ: „скиньте вы съ себя это каторжное ярмо!“

Она встала, сняла пальто и шляпу, начала стягивать перчатки, потомъ поправила волосы передъ зеркаломъ. На лбу ея не пропадала морщина. Изъ гостиной доносились молодые голоса. Вотъ эти „юнцы“ не знаютъ, небось, ея заботы. И между ними что-нибудь тоже будетъ. Люба и теперь ужъ гоняется за Рубцовымъ. Ахъ! Зачѣмъ ей самъ не восемнадцать, не двадцать лѣтъ?

Любаша все еще стояла у окна, когда Анна Серафимовна вернулась въ гостиную. Рубцовъ снова разговаривалъ съ Тасей.

— Извините, Тансіа Валентиновна,—сказала съ особенной вѣжливостью Станицына,—я васъ заставила даромъ просидѣть.

„Вотъ какія нѣжности, — думала Любаша, — все меня хотеть поразить своими „учливостями“.

— Да вы сегодня, кажется, очень утомлены, не до чтенія.

— Дѣйствительно... Сеня,—обратилась къ Рубцову Станицына,—вѣдь надо бы намъ на фабрику съездить.

— Когда угодно.

— Да хоть сегодня.

— Я свободенъ.

— Это далеко?—спросила Тася.

— Нѣтъ, за Бутырками, въ полчаса можно долетѣть,—отвѣтила Станицына.

— Я никогда не бывала ни на одной фабрикѣ,—сказала Тася.

— Не хотите ли?—предложила Станицына и поглядѣла на Рубцова.

Тотъ одобрительно кивнулъ головой.

— Очень бы интересно,—выговорила Тася серьезно и наивно.

— Вотъ и будущій директоръ фабрики,—указала Станицына на Рубцова.

— Семень Тимошеичъ?—весело вскричала Тася.

Любаша сейчасъ же отошла отъ окна.

— Честь имѣю проздравить, ваше степенство,—сошкольничала она и присѣла.

Анна Серафимовна подумала въ эту минуту, что вѣдь Долгушина—кузина Палтусова. Вотъ она увидитъ фабрику. Онъ узнаетъ отъ нея, какъ ведется дѣло... Заинтересуется и самъ, быть-можетъ, попросится посмотреть.

„Показать ей школу, порядковъ на фабрикѣ. Пускай же она ему все расскажетъ“...

— Славно, тетя!—крикнула Любаша.—Возьмите и меня.

За эту поѣздку она схватилась. Дорогой и тамъ, на фабрикѣ, можно будетъ, какъ-ни-какъ, поддѣть эту барышню-чтицу. Она ничего навѣрно не читала стоящаго, только пьески да романы... Въ естественныхъ наукахъ—навѣрняка—ни бельмеса. Вотъ она и поразспроситъ ее, такъ, между прочимъ, и насчетъ химіи, и разнаго другого. Случай будутъ.

— А тетенька заволнуется?

— Эка важность! Ну, пошлите, что къ обѣду не буду...

— Обѣдать у меня. Мы вернемся къ шести часамъ... Вамъ занятно будетъ,—обратилась Станицына къ Тасѣ.



— Какъ же! какъ же!—весело откликнулась та и даже захлопала въ ладоши.

„Актерка поганая, — выбранилась Любаша, — все—нарочно, егозить передъ Сенькой“.

— Да у насъ нѣмецкая масленица будетъ!—оживленно выговорилъ Рубцовъ и потеръ руки.—Вѣдь мы на тройкѣ, небось, сестричка?

Рѣшили ѣхать на тройкѣ. Пока привели сани—всѣ трое закусили. Анна Серафимовна была разсѣянна. Любаша нѣсколько разъ пробовала поддѣвать Тасю. Рубцовъ каждый разъ не давалъ ей разойтись. Тася старалась не смотрѣть на то, какъ Любаша дѣйствуетъ ножомъ и вилкой, и не понимала еще, чего отъ нея хочетъ эта купеческая „злюка“.

V.

Тройка миновала Бутырки. Погода прояснилась. Тасю посадили рядомъ съ Анной Серафимовной. Противъ нея сѣлъ Рубцовъ. Рядомъ съ нимъ—на передней же скамейкѣ—Любаша. Она сама предложила Тасѣ помѣститься на задней скамейкѣ, но ей было очень непріятно, что Рубцовъ „угодилъ“ напротивъ „мамзели“.

Тася ѣхала и вспоминала другую тройку, когда они скакали разъ въ паркъ, къ Яру, съ Грушевой. Опять она съ купцами. Должно—быть, изъ этого ужъ не высвободишься. Все купцы! И ѣдетъ она не къ пыганамъ, а на фабрику, въ первый разъ въ жизни. Что-то такое крѣпко-жизненное входило въ сердце Таси. Ея теперешняя „хозяйка“—милліонница,—настоящій человекъ, управляетъ двумя фабриками, сколько народу подъ командой! И какая у ней выдержка! Всегда ровна, привѣтлива, а на душѣ у ней, навѣрно, не ладно... Даже эта Любаша—пужды нѣтъ, что она вульгарна—все-таки характеръ. Что чувствуетъ, то и говорить. И у ней, навѣрно, сто тысячъ приданого, и она будетъ тоже завѣдывать большой торговлей или фабрикой, если мужъ попадется плохенькій. Глаза Таси перешли къ Рубцову. Онъ сидѣлъ молодцовато, въ мѣховой шапкѣ... Отложной куній воротничекъ красиво окладывалъ овалъ его лица. Похожъ, разумеется, на приказчика, если посмотрѣть дворянскими глазами... А тоже—натура. Вотъ директоромъ цѣлой фабрики будетъ... Все дѣло, работа... Не то что въ ихъ дворянскихъ перелукахъ..

Сани ныряли въ ухабы. Любаша вскрикивала... Всѣмъ сдѣлалось веселѣе. Рубцовъ раза два спросилъ Тасю:

— Не беспокою ли я васъ?

Взяли влѣво. Кругомъ забѣлѣло поле. Вдали видѣлся лѣсокъ. Кирпично-красный ящикъ фабрики стоялъ на дворѣ за низкимъ заборомъ.

Директора не было на фабрикѣ. Станицына имѣла съ нимъ объясненіе утромъ въ амбарѣ. Онъ не возвращался еще изъ города.

Ихъ встрѣтилъ въ сѣняхъ его помощникъ, коренастый остзейскій нѣмецъ, въ курткѣ и безъ шапки. Лицо у него было красное, широкое, съ черной, подстриженной бородкой. Анна Серафимовна поклонилась ему хозяйскимъ поклономъ. Тася это замѣтила.

Они вошли въ помѣщеніе, гдѣ лежали груды грязной шерсти. Воздухъ былъ пресыщенъ жирными испареніями. Рядомъ промывали. Въ чанахъ прѣла какая-то каша и выходила оттуда въ видѣ чистой желтоватой шерсти. Рабочіе кланялись хозяйкѣ и гостямъ. Они были всѣ въ однихъ рубашкахъ. Анна Серафимовна хранила степенное, чисто-хозяйское выраженіе лица. Любаша какъ-то все подмигивала. Ей хотѣлось показать и Станицыной, и Рубцову, что они „кулаки“.

— Здѣсь ужъ такое мѣсто,—обратилась Станицына къ Тасѣ,—чистоту трудно наблюдать.

— Что вы оправдываетесь, тетя! Сами увидимъ,—виѣшалась Любаша.

Заглянули и туда, гдѣ печи и котлы. Тасѣ жаль сдѣлалось кочегаровъ. Запахъ масла, гари, особый жаръ, смѣшанный съ парами, обдали ее. Рабочіе смотрѣли на нихъ добродушно своими широкими, потными лицами. У одного кочегара воротъ рубашки былъ разстегнутъ и ноги босыя.

— Такъ легче! — сострила Любаша. — Добровольная каторга,—прибавила она громко.

Анна Серафимовна посмотрѣла на нее съ укоризной. Рубцовъ сказалъ ей насмѣшливо:

— Не хотите ли по верхней вонъ галлерей пройтись? Тамъ градусовъ сорокъ. Пользительно будетъ.

Въ нижнихъ топленихъ сѣняхъ и на чугунной лѣстницѣ показалось очень холодно послѣ паровиковъ. Они поднялись навстрѣчу.

Прядильныя машины всего больше заняли Тасю. Въ огромныхъ залахъ ходило взадъ и впередъ, двигая длин-

ныя штуки на колесахъ, по пяти, по шести мальчиковъ. Хозяйка говорила съ ними, почти каждого знала въ лицо. Рубцовъ шелъ позади дамъ, подробно объяснялъ все Тасѣ; отвѣчалъ и на вопросы Любаши, но гораздо кратче.

— А что вотъ этакій мальчикъ получаетъ?—позволила себѣ спросить Тася, понизивъ голосъ.

— Извѣстно, малость,—вмѣшалась Любаша.

— Рублей шесть,—сказалъ Рубцовъ.

— Да,—подтвердила Анна Серафимовна.

— Не разорительно!—подхватила Любаша.

Тася не знала, много это или мало.

На окнахъ, за развѣшанными кусками сукна, сидѣли дѣвушки, въ ситцевыхъ капотахъ, повязанныя цвѣтными платками, больше босыя.

— Что онѣ дѣлаютъ?—спросила Тася.

— Пятнышки красятъ,—пояснила сама Анна Серафимовна.

Дѣвушки прикладывались кисточками къ чуть замѣтнымъ бѣлымъ пятнышкамъ сукна. Онѣ смотрѣли бодро, отвѣчали бойко.

— Небось, рублика три жалованья? — сказала Любаша и поморщилась.

— Пять рублей,—сухо сообщила Станицына.

Она рѣшительно сожалѣла, что взяла съ собой свою кузину. Ей пріятно было показать Тасѣ, какое у ней благоустройство на фабрикѣ; а эта Любаша разстраивала все впечатлѣніе своими неумѣстными окриками и выходками.

Минутъ съ двадцать походили они по другимъ заламъ, гдѣ ткацкіе паровые станки стояли плотнымъ рядомъ и шелъ несмолкаемый гулъ колесъ и машинныхъ ремней. Побывали и въ самомъ верхнемъ помѣщеніи со старыми ручными станками.

VI.

Въ большой комнатѣ, гдѣ лежали всякія вещи: металлическіе прессы, образчики, бракованные куски сукна, Любаша остановила Рубцова. Анна Серафимовна еще не сходила съ Тасей съ верхняго этажа. Рубцову захотѣлось курить.

— Сеня,—начала Любаша, — ты идешь къ ней въ директоры?

Она не сказала даже къ „тетѣ“.

— Иду.



— Есть охота!.. Въ наймиты!

— Это почему?

Рубцовъ прислонился къ столу, взялъ въ руку пачку образчиковъ и, наморщивая одинъ глазъ, сталъ ихъ разсматривать.

— Да все какъ въ услуженіе.

— Все вы зря...

— И не вѣрю я ей ни на грошъ!—заговорила горячо Любаша и заходила взадъ и впередъ между двумя шкапами.

— Кому—ей?—спросилъ Рубцовъ.

— Да хозяйкѣ твоей, Аннѣ Серафимовнѣ. Зачѣмъ она насъ сюда притащила?

— Сами напросились.

— Точно мы не понимаемъ. Выставить себя хочетъ благодѣтельница рода человѣческаго: какъ у ней все чудесно на фабрикѣ! И рабочихъ-то она ублажаетъ! И дѣтей-то ихъ учить!.. А все едино, что хлѣбъ, что мякина... Такая же каторжная работа... Постои-ка такъ двѣнадцать часовъ около печки или покряхти за станкомъ...

— Какъ же быть?

— Ахъ, ты, американецъ! Какъ же быть?! Прежде ваша милость что-то не такъ изволила разсуждать?

— Эхъ!..—вырвалось у Рубцова.

— Да, извѣстно, испортился ты!—почти крикнула Любаша и подскочила къ нему. — Разсуди ты одно: рабочий полтинникъ въ день получаетъ...

— И до трехъ рублей.

— Ну, до трехъ... На своихъ харчахъ, небось? А бабы, а дѣвки? Пять цѣлковыхъ, и копти цѣлый день! А барышни идутъ, изволиете ли видѣть, на уплату долговъ Виктора Миرونъча и на чечеревать Анны Серафимовны... Сколотить лишній миллиончикъ, тогда откупиться можно... Развестись... Госпожой Палтусовой быть!

— Это почему?

— Смотрите, какая мудрость догадаться, что она, какъ кошка, врѣзавшись... Все господа дворяне соблазняютъ... Такая ужъ у насъ теперь болѣзнь купеческая...

Она вызывающе-насмѣшливо взглянула на него. Рубцовъ чуть замѣтно покраснѣлъ.

— Слушать тошно!

— Это отчего?—уже совсѣмъ разсердилась Любаша, близко подошла къ нему и взяла его за руку. — Это отчего? Или и у вашей милости рыльце-то въ пушку?..

Рубцовъ отвелъ ее движеніемъ руки

— Вы бы, Любовь (онъ въ первый разъ ее такъ назвалъ), лучше на себя оглянулись. Другіе люди живутъ какъ люди — кто какъ можетъ, а вы только бранитесь, да безъ толку болтаете. Книжки читали, да разума ихъ не уразумѣли. Нѣтъ, этотъ товаръ-то дешевый!.. А угодно другимъ въ носъ тыкать ихъ кулачествомъ, такъ такъ бы и поступали... Не трудно это сдѣлать... Подите къ тѣмъ, кому ваши деньги понадобятся... Отдайте ихъ...

Любаша вся раскраснѣлась сразу, повела глазами и стала противъ Рубцова.

— И отдамъ, когда мнѣ захочется. Когда онѣ у меня будутъ! — глухо крикнула она, но тотчасъ же ея голосъ зазвучалъ по-другому, глаза мигнули разъ, другой и какъ будто подернулись влагой. — У меня теперь ничего нѣтъ, — продолжала она уже не гнѣвно, а искренно, — а когда меня выдѣлятъ, я сумѣю употребить съ толкомъ деньгу, какая у меня будетъ. Я и хотѣла... по душѣ съ тобой говорить... Устроили бы не кулаческое заведеніе... Коли ты другой человѣкъ, не промышленникъ, вотъ бы и могъ...

Она не досказала, обернулась и отошла къ окну, испугалась, что заплачетъ и выкажетъ ему свою слабость...

— Эхъ, вы! — задорно крикнула она прежнимъ тономъ, оборачиваясь лицомъ къ Рубцову. — Всѣ-то вы на одну статью!.. Ну васъ!

Любаша готова была бы „оттаскать“ его въ эту минуту. И зачѣмъ это она въ „чувствіе“ вдалась съ этимъ „чурбаномъ“, съ „шельмой-парнишкой“... Ему дворянка нужна — видимое дѣло. Сколотить себѣ капиталъ и развѣзжать съ женой, генеральской дочерью, по заграницамъ!..

— Желаю вамъ всякаго успѣха! — сухо сказалъ Рубцовъ, бросилъ на полъ окурокъ папиросы и затопталъ его.

Очень ужъ она ему надоѣла въ послѣднія двѣ недѣли.

— Слышишь! — крикнула Любаша. — Я тебѣ ничего не говорила... ничего!

Дверь отворилась. Станицына вошла первая. Любаша опять отскочила къ окну. Лицо Таси сдѣлалось ей въ эту минуту такъ ненавистно, что она готова была броситься на нее.

— По домамъ? — спросилъ Рубцовъ.

— Вотъ Тасиѣ Валентиновнѣ желательно на шпору поглядѣть...

— Да,—подтвердила Тася.

— И то дѣло,—сказалъ Рубцовъ и двинулся за ними. Любаша пошла, кусая ногти, послѣдней.

VII.

Отправились сначала въ „казарму“. Анна Серафимовна хотѣлось, чтобы родственница Палтусова видѣла, какъ помѣщены рабочіе. Побывали и въ общихъ камерахъ, и въ квартиркахъ женатыхъ рабочихъ. Въ одной изъ камеръ стоялъ очень спертый воздухъ. Любаша зажала себѣ съ гримасой носъ и крикнула:

— Ну, вентиляція!..

Она же подбѣжала къ одной изъ коекъ и такъ же громко крикнула:

— Насѣкомыхъ-то сколько! Батюшки!

Анна Серафимовна покраснѣла и тотчасъ же сказала, обращаясь къ Тасѣ и Рубцову:

— Директоръ съ рабочими изъ-за чистоты тоже воевалъ. Не очень-то любить ее... нашъ народецъ...

— Вентилировать можно бы,—замѣтилъ Рубцовъ.

— Да и постельки-то другія завести,—подхватила Любаша.

Тася только слушала. Она не могла судить—хорошо ли содержать рабочихъ или нѣтъ. У нихъ въ людскихъ, куда она иногда заходила, и грязи было больше, совсѣмъ никакихъ коекъ, а ужъ о тараканахъ и говорить нечего!..

Въ казармѣ женатыхъ рабочихъ воздухъ былъ тоже „не перваго сорта“, по замѣчанію Любашы; номера смотрѣли веселѣе, въ нѣкоторыхъ стояли горшки съ цвѣтами на окнахъ, кое-гдѣ кровати были съ ситцевыми занавѣсками. Но малые ребятинки оставались безъ призора. Ихъ матери всѣ почти ходили на фабрику.

— Кто побольше — учатся, — замѣтила Анна Серафимовна.

Любаша замолчала. Она только взглядывала на Рубцова. Всѣхъ тронхъ—и его, и Тасю, и Станицыну—она послала „ко всѣмъ чертямъ“.

Въ школѣ они застали послѣобѣденный классъ. Дѣвочки и мальчики учились вмѣстѣ. Довольно тѣсная комната была набита дѣтьми. И тутъ стоялъ спертый воздухъ. Учитель—черноватый молодой человѣкъ съ чахоточнымъ лицомъ—и весь классъ встали при появленіи Станицыной.

— Пожалуйста, садитесь, — сказала она, немного стѣсненная.

Лишнихъ стульевъ не было. Посѣтители сѣли на окнахъ. Анна Серафимовна попросила учителя продолжать урокъ.

Учитель, стоя на кафедрѣ, говорилъ громко и раздѣльно фразы и заставлялъ классъ схватывать ихъ на память. Послѣ каждой фразы онъ спрашивалъ:

— Кто можетъ?

И десятокъ дѣвочекъ и мальчиковъ подсказывали на своихъ мѣстахъ и поднимали руку.

— Откуда учитель? — тихо спросила Тася у Анны Серафимовны.

— Изъ учительской семинаріи.

Раза два-три выходили „осѣчки“. Вскочить мальчуганъ, начнетъ и напутаетъ; классъ тихо засмѣется. Учитель сейчасъ остановить. Одна дѣвочка и два мальчика отличались памятью: повторяли отрывки изъ басенъ Крылова въ три-четыре стиха. Тасю это очень заняло. Она тихо спросила у Рубцова, когда онъ пододвинулся къ ихъ окну:

— Это все на счетъ Анны Серафимовны?

— Какъ же, — съ удовольствіемъ отвѣтилъ онъ.

Станицына улыбнулась и сказала Тасѣ:

— А къ осени хочу два класса устроить... тѣсно; а можетъ-быть, и ремесленную школу заведу.

— Благое дѣло! — подтвердилъ Рубцовъ.

Любаша молчала. Она подошла къ кафедрѣ, когда остальные посѣтители уходили, и спросила учителя:

— Жалованья что получаете?

Учитель быстро поглядѣлъ на нее недоумѣвающими глазами и тихо отвѣтилъ:

— Шестьсотъ рублей-съ.

— Съ харчами?

— Квартира и дрова.

Она кивнула головой и пошла съ перевальцемъ.

Анна Серафимовна спускалась молча съ лѣстницы. Она была недовольна посѣщеніемъ фабрики. Правда, въ рабочихъ она не нашла большой смуты. Остаткѣ ей наговорилъ директоръ. Его она разочтеть на-дняхъ. Съ Рубцовымъ она поладить.

Разговоръ съ Любашей немного разстроилъ Рубцова. Его мужская гордость была задѣта. Не этой „шалой озорной дѣвчонкѣ“ учить его благородству. Не кулакъ онъ!

И не станет онъ потакать — хотя бы и въ директоры пошелъ — хозяйской скарденности. Его „сестричка“ — баба хорошая. Нѣмецъ былъ плутъ, зналъ свой карманъ, ненавистничалъ съ фабричными. Можно все на другую ногу поставить. Только зачѣмъ ему такія палаты, какія выведены тутъ на дворѣ для директора? Онъ — одинъ... Глядѣлъ онъ вслѣдъ Тасѣ. Она сѣменила ножками по рыхлому снѣгу... Такая милая дѣвушка — въ мамзеляхъ!

Лицо Рубцова вдругъ просвѣтлѣло. Что-то заиграло у него въ головѣ.

А Тася плала задумавшись. Она чувствовала, что ей, генеральской дочери, придется долго-долго жить съ купцами... даже если и на сцену поступить.

VIII.

Мертвенно-тихо въ домѣ Нѣтовыхъ. Два часа ночи. Евлампій Григорьевичъ вернулся вчера съ вечера, объ эту же пору, и нашелъ на столѣ депешу отъ Марьи Орестовны. Депеша пришла изъ Петербурга и въ ней стояло: „Буду завтра съ курьерскимъ. Приготовить спальню“. Больше ничего. Последнее письмо ея было еще съ юга Франціи. Она не писала около трехъ мѣсяцевъ.

Депеша его не обрадовала и не смутила. Прежнихъ чувствъ Евлампій Григорьевичъ что-то не находилъ въ себѣ. Вотъ на вчерашнемъ вечерѣ онъ жилъ настоящей жизнью. Тамъ ему хоть и дѣлалось по временамъ жутко, зато подмывали разныя вещи. Богатый и литературный баринъ пригласилъ его на свой понедѣльникъ. Его хотѣли опять залучить. Вспоминали покойнаго Лещова, предостерегали, видимо добивались, чтобы онъ опять плясалъ по ихъ дудкѣ. Тамъ были и его родственнички — Красноперый и Вломцевъ. Красноперый много болталъ, Вломцевъ отмалчивался. Хозяинъ сладко такъ говорилъ. Въ немъ, значить, нуждаются. Извѣстно, что: денегъ дай на газету... А онъ ихъ отбрилъ! Они думали, что онъ не можетъ ходить безъ помочей; ань, вышло, что очень можетъ. Ни въ правыхъ, ни въ лѣвыхъ — ни въ какихъ онъ не желаетъ быть! Хотѣлъ онъ вынуть изъ кармана свое „жизнеописаніе“ и прочесть вслухъ. Онъ три мѣсяца его писалъ и напечатаетъ отдѣльной брошюрой, когда подойдутъ выборы, чтобы всѣ знали — каковъ онъ есть человекъ.

Вернулся онъ сильно возбужденный, въ головѣ зароди-

лось столько мыслей. И вдругъ эта депеша... Марья Орестовна отставила его отъ своей особы сразу и навѣщать себя за границей запретила. Потосковалъ онъ вначалѣ, да что-то скоро забывать сталъ. Казалось ему минутами, что онъ и женатъ никогда не бывалъ. Любовь куда-то ушла... Боялся онъ ея, а теперь не боится... Все-таки она женскаго пола. Попросту сказать—баба! Куда же ей противъ него? Вотъ онъ всю зиму думалъ, и говорилъ, и даже писалъ самъ... Можетъ, ей неприятно бы было, чтобы онъ ее встрѣтилъ на желѣзной дорогѣ. Онъ и не поѣхалъ. Послалъ карету съ лакеемъ.

Ее привезли. Изъ кареты вынесли. Пріѣхалъ съ ней и братъ. Понесли и по лѣстницѣ. Она совсѣмъ зеленая; но голосъ не измѣнился... Первымъ дѣломъ язвительно сказала ему:

— На вокзалъ-то не пожаловали... И хорошо сдѣлали...

Братъ шепнулъ ему, что надо сейчасъ же за докторомъ. Евлампій Григорьевичъ распорядился, но безъ всякой тревоги и суетливости.

Только что ее уложили въ постель, онъ ушелъ въ кабинетъ и не показывался. Это очень покорибило брата Марьи Орестовны. Евлампій Григорьевичъ, когда тотъ вошелъ къ нему въ кабинетъ, встрѣтилъ его удивленно. Онъ опять засѣлъ за письменный столъ и поправлялъ печатные листки.

— Братецъ... — началъ полумошотомъ Педенчиковъ, — вы видите, въ какомъ она положеніи.

— Кто-съ?—спросилъ разсѣяннo Нѣтовъ.

— Мари.

— Да!.. Докторъ сейчасъ будетъ.

— Я думаю, нужно консилиумъ... Я боюсь назвать бо-лѣзнь...

Нѣтовъ не слушалъ. Глаза его все возвращались къ листкамъ, лежащимъ на столѣ.

— Я долженъ васъ предупредить...

— А что-съ?

— Да какъ же.. Мари вѣдь опасна..

— Опасна-съ?

Евлампій Григорьевичъ оставилъ свои листки и повыше приподнял голову.

Братъ Марьи Орестовны, при всей своей сладости, сжалъ губы на особый ладъ. Такая безчувственность просто изумляла его, казалась ему совершенно неприличной.

— А вотъ докторъ чтò скажетъ... Я ничего не могу...
Не обучали-съ...

Глаза Нѣтова бѣгали. Онъ почти смѣялся. Леденщиковъ даже сконфузился и пошелъ къ сестрѣ. Она его прогнала.

Пріѣхалъ годовой докторъ. Евлампій Григорьевичъ поздоровался съ нимъ, потирая руки, съ веселой усмѣшкой, проводилъ его до спальни жены и тотчасъ же вернулся къ себѣ въ кабинетъ. Леденщиковъ въ кабинетѣ сестры прислушивался къ тому, что въ спальнѣ. Минуть черезъ десять вышелъ докторъ съ разстроеннымъ лицомъ и быстро пошелъ къ Нѣтову. Леденщиковъ догналъ его и остановилъ въ залѣ.

— Серьезно?—прокартавилъ онъ.

— Очень, очень!—кинулъ докторъ.

Онъ сказалъ Нѣтову, что надо призвать хирурга, а онъ будетъ ѣздить для общаго лѣченія, намекнулъ на то, что понадобится, быть-можетъ, и консилиумъ.

Нѣтовъ слушалъ его въ позѣ дѣлового человѣка и все повторялъ:

— Такъ-съ... такъ-съ...

Докторъ раза два поглядѣлъ на него пристально и, уходя, на лѣстницѣ сказалъ Леденщикову:

— Вы ужъ займитесь уходомъ за больной. Евлампій Григорьевичъ очень пораженъ.

— Пораженъ?—переспросилъ Леденщиковъ.—Не знаю, мы его нашли такимъ же... страннымъ...

Братъ Марьи Орестовны желалъ одного: чувствительной сцены съ своей „безцѣнной“ Мари.

IX.

Въ спальнѣ Марьи Орестовны тяжелый воздухъ. У ней на груди—язва. Перевязывать ее мучительно больно. Она лежитъ съ закинутой головой. Ее оскорбляетъ ея болѣзнь—карбункулъ. Съ этимъ словомъ Марья Орестовна примирилась... Мазали-мазали. Она ослабла,—это показалось ей подозрительнымъ. Это былъ ракъ. Доктора сказали ей, накопецъ, обвиняками.

Собралась она тотчасъ же въ Москву—умирать. Такъ она и рѣшила про себя. Братъ повезъ ее. Она этого не желала. Онъ присталъ. Довезли бы и такъ, довольно было ея толковой и услужливой горничной-нѣмки. За границей братъ ей еще больше опротивѣлъ. Имѣла она глупость

сказать ему, что у ней есть свое состояніе... Онъ, хотя и глупъ, а полегоньку многое отъ нея выпыталъ. Вотъ теперь и будетъ канючить, приставать, чтобы она завѣщаніе написала въ его пользу... А она не хочетъ этого. Будь Палтусовъ съ ней понѣжнѣ... Она бы оставила ему половину своихъ денегъ. Писалъ онъ аккуратно и мило, почтительно, умно... Но къ ней самъ не собрался, даже и намека на это не было... Гордъ очень... Насильно милой не будешь! Все-таки она посовѣтуется съ нимъ... Довольно этому тошному братцу—„клянчѣ“—и ста тысячъ рублей... Камеръ-юнкерства-то ему что-то не даютъ; да и мало ли болтается камеръ-юнкеровъ совсѣмъ голыхъ?

„Не встану, — говорить про себя больная, — нечего и волноваться“. И минутами точно пріятно ей, что другіе боятся смерти, а она—нѣтъ... Заново жить?.. Какая сладость! За границей она—ничего. Здѣсь опостылѣло ей все... Одинъ человѣкъ есть стоящій, да и тотъ не любить...

Да, сдѣлать бы его своимъ наслѣдникомъ, дать ему почувствовать, какъ она выше его своимъ великодушіемъ, такъ и сказать въ завѣщаніи, что: „считаю, молъ, васъ достойнымъ поддержки, вѣрю, что вы сумѣете употребить даруемыя мною средства на благо общественное; а я почитаю себя счастливой, что открываю такому энергическому и талантливому молодому человѣку широкое поле дѣятельности“...

Въ головѣ ея эти фразы укладываются такъ хорошо. Голова совсѣмъ чиста, и останется такой до послѣдней минуты—она это знаетъ.

А то можно по-другому распорядиться. Ну, оставить ему чтонибудь, тысячъ пятьдесятъ, что ли, да столько же брату, или побольше, чтобы не ходилъ по добрымъ людямъ и не жаловался на нее... Да и то сказать, гдѣ же ему остаться безъ добавочнаго дохода къ жалованью. Да и удержится ли онъ еще на своемъ консульскомъ мѣстѣ? Она даетъ ему три тысячи въ годъ, иногда и больше. И надо оставить столько, чтобы проценты съ капитала давали ему тысячи три, много четыре.

Остальное связать со своимъ именемъ. Завѣщать двѣсти тысячъ — цифра эффектная — на какое-нибудь заведеніе, напримѣръ, хоть на профессиональную школу... Никто у насъ не учитъ дѣвушекъ полезнымъ вещамъ. Все науки, да литература, да контрапунктъ, да идеи разныя... Вотъ

и ее, Марью Орестовну, заставъ скроить платье, нарисовать узоръ, что-нибудь склеить или устроить, дать рисунокъ мастеру,—ничего она не можетъ сдѣлать. А въ такой школѣ всему этому будутъ учить.

Два часа продумала Марья Орестовна. И боли утихли, и про смерть забыла... Завѣщаніе все у ней въ головѣ готово... Вотъ пріѣдетъ Палтусовъ, она ему сама продиктуетъ, назначить его душеприказчикомъ, исполнителемъ ея воли... Онъ выхлопочетъ, чтобы школа называлась ея именемъ...

Лежить она съ закрытыми глазами, и ей представляется красивый двухъэтажный домъ, гдѣ-нибудь въ сторонѣ Сокольниковъ или Нескучнаго, на дворѣ, за рѣшеткой... И ярко играютъ на солнцѣ золотыя слова вывѣски: „Профессиональная школа имени Маріи Орестовны Нѣтовой“. И каждый годъ панихида въ годовщину ея смерти: генералъ-губернаторъ, гражданскій губернаторъ, попечитель, всѣ власти, самыя сановныя дамы. Сколько простоятъ заведеніе, столько будетъ и панихидъ. Но этого еще мало... Палтусовъ составитъ ея жизнеописаніе. Выйдетъ книжка къ открытію школы... Ее будутъ раздавать всѣмъ даромъ, съ ея портретомъ. Надо, чтобы сняли хорошую фотографію съ того портрета, что виситъ у Евлампія Григорьевича въ кабинетѣ. Тамъ у ней такое умное и пріятное выраженіе лица... Палтусовъ сумѣетъ сочинить книжку...

И желаніе его видѣть стало расти въ Марьѣ Орестовнѣ съ каждымъ часомъ. Только она не приметъ его въ спальнѣ... Тутъ такой запахъ... Она велитъ перенести себя въ свой кабинетъ... Онъ не долженъ знать, какая у нея болѣзнь. Строго-на-строго накажетъ она брату и мужу ничего ему не говорить... Лицо у ней блѣдно, но то же самое, какъ и передъ болѣзнью было.

Она такъ мало интересовалась лѣченьемъ, что отвѣтила брату, сказавшему ей насчетъ консилиума:

— Пускай! Все равно!

Х.

На консилиумѣ смертный исходъ былъ научно установленъ. Операциі дѣлать нельзя, антоновъ огонь уже образовался и будетъ разѣдать, сколько бы ни рѣзали.

Годовому доктору поручили сказать Евлампію Григорьевичу, что надо приготовить Марью Орестовну.

Онъ это принялъ такъ равнодушно, что докторъ поглядѣлъ на него.

— Приготовить?—переспросилъ Евлампій Григорьичъ и улыбнулся.—Извольте. Я скажу-съ. Всѣ смертны. Оно, знаете, и лучше, чѣмъ такъ мучиться.

Докторъ съ этимъ согласился.

А больная лежала въ это время съ высоко-поднятой грудью—иначе боли усиливались, и съ низко-опущенной головой и глядѣла въ лѣпной потолокъ своей спальни... По лицамъ докторовъ она поняла, что ждать больше нечего...

— Ахъ, поскорѣ бы!—вырвалось у ней со вздохомъ, когда они всѣ вышли изъ спальни.

Въ который разъ она перебирала въ головѣ ходъ болѣзни, и конецъ ея—не то ракъ, не то гангрена... Не все ли равно... А умъ не засыпаетъ, свѣтель, голова даже почти не болитъ... Скоро, должно-быть, и забытье начнется. Поскорѣ бы!

Противны сдѣлались ей осенью Москва, домъ, погода, улица, мужъ, все... А за границей болѣзнь нашла и умирать тамъ не захотѣлось... Сюда пріѣхала... Только бы никто не мѣшалъ... Хорошо, что горничная-нямка ловко служить...

За изголовьемъ кашлянули.

„Что ему?“—подумала съ гримасой Марья Орестовна. Она узнала покашливанье мужа... Съ тѣхъ поръ, какъ она здѣсь опять, онъ ей какъ-то меньше мозолить глаза... Только въ немъ большая перемѣна... Не любитъ она его, а все же ей сдѣлалось странно и какъ будто обидно, что онъ все улыбается, ни разу не всплакнулъ, ободряетъ ее какимъ-то небывалымъ тономъ.

— Это ты?—спросила Марья Орестовна.

Она ему говорить „ты“, онъ ей „вы“, какъ и прежде, только не тотъ звукъ.

Евлампій Григорьевичъ подошелъ, потирая руки.

— Какъ себя чувствуете?—спросилъ онъ и присѣлъ на стулъ, въ ногахъ кровати.

— Что тутъ спрашивать?—оборвала она его.

— Конечно-съ,—вдохнулъ онъ.—Сами извольте разумѣть... Кто подъ колею попадетъ... А кто и такъ.

Марья Орестовна начала всматриваться въ него и подниматься. Улыбка глупѣе прежней, а по теперешнему настроенію—жена умираетъ—и совсѣмъ точно безумная, глаза разбѣгаются.

Она еще приподнялась и молча глядѣла на него.

— Всѣ подъ Богомъ-съ,—выговорилъ онъ, всталъ и началъ, потирая руки, скоро ходить по комнатѣ.

„Да, онъ помутился, — подумала она и ей жаль стало вдругъ. — Не отъ любви ли къ ней? Кто его знаетъ! Просто оттого, что безъ указки остался и не совладалъ съ своей душонкой“.

— Сядь!—строго сказала она ему.

Онъ присѣлъ на край постели:

— Ты видишь, мнѣ не долго жить,—выговаривала она твердо и поучительно,—ты останешься одинъ. Брось ты свои должности и званія разныя... Не твоего это ума. Лещовъ умеръ, у дяди своего дѣла много, Краснопѣрый тебя же будетъ вездѣ въ шуты рядить... Брось!.. Живи такъ—въ почетѣ, ну, добрыя дѣла дѣлай, давай стипендіи, картины, что ли, покупай. Только не торчи ты во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой, если желаешь, чтобы я спокойно въ могилѣ лежала. Совѣтуйся съ Палтусовымъ, съ Андреемъ Дмитріевичемъ... И по торговымъ дѣламъ... А лучше бы всего, чтобъ тебя приказчики не обворовывали, живи ты на капиталъ, обрати въ деньги... Ну, домъ этотъ держи... угощай, что ли, Москву... Дадутъ и за это генерала... Числись какимъ-нибудь почетнымъ попечителемъ... А дашь покрупнѣе взятку, такъ и Станислава повѣсятъ черезъ плечо...

Евлампій Григорьевичъ не дослушалъ жены. Онъ всталъ, подошелъ къ ея изголовью, разставилъ какъ-то странно ноги, щеки его покраснѣли, глаза загорѣлись и гнѣвно, почти злобно уставились на нее.

— Не ваша сухота, не ваша сухота!—заговорилъ онъ обиженнымъ тономъ.—Мы не въ малолѣтствѣ... Вы о себѣ лучше бы, Марья Орестовна... папутствіе, и отъ всѣхъ прегрѣшеній... А я на своихъ ногахъ, изволите меня слышать и понимать? На своихъ ногахъ!.. И теперь какую въ себѣ чувствую силу, и что я могу, и какъ хочу отдавать себя, значить, обществу и всему гражданству,—я это довольно ясно изложилъ... И брошюра моя готова... Только, **пожалеть**, страпичку-другую...

Онъ махнулъ рукой и опять заходилъ.

— Сядь!...—приказала она ему.

Но онъ не послушался и заговорилъ съ такимъ же волненіемъ.

— Оставь меня!—утомленно сказала она.

Нѣтовъ ушелъ.

Ей было все равно. Поглупѣлъ онъ или собирается совсѣмъ свихнуться. Не стоить онъ и ея напутствія... Пусть живетъ, какъ хочетъ... Хотя гаремъ заводи въ этихъ самыхъ комнатахъ... Авось, Палтусовъ не дастъ совсѣмъ осрамиться.

XI.

Два раза послала она на квартиру Палтусова. Мальчикъ и кучеръ отвѣчали каждый разъ одно и то же, что Андрей Дмитричъ въ Петербургѣ, „адреса не оставляли, а когда будутъ назадъ—не извѣстно“. Кому телеграфировать? Она не знала. Ея братъ придумалъ, послать депешу къ одному сослуживцу, чтобы отыскать Палтусова въ отеляхъ... Ждали четыре дня. Пришла депеша, что Палтусовъ стоитъ у Демута. Туда телеграфировали, что Марья Орестовна очень больна, „при смерти“, велѣла она сама прибавить. Полученъ отвѣтъ: „буду черезъ два дня“.

Прошли сутки... А его нѣтъ... Что же это такое?.. Онъ—довѣренное лицо, у него на рукахъ все ея состояніе, ему шлютъ отчаянную депешу, онъ отвѣчаетъ: „буду черезъ два дня“, и—ничего.

Сколько ей жить? Быть-можетъ, два дня, быть-можетъ, недѣлю—не больше... Она хотѣла распорядиться по его совѣту, оставить на школу тамъ, что ли, или на что-нибудь такое. Но нельзя же такъ обращаться съ ней!..

Ну, не нравится она ему, какъ женщина, такъ, по крайней мѣрѣ, покажи вниманіе. Вотъ они—тонкіе, воспитанные мужчины... За ея ласку, довѣріе—такая расплата! Его только она и отличала изъ всей Москвы. Его мнѣніемъ только и дорожила, въ послѣдній годъ особенно... Пропади-пропадомъ все ея состояніе! Не хочетъ она никакого завѣщанія писать. Еще утомляться, подписывать, слушать, братецъ будетъ канючить, съ Евлампіемъ Григорьевичемъ надо будетъ говорить... Кто наслѣдникъ, тотъ пускай и будетъ наслѣдникъ. Мужу четвертая часть опять вернется, остальное тому... глупому, долговязому.

Досадно ей, горько... Но оставить на школу—кому поручить? Украдутъ, растащутъ, выйдетъ глупо. А то еще братецъ процессъ затѣетъ, будетъ доказывать, что она завѣщаніе писала не въ своемъ умѣ. Его сдѣлать душеприказчикомъ?.. Онъ только самъ станетъ величаться... Довольно съ него.

На другой день съ утра Марья Орестовна почувствовала себя легко... Пришелъ братецъ. Она поглядѣла на него съ насмѣшливой улыбкой и спросила:

— Ты что же не просишь меня?

— О чемъ, Мари?

— Да чтобъ побольше денегъ тебѣ оставила?

Онъ опустилъ глаза и покраснѣлъ.

— Ахъ, полно... Безцѣнная моя,—началъ было онъ.

— Сладокъ ты очень, дружокъ,—перебила она его.— Не обижу.

— Твоя воля, Мари, священна для меня... Но если бъ ты желала...

Марья Орестовна тихо разсмѣялась.

— Завѣщанія, хочешь ты сказать? Для тебя невыгодно будетъ.

Леденщиковъ глупо и испуганно поглядѣлъ на нее.

Она расхохоталась и тотчасъ же поморщилась отъ боли. Онъ наклонился къ ней.

— Мари, дорогая...

— Ступай, ступай!

Очень ужъ сдѣлались ей противны его лицо, голосъ, фигура, полуфальшивая сладость его тона.

Тутъ въ головѣ у ней пошла муть, жаръ сталъ подступать къ мозгу, въ глазахъ зарябило. Она подняла было голову и безпомощно опустила на подушку.

— Ступай, ступай!—повторила она еще разъ.

И захотѣлось ей умереть сегодня же, но одной, совсѣмъ одной, чтобы ее заперли.

Подъ вечеръ Евлампію Григорьевичу доложилъ камердинеръ, что „Марья Орестовна кончаются“.

Онъ и это принялъ холодно и только спросилъ:

— Въ памяти?

Послали за священникомъ. Леденщиковъ не зналъ еще точно суммы сестрина состоянія. Но ему надо было теперь распорядиться, какъ законному наслѣднику, — Евлампій Григорьевичъ въ какомъ-то странномъ разстройствѣ. И онъ долго не протянетъ.

Марья Орестовна хоть и умирала въ полузабытьѣ, но никого не пускала къ себѣ, кромѣ своей камеристки Берты.

Дорогіе хоромы коммерціи совѣтника Пѣтова замирали вмѣстѣ съ той женщиной, которая создала ихъ... Лѣстница, салоны съ gobленами, столовая съ рѣзнымъ потоло-

комъ стояли въ полутьмѣ кое-гдѣ зажженныхъ лампъ. Въ кабинетѣ сидѣлъ за письменнымъ столомъ повихнувшійся выученикъ Марьи Орестовны. По залѣ ходилъ другой ея воспитанникъ, глупый и ничтожный...

Къ ночи началась суета, поднимающаяся въ домѣ богатой покойницы... Но Евлампій Григорьевичъ съ суевѣрнымъ страхомъ заперся у себя въ кабинетѣ. Онъ чувствовалъ еще обиду напутственныхъ словъ своей жены. Вотъ снесутъ ее на кладбище, и тогда онъ будетъ самъ себѣ господинъ и покажетъ всему городу, на что онъ способенъ и безъ всякихъ помочей... Еще нѣсколько дней—и его „брошюра“ готова, прочтутъ ее и увидятъ, „каковъ онъ есть человѣкъ!“

ХІІ.

Петербургскій поѣздъ опоздалъ на двадцать минутъ. Последнимъ изъ вагона перваго класса вышелъ пассажиръ въ бобровой шапкѣ и пальто съ куннымъ воротникомъ.

Это былъ Палтусовъ. Лицо его осунулось. Съ обѣихъ сторонъ носа легли рѣзкія линіи. Сказывалась не одна плохо проведенная ночь. Онъ еще не совсѣмъ оправился отъ болѣзни. Депеша брата Нѣтовой застала его въ постели. Наканунѣ ночью онъ проснулся съ ужасными болями въ печени. Припадки длились пять дней. Докторъ не пускалъ его. Но онъ настаивалъ на рѣшительной необходимости ѣхать... Боли такъ захватили его, что онъ забылъ и о депешѣ, и объ опасной болѣзни Нѣтовой... Какъ только немного отпустило, онъ всталъ съ постели и, сгорбившись, ходить по комнатѣ, послалъ депешу, написалъ нѣсколько городскихъ писемъ. У него было два-три человѣка съ дѣловыми визитами.

Въ Москвѣ, у себя, онъ не оставилъ петербургскаго адреса. Его удивило то, что депеша отъ Нѣтовой, подписанная ея братомъ, пришла къ нему прямо въ отель Демуть... Всю дорогу онъ былъ тревоженъ. Дома мальчикъ доложилъ ему, что отъ Нѣтовыхъ прислали три раза; а вотъ уже три дня, какъ никто больше не приходитъ.

Это усилило его безпокойство. Онъ велѣлъ сейчасъ же приготовить одѣваться и закладывать лошадь. Былъ первый часъ.

Въ передней позвонили.

— Никого не принимать!—крикнулъ онъ мальчику.

Тотъ пошелъ отпирать. Изъ кабинета слышно было, какъ кто-то вошелъ въ калошахъ.

— Господинъ Леденщиковъ, — доложилъ, показываясь въ дверяхъ, мальчикъ, — требуютъ-съ... я не впускалъ.

— Проси, — поспѣшно приказалъ Палтусовъ.

Онъ замѣтно поблѣднѣлъ.

Братъ Марьи Орестовны остановился въ дверяхъ — въ длинномъ черномъ сюртукѣ, съ крепомъ на рукавѣ и съ перезами на воротникѣ.

— Марья Орестовна? — первый спросилъ Палтусовъ и подалъ руку.

— Моя сестра скончалась вчера, въ ночь...

Въ голосѣ не слышно было слезъ; но глаза тревожно смотрѣли на Палтусова.

— Вчера ночью? — переспросилъ Палтусовъ и подался назадъ.

Онъ забылъ попросить гостя сѣсть, но тотчасъ же спохватился.

— Прошу, — указалъ онъ Леденщикову на кресло у стола.

Въ одинъ мигъ сообразилъ онъ, зачѣмъ тотъ пріѣхалъ и что отвѣчать ему.

— М-г Палтусовъ, — началъ Леденщиковъ, немножко пожимаясь, — сестра моя скончалась, не оставивъ завѣщанія.

— Да? — переспросилъ Палтусовъ.

— Безъ завѣщанія, — повторилъ Леденщиковъ. — Но она сообщила мнѣ еще задолго до кончины, что вы завѣдывали ея дѣлами.

— Точно такъ, — сухо отвѣтилъ Палтусовъ.

— Состояніе, предоставленное ей мужемъ, все было, сколько мнѣ извѣстно, въ бумагахъ?

— Въ бумагахъ.

„Не тани, животное!“ — выбранился про себя Палтусовъ.

— Такъ вотъ я бы и просилъ васъ покорнѣйше принести въ извѣстность всю наличную сумму. Она должна быть въ пятьсотъ тысячъ капитала. Я обращаюсь къ вамъ, какъ братъ и наслѣдникъ... за выдѣломъ четвертой части Евлампію Григорьевичу...

Леденщиковъ переложилъ шляпу — и она уже была съ крепомъ — съ праваго колѣна на лѣвое.

Палтусовъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ уголъ комнаты и вернулся. Лицо его оставалось блѣднымъ.

— Очень хорошо-съ, — заговорилъ онъ глуше обыкновеннаго. — Но вы, вѣроятно, знаете, что сестра ваша поручила мнѣ свой капиталъ въ полное распоряженіе?

— Я имѣю копію съ довѣренности.

— Поэтому часть этихъ денегъ находится... какъ бы вамъ это сказать... въ оборотѣ...

— Въ какомъ оборотѣ? — уже съ явной боязнью въ голосѣ спросилъ Леденщиковъ.

— Въ оборотѣ, — повторилъ Палтусовъ.

— Вы отдали ихъ подъ залогъ? Въ такомъ случаѣ у васъ есть закладная или другіе документы.

— Словомъ, — перебилъ его Палтусовъ, — сто тысячъ рублей, даже нѣсколько больше, я не могу реализовать сейчасъ же.

— Но я васъ не понимаю, monsieur Палтусовъ, — болѣе сладкимъ тономъ началъ Леденщиковъ. — Эти деньги должны же быть гдѣ-нибудь... Какъ вы ими распоряжались, въ интересахъ вашей довѣрительницы, я не знаю, но онѣ должны быть налицо.

— Я прошу васъ дать мнѣ сроку нѣсколько дней, недѣлю. Вѣдь я же не могъ предвидѣть внезапной кончины вашей сестры.

— Мы вамъ нѣсколько разъ телеграфировали.

— Я самъ заболѣлъ въ Петербургѣ.

— Но, cher monsieur Палтусовъ, я вѣдь не требую, чтобы вы мнѣ сію минуту выложили весь капиталъ Мари. Онъ въ банкѣ, въ бумагахъ... это само собой понимается... Но надо привести въ извѣстность сейчасъ же.

— Къ чему? — возразилъ болѣе спокойнымъ, дѣловымъ тономъ Палтусовъ. — Ваша сестра умерла безъ завѣщанія. Вы и мужъ ея — наследники... Извѣстно, что я занимался ея дѣлами... Мировой судья будетъ дѣйствовать охранительнымъ порядкомъ.

— Но почему же этого не сдѣлать просто, домашнимъ образомъ? Вы пожелаете къ намъ и привезете всѣ эти цѣнности.

— Да, конечно, но я прошу васъ дать мнѣ срокъ.

— Срокъ?

Губы Леденщикова начали блѣднѣть.

— Я распоряжался самостоятельно.

— Да-съ, monsieur Палтусовъ, — перебилъ Леденщикъ и всталъ, — но я долженъ васъ предупредить, что

как не угодно будетъ до вечера послѣзавтра пожаловать къ намъ со всѣми документами... я долженъ буду...

— Хорошо-съ,—сухо отрѣзаль Палтусовъ.

— Послѣзавтра,—повторилъ Леденщиковъ и подалъ Палтусову руку.

Къ передней онъ отретировался задомъ. Палтусовъ проводилъ его до дверей.

Кровь сразу прилила къ его лицу, какъ только онъ остался одинъ.

Этотъ глухой и сладкій гостинодворческій дипломатъ не дастъ ему передышки... Не дастъ! Все было у него такъ хорошо рассчитано. И вдругъ смерть Нѣтовой!.. Просить, каяться передъ двумя купчишками?! Никогда!

Надо выиграть время... Будь это не такой купеческій „братецъ“ — они бы столковались... Но тутъ трусливая алчность: хочется поскорѣ пощупать свой капиталъ, свалившійся съ неба.

Первый, кто пришелъ на мысль Палтусову, былъ Осетровъ. Вотъ къ кому надо ѣхать... сию минуту. Если и не будетъ успѣха, то хоть что-нибудь дѣльное вынесешь изъ разговора съ нимъ.

А если онъ откажетъ?.. — Палтусовъ закусилъ губу и въ глазахъ его мелькнула рѣшимость особаго рода.

Черезъ десять минутъ онъ летѣлъ къ Осетрову.

XIII.

Осетровъ былъ у себя. Онъ занималъ цѣлый этажъ, на бульварѣ, въ домѣ разорившихся миллионеровъ, который и остался только этотъ домъ. Палтусовъ не былъ у него на квартирѣ и не видалъ его больше трехъ мѣсцевъ.

Онъ шелъ за лаксемъ по высокимъ комнатамъ увѣренно; но внутри тревога росла. Надо было сохранить на лицѣ выраженіе дѣловой и немного свѣтской развязности; надо показать, что съ того дня, когда они познакомились въ конторѣ, утекло не мало воды въ его пользу. Тогда онъ отрекомендовался какъ фактотумъ подрядчика изъ офицеровъ; теперь онъ долженъ явиться самостоятельной личностью, дѣловой единицей, дѣйствующей на свой страхъ... Съ Осетровымъ онъ, кажется, умѣетъ говорить, попадать въ тонъ... Въ его предпріятіи у него три пая, по тысячѣ рублей... Со своимъ пайщикомъ, хотя бы и на такую малость, не станеть тотъ разыгрывать набоба; слыш-

комъ онъ уменъ для этого, да и сумѣлъ давно оцѣнить, что въ его пайщикѣ есть кое-что, стоящее и вниманья, и поддержки, и довѣрія...

Слово „довѣріе“ не смутило Палтусова и въ эту минуту. Почему же не довѣріе? Развѣ Осетровъ знаетъ, что сейчасъ произошло между нимъ и Леденчиковымъ?.. Да хоть бы, какимъ-нибудь чудомъ, и догадался? Надо предупредить его, говорить прямо, безъ утайки, какъ было дѣло. Онъ человѣкъ практики... Ему постоянно поручались куши чужими людьми, да и воротилой-то онъ сдѣлался только на однѣ чужія деньги... Что онъ такое былъ? Учитель...

— Пожалуйте-съ, — пригласилъ лакей и остановился передъ темной дверью съ глубокой амбразурой.

Палтусовъ не замѣтилъ, черезъ какія комнаты прошелъ до кабинета.

Осетровъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ въ такой же позѣ, какъ въ конторѣ, когда Палтусовъ въ первый разъ явился къ нему отъ Балакуцкаго.

Разсматривать обширный кабинетъ некогда было. Палтусовъ перешелъ къ дѣлу.

— Поддержите меня, — сказалъ онъ Осетрову безъ обиняковъ, — мое положеніе очень крутое. Вы сами человѣкъ, разбогатѣвшій личной энергіей... У меня была довѣрительница — поручила мнѣ свое денежное состояніе. Я распорядился имъ по своему усмотрѣнію. Она скоропостижно умерла. Наслѣдникъ требуетъ — выпнь, да положь — всего капитала... А у меня нѣтъ цѣлой четверти...

Палтусовъ остановился.

— Гдѣ же онъ у васъ? — спросилъ Осетровъ, мягко поглядывая на него.

— Я пустилъ его въ обороть...

— На свое имя?

— Нѣтъ... на чужое...

— Въ какой же это обороть?

— Я далъ бумаги въ залогъ.

— Ну такъ что же за бѣда? Вы такъ и объявите наслѣднику... Это не прощанія деньги...

— Я не могу этого сдѣлать, — рѣшительно выговорилъ Палтусовъ.

— Почему же?

— Потому что наслѣдникъ — скучной дурачокъ. Онъ сочтетъ это за растрату...

— Да...

Осетровъ закурилъ папиросу и прищурилъ глазъ.

— Что же я могу для васъ сдѣлать?

— Дайте мнѣ ваше поручительство... Я выдамъ векселя...

— Мое поручительство?... Пить, любезный Андрей Дмитричъ, я не могу этого.

Палтусовъ опустилъ глаза.

Они оба молчали.

— Я заслужу вамъ, — началъ Палтусовъ. — Въ моемъ поступкѣ вы, дѣловой человѣкъ, не должны видѣть что-нибудь особенное... Отчего же я не могъ воспользоваться случаемъ? Дѣло шло о прекрасной операци... Она удалась бы черезъ два-три мѣсяца... Я возвращаю капиталъ довѣрительницѣ и сразу приобретаю хорошее денежное положеніе.

— Почему же вы такъ не поступили?

— Надо было сейчасъ же дѣйствовать. Она жила въ Ниццѣ... Я вамъ уже сказалъ, что она имѣла ко мнѣ полное довѣріе. Ея смерть — неудача, — и больше ничего!

— Это растяжимые дѣловые принципы, — выговорилъ Осетровъ.

— Но вамъ, — уже горячо возразилъ Палтусовъ, — развѣ не довѣряли сотни тысячъ безъ расписокъ? Вы ихъ пустили въ оборотъ отъ своего имени. Стало, рисковали чужимъ достоинствомъ.

— Совершенно вѣрно, — остановилъ Осетровъ, — но я возвращаю сейчасъ же, сейчасъ, все, что у меня было, при первомъ требованіи, или указывалъ, во что у меня всажены деньги. Сдѣлайте то же и вы.

— Но я вамъ говорилъ, что наслѣдникъ скупердый, дуракъ... съ нимъ это невозможно, бумаги представлены въ заемъ другимъ лицомъ! Какое же я обезпеченіе могу дать такому трусливому и алчному наслѣднику?

— Напрасно съ такимъ народомъ дѣло имѣете...

На лицѣ Осетрова Палтусовъ прочелъ рѣшительный отказъ.

— Вадимъ Павловичъ, — выговорилъ онъ, — я ожидаю отъ васъ другого...

— И получили бы другое, — отвѣтилъ Осетровъ, приподнимаясь надъ столомъ. — Наживать можно и должно, но только не такъ, какъ вы задумали.

Это было сказано серьезно, безъ всякаго вызова. Оставалось удалиться.

— У васъ есть наши акціи? — спросилъ Осетровъ, какъ бы спохватившись. — Если вамъ угодно, я куплю у васъ ихъ по полторы тысячи — больше вамъ не дадутъ...

Палтусова охватило такое злобное чувство, что онъ съ усиленіемъ сдержалъ себя на порогѣ кабинета.

XIV.

„Вхвать къ Станицыной?“ — мелькнуло у него. Онъ вышелъ на крыльцо и глядѣлъ на обширный дворъ. Кучеръ еще не замѣтилъ его и не подавалъ. Такъ простоялъ онъ минуты двѣ...

Станицына! Она выручить! Кто это сказалъ? Въ ней теперь женское чувство расходилось. Она увидала, пожалуй, въ томъ, какъ онъ повелъ съ ней себя, прямое оскорбленіе. Да, другой бы упалъ на колѣни и, долго не думая, предложилъ бы ей сожителство, довелъ бы до развода съ мужемъ, прибралъ бы къ своимъ рукамъ ея фабрику и наличныя деньги. Полно, есть ли онѣ, наличныя-то?.. Она должна была, въ эту зиму, заплатить за мужа нѣсколько сотъ тысячъ... безъ этого она не подняла бы кредиту. А коли наличныхъ нѣтъ, или есть только на оборотъ, на поддержку текущихъ дѣлъ по обѣимъ фабрикамъ, такъ изъ-за чего же онъ будетъ соваться?

Да и не хочетъ онъ ей говорить правды. Ее на мякингъ не проведешь. Она все-таки кулакъ-баба... Позволить ей заподозрить его, и такъ, въ глаза... Ни за что!

Съ женщинами у него — неизмѣнная мораль. Такъ онъ поступалъ, такъ и будетъ поступать. Что-то поднимается внутри его гордость, чувство мужского превосходства, когда онъ думаетъ о своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ. Обязаннымъ имъ онъ ничѣмъ не хочетъ быть. Сначала онъ перепробуетъ все.

Но что же?

Въ ту минуту, когда Палтусовъ крикнулъ: „подавай!“ голова его освѣтилась новой фигурой ярко и отчетливо, и тотчасъ вспомнилъ онъ свой визитъ къ родственнику Долгушина, къ тому „ископаемому“, что сидитъ въ птичникѣ... у него есть деньги. Онъ навѣрно тайный ростовщикъ. Но что же предложить ему въ залогъ? Одну половину бумагъ? Такъ это будетъ Тришкинъ кафтанъ. Нелѣпо!

Почему-то, однакожъ, онъ схватился за эту мысль.

Онъ вспомнилъ адресъ стараго барина, но не прика-
залъ кучеру ѣхать туда, а взялъ извозчика.

Баринъ принялъ его. Онъ вышелъ къ Палтусову со-
вершенно такъ же одѣтый, какъ и въ тотъ разъ, и такъ же
попросилъ его во вторую компану. Старикъ помнилъ о его
визитѣ, опять сказалъ, что служилъ когда-то съ однимъ
Палтусовымъ. Про Долгушина осведомился въ шутливомъ
тонѣ, и когда Палтусовъ сообщилъ ему, что генераль
служить акцизнымъ надзирателемъ на табачной фабрикѣ,
выговорилъ:

— И это для него большой постъ. Свистунъ!

Палтусовъ сидѣлъ такъ, что ему была видна часть
стѣны, гдѣ онъ въ первый разъ замѣтилъ несгораемый
шкафъ. Глаза его остановились на продольной, чуть за-
мѣтной щели. Опять разглядѣлъ онъ и маленькое отвер-
стіе для ключа.

— Чѣмъ могу? — спросилъ баринъ и поправилъ па-
рочокъ.

— На этотъ разъ, — началъ Палтусовъ, — я къ вамъ отъ
себя.

Онъ пристально поглядѣлъ на старика.

— Чѣмъ могу? — повторилъ тотъ.

— Не найдете ли возможности дать мнѣ подѣ обез-
печеніе?..

Губы барина слегка пошевелились и что-то мелькнуло
въ глазахъ.

— Я знаю, что вы ссужаете, — рѣшительно выговорилъ
Палтусовъ, и даже похвалилъ себя внутренно за такую
провидательность.

— Вы изволите говорить, — не мѣняя тона, переспро-
силъ старикъ, — подѣ обезпеченіе?

— Цѣнностями... разныхъ наименованій.

— И какую сумму?

„А, ты ростовщикъ!“ — вскрикнулъ про себя Палтусовъ.

— Сто тысячъ рублей.

— Сто тысячъ рублей?.. Такой свободной суммы я не
имѣю...

— Ну, сколько имѣете...

Старикъ поглядѣлъ на Палтусова косвеннымъ взглядомъ.

— А почему же вы, государь мой, не желаете заложить
ваши цѣнности въ любомъ банкѣ?

Вопросъ этотъ уже побывалъ въ головѣ Палтусова, когда
онъ подъѣзжалъ къ его дому.

— Это фамильныя вещи,—уже солгалъ Палтусовъ.

— Брильянты?—быстро спросилъ старикъ.

— Разныя цѣнности.

Въ головѣ Палтусова разыгрывалась сцена. Вотъ онъ привозитъ свои бумаги. Это будетъ сегодня вечеромъ. Старикъ приготовить сумму... Она у него есть—онъ вретъ. Онъ увидитъ процентныя бумаги вмѣсто брильянтовъ, не можно ему что-нибудь наговорить... Не все ли ему равно? Онъ пойдетъ за деньгами... Броситься на него... Разъ два!.. А собаки? А люди? Развѣ такъ покончилъ со старикомъ недавно, въ Петербургѣ, саперный офицеръ? То было въ квартирѣ. Даже кухарку услалъ... Да и то поймали.

Все это пронеслось въ мозгу Палтусова и заставило его мгновенно покраснѣть. И вдругъ его визитъ къ этому барину, разговоръ, расчеты представились ему во всей ихъ глупости и гадости. Какъ могъ онъ остановиться хоть минуту на такой мысли?.. А просто заложить бумаги можно въ первомъ попавшемся банкѣ... Да какой же толкъ въ этомъ?..

Онъ долженъ былъ сознаться, что голова его ослабѣла. Устыдившись, онъ тотчасъ же всталъ и протянулъ руку хозяину.

— Позвольте захватить къ вамъ на-дняхъ,—сказалъ онъ, любезно улыбаясь.—Вы, во всякомъ случаѣ, не прочь? С процентахъ мы тогда переговоримъ...

— Милости прошу, — кратко отвѣтилъ ему немногo удивленный старикъ, и пошелъ провожать его черезъ комнату съ птицами.

Собаки тоже провожали Палтусова. Онъ сбѣжалъ съ лѣстницы, чувствуя, что щеки его горятъ. Въ первый разъ онъ подумалъ о томъ, какъ можно придушить живого чело-вѣка изъ-за денегъ.

XV.

Звонили ко всенощной... Мартовскій воздухъ смякъ. Днемъ сильно таяло. Солнце повертывало на лѣто. Путь лежалъ Палтусову со Знаменки Кремлемъ. Онъ извозчика не взялъ, пошелъ пѣшкомъ.

Миновалъ онъ ворота съ прорѣзными бойницами проѣздной башни „Кутафын“, бѣлѣющей, точно шатеръ, безъ крыши. Зажигалась яркая ночь. Вокругъ полного мѣсяца, не поднявшагося еще кверху, отъ утренняго тумана шла

круглая пелена, открывающая посрединѣ овалъ—посинѣс, безоблачный, глубокий. И одна только звѣзда внизу и сбоку отъ мѣсяца ярко мерцала. Другихъ звѣздъ еще не было замѣтно.

Палтусовъ остановился у перилъ моста черезъ Александровскій садъ и засмотрѣлся на него. Это позволило ему уйти отъ тревогъ сегодняшняго дня. Внизу темнѣли голыя аллеи сада, мигали фонари. Сбоку на горѣ уходилъ въ небо бельведеръ Румянцевскаго музея съ его стройными павильонами, точно повисшій въ воздухѣ надъ обрывомъ. Чуть слышно допосилась ѣзда по оголяющейся мостовой...

Палтусовъ пошелъ дальше, мостомъ и Троицкими воротами, поднялся въ Кремль. Слева сухо и однообразно жельтълѣ корнузъ арсенала, справа выдвигался рядъ косо поставленныхъ пушекъ, а внизу пирамиды ядеръ. Гулъ соборныхъ колоколовъ разливался тонкою заунывною струею. Ему захотѣлось туда, за рѣшетку, откуда золоченныя главы всплывали въ матовомъ сіяніи луны. Онъ скорыми шагами перешелъ поперекъ площади, повернулъ вправо и взялъ въ узкій коридорчикъ, откуда входятъ въ Успенскій соборъ.

Темные, расписанные столбы собора, полусвѣтъ, лики иконостаса, ладанъ и тихое мельканіе молящагося народа навели на Палтусова родъ дремы... Онъ сначала совсѣмъ забылъ про себя. Ему пужно было за чѣмъ-нибудь слѣдить глазами, что-нибудь слушать... Въ соборѣ не попадалъ онъ много лѣтъ, даже и не помнитъ, когда это было. Теперь его занимала служба, какъ ребенка. Идетъ архіерей въ длинной ризѣ, ее поддерживаетъ сзади инодьяконъ, впереди дяконъ со свѣчей. Архіерей кадитъ передъ образами... Такого облаченія и всего этого шествія Палтусовъ не видалъ еще никогда... Онъ глядѣлъ ему вслѣдъ. Служба перешла на средину собора. Долго онъ не могъ слушать ее. Кровь прилила къ головѣ, сдѣлалось душно, папала тревожность, столбы и иконостасъ точно давили его.

Онъ вышелъ на воздухъ. И разомъ все вернулось къ яму... Онъ воръ!.. Хотѣлъ разжиться на чужіи деньги. Могъ сегодня,—когда братъ Пѣтовой явился къ нему,—прямо сказать: „я вложилъ въ такое-то дѣло сто тысячъ... Вотъ вѣмъ представлены залоги... Вотъ документъ, обезпечивающій эту сдѣлку... на-те“.—И какъ ни жаждетъ

этотъ идоть, онъ все-таки пошелъ бы на соглашеніе. А не пошелъ бы?.. Пускай начиналъ бы проносить, даже уголовное дѣло. Такъ нѣтъ!.. Захотѣлось вынырнуть съ чужимъ капиталомъ!

Машинально двигался Палтусовъ къ Ивану Великому, поднялся кверху, на площадку, гдѣ ходъ въ церковь... Тамъ только онъ очнулся.

Гадость сдѣлана. Леденчиковъ не дать ему передышки, если бъ и рассказать ему все на чистоту, покаяться... Будетъ дѣло. Оно ужъ и теперь началось... Умышленное присвоеніе чужой собственности уже совершено, въ глазахъ *настоящихъ*, честныхъ людей онъ уже погибъ...

Вспомнилъ онъ своего недавняго „принципала“—Калакуцкаго. Черепъ съ чернѣющей ранкой представился ему... И курносое лицо околоточнаго... Вотъ застрѣлился же! Отъ уголовного суда самъ ушелъ. А не Богъ знаетъ какой великой души былъ человѣкъ...

Зазвонили. Палтусовъ поднялъ голову и поглядѣлъ вверхъ, на колокольную. Чего же стѣить забраться вонъ туда, откуда идетъ звонъ? Дверь теперь отперта... Звонарь не доглядитъ. Дать ему рубль. А потомъ легонько подойти къ периламъ. Одинъ скачокъ—и кончено!.. Въ Лондонѣ бросаются же каждый годъ съ колонны на Трафальгаръ-скверѣ, и съ колокольной св. Павла цѣлыми дюжинами бросаются...

Онъ зажмурилъ глаза и открылъ ихъ черезъ нѣсколько секундъ. Внизу плиты уже обнажились отъ снѣга, кое-гдѣ просохли и свѣтились. Его схватило за сердце. Но онъ не успѣлъ испугаться. Новое чувство уже залегло ему на душу...

„Воръ!—думалъ онъ и началъ чуть замѣтно улыбаться.—Пускай! Смерть отъ своей руки еще не ушла. Лучше pistolеть, чѣмъ такой прыжокъ съ колокольной. Сдѣлать это приличнѣй и скромнѣй“.

Онъ началъ спускаться по ступенькамъ. Ему стало вдругъ легко. Ни къ кому онъ больше не кинется, никакихъ денегъ и писемъ не желаетъ писать въ Петербургъ; поѣдетъ теперь домой, ляжетъ спать, хорошенько выспится и будетъ поджидать. Все пойдетъ своимъ чередомъ... Не завтра, такъ послѣзавтра явится и слѣдователь. Не поѣдетъ онъ и на похороны Нѣтовой. Не напишетъ и Широкову. Уснѣетъ... Никогда не рано отправиться на тотъ свѣтъ изъ этой Москвы!..



Благовѣсть продолжался. Выйдя за рѣшетку, Палтусовъ провалился въ рыхломъ снѣгѣ. Это его разсмѣшило.

XVI.

Пирожковъ не хотѣлъ вѣрить слуху, что Палтусовъ „арестованъ“. Ему кто-то сказалъ это наканунѣ вечеромъ. Онъ вскочилъ съ постели въ девятомъ часу, торопливо одѣлся и поѣхалъ къ пріятелю. Мальчика, отворившаго ему дверь, онъ ни о чемъ не спрашивалъ. Тотъ приваля его со словами:

— Пожалуйте-съ, барины у себя.

Квартирка смотрѣла такъ же чисто и нарядно, какъ и въ тотъ разъ, когда онъ заѣхалъ къ Палтусову попросить за мадамъ Гужо. Ничто не говорило про бѣду.

— Дома! — вслухъ выговорилъ Иванъ Алексѣевичъ въ передней.

Значить — вздоръ, вранье, никакого ареста не было.

Палтусова онъ нашелъ на кушеткѣ.

— Что съ вами, нездоровится? — спросилъ его Пирожковъ и сильно потрясъ ему руку.

Лицо Палтусова показалось ему и желтымъ, и осунувшимся.

— Да вотъ съ приѣзда не могу поправиться, — отъликулся Палтусовъ и всталъ съ кушетки.

На немъ былъ халатъ, чего Пирожковъ никогда не видалъ.

— Вы въ Петербургѣ заболѣли?

— Да, чуть не воспаленіе въ печени схватилъ.

Въ глазахъ пріятеля Палтусовъ прочелъ причину его прихода.

— Иванъ Алексѣичъ, — началъ онъ простымъ, задушевымъ тономъ, — вамъ навѣрно сказали уже, что меня схватили?

— Дѣйствительно.

— Этого еще нѣтъ; но можетъ быть сейчасъ. Я не знаю. Пока, я далъ подписку.

Онъ на одну секунду опустилъ голову и добавилъ съ тихой усмѣшкой:

— Попаду въ кутузку — это вѣрно.

— Но за что же? — искренней потой крикнулъ Иванъ Алексѣичъ.

— За что? За растрату чужого имущества...

Пирожковъ ничего не сказалъ на это, а только усмѣхнулся отрицательно.

— Право! — подтвердилъ Палтусовъ и опять сѣлъ на кушетку, подложивъ подъ себя ноги.

— Да объясните!

— Дѣло самое простое... Получилъ довѣренность на распоряженіе капиталомъ.

— Большимъ?

— Въ нѣсколько сотъ тысячъ.

— И что же?

— Распорядился по своему усмотрѣнію... на это имѣлъ право... Довѣрительница умерла въ мое отсутствіе... Наслѣдникъ присталъ къ горлу — давай ему всѣ деньги... А у меня ихъ нѣтъ.

— Какъ же нѣтъ? — изумленно переспросилъ Пирожковъ.

— Такъ, въ наличности нѣтъ...

— Но вы можете доказать.

— Вотъ что, дорогой Иванъ Алексѣичъ, — началъ горяче Палтусовъ и подался впередъ корпусомъ, — взбѣсился я на этихъ купчишекъ, вотъ на умытыхъ-то, что въ барѣ лѣзутъ, по-англійски говорятъ! Если бъ вы видѣли гнусную, облизанную физиономію брата моей довѣрительницы, когда онъ явился ко мнѣ съ угрозой ареста и уголовного преслѣдованія! Я хотѣлъ было повести дѣло просто, по-человѣчески. А потомъ озорство меня взяло... Никакихъ объясненій!.. Пускай арестуютъ!

— Но зачѣмъ же? — Пирожковъ присѣлъ къ нему на кушетку и взялъ его за руку. — Зачѣмъ же такъ, Палтусовъ? Что за бравада? Вы же говорили мнѣ вотъ въ этомъ самомъ кабинетѣ, что купецъ — сила, все прибралъ къ своимъ рукамъ...

— Посмотримъ, кто кого пересилить... Тутъ умъ надо, а не капиталы.

— Умъ!.. Но, Андрей Дмитріичъ... къ чему же доводить себя?..

— Да вѣдь я уже подъ сюркупомъ... Обязался подпиской о невыѣздѣ...

— Что же вы теперь дѣлаете? Какія мѣры?

Пирожковъ разстроено глядѣлъ на Палтусова. Тотъ пожалъ ему руку.

— Добрая вы душа, сочувственная. Не бойтесь. Я волноваться не желаю. Съ адвокатомъ я видѣлся. Выбралъ

не красная, а честная чудака... Я вижу... вамъ хочется подробностей. Зачѣмъ копаться въ этихъ дразгахъ? Для меня это партія въ шахматы... На одномъ осѣлся, на другомъ выплыву!..

Что-то новое слышалось Пирожкову въ звукахъ голоса Палтусова. Ему сдѣлалось не по себѣ. Точно онъ попалъ въ болото и нога ступаетъ на зыбкую кочку.

— Ха-ха-ха! — разразился Палтусовъ. — Полноте... Говорю, выплыву. А если вы увидите, что я въ этой кулачеческой Москвѣ самъ позапылился, — вы забудете, что у васъ былъ такой пріятель.

— Ну, вотъ, ну, вотъ! — возразилъ Пирожковъ, всталъ и въ недоумѣніи заходилъ по кабинету.

Палтусовъ посмотрѣлъ на стѣнные часы.

— Иванъ Алексѣичъ! — окликнулъ онъ. — Знаете что, не засиживайтесь. Я, по моимъ соображеніямъ, жду сегодня архангеловъ.

— Какихъ?

— Слѣдователя или полицію. Уходите. Коли надо будетъ куда-нибудь съѣздить, къ адвокату, что ли, — дамъ вамъ знать; только не стѣсняйтесь... Прямо откажите.

— Полноте! — вырвалось у Пирожкова теплой нотой.

Онъ рѣшительно не зналъ, какъ ему говорить съ пріятелемъ. Черезъ пять минутъ онъ вышелъ.

На улицѣ онъ перебиралъ про себя, какое чувство возбуждаетъ въ немъ Палтусовъ, и не могъ отвѣтить, не могъ сказать: „нѣтъ, онъ честенъ, это — разъяснится“.

Ему показалось, на поворотѣ къ Чистымъ Прудамъ, что въ пролетѣхъ проѣхалъ полицейскій офицеръ со статскимъ.

XVII.

Больше трехъ недѣль, какъ Анна Серафимовна ничего не слыхала о Палтусовѣ. Она спрашивала Тасю. Та знала только, что онъ куда-то уѣхалъ... Надо было рѣшиться — разрывать или нѣтъ съ мужемъ. Рубцовъ продолжалъ стоять за разрывъ. Голова уже давно говорила ей, что она промахнулась, что она только съ разорить, если будетъ завѣдывать дѣлами Виктора Митонича.

Но не одни дѣла. Когда же наступитъ полная законная воля? Неужели обречь себя на вѣчное вдовство, или махнуть на все и жить себѣ съ „дружкомъ“. Да гдѣ онъ, этотъ дружокъ? И его нѣтъ!

За эти дни она исхудала, подъ глазами круги, во рту

гадко, всю поводить. Но она не хочет поддаваться никакой „лихой болѣсти“. Не таковская она!

Анна Серафимовна собралась ѣхать въ амбаръ. Вошла, Тася въ шляпѣ и кофточкѣ. Это не былъ еще ея часъ.

— Вы слышали, — выговорила она съ разстановкой, — Андрей Дмитричъ...

Станицына поблѣднѣла. Сердце у ней точно совсѣмъ пропало.

— Что?

— Посадили его.

— Посадили!..

Анна Серафимовна не могла придти въ себя.

— За политическое?

— Нѣтъ.

Тася замялась.

— По какому же дѣлу?

— Я не знаю хорошенько... Говорять про... растрату какую-то... Послѣ смерти Нѣтовой открыли...

— Послѣ Нѣтовой?

Она все сообразила. Но быть не можетъ. Это не такой человекъ!

Рука ея протянулась къ Тасѣ. Онѣ обнялись. Анна Серафимовна поцѣловала ее горячо.

— Это такъ что-нибудь, — порывисто заговорила она. — Онъ не могъ...

Обѣ сѣли.

Тася прильнула къ ней. Ей захотѣлось признаться этой „купчихѣ“ въ томъ, что до тѣхъ поръ она считала не ловкимъ рассказывать.

Анна Серафимовна узнала, что Палтусовъ помогалъ семейству Долгушиныхъ еще при жизни матери. Про себя Тася умолчала.

— Вотъ видите, — успокоивала и самое себя Станицына, — такой человекъ не могъ! Гдѣ же онъ сидитъ?

— Я не знаю, — пристыженно отвѣтила Тася.

— Надо узнать...

Анна Серафимовна разспросила, гдѣ живетъ Палтусовъ, и приказала подавать экипажъ.

— Вы оставайтесь, — сказала она Тасѣ, — подождите меня...

— Мнѣ бы надо, — тихо выговорила Тася.

Она чувствовала, какъ „барышня“ проснулась въ ней въ эту минуту. Боятся она разыскивать, гдѣ сидитъ ея

родственникъ, боится полиціи совершенно такъ, какъ ея старушки, чуть дѣло запахнетъ хоть городовымъ. А вотъ такая купчиха не боится... Она любить... она можетъ и спасти его,—пожалуй, и въ Сибирь бы пошла за нимъ... Но стѣитъ ли опъ этого? Поручиться нельзя.

Тася покраснѣла. Что же это такое? Онъ помогаетъ ей и старушкамъ, а она точно сейчасъ же готова выдать его.

— Анна Серафимовна, — придержала она Станицыну въ залѣ, — вы не подумайте, что я такая гадкая... безсердечная... Вотъ вы — посторонняя, и такъ тепло къ нему относитесь... А мнѣ бы слѣдовало...

— Я узнаю, я узнаю, — повторяла Станицына, идя къ лѣстницѣ.

По лѣстницѣ поднимался Рубцовъ. Онъ заѣхалъ больше для Таси, отправляясь на фабрику.

— Сеня, — сказала ему Станицына, — побудь съ Таисіей Валентиновной — мнѣ къ спѣху...

Онъ замѣтилъ большую переѣмну въ ея лицѣ и успѣлъ спросить у ней на лѣстницѣ:

— Что, иль опять отъ муженька сюрпризъ?

— Нѣтъ, не то, — отвѣтила она и быстро начала сходять внизъ.

— Что такое? — спросилъ Рубцовъ Тасю.

Рубцовъ и Тася проходили залой.

Тася не знала, говорить ли ей... Это можетъ повредить Палтусову... Но вѣдь она сказала уже Станицыной. А Рубцовъ — добрый, въ эти двѣ недѣли они сошлись, точно родные.

Въ гостиной она сѣла на то мѣсто, гдѣ обыкновенно читала Аннѣ Серафимовнѣ, и состроила принужденную улыбку.

— Да вы полноте-съ, — началъ шутливо Рубцовъ, — мы хоть лыкомъ шиты, а понимаемъ... не томите.

Тася передала „слухъ“ про арестъ Палтусова.

— И сестричка кинулась куда же-съ?

— Не знаю!

— Вотъ что, — значительно выговорилъ Рубцовъ и отошелъ къ окну.

Тася молчала. Онъ нѣсколько разъ поглядѣлъ на нее.

Ей тяжело было начинать разговоръ о Палтусовѣ.



XVIII.

Рубцовъ все еще стоялъ у окна, за штофной портьерой. Тася сидѣла на пуфѣ, въ трехъ шагахъ отъ него.

— Вамъ-то что же особенно убиваться?

— Семень Тимоѳеичъ... вы не знаете...

Она не договорила.

— Что же такое именно не знаю?

— А то, что...

Опять у нея слово стало въ горлѣ.

— Насчетъ этого... Палтусова? Что же тутъ знать?..

И предвидѣть, мнѣ кажется, было возможно. Человѣкъ крупнаго мѣста не имѣлъ. Довѣріе къ себѣ внушилъ именитой коммерціи-совѣтницѣ, деньжками ея поживился... Такая нынче мода... вы извините, что я такъ про вашего родственника... А, можетъ, и понапрасну.

— Понапрасну? — повторила Тася и подбѣжала къ нему. — Вы думаете?

— Какъ же я могу знать въ точности, Тансіа Валентиновна?.. Повѣтріе это... всѣ этимъ занимаются. И господа дворяне, и предсѣдатели земскихъ управъ, и адвокаты... а о кассирахъ—такъ и говорить совѣстно!

— Вотъ видите, Семень Тимоѳеичъ,—начала смущенно Тася. — Я бы должна была ѣхать къ нему...

— Да, пожалуй, онъ въ секретѣ сидитъ, такъ и не пустять.

— Анна Серафимовна поѣхала же.

— Ужъ это ихъ дѣло...

— Я должна была,—повторила Тася.—Но очень ужъ мнѣ показалось гадко... если бъ еще онъ что-нибудь другое...

— Зарѣзалъ бы, примѣрно.

— Ахъ, вы все шутите... Что жъ, страсть можетъ такъ налетѣть на человѣка... а то вѣдь... это все равно, что... украсть.

— Не далеко лежитъ отъ кражи.

— Вотъ видите... Только мнѣ бы не надо было такъ говорить. Вѣдь Палтусовъ,—она понизила голосъ,—поддерживалъ меня...

— Васъ?—переспросилъ Рубцовъ.

— И не меня одну, Семень Тимоѳеичъ, и старушекъ моихъ...

Ей уже не было стыдно изливаться передъ купчикомъ.



Она рассказала ему всю свою исторію... Старушки живутъ теперь въ одной комнаткѣ, въ номерахъ; содержаніе ихъ обходится рублей въ пятьдесятъ... эти деньги давалъ Палтусовъ. Да платилъ еще за ея уроки.

— Да вы чему же учитесь? — освѣдомился Рубцовъ и опустилъ голову.

Онъ уже сидѣлъ около Таси.

Она ему рассказала опять про свою страсть къ театру. Въ консерваторію поступать было уже поздно, сначала она ходила къ актрисѣ Грушевой; но Палтусовъ и его пріятель Пирожковъ отсовѣтовали. Да она и сама видѣла, что въ обществѣ Грушевой ей не слѣдуетъ быть. Беретъ она теперь уроки у одного пожилого актера. Онъ женатый, держитъ себя съ ней очень почтительно, человѣкъ начитанный, общается съѣзжать изъ нея актрису.

Глаза Таси заискрились, когда она заговорила о своемъ „призваніи“. Рубцовъ слушалъ ее, не поднимая головы, и все подкручивалъ бороду. Голосокъ ея такъ и лѣзъ ему въ душу... Дѣвчурочка эта не даромъ встрѣтилась съ нимъ. Нравится ему въ ней все... Вотъ только „театральство“ это... Да пройдетъ!.. А кто знаетъ: оно-то самое, быть-можетъ, и дѣлаетъ ее такой „трепещущей“... Сердца добраго, въ бѣдности, тяготится теперь тѣмъ, что и поддержка, какую давалъ родственникъ, оказалась не изъ очень-то чистаго источника.

— Послушайте, голубушка, — Рубцовъ въ первый разъ такъ называлъ ее и взялъ ее за руку. — Вы не тормозите себя... Вы видите, какъ сестричка васъ полюбила... Что же съ нами чиниться... Понимаю я, „дворянское дитѣ“.

И онъ тихо разсмѣялся.

— Была, Семенъ Тимоѣенчъ, была. А теперь ничего нѣтъ не надо. Только бы старушкамъ мой кусокъ хлѣба и...

— Театръ? — подсказалъ Рубцовъ.

— Да, да! — точно вдохнувъ въ себя, выговорила Тася.

— А вы вотъ что мнѣ скажите, — почти шопотомъ спросилъ Рубцовъ, — какъ этотъ вашъ родственникъ, можетъ ли воспользоваться хоть бы теперь увлеченіемъ сестрички? А она-таки увлечена, это вѣрно.

— Я не знаю, Семенъ Тимоѣенчъ, вотъ въ томъ-то и бѣда, что мы въ нашемъ барскомъ кругу ничего не знаемъ... Никто насъ не учитъ людей разбирать... Деньги-то его, что онъ намъ давалъ... были, пожалуй, чужія...

— Ну, это еще не известно. Вѣдь онъ, навѣрно, получалъ не мало... агентомъ, кажется, былъ у того, Калакуцкаго, подрядчика, что застрѣлился недавно.

— Все-таки...

Тасѣ сдѣлалось еще тяжелѣе.

— Полноте, — громко и весело сказалъ Рубцовъ. — Не обижайте насъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, все дворянскій-то свой гоноръ соблюдаете... Мы друзья ваши... это лучше родственниковъ. Только, чуръ, ужъ не считаться ни съ сестричкой, ни со мной... А жалко вамъ этого Палтусова, повидайтесь съ нимъ, посмотрите, почувствуйте: каковъ онъ на самомъ дѣлѣ.

Рубцовъ всталъ и еще разъ протянулъ ей руку. Тася, слушая его, притихла. Да, съ этимъ человѣкомъ стыдно считаться. Генеральская дочь давно умерла въ ней.

XIX.

Въ частномъ домѣ ***-ской части наступили послѣ-обѣденные сумерки.

Шестой часъ. Въ узкой комнаткѣ, съ однимъ окномъ, на волосняной кушеткѣ, лежитъ Палтусовъ. Третій день проводить онъ подъ арестомъ. Наканунѣ, утромъ, онъ писалъ Пирожкову и просилъ его побывать у адвоката Пахомова, считавшагося, кромѣ своей уголовной практики, и хорошимъ „цивилистомъ“. Передъ обѣдомъ адвокатъ былъ у него. Они проговорили больше часа. Прощаясь, адвокатъ сказалъ ему:

— Не знаю, могу ли я взять на себя ваше дѣло. Не замедлю дать отвѣтъ.

Палтусовъ изложилъ ему свою систему защиты. Тотъ отмалчивался или издавалъ неопредѣленные звуки. Это совѣщаніе не удовлетворило арестанта.

Арестантъ!.. Онъ довольно спокойно думалъ о томъ, гдѣ онъ „содержится“, что ожидаетъ его въ недалекомъ будущемъ: — дѣло перешло уже въ руки обвинительной власти. Допросъ слѣдователя завтра утромъ. Къ нему онъ приготовленъ.

Комнатка, гдѣ онъ лежитъ, — дворянская. Собственно тутъ дежурятъ квартальные. Но въ настоящей арестантской камерѣ все и безъ того занято. Съ утра передъ нимъ проходила жизнь „сѣзжей“. Онъ слышалъ изъ своей камеры голоса писмопроводителей, околоточныхъ, родовыхъ, просителей. Какая-то баба, должно-быть, въ

передней, была добрыхъ два часа. Частный приходилъ раза три. Съ Палтусовымъ онъ обошелся мягко. Они оказались въ шапочномъ знакомствѣ по Большому театру. Указывая на него дежурному квартальному, онъ употребилъ выраженіе „онъ“. Квартальный—бывшій драгунскій поручикъ—пришелъ покурить, заспанный, даже не полюбопытствовалъ, по какому дѣлу сидитъ Палтусовъ.

Зала квартиры частнаго примыкала къ канцеляріи. Палтусовъ слышалъ, какъ майоръ ходилъ, звякая шпорами, и напѣвалъ изъ „Корневицкихъ колоколовъ“:

„Взгляните здѣсь, смотрите тамъ:
Нравится-ль все это вамъ?“

Когда умолкла вся утренняя суета, Палтусовъ заглянулъ въ опустѣвшую канцелярію. У одного изъ столовъ сидѣлъ худой блондинъ, прилично одѣтый, вѣжливо ему поклонился, всталъ и подошелъ къ нему. Онъ самъ сказалъ Палтусову, что содержится въ томъ же частномъ домѣ; но приставъ предоставилъ ему письменныя занятія и ему случается, за отсутствіемъ квартальнаго или околоточнаго, распоряжаться.

— А по какому вы дѣлу?—спросилъ его Палтусовъ.

— Я — литографъ... Привлеченъ... по подозрѣнію насчетъ билетовъ, оказавшихся подложными.

И онъ сейчасъ же протянулъ Палтусову руку и сказалъ:

— Позвольте быть знакомымъ.

Надо было пожать руку. Литографъ вызвался заботиться о томъ, чтобы Палтусову служилъ лучшій солдатъ, во-время носилъ самоваръ и ѣду. Пришлось еще разъ пожать руку товарищу-арестанту.

На кушеткѣ, въ надвигающихся сумеркахъ, Палтусовъ лежалъ съ закрытыми глазами, но не спалъ. Онъ не поновался. Фактъ налицо. Онъ въ части, слѣдствіе начато, будетъ дѣло. Его оправдають или пошлютъ въ „Сибирь тобольскую“, какъ острилъ одинъ студентъ, съ которымъ онъ когда-то читалъ лекціи уголовнаго права.

Палтусовъ впервые проходилъ въ головѣ свою собственную исторію и спрашивалъ себя: полно, было ли у него когда въ душѣ хоть что-нибудь завѣтное? Кто ему могъ передать нехитрую, ограниченную честность? Отецъ — игрокъ и женолюбъ. Про мать всѣ знали, что она никѣмъ не пренебрегала... даже изъ дворовыхъ... Еще удивительно, какъ изъ него вышелъ такой „порядочный чело-

вѣкъ“. Да, онъ порядочный!.. И съ сердцемъ, и не трусь... Увлекался же Сербіей, и тамъ велъ себя куда лучше многихъ. На войнѣ въ Болгаріи не сдѣлалъ же ни одной гадости. Возмущался и воровствомъ, и нагайками, и адъютантскимъ шалонайствомъ, и безсердечіемъ разныхъ пошляковъ къ солдату... Не можетъ безъ слезъ вспомнить обмороженные ноги цѣлыхъ батальоновъ...

А вотъ теперь ему не стыдно своего „случая“, а просто досадно. Если его что можить, такъ — неудача, сознаніе, что какой-нибудь кунеческій „гошшеух“, глупенькій господинъ Леденщиковъ, столкнулся съ нимъ, заставляетъ его теперь готовиться къ уголовному процессу, губить, хоть и на время, его кредитъ.

И все горче и горче дѣлалось ему только отъ этого. За себя онъ не боялся. Но, быть-можетъ, съ процесса-то и пойдетъ онъ полнымъ ходомъ?.. Сначала строгіе люди будутъ сторониться... Зато масса... Кто же бы на его мѣстѣ изъ людей, бойкихъ и чуткихъ, не воспользовался? Въ комъ заложенъ несокрушимый фундаментъ?.. Даже и разбирать смѣшно!..

Къ нему постучались. Изъ полуотворенной двери показалась бѣлокурая голова „литографа“.

— Къ вамъ посѣтительница.

Палтусовъ быстро всталъ съ кушетки.

— Дама?—спросилъ онъ и подумалъ: „вѣрно Тася“.

— Да-съ, вы не извольте беспокоиться. Приставъ приказалъ.

— Благодарю васъ.

Голова скрылась. Изъ-за двери слышался легкій шорохъ.

XX.

Палтусовъ вышелъ въ канцелярію. У стола, ближайшаго къ его двери, сидѣла дама. Онъ не сразу въ полутьмнотѣ узналъ Станицыну.

— Анна Серафимовна!—тихо вскрикнулъ онъ.

Она встала въ большомъ смущеніи. Палтусовъ нагнулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.

Вуалетки Станицына не поднимала. Сквозь нее, въ сумеркахъ, видѣлось милое для нея лицо Палтусова. По туалету онъ былъ тотъ же: и воротнички чистые, и короткий, моднаго покроя пиджакъ. Только блѣдень, да глаза потеряли половину прежняго блеска.

— Хворали?—спросила она, и голосъ ея дрогнулъ.

— Въ Петербургѣ, да... Садитесь, пожалуйста... Только... здѣсь такъ темно.

— Ничего,—сказала она.

Онъ не смущенъ. Лицо тихо улыбается. Ему совѣмъ не стыдно, что его посадили на „сѣзжую“. Такъ она и ожидала. Не можетъ быть, чтобы онъ былъ виноватъ!..

Въ эту минуту она и думать забыла про то, что случилось въ каретѣ, послѣ бала Рогожиныхъ. Ей все равно, что бы и какъ бы онъ объ ней ни думалъ. Не могла она не пріѣхать. А ее не сразу пустили. Да и самой-то не очень ловко было упрашивать пристава.

— Онъ вамъ родственникъ, сударыня?—спрашиваетъ. Играть она не хотѣла. Приставъ усмѣхнулся.

Долго держалъ Палтусовъ ея руку. Она тихо высвободила и спросила:

— Зачѣмъ же васъ сюда? Нешто нельзя было на поруки?

— Залогъ надо... — спокойно отвѣтилъ онъ, — а слѣдователь требуетъ тридцать тысячъ. У меня такихъ денегъ нѣтъ...

— Андрей Дмитричъ...—чуть слышно вымолвила Станицына,—позвольте мнѣ...

Она сидитъ почти безъ капитала. Но такія-то деньги сейчасъ найдутся. Ни одной секунды она не колебалась... Вся расчетливость вылетѣла.

Онъ молча пожалъ ей руку. Когда онъ заговорилъ, голосъ его дрогнулъ отъ искренняго чувства.

— Славная вы, Анна Серафимовна, я вамъ всегда это говорилъ... Вы думали, быть-можетъ, что я такъ только, чувствительными фразами отдѣлывался?.. Спасибо.

— Скажите,—продолжала она въ большомъ смущеніи,—куда поѣхать, кому внести?

— Полноте, не нужно, — остановилъ онъ ее и выпустилъ ея руку.—Залогъ можно бы было найти. Я было и думалъ сначала, да разсудилъ, что не стоить...

— Какъ же не стоить?

Она подняла голову и оглянулась.

— Мнѣ это зачтется.

— Какъ зачтется, Андрей Дмитричъ?

— Послѣ... когда кончится дѣло.

— Дѣло!—повторила Станицына.

Его голосъ такъ и лился къ ней въ душу, и стало его нестерпимо жаль.

— Андрей Дмитричъ... скажите... сколько вся сумма... Можно будетъ достать... скажите.

Щеки ея пылали.

Палтусовъ взялъ ее за обѣ руки.

— Спасибо!—горячо выговорилъ онъ.—Ничему это теперь не поможетъ... Дѣло началось... уголовнымъ порядкомъ... Внесу я или нѣтъ, что слѣдуетъ, прокурорскій надзоръ не прекратитъ дѣла... Да если бъ и не поздно было... Анна Серафимовна, я бы...

Онъ немного помолчалъ; но потомъ разсказалъ ей, что ему пришла мысль ѣхать къ ней послѣ визита Леденщикова... Онъ зналъ, что она способна помочь ему.

— Не могу я отъ женщинъ, даже отъ такихъ, какъ вы, принимать денежныхъ услугъ.

Эти слова не удивили ее. Такой человекъ и долженъ такъ говорить и чувствовать. Ей сдѣлалось вдругъ легко. Она вѣрила, что его оправдаютъ. Украсть онъ не можетъ. Просто захотѣлъ выдержать характеръ и выдержать.

Лицо ея Виктора Мироныча представилось ей. Тотъ—на волѣ, именитый коммерсантъ, съ принципами крови знакомъ; а этотъ—въ части сидитъ „колодникомъ“... А нешто можно сравнивать? Будь она свободна, скажи онъ слово, она пошла бы за нимъ въ Сибирь...

— Вы довольны Тасей?—спросилъ онъ ее, видимо желая пережѣнить разговоръ.

— Очень!

Анна Серафимовна начала ее расхваливать и намекнула Палтусову, что ей извѣстно, кто поддерживалъ Тасю и ея старушекъ.

— Вотъ что, голубушка,—сказалъ ей Палтусовъ.—Она дѣвушка хорошая; но дворянское-то худосочіе все-таки въ ней сидитъ. Теперь ей непріятно будетъ принимать отъ меня... Сдѣлайте такъ, чтобы она у васъ побольше заработала... Окажите ей кредитъ... А всего лучше выдайте замужъ... Это будетъ вѣрнѣе сценъ... А потомъ счетецъ мнѣ представьте,—кончилъ онъ весело,—когда я опять полноправнымъ гражданиномъ буду!..

И это тронуло ее. Она встала и начала прощаться съ нимъ.

— Пускай Тася не волнуется—ѣхать ей ко мнѣ или нѣтъ,—сказалъ Палтусовъ, провожая Станицыну до пе-

редней,—ко мнѣ ей не надо ѣздить... Это еще успѣется. Только такія, какъ вы,—прибавилъ онъ и крѣпко пожалъ ей руку,—умѣютъ навѣщать „бѣдныхъ заключенныхъ“.

И онъ тихо разсмѣялся. Станицына уѣхала, глубоко тронутая.

XXI.

— Обождите,—сказала Пирожкову горничная, смахивавшая на гувернантку, вводя его въ кабинетъ присяжнаго повѣреннаго Пахомова.

Онъ уже во второй разъ заѣзжалъ къ нему—все по просьбѣ Палтусова. Въ первый разъ онъ не засталъ адвоката дома и передалъ ему въ запискѣ просьбу Палтусова: быть у него, если можно, въ тотъ же день. Теперь Палтусовъ опять поручилъ ему добиться отвѣта: беретъ онъ на себя дѣло или нѣтъ?

Жутко себя чувствуетъ Иванъ Алексѣичъ. Всего неприятнѣе ему то, что онъ самъ не можетъ разяснить себѣ: какъ онъ собственно относится къ своему другу? Считаетъ ли его жертвой или подозрѣваетъ, или просто увѣренъ въ растратѣ? Палтусовъ говорилъ съ нимъ въ такомъ тонѣ, что нельзя было не подумать о растратѣ.

Только другъ его смотрѣлъ на нее по-своему.

Но какъ отвернуться отъ него, не исполнить его просьбы, не заѣхать лишній разъ къ адвокату?..

Пирожковъ осмотрѣлся. Онъ стоялъ у камина, въ небольшомъ, довольно высокомъ кабинетѣ, кругомъ установленномъ шкапами съ книгами. Все смотрѣло необычайно удобно и размѣренно въ этой комнатѣ. На свободномъ кускѣ одной изъ боковыхъ стѣнъ висѣло нѣсколько портретовъ. За письменнымъ, узкимъ столомъ,—видимо дѣланымъ по вкусу хозяина,—помѣщался родъ шкафчика съ перегородками для разныхъ бумагъ. Комната дышала уютномъ тихаго рабочаго угла, но мало походила на кабинетъ адвоката-дѣльца.

Въ каминѣ тлѣли угли. Иванъ Алексѣичъ любилъ грѣться. Онъ стоялъ спиной къ огню, когда вошелъ хозяинъ кабинета, человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, средняго роста. Свѣтлорусые волосы, опущенные широкими прядями на виски, удлиняли лицо, смотрѣвшее кротко своими слушающими глазами. Большой носъ и подстриженная борода были чисто русскіе; но держался адвокатъ, въ длин-

новатомъ темно-сѣромъ скюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, точно иностранецъ-докторъ.

— Покорно прошу, — пригласилъ онъ Пирожкова на диванъ высокимъ теноровымъ голосомъ.

Пирожковъ попросилъ отвѣта по дѣлу Палтусова.

— Видите ли, — заговорилъ адвокатъ искренно и точно разсуждая съ самимъ собой, — я бы взялся защищать господина Палтусова, если бы онъ не насилывалъ мою совѣсть.

— Вашу совѣсть?

— Да-съ, мою совѣсть. Мнѣ вовсе не пужно проникать въ глубину души подсудимаго. Это метода опасная... Скажетъ онъ мнѣ всю правду — хорошо. Не скажетъ — можно и безъ этого обойтись. Но если онъ мнѣ разскажетъ факты, то мнѣ же надо предоставить и освѣщать ихъ; такъ ли я говорю? — кротко спросилъ онъ.

— Безусловно, — подтвердилъ Пирожковъ.

— Вашъ знакомый можетъ служить типическимъ знаменіемъ времени...

— Въ какомъ же смыслѣ? — спросилъ Пирожковъ.

— Онъ смотритъ на себя, какъ на героя... У него нѣтъ ни малѣйшаго сознанія... неблаговидности его поступка... Онъ требуетъ отъ меня солидарности съ его очень ужъ широкимъ взглядомъ на совѣсть.

Отъ этихъ словъ адвоката Ивана Алексѣича начало коробить.

— Знаменіе времени, — повторилъ Пахомовъ. — Жажда наживы, злость бѣдныхъ и способныхъ людей на купеческую мошну... Это неизбежно; но нельзя же выставлять себя на судъ героемъ потому только, что я на чужіи деньги пожелалъ составить себѣ миллионное состояніе...

— А если онъ будетъ оправданъ? — полувопросительно выговорилъ Пирожковъ.

— Очень можетъ быть, но только при моей системѣ защиты — врядъ ли.

„Странный адвокатъ“, — подумалъ Пирожковъ.

— Можно добиться легкаго наказанія, да и то софизмами, на которые я не пойду... Вашъ знакомый обратился не къ тому, къ кому слѣдовало.

По унылому лицу адвоката прошла улыбка.

— Какъ общественный симптомъ, — продолжалъ онъ, — это меня нисколько не удивляетъ. Такъ и слѣдуетъ быть среди той нравственной анархіи, въ какой мы живемъ...

Господинъ Палтусовъ вовсе не испорченнѣе другихъ... Вы, вѣроятно, и сами это знаете... У него есть даже много... разныхъ points d'honneur... Онъ вѣдь бывшій военный?

— Да, служилъ въ кавалеріи,—кратко отвѣтилъ Пирожковъ,—потомъ слушалъ лекціи.

— На юридическомъ?—не безъ ироніи освѣдомился Пухомовъ.

— На юридическомъ.

— Самая опасная смѣсь... Послѣ практики въ законномъ убійствѣ людей—хаосъ нелѣпыхъ теорій и казуистики... Естественныя науки дали бы другой оборотъ мышленію. А впрочемъ, у насъ и онѣ ведутъ только къ первобытной естественности правилъ.

Онъ тихо разсмѣялся, молча потеревъ руки.

Пирожковъ всталъ и, пожавъ ему руку, у дверей спросилъ:

— Такъ и передать Палтусову?

— Такъ и передайте-съ... Насиловать свою совѣсть—не допускаю.

Съ педантической вѣжливостью проводилъ онъ Пирожкова до лѣстницы.

XXII.

Арестанта Пирожковъ засталъ за обѣдомъ, передъ грязнымъ столикомъ у окна.

Ему принесли ѣду изъ сосѣдняго трактира. Она состояла изъ широкаго, во всю тарелку, бифштекса, съ жирной подливкой, хрѣномъ и большими картофелинами, подаваго пирога и пары огурцовъ. На столѣ стояла бутылка вина.

Палтусовъ начиналъ поправляться въ лицѣ.

— Сплю, какъ сурокъ,—встрѣтилъ онъ Пирожкова,—и, странное дѣло,—совсѣмъ нѣтъ охоты къ книгѣ... Читатъ просто не хочется!.. Ну, что же?

Пирожковъ замаялся.

— Отказывается?

— Да.

— Недосугъ?

По мягкости, Иванъ Алексѣевичъ хотѣлъ было солгать; но что-то его точно подтолкнуло.

— Нѣтъ,—мягко, но безъ уклончивости, отвѣтилъ онъ.

— Противъ его принциповъ?—уже не тѣмъ голосомъ спросилъ Палтусовъ.

— Да... онъ говорить, что не можетъ принять вашей системы защиты.

— А другой я не могу допустить.

— Однако, позвольте, Андрей Дмитриевичъ,—заговорилъ Пирожковъ, подсаживаясь къ нему и понизивъ голосъ,—одно изъ двухъ: или вы признаете фактъ, или нѣтъ.

— Какой фактъ?

— Фактъ... который вамъ вѣняють.

— Я сказалъ адвокату то же, что и вамъ,—горячѣе продолжалъ Палтусовъ.—А ему я прибавилъ: если бъ я былъ и виноватъ, то предварительнаго заключенія—вѣдь меня могутъ и въ острогъ перевести—одного достаточно, чтобы произвести уравненіе—слишкомъ даже достаточно!..

Иванъ Алексѣвичъ показалъ своей миной, что онъ не совсѣмъ согласенъ.

— Да какъ же?..—спросилъ, поднимая голову, Палтусовъ.—Вѣдь я могу быть оправданъ!.. И буду оправданъ. Но если бъ и была признана нѣкоторая моя виновность... развѣ мало просидѣть нѣсколько мѣсяцевъ?

Палтусовъ бросилъ салфетку на столъ, всталъ и зашелъ въ другомъ углу узкой комнаты. Пирожковъ поглядывалъ на него и прислушивался къ звукамъ его голоса. Въ нихъ пробивалось больше вѣры, чѣмъ раздраженія.

— Добрѣйшій Иванъ Алексѣвичъ,—продолжалъ Палтусовъ,—вы человѣкъ святой, знаете своихъ моллюсковъ или этнографію Фиджійскихъ острововъ; а я человѣкъ дѣла. Позвольте хоть разъ въ жизни на чистоту открыться вамъ... А потомъ вы можете и плюнуть на меня, сказать: „воръ Палтусовъ и больше ничего!“ Не могу я не бороться съ купеческой мошной!.. Безъ этого въ моей жизни смысла нѣтъ.

— Будто...—вставилъ Пирожковъ.

— Что же!.. Вамъ пріятнѣе было бы, чтобъ я пошелъ въ чинушки, губернатора добился черезъ десять лѣтъ? Тутъ я идею провожу... не улыбайтесь—идею... Все дѣло въ томъ: замараюсь или не замараюсь. Если не замараюсь—ладно!.. И заставлю купечскую утробу признать смѣтку, какая у меня здѣсь значится.

Онъ ударилъ себя по лбу, послѣ чего подошелъ къ Пирожкову и сѣлъ на кушетку.

— Какъ вамъ угодно, Иванъ Алексѣвичъ, такъ и принимайте то, что я вамъ сейчасъ сказалъ... Я васъ беспокоить не стану... Будетъ вашей милости угодно, — онъ



весело улыбнулся, — зайдете иногда за справочкой... А этому кваку, — вот какіе нынче адвокаты завелись, — я самъ напишу, что въ услугахъ его не нуждаюсь... Возьму какого-нибудь замухрышку... Вѣдь это я на первыхъ порахъ только волновался... Въ законѣ не твердъ... А теперь мнѣ и не нужно уголовной защиты.

— Какъ же не нужно? — наивно воскликнулъ Пирожковъ.

— Меня незаконно арестовали. Поусердствовали слѣдователь и прокуроръ. Они меня подвели подъ статью тысячу семьсотъ одиннадцатую... А тутъ простой гражданскій искъ.

— Такъ вы надѣетесь... попасть на свободу?

— Положительно надѣюсь... Мнѣ хорошій цивилистъ нуженъ, кляузникъ... Пахомовъ плохъ... Все это я работаю... Ну, поддержать меня еще недѣлку, но не больше... Судебная палата не допуститъ... У меня уже былъ здѣсь одинъ баринъ... А разъ дѣло — на гражданской почвѣ, я выплылъ. Это несомнѣнно. Тогда я въ правѣ требовать времени для реализаціи того, что я пустилъ въ оборотъ, выгодный для моей покойной довѣрительницы...

По лицу Пирожкова видно было, что онъ плохо понимаетъ все это. Палтусовъ взялъ его за руку и потрясъ.

— Для васъ это тарабарская грамота!.. Видите — я трусу не праздную... Не судите меня очень строго: я чадо своего вѣка. Каждому своя дорога, Иванъ Алексѣвичъ!..

Продолжать разговоръ Пирожкову сдѣлалось неловко. Палтусовъ это понялъ и самъ выпроводилъ его черезъ нѣсколько минутъ. Арестанта жалѣть было нечего: онъ увѣренъ въ томъ, что его выпустятъ... Можетъ, и такъ! „Статья 1711“ осталась въ памяти Ивана Алексѣвича. Онъ даже позавидовалъ пріятелю, видя въ немъ такую бойкость и увѣренность въ „идеѣ“ своей житейской борьбы.

XXIII.

Въ два часа Пирожковъ долженъ былъ попасть въ университетъ, на диспутъ. Сколько времени не заглядывалъ онъ на университетскій дворъ... Своей жизнью онъ рѣшительно пересталъ жить. Зима прошла поразительно скоро. И въ результатъ ничего... Работалъ ли онъ въ кабинетѣ счетовъ десять разъ? Врядъ ли... Даже чтеніе не шло по вечерамъ... Безпрестанныя помѣхи!..

Этотъ диспутъ служилъ ему горькимъ напоминаніемъ. Онъ встрѣчалъ магистранта въ одномъ студенческомъ кружкѣ. По крайней мѣрѣ, лѣтъ на пять старше онъ его, по выпуску. И вотъ сегодня его магистерскій диспутъ... И книгу написалъ по политической наукѣ, гдѣ не такъ велика литература, не нужно столько копѣтъ надъ матеріалами.

И магистрантъ—изъ купцовъ. Вотъ и подите! Дворяне, культурные люди, люди расы, съ другимъ содержаніемъ мозга, и не могутъ стрихнуть съ себя презрѣнной инертности... А тутъ—татенька торговалъ рыбой или „пунцовымъ“ товаромъ какижъ-нибудь, или пастилу мастерилъ, а сынокъ пишетъ монографіи о средневѣковыхъ цехахъ или объ ученіи Гуго Гроція.

Обидно!

На дворѣ новаго университета, сбоку, у подъѣзда стояло три кареты и штукъ десять господскихъ саней. Вся шинельная уже была переполнена, когда Пирожковъ вошелъ въ нее. Знакомый унтеръ снялъ съ него пальто и сказалъ ему:

— Не пущаютъ!.. Набито страсть... Вотъ нешто кругомъ...

Онъ шепнулъ швейцару. Тотъ провелъ Пирожкова кругомъ, по боковой лѣстницѣ, черезъ коридоръ, ведущій въ физическую аудиторію, и тихонько впустилъ въ дверь. За колоннами уже все было полно. На скамьяхъ стояли студенты и молодая дѣвушка. Весь помостъ, поднимающійся амфитеатромъ, усыпали головы. Ни публики передъ эстрадой, ни оппонентовъ не было видно. Позади эстрады—бѣлый большой подвижной щитъ для демонстрацій по физикѣ. На немъ выдѣлялась фигура магистранта—румянаго, коренастаго блондина, съ бородкой. Онъ уже говорилъ свою рѣчь, покачиваясь передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ. На столѣ графинъ и стаканъ.

Пирожковъ оглянулся во все стороны—мѣста нѣтъ. Съ трудомъ взобрался онъ на помостъ и сталъ тутъ, держась за уголъ „парты“. Поглядѣлъ онъ наверхъ,—хоры тоже усыяны головами. Сводчатый потолокъ, расписанный поблѣднѣвшими малярными фресками, полукруглое окно, впускавшее сѣроватый свѣтъ дни, позади помоста—рѣшѣтка, изъ-за которой видны шкапы и разные приводы. На рѣшѣтку взобралось нѣсколько человѣкъ. Аудиторія неспокойна. То сзади что-нибудь упадетъ и затрещитъ,

то хлопаютъ дверь, то слышится щелкъ замка, то гулъ раздается съ большой площадки, гдѣ толпа требуетъ входа, а „субъ“ съ сторожами не пускаютъ.

Женщинъ очень много. Пирожковъ узналъ нѣкоторыхъ въ лицо, хоть и не зналъ ихъ фамилій... На скамьяхъ помоста, между студентами, сидѣли больше курсистки—такъ казалось Ивану Алексѣвичу. Внизу на креслахъ для гостей—около самыхъ профессорскихъ вицмундировъ—дамы въ туалетахъ. Пирожковъ узналъ разныхъ господъ, известныхъ всей Москвѣ: двухъ славянофиловъ, одного бывшего профессора, трехъ-четырехъ адвокатовъ, толстую даму-писательницу, другую—худую, въ короткихъ волосахъ, ученую дѣвицу съ докторскимъ дипломомъ. Заглядывая внизъ, онъ разглядѣлъ и двоихъ оппонентовъ, и декана, сидѣвшаго лѣвѣе.

Рѣчь магистранта затянулась. Онъ видимо заучилъ ее наизусть и произносилъ тономъ проповѣдника, съ умышленными паузами и съ примѣсью какого-то акцента. Пирожковъ вспомнилъ, что этого купчика воспитывали по-нѣмцки.

Рѣчи похлопали, но не очень сильно. Первымъ оппонировалъ молодой толстый доцентъ, въ черномъ фракѣ. Онъ началъ мягко и держался постоянно джентльменски вѣжливыхъ выраженій; но насмѣшливая нота зазвучала, когда онъ сталъ доказывать магистранту, что тотъ пропустилъ самый важный источникъ, не зналъ, откуда писатель, изученный имъ для диссертациі, взялъ половину своихъ принциповъ. Доказательства полились обильно, прерываемая взрывами короткаго смѣха самого же оппонента. Все притихло. По аудиторіи разносился только его жирный голосъ попеременно съ этимъ короткимъ смѣхомъ. Студенты переглядывались. Лица стали оживляться. Духота еще усилилась. Тихо спрашивали у сосѣдей тѣ, кто плохо слышалъ, что сказалъ оппонентъ. Гулъ на площадкѣ смолкъ. Возбужденіе умственной игры засвѣтилось на молодыхъ лицахъ. Пирожковъ почувствовалъ, что и онъ молодѣетъ. Онъ обрадовался такому настроенію.

Магистрантъ не мѣнилъ выраженія лица, только краснѣлъ и часто мигалъ. Всѣ видѣли, что въ работѣ его большой промахъ. Но онъ началъ возражать увѣренно, доказывая, что настоящаго пропуска нѣтъ, что матеріалы, приводимые имъ, достаточно указываютъ на его начитанность. Оппонентъ опять началъ „донимать“ его,

какъ выразился одинъ студентъ около Пирожкова. Огрызаться магистрантъ не смѣлъ и сдѣлался тихенькимъ. Аудиторія поняла это. Оппонентъ кончилъ пѣсколькими любезными фразами, похвалилъ изложеніе и „способность къ синтезу“. Ему сильно и долго хлопали. Второй оппонентъ ограничивался мелкими замѣтками и больше смѣшилъ слушателей. Но и онъ пощипалъ магистранта.

Диспутъ кончился въ половинѣ пятаго. Провозглашеніе степени подняло рукоплесканія. Захлопали гораздо сильнѣе, чѣмъ ожидалъ Пирожковъ. У него внутри закопошилось недоброе чувство къ этому „купчику“, удостоенному степени магистра. Развѣ онъ, Пирожковъ, не развитѣе его? А вотъ стоитъ въ толпѣ, ничѣмъ себя не представляетъ, слушаетъ аплодисменты такому купчику, посидѣвшему лишній годъ надъ иностранными книжками. Говорить этотъ купчикъ туго и напыщенно, діалектики вѣтъ, таланта нѣтъ, будетъ весь свой вѣкъ пережевывать факты, добытые другими. А поди, каеэдру дадутъ. Уже кругомъ говорили студенты, что онъ куда-то приглашенъ. Каеэдра давно стоитъ пустая, а никто, видно, не расчелъ... въ адвокаты всѣ идутъ.

Туго расходились. Разомъ прорвался гулъ разговоровъ, раздались оклики, молодой смѣхъ, захлопали дверьми, застучали большими сапогами по помосту, хоры очищались. Знакомыхъ студентовъ у Пирожкова не было. Да и отсталъ онъ отъ студентства. Ему кажется, что онъ другой совсѣмъ человѣкъ. Лица, длинные волосы, рубашки съ цвѣтными воротами, говоръ, балагурство: все это стѣсняло его. Онъ точно совѣтился обратиться къ кому-нибудь съ вопросомъ.

На площадкѣ, съ чугуннымъ поломъ, передъ спускомъ по лѣстницѣ, Пирожковъ, въ густой еще толпѣ, гдѣ скупчились больше дамы, столкнулся съ рослымъ блондиномъ въ большой окладистой бородѣ; тотъ велъ подъ руку плотную даму, лѣтъ подъ тридцать, въ черномъ, съ энергическимъ лицомъ.

Встрѣчъ съ ними Пирожковъ обрадовался. Это были мужъ и жена, близко стоявшіе къ университету по своимъ связямъ.

— Гдѣ вы пропадали?—спросилъ его блондинъ.

Иванъ Алексѣевичъ кратко и безпристрастно изложилъ повѣсть своего хожденія по Москвѣ. Мужъ и жена посмѣялись и пригласили его въ этотъ же вечеръ посидѣть.

Магистранта они оба пощипали. Пирожкову приятно было слышать, съ какой интонаціей жена выговорила:

— Купчикъ!

А мужъ сдѣлалъ презрительную мину и сказалъ:

— Не ахтителный!..

Они взяли съ него слово быть у нихъ вечеромъ и пошли подъ руку внизъ по двору, покрытому лужами и кучами еще не растаявшаго снѣга.

Съ годъ не бывалъ Пирожковъ въ этомъ семействѣ. Онъ зналъ, что у нихъ собирается хорошій кружокъ; кое съ кѣмъ изъ друзей онъ встрѣчался. Ему давно хотѣлось поближе къ нимъ присмотрѣться. Теперь случай выпалъ отличный.

Опять почувствовалъ себя Иванъ Алексѣвичъ университетскимъ. Сѣлъ онъ скромный рублевый обѣдъ въ „Эрмитажъ“, вина не пилъ, удовольствовался пивомъ. Машина играла, а у него въ ушахъ все еще слышались пренія физической аудиторіи. Ничто не даетъ такого чувства, какъ диспутъ, и здѣсь, въ Москвѣ, особенно. Вотъ сегодня вечеромъ онъ, по крайней мѣрѣ, очутится въ воздухѣ идей, расшевелитъ свой мозгъ, вспомнить, какъ слѣдуетъ, что и онъ вѣдь магистрантъ.

Но вечеръ скорѣе разстроилъ его, чѣмъ одушевилъ. Собралось человекъ шесть-семь, больше профессора изъ молодыхъ, одинъ учитель, два писателя. Были и дамы. Разговоръ шелъ о диспутѣ. Смѣялись надъ магистрантомъ, потомъ пошли пересуды и анекдоты. За ужиномъ было шумно, но главной нотой было все-таки сознаніе, что кружки развитыхъ людей—капля въ этомъ морѣ московской бытовой жизни... „Купецъ“ раздражалъ всѣхъ. Иванъ Алексѣвичъ искренно излился и позабавилъ всѣхъ своими, на видъ шутливыми, но внутренне горькими соображеніями.

„Магистрантъ“ въ немъ не воспрянулъ и послѣ этой вечеринки. О работахъ никто не говорилъ. Совсѣмъ не о томъ мечталъ онъ. Поужиналъ онъ плотно и слишкомъ много пилъ пива.

XXIV.

Весь городъ ждетъ — остается десять минутъ до полночи. По площади Большого театра проѣхала карета въ шесть лошадей съ фореиторомъ и кучеромъ въ треугольных шляпахъ. Везли митрополита. Извозчиковъ мало,

прогудить барская или купеческая коляска, продребезжать дрожки, и опять станет тихо. По тротуарамъ спѣшать пѣшеходы: чуйки, пальто мастеровыхъ и приказчиковъ, мелькаютъ подола платьевъ и накрахмаленныхъ юбокъ мѣщанокъ и горничныхъ. Несутъ пасхи и куличи. Въ воздухѣ потянуло запахомъ плошекъ и шкаликовъ. Колокольни освѣщены. Ихъ арки выглядываютъ въ темнотѣ и трепещутъ веселымъ розовымъ свѣтомъ.

Идутъ удара въ колоколъ на Иванѣ Великомъ. Но вотъ гдѣ-то въ Замоскворѣчѣ ударили раньше минуты на три, еще гдѣ-то ближе къ Кремлю, за храмомъ Спаса, въ Яузской части, и пошелъ гулъ, еще мягкій и прерывающійся, а потомъ залилось и все Замоскворѣе. Густая толпа ждала этой минуты у перилъ обрыва.

Иванъ Великій облитъ свѣтомъ плошекъ и шкаликовъ по всѣмъ своимъ выступамъ и пролетамъ. Головы усыпали и выемы большой колокольни, и паранетъ первой площадки, гдѣ церковь, и арки бокового корпуса. Изъ-подъ средняго колокола выглядываютъ также лица. Они ярко освѣщены плошками. Легкій вѣтерокъ въ засвѣжѣвшемъ воздухѣ и паръ отъ дыханія относитъ книзу и въ сторону чадъ горящаго сала. Стѣна Успенскаго собора, обращенная къ Ивану, вся бѣлѣетъ отъ свѣта иллюминаціи и свѣчей, мелькающихъ полосами и кучками въ темной толпѣ. Она дѣлается всего скученнѣе вокругъ Успенскаго собора—ждетъ хода. Можно еще слышать негромкій, переливающийся шелестъ голосовъ. Сквозь большія стеклянные двери собора, внутренность церкви—точно пылающій кустерь. Свѣтъ паникадилъ играетъ на золотѣ иконостаса: снопы огненныхъ лучей внизу, вверху, со всѣхъ сторонъ. Многоэтажный фасъ зданія Крестовой палаты также свѣтелъ. На него падаютъ разноцвѣтные огни чугуновой рѣшетки. Въ полусвѣтѣ мощеной плитамъ площади выступаетъ менѣе массивный византійскій ящикъ Архангельскаго собора.

На Благовѣщенскомъ, по ту сторону воротъ, позолота крыши, такая яркая днемъ, скрыта ея изгибами. На крыльцѣ сплошной стѣной стоитъ народъ, но свѣтъ меньше, чѣмъ въ толпѣ, ожидающей хода вокругъ Успенскаго собора.

Ровно двѣнадцать. Пронизываетъ воздухъ ударъ въ сигнальный „серебряный“ колоколъ. И вотъ съ высоты Ивана поплылъ и точно густой волной сталъ опускаться

низкій тренетный гулъ. Онъ покрылъ всё звуки тысячной толпы, трескъ подъѣзжающихъ экипажей, отдаленный звонъ Замоскворѣчья, ближайшій благовѣстъ другихъ кремлевскихъ церквей. На гауптвахтѣ заиграли горнисты. Красное крыльцо лѣвѣе стоитъ въ темнотѣ. Изъ-за толпы не видно солдатъ. Слышны только скачущіе рѣзкіе звуки рожковъ на фонѣ все той же спокойной, ласкающей ухо волны большого колокола. Поближе къ Ивану можно распознать, что колоколъ надтреснутъ. При каждомъ ударѣ языка слышно звяканье, оно сливается съ основной нотой могучаго гудѣнья и придаетъ музыкѣ колокола что-то болѣе живое.

Проходить еще минутъ десять. Первой вышла процессія изъ церкви Ивана Великаго, заиграло золото хоругвей и ризъ. Народъ поплылъ изъ церкви вслѣдъ за ними. Двинулись и изъ другихъ соборовъ, кромѣ Успенскаго. Опять сигнальный ударъ, и разомъ рванулись колокола. Словно водоворотъ ревущихъ и плачущихъ нотъ завертѣлся и сталъ все захватывать изъ себя, расширять свои волны, потрясать слои воздуха. Жутко и весело дѣлалось отъ этой бури расходившагося металла. Показались хоругви изъ-за угла Успенскаго собора.

Въ толпѣ, сужившей оставленную, аршина въ два, дорожку, пробѣжала дрожь, всё подались впередъ. Два квартальныхъ прошли скорымъ шагомъ, приглашая податься. Головы обнажились.

Впереди два молодца, одинъ въ черной чуйкѣ, другой въ пальто, несли факелы. Хоругви держало каждую по нѣсколько человекъ за подвижныя, идущія въ разные стороны, древки. Хоругвеносцы въ галуновыхъ кафтапахъ, въ позументахъ на крестцахъ. Одинъ изъ нихъ, съ широчайшей спиной, на ходу какъ-то особенно изгибался подъ тяжестью кованой хоругви. Пѣвчіе не въ очень свѣтлыхъ кунтушахъ—красное съ синимъ—шли попарно, со свѣчами. Въ колеблющемся яркомъ свѣтѣ мелькали стриженыя головы и худощавыя лица дискантовъ и альтовъ. Рукава кунтушей закинута у нихъ вокругъ шеи. Исаюмники со свѣчами, діаконы, священники и архимандриты шли попарно, потомъ группами. Заблестѣли дикіры прикирин. Проплыла сѣдая борода „владыки“, съ глупо надѣтой митрой подъ возвышающимися надъ нею отъятыми коваными кругами. Головой выше другихъ, протъ молодой, еще не ожирѣлый, протодіаконъ, перева-

ливаясь слегка на правый бокъ. Шитые мундиры генераловъ искрились поверхъ красныхъ лентъ... А тамъ повалилъ, вилотную, народъ, раздвинулъ дорожку и заставилъ стоявшихъ на пути податься назадъ.

Обошли кругомъ. Взвилась въ небо ракета, и съ кремлевской стѣны раздался грохотъ пушки. Нѣсколько минутъ не простылъ воздухъ отъ сотрясеній мѣди и пороха... Толпа забродила по площади, начала кочевать по церквамъ, спускаться и подниматься на Ивана Великаго; слышался гулъ разговоровъ, какъ только смолеъ благоиѣсть.

У высокаго паранета площадки Ивана Великаго стояли Рубцовъ и Тася Долгушина. Они забирались и подъ колокола. Тасю сначала оглушило, но вскорѣ она почувствовала какое-то дикое удовольствіе. Глаза ея блестѣли. Съ Рубцовымъ у нихъ шло на ладъ. Они совсѣмъ ужъ спѣлись.

— Посмотрите, Семень Тимоѣенчъ, — напрягаясь, говорила она ему, — какъ это красиво... Вотъ свѣчи стали гасить, скоро и совсѣмъ погаснутъ.

— А вы думаете, впизу-то тамъ, кто больше? Православный народъ?

— Разумѣется!..

— Сойдемте, увидите, что больше нѣмчура. Контористы, гезеля всякіе... Сойдемте—сами увидите.

Они начали спускаться. У Таси немного закружилась голова отъ крутой лѣстницы, чада плошекъ и снующаго вверхъ и внизъ народа. Рубцовъ взялъ ее подъ руку и сказалъ подъ шумокъ:

— Вотъ и видно, что дворянское дитя: нервы-то надо укрѣпить,—собираетесь вѣдь ими дѣйствовать.

— Гдѣ?—наивно спросила Тася.

— Вотъ тебѣ разъ! А на сценѣ-то?

Такъ они и остались подъ ручку и впизу. Толпы разползлись уже по площади. Стало темнѣе. Кучки гуляющихъ, побольше и поменьше, останавливались, кочевали съ мѣста на мѣсто. Безпрестанно слышались возгласы: „Ахъ, здравствуйте! Христось воскресъ!.. Вы давно?.. Куда теперь?..“ Видно было, что сюда съѣзжаются, какъ на гулянье, ищутъ знакомыхъ, дѣлаютъ другъ другу визиты. Не мало прїѣзжихъ изъ Петербурга, изъ губернскихъ городовъ, явившихся утромъ по желѣзнымъ дорогамъ. Имъ много говорили про эту ночь въ Москвѣ. Они осма-

тривались съ бѣльшимъ напряженіемъ, чѣмъ туземная масса.

Рубцовъ былъ правъ. Обиліе нѣмецкаго языка удивило Тасю. Ее прежде никогда не возили въ Кремль въ эту ночь. Нѣмцы и французы пришли какъ на зрѣлище. Многіе добросовѣстно запаслись восковыми свѣчами. То и дѣло слышались смѣхъ или энергическія восклицанія. Трещаль и настоящій французскій языкъ толстыхъ модистокъ и перчаточницъ изъ Столешникова переулка и съ Рождественки.

Молоденькій комми и аптекарскіе ученики увивались за парами „нѣмокъ“ съ Кузнецкаго.

— А гдѣ же наши?—спросила Тася Рубцова.

— Должно-быть, на паперти Благовѣщенскаго. Хотите посмотрѣть на пасхи съ куличами, тамъ вонъ, гдѣ церковь-то Двѣнадцати Апостоловъ, на-верху?..

— Предложимте имъ...

Въ полусвѣтѣ паперти Тася узнала Анну Серафимовну и Любашу. Уже больше двухъ недѣль, какъ Любаша почти перестала кланяться съ „компаньонкой“. Тасю это смѣшило. Она не сердилась на крутую купеческую дѣвицу, видѣла, что Рубцовъ на ея сторонѣ.

— Куда же это провалились?—встрѣтила ихъ Любаша, и вся вспыхнула, увидавъ, что Рубцовъ подъ руку съ Тасей.

— Похристосуемся,—сказалъ Аннѣ Серафимовнѣ Рубцовъ.

— Дома, — проговорила она ласково и грустно, протягивая руку Тасѣ. — Вы ко мнѣ... Пора уже... Сыро дѣлается...

— А съ вами? — насмѣшливо спросилъ Рубцовъ Любашу.

— Не желаю...

— Какъ угодно...

— Вы ко мнѣ, Любаша? — пригласила Анна Серафимовна.

— Нѣтъ, мать дожидается. Прощайте,—рѣзко обратилась ко всѣмъ Любаша и пошла.

Ея дожидалась свои коляска. На ночь Свѣтлаго Воскресенья Любаша почему-то возлагала тайныя надежды.

Рубцовъ даже не предложилъ ей подняться на Ивана Яковлева. Да она бы и не поѣхала, если бы не надѣялась на какой-нибудь разговоръ.

Разговора не вышло. Она видѣла, что дворянка отбила у нея того, кого она прочила себѣ въ мужа.

„И наслаждайся!“—выразилась она мысленно, садясь въ коляску.

Рубцовъ повелъ Станицыну и Тасю смотрѣть куличи и пасхи. Анна Серафимовна была особенно молчалива. Тася взяла ее за руку и прижалась къ ней.

— Тяжело вамъ, голубушка?—полушопотомъ спросила она на ходу.

Анна Серафимовна поцѣловала ее въ лобъ. Рубцовъ замѣтилъ это.

Когда они сходили съ лѣстницы, собираясь домой, Рубцовъ взялъ Станицыну за руку, повыше кисти, и сказалъ, заглядывая ей въ лицо:

— И на нашей, сестричка, улицѣ праздникъ будетъ!

— На твоей-то и скоро, — шепнула она, и, пропустивъ впередъ Тасю, прибавила: — Что плошаешь?.. вотъ тебѣ дѣвушка... На красную бы горку...

Онъ тихо разсмѣялся.

XXV.

На разговорѣ внезапно появился Викторъ Миновичъ. Станицына только что съѣла за столъ съ Тасей и Рубцовымъ, — больше никого не было, — какъ вошелъ ея мужъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, улыбающійся своей нахальной усмѣшкой, — поздоровался съ ней англійскимъ рукопожатіемъ, попросилъ познакомить его съ Тасей, съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Рубцова, и когда Анна Серафимовна назвала его, протянулъ ему два пальца.

Появленіе мужа сначала разсердило Станицыну, но она тотчасъ же сообразила, что это не просто, и внутренно обрадовалась. Она даже не спросила его, гдѣ же онъ остановился, почему не вѣхалъ къ себѣ и не занялъ свою половину? Ему и прежде случалось жить въ гостиницѣ, а числиться въ Петербургѣ или Парижѣ.

— Были въ Кремлѣ? — спросилъ онъ, оглядывая ихъ всѣхъ. — Нанюхались шкаликовъ?.. Все одно и то же.

Онъ пополнилъ. Его шел не такъ вытягивалась. Манеры сдѣлались какъ бы поироче. Тася незамѣтно оглядывала его. Рубцовъ кусалъ губы и презрительно на него поглядывалъ, чего, впрочемъ, Викторъ Миновичъ не замѣчалъ. У всѣхъ точно отшибло аппетитъ. Пасхальная баба, въ видѣ толстаго ствола, вся въ цукатахъ и залив-

ныхъ фигурахъ, стояла непочатой. До прихода Станицына поѣли немного пасхи и по одному айду. Вотчина и разные коместибли стояли также нетронутыми.

— Какая охота портить желудокъ! — замѣтилъ брезгливо Викторъ Мировичъ, ни къ чему не прикасаясь; но налилъ себѣ полстакана лафиту, вышилъ, поморщился и съѣлъ корочку хлѣба.

Рубцовъ и Тася скоро ушли. На лѣстницѣ они условились осматривать вмѣстѣ картинную галлерею Третьякова на третій день праздника.

— Что это значить? — шопотомъ спросила его Тася, надѣвая свое пальто.

— Скоро конецъ всему будетъ... я это чую.

Они пожали другъ другу руку и ласково переглянулись...

Въ столовой жена сидѣла на углу стола; мужъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ подошелъ къ ней и положилъ руку на столъ.

— Annette, — заговорилъ онъ, поглядывая на нее бокомъ, — вамъ мой прїѣздъ непріятенъ?

— Мнѣ все равно, вы знаете, — сухо и твердо произнесла Анна Серафимовна. Она замѣтно поблѣднѣла.

— Я прїѣхалъ вотъ зачѣмъ: хотите свободу?

— Какую? — точно машинально спросила она.

— Полную... Я предлагаю вамъ раздѣлъ имущества и разводъ. Вину я беру на себя.

— Вамъ это нужно?

— Конечно, иначе бы я не предлагалъ вамъ. А то, что вы надумали, — извините меня, — очень плохая сдѣлка. Вы, я думаю, и сами это видите?

Она только повела головой.

— Сколько же вы желаете?

— Какъ это вы спросили! Кажется, я съ вами джентльменомъ поступаю... Я беру свое состояніе, у васъ остается свое. Дѣтей я у васъ не отниму. Согласенъ давать на ихъ воспитаніе.

— Не надо! — вырвалось у нея.

Она помолчала.

— Вы женитесь? — спросила она и подняла голову.

— Зачѣмъ вамъ знать? Довольно того — я беру вину на себя. Если и обижаясь, такъ не въ Россіи.

Она все поняла. Паскочилъ, значитъ, на какую-нибудь прелестницу... И нельзя иначе, какъ законнымъ бракомъ...

А знаетъ, что жена вины на себя не приметъ. Ну и пускай его разоряется. Неужели же жалѣть его?

Дѣтей она не отдастъ, да и требовать онъ не посмѣетъ, коли беретъ на себя вину.

Вдругъ ей стало такъ весело, что даже духъ захватило. Свобода! Когда же она и была нужнѣе, какъ не теперь? И представилась ей комнатка въ части. Лежить теперь арестантъ на кушеткѣ одинъ, слышитъ звонъ колоколовъ, а разговѣться не съ кѣмъ, рядомъ храпитъ хожалый, крыса скребется. Захотѣлось ей полетѣть туда, освободить, оправить, сказать ему еще разъ, что она готова на все.

— Подумайте,—раздался въ просторѣ высокой комнаты женоподобный голосъ Виктора Миropyча.—Я остановился въ „Славянскомъ Базарѣ“. Теперь уже поздно. Буду ждать отвѣта. Если вамъ непріятно меня видѣть — пришлите адвоката.

Она отошла къ окну, постояла съ минуту, быстро обернулась и, сдерживая волненіе, сказала громко:

— Согласна.

Черезъ три минуты Станицынъ уѣхалъ. Въ бѣломъ пасхальномъ платьѣ сидѣла Анна Серафимовна въ опустѣлой столовой, одна, еще съ четверть часа. Свѣчи въ двухъ канделябрахъ ярко горѣли. Пасхальная ѣда переливала яркими красками. Тишина точно испугала ее. Она подперла рукой голову, и взоръ ея еще долго уходилъ въ одинъ изъ угловъ комнаты. Рѣшеніе было принято безповоротпо. Арестантъ выйдетъ изъ своего заключенія. Онъ не можетъ быть воромъ! Вотъ онъ на свободѣ. Дѣло рѣшится въ его пользу. Выпишетъ она ему адвокатовъ изъ Петербурга, если здѣшніе плохи. Не пройдетъ и полугода...

Румянецъ покрылъ ея щеки. Пора ей сбросить съ себя тяжесть постылой жизни: пришелъ и для нея свѣтлый праздникъ!..

XXVI.

О Третьяковской галлерей Тася часто слыхала, но никогда еще не попадала въ нее.

Она доѣхала одна. Ее везли по Замоскворѣчью, переѣхали два моста, повернули направо, потомъ въ какой-то переулокъ. Извозчикъ не сразу нашелъ домъ.

Тася прошла нижней залой съ пѣсколыжными перегорожками. У лѣстницы во второй этажъ ждалъ ее Рубцовъ.

Въ первый разъ она немного смутилась. Онъ жалъ ей руку и ласково оглядывалъ ее.

— Какъ много картинъ...—выговорила она тономъ дѣвочки.

— Наверху еще больше. Тамъ новѣйшіе мастера. А тутъ старые. Все—русское искусство. Видѣли по дорогѣ, какая богатая коллекція ивановскихъ этюдовъ?..

Она должна была сознаться, что про Иванова слыхала что-то очень смутно, никогда даже не видала его большой картины.

— Вѣдь она здѣсь, въ Румянцовскомъ музеѣ виситъ,—сказалъ Рубцовъ,—какъ же вы?

— Да я,—чистосердечно призналась она,—ничего не знаю. Люблю красивыя картинки... а хорошенько ничего не видала.

Ей легче стало послѣ того, какъ она повинилась Рубцову въ своей неразвитости по этой части.

— Очень ужъ въ театрѣ ушли,—пріятельски замѣтилъ онъ и повелъ ее опять къ выходу.

Онъ все зналъ, началъ указывать ей на портреты, работы старыхъ русскихъ мастеровъ. И фамилій она такихъ никогда не слыхала. Постояли они потомъ передъ этюдами Иванова. Рубцовъ много ей рассказывалъ про этого художника, про его жизнь въ Италіи, спросилъ: помнить ли она воспоминанія о немъ Тургенева? Тася вспомнила и очень этому обрадовалась. Также и про Брюллова говорилъ онъ ей, когда они стояли передъ его вещами.

„Вотъ онъ все знаетъ, — думала Тася, — даромъ что глупескій сынъ; а я круглая невѣжда — генеральская дочь!“

Но это ее не раздражало. Она сказала ему почти то же вслухъ, когда они поднялись наверхъ. Рубцовъ разсмѣялся.

— Всякому свое,—замѣтилъ онъ,—большой премудрости тутъ вѣтъ... захаживалъ, почитывалъ кое-что...

Присѣли они на диванъ у перилъ лѣстницы. Справа, и слѣва, и противъ нихъ глядѣли изъ золотыхъ и черныхъ рамъ портреты, ландшафты, жанры съ русскими лицами, типами, видами, колоритомъ, освѣщеніемъ. Весь этотъ трудъ и талантъ говорили Тасѣ, что можно сдѣлать, если идти по своей настоящей дорогѣ. Рубцовъ точно угадалъ ея мысль.

— Таисія Валентиновна,—началъ онъ вполголоса,—вы въ себѣ истинное призваніе чувствуете насчетъ сцены?

— О, да!—вырвалось у нея.—А вы какъ на это смотрите, что я въ актерки иди хочу?

— Какъ слѣдуетъ смотрю. Если бъ дѣвушка, какъ вы, была моей женой и захотѣла бы этому дѣлу себя посвятить—я бы всей душой поддержалъ ее.

Щеки Таси загорѣлись. Рубцовъ исподлобья поглядѣлъ на нее.

— Я не думала, что вы такъ широко смотрите на вещи,—выговорила она.

— Не обижайте. Ежовый у меня обликъ. Такимъ ужъ воспитался. А внутри у меня другое. Не все же господамъ понимать, что такое талантъ, любить художество. Вотъ, смотрите, купеческая коллекція-то... А какъ составлена! Съ любовью-съ... И писатели русскіе всѣ собраны. Не однѣ тутъ деньги—и любви не мало. Такъ точно и насчетъ театральнаго искусства. Неужли хорошей дѣвушкѣ или женщинѣ не идти на сцену оттого, что въ актерскомъ званіи много соблазну? Идите съ Богомъ!—онъ взялъ ее за руку.—Я васъ отговаривать не стану.

Они поглядѣли другъ на друга; Тася отняла свою руку и сидѣла молча.

— Таисія Валентиновна,—кликнулъ ее Рубцовъ,—можно ли намъ столковаться, а?

— Отчего же нельзя?—спросила она, отводя немного голову.

— Ой ли?

Рубцовъ радостно вздохнулъ и всталъ.

Снизу показались двѣ барыни съ дѣвочкой.

Еще съ полчаса оставалась молодая пара въ верхней залѣ. Рубцовъ продолжалъ все рассказывать Тасѣ. Многихъ писателей она не узнавала по портретамъ. Картины были для нея новизной. Ее никогда не возили на выставки. И эта галерея стала ей мила. Здѣсь что-то началось новое. Она нашла прочнаго человѣка, способнаго поддержать ее. Онъ ее любитъ, просить ея руки, соглашается сразу на то, чтобы она была актрисой. Офицеръ или камеръ-юнкеръ заставилъ бы сойти со сцены, если бъ и влюбился, да и родня каждого жениха „хорошей фамиліи“. А это люди новые, ни отъ кого не зависятъ, кромѣ самихъ себя.

Вотъ и она купчихой будетъ. И славно!.. Они сходили по лѣстницѣ подъ руку. Еще разъ постояли они внизу,

передъ эскизами Иванова и передъ портретами Брюллова и Тропинина.

— Мы побываемъ здѣсь еще разъ,—сказала Тася на крыльцѣ.

— Хотя каждое воскресенье. Я вѣдь теперь на фабрикѣ.

У ней было такое чувство, точно онъ ея давнишній другъ, назначенный ей въ мужа и покровители.

„Купчиха и артистка. Славно“,—рѣшила про себя Тася.

XXVII.

— Васъ господинъ Нѣтовъ желаетъ видѣть,—доложилъ Палтусову солдатикъ.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ скорыми шагами, во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой и съ крестомъ на груди. На лицѣ его игралъ румянецъ; волосы онъ отпустилъ.

Палтусовъ принялъ его точно у себя дома, въ кабинетѣ, безъ всякой неловкости.

— Милости прошу,—указалъ онъ ему на кушетку.

Нѣтовъ сѣлъ и положилъ портфель рядомъ съ собой.

— Я къ вамъ-съ,—торопливо заговорилъ онъ и тотчасъ же оглянулся.—Мы одни?

— Какъ видите,—отвѣтилъ Палтусовъ и сразу рѣшилъ, что мужъ его довѣрительницы въ разстройствѣ.

— Узналъ я, что братъ моей жены... вы знаете, она скончалась... Да... такъ братъ... Николай Орестовичъ началъ противъ васъ дѣло... И вотъ вы находитесь теперь... я къ этому всему неприкосновенъ. Это, съ позволенія сказать,—гадость... Вы человекъ, въ полной мѣрѣ достойный. Я васъ давно poznалъ, Андрей Дмитриевичъ, и если бы я раньше узналъ, то, конечно, ничего бы этого не было.

— Благодарю васъ,—сказалъ Палтусовъ, ожидая, что дальше будетъ.

— Вы одинъ во всей Москвѣ-съ... человекъ съ понятіемъ. Помню я превосходно одинъ нашъ разговоръ... у меня въ кабинетѣ. Съ той самой поры, можно сказать, я и всталъ на собственные ноги... три мѣсяца трудился я... да-съ... три мѣсяца, а вы какъ бы изволили думать... вотъ сейчасъ...

Онъ взялъ портфель, отперъ его и досталъ оттуда брошюрку въ свѣтленькой оберткѣ, въ восьмую долю.

— Это ваше произведение?—совершенно серьезно спросил Палтусовъ.

— Брошюра-съ... мое жизнеописаніе: пускай видятъ, какъ человѣкъ дошелъ до полнаго понятія... Я съ самаго своего малолѣтства беру-съ... когда мнѣ отецъ по гривеннику на пряники давалъ. Но я не то, что для восхваленія себя, а открыть глаза всему нашему гражданству... народу-то православному... куда идутъ, кому довѣряютъ. Жалости подобно!.. Тутъ у нихъ подъ бокомъ люди, ничего не желающіе, окромя общаго благоденствія... Да вотъ вы извольте соблаговолить просмотрѣть...

Нѣтовъ совалъ въ руки Палтусова свою брошюру.

Съ первой же страницы Палтусовъ увидалъ, что писано это человѣкомъ не въ своемъ умѣ. Онъ не подалъ никакого вида и съ серьезной миной перелистывалъ всѣ шестьдесятъ страницъ.

— Вы мнѣ позволите,—сказалъ онъ,—на досугѣ просмотрѣть?

— Сдѣлайте ваше одолженіе... И позвольте явиться къ вамъ... Мнѣ ваше сужденіе будетъ дорого... А то, что вы здѣсь находитесь, это ни съ чѣмъ не сообразно и, можно сказать, очень для меня прискорбно... И я сейчасъ же къ господину прокурору...

— Нѣтъ, ужъ вы этого не дѣлайте, Евлампій Григорьевичъ,—остановилъ его Палтусовъ.—Я буду оправданъ... все равно...

И въ то же время онъ думалъ:

„Ловко бы можно было воспользоваться душевнымъ состояніемъ этого коммерсанта. Онъ еще на волѣ гуляетъ“.

Но онъ на это неспособенъ. Это хуже, чѣмъ выѣзжать на увлеченіи женщинъ.

Долго сидѣлъ у него Нѣтовъ, самъ принимался читать отрывки изъ своей брошюры, но какъ-то сердито, ядовито поминалъ про покойную жену, называлъ себя „подвижникомъ“ и еще чѣмъ-то... Потомъ сталъ торопливо прощаться, разсмѣялся и ухарски крикнулъ на порогѣ:

— Не намъ, не намъ, а имени твоему!

Палтусову стало еще легче отъ сознанія, что деньги Марьи Орестовны, и какъ разъ четвертая часть,—наслѣдство человѣка, повихнувшагося умомъ. Его не нынче—завтра запрутъ, а состояніе отдадутъ въ опеку.

Это такъ и вышло. Нѣтовъ поѣхалъ къ своему дядѣ. Тотъ догадался, задержалъ его у себя и послалъ за дру-

гимъ родственникомъ, Красноперымъ. Они отобрали у него брошюру, отправили домой съ двумя артельщиками и отдали приказъ прислугѣ не выпускать его никуда. Евлампій Григорьевичъ сначала бушевалъ, но скоро стихъ и опять сѣлъ что-то писать и считать на счетахъ.

Красноперый привезъ того доктора, съ которымъ Палтусовъ говорилъ на балѣ у Рогожиныхъ.

Психіатръ объявилъ, что „прогрессивный параличъ“ имъ давно замѣченъ у Нѣтова, что болѣзнь будетъ идти все въ гору, но медленно.

— Куда же его,—спросилъ Красноперый,—въ Преображенскую или къ вамъ въ заведеніе?

— Можно и въ домѣ держать.

— Да вѣдь онъ одинъ, урвется, будетъ по городу чертить... срамъ!..

— Тогда помѣщайте у меня.

Черезъ недѣлю опустѣлъ совсѣмъ домъ Нѣтовыхъ. Братецъ Марьи Орестовны уѣхалъ на службу, оставивъ дѣло о наслѣдствѣ въ рукахъ самого дорогого адвоката. Въ заведеніи молодого психіатра, въ веселенькой комнатѣ, сидѣлъ Евлампій Григорьевичъ и все писалъ.

XXVIII.

По одной изъ полукруглыхъ лѣстницъ окружного суда спускался Пирожковъ. Онъ приходилъ справляться по дѣлу Палтусова.

Иванъ Алексѣевичъ замѣтно похудѣлъ. Дѣло его „пріятеля“ выбило его окончательно изъ колеи. И безъ того онъ не мастеръ скоро работать, а тутъ ужъ и совсѣмъ потерялъ всякую систему... И дома у него скверно. Пансіонъ мадамъ Гужо рухнулъ. Купецъ-каменщикъ, котораго просилъ Палтусовъ, далъ отсрочку всего на два мѣсяца; мадамъ Гужо не свела концовъ съ концами и очутилась „sur la paille“. Комнаты сняла какая-то пѣмка, табльдотомъ овладѣли глупые и грубоватые комми и пріѣзжіе комиссіонеры. Онъ сѣхалъ, помѣстился въ номерахъ, гдѣ ему было еще хуже.

Дѣло пріятеля измучило Ивана Алексѣевича. Бросить Палтусова—мерзко... Кто жъ его знаетъ?.. Можетъ-быть, онъ по-своему и правъ?.. Чувствуетъ свое превосходство надъ „обывательскимъ міромъ“ и хочетъ, во что бы то ни стало, утереть носъ всѣмъ этимъ коммерсантамъ. Что жъ!.. Это законное чувство... Иванъ Алексѣевичъ, въ послѣдніе

два мѣсяца, набилъ себѣ душевную оскомину отъ купца... Вездѣ купецъ и во всемъ купецъ! Днями его тошнить въ этой Москвѣ... И хорошо, въ сущности, сдѣлалъ Палтусовъ, что прикарманилъ себѣ сто тысячъ. Онъ ихъ возвратить, если его оправдаютъ и удастся ему составить состояніе, навѣрное возвратить. Самъ онъ вполне увѣренъ, что его оправдаютъ...

„Купецъ“ (Пирожковъ такъ и выражался про себя—собираательно) какъ-то заволокъ собою все, что было для Ивана Алексѣевича милаго въ томъ городѣ, гдѣ прошли его молодые годы. Вотъ уже три дня, какъ въ немъ сидитъ гадливое ощущеніе послѣ одного обѣда.

Встрѣтился онъ съ однимъ знакомымъ студентомъ изъ очень богатыхъ купчиковъ. Тотъ звалъ его къ себѣ обѣдать. Женатъ, живетъ бариномъ, держитъ при себѣ товарища по факультету, кандидата правъ, и потѣшается надъ нимъ при гостяхъ, называетъ его „ярославскимъ дворяниномъ“. Позволяетъ лакею обносить его зеленымъ горошкомъ; а кандидатъ ему вдалбливаетъ въ голову тетрадки римскаго права... Постоянная мечта—быть черезъ десять лѣтъ вице-губернаторомъ, и пускай всѣ знаютъ, что онъ изъ купеческихъ дѣтей!

Такъ стало скверно Ивану Алексѣевичу на этомъ обѣдѣ, что онъ не выдержалъ, при всемъ своемъ благодушіи, отвелъ „ярославскаго дворянина“ въ уголъ и сказалъ ему:

— Какъ вамъ не стыдно унижаться передъ этойкой дрянью?

Цѣлые сутки послѣ того и во рту было скверно... отъ зеленого горошка, которымъ обнесли кандидата.

Теплый, яркій день игралъ на золотыхъ главахъ соборовъ. Пирожковъ прошелъ къ набережной, поглядѣлъ на Замоскворѣчье, вспомнилъ, что онъ больше трехъ разъ стоялъ тутъ со Святой... По бульварамъ гулять ему было скучно; нѣтъ еще зелени на деревьяхъ; шль, вонь отъ домовъ... Куда ни пойдешь, все очутишься въ Кремлѣ.

Возвращался онъ мимо Ивана Великаго, поглядѣлъ на царь-пушку, поискалъ глазами царь-колоколъ и остановился.

Нестерпимую тоску почувствовалъ онъ въ эту минуту.

— Ба! кого я зрю?.. Царь-пушку созерцаете?.. Ха-ха-ха!—раздалось позади Пирожкова.

Онъ почти съ испугомъ обернулся. Какой-то брюнетъ

съ просѣдью, въ очкахъ, съ бородкой, въ пестромъ лѣтнемъ костюмѣ, помахиваетъ тростью и ухмыляется.

— Не узнали?.. А?..

Пирожковъ не сразу, но узналъ его. Ни фамиліи, ни имени не могъ припомнить, да врядъ ли и зналъ хорошенько. Онъ хаживалъ въ номера на Срѣтенку, въ „Ой-ваиду“, пописывалъ что-то и зашибался хмельнымъ.

— Ха-ха!.. Дошли, видно, до того въ матушкѣ Бѣлокаменной, что основы московскаго величія созерцаете? Дойдешь! Это точно!.. Я, милый человѣкъ, не до этого доходилъ.

Въ другой разъ Ивану Алексѣвичу такая фамиллярность очень бы не понравилась; но онъ радъ былъ встрѣтись со всякимъ—только не съ купцомъ.

— Да,—искренно откликнулся онъ,—вонъ надо. Засываетъ.

— А подъ ложечкой у васъ какъ?.. Закусить бы... Хотите въ „Саратовъ“?

— Въ „Саратовъ“?—переспросилъ Пирожковъ.

— Да, тамъ меня компанія дожидается... Журнальчикъ, батенька, сооружаемъ... сатирическое изданіе. На общинномъ началѣ... Довольно намъ батраками-то быть... Вотъ я тутъ былъ у купчины... На крупчаткѣ набилъ миллиончикъ... Такъ мы у него заимообразно... Только крижистъ, животное!.. Ыдемте?

Куда угодно поѣхалъ бы Иванъ Алексѣвичъ. Царь-пушка испугала его. Послѣ того одинъ шагъ и до загула.

Литераторъ съ комическимъ жестомъ подаль ему руку и довелъ до извозчика.

XXIX.

На перекресткѣ, у Срѣтенскихъ воротъ, низменный, двухъэтажный домъ загнулся на бульваръ. Вдоль бокового фасада, наискось отъ тротуара, выстроился рядъ лихачей. Къ боковому подъѣзду и подвезъ ихъ извозчикъ.

— У насъ тутъ—кабинѣ-партикульѣ,—пригласилъ Пирожкова его спутникъ.

Иванъ Алексѣвичъ помнилъ, что когда-то кутили изъ его пріятелей отправлялись въ „Саратовъ“ съ женскимъ поломъ. Традиція эта сохранялась. И лихачи стоятъ тутъ до глубокой ночи по той же причинѣ.

Литераторъ ввелъ его въ особую комнату изъ коридора. Пирожковъ замѣтилъ, что „Саратовъ“ обновился. Главной

залы въ прежнемъ видѣ уже не было. И машина стояла въ другой комнатѣ. Все смотрѣло почище.

Въ „кабинѣ-партикульѣ“ уже засѣдало человѣка четыре. Пирожковъ оглядѣлъ ихъ быстро. Фамиліи были ему неизвестны. Одинъ бѣлокурый, лохматый, въ красномъ галстукѣ, говорилъ сипло и поводилъ воспаленными глазами. Двое другихъ смотрѣли выгнанными со службы мелкими чиновниками. Четвертый, толстенный и красный, коротко стриженный господинъ, подбадривалъ половыхъ, составлялъ душу этого кружка.

Когда литераторъ усадилъ Пирожкова, онъ обратился къ остальной компаніи.

— Братцы,—сказалъ онъ,—нашъ гость—ученый мужъ. Но мы и его привлечемъ... А теперь, Шурочка, какъ закусочка?

Шурочкой звали краснаго человѣчка.

— А вотъ вашей милости дожидались. Ерундопель соорудить надо.

— Ерундопель?—спросилъ удивленно Пирожковъ.

— Не разумѣете?—спросилъ Шурочка.—Это драгоценное снадобье... Вотъ извольте прислушать, какъ я буду закусывать.

Онъ обратился къ половому, уперъ одну руку въ бокъ, а другой началъ выразительно поводить.

— Икры салфеточной четверть фунта, масла прованскаго, уксусу, горчицы, лучку накрошить, сардинки четыре очистить, свѣжій огурецъ и пять вареныхъ картофелинъ—счетомъ. Живо!..

Половой удалился.

— Ерундопель,—продолжалъ распорядитель,—выдумка привозная, кажется, изъ Питера, и какой-то литературный генералъ его выдумалъ. Послѣ ерундопеля — соорудимъ лампоно, моего изобрѣтенія.

Про „лампону“ Пирожковъ слыхалъ.

Начали пить водку. Всѣ выпили рюмокъ по пяти, кромѣ Пирожкова... Его сталъ уже пробирать страхъ отъ такихъ „сочинителей“. Они дѣйствительно затѣвали сатирическій журналъ.

— Савва Евсеичъ долженъ быть,—повторилъ все толстенный, размѣшивая въ глубокой тарелкѣ свой „ерундопель“.

Приѣхалъ и Савва Евсеичъ, молодой купчикъ, совсѣмъ

крупичатый, съ кроткимъ пухлымъ лицомъ и масляными глазами.

Всѣ вскочили, стали жать ему руку, посадили на диванъ. Пирожкова представили ему уже какъ „сотрудника“. Онъ ужаснулся, хотѣлъ браться за шляпу, но сообразилъ, что голоденъ, и остался.

Черезъ десять минутъ ѣли ботвинью съ бѣлорыбницей. Купчикъ вступилъ въ бесѣду съ двумя другими „сочинителями“ о голубиной охотѣ. До слуха Пирожкова долетали все неслыханныя имъ слова: „турмана, гонимые, дутыши, трубастые, водные, козырные“, какіе-то „грачи-простяжки“. Это даже заинтересовало немного: по компанія сильно выжила... Кто-то ползеть съ нимъ цѣловаться...

Купчикъ уже переженилъ бесѣду. Пошли любительскіе толки о протодьяконахъ, о регентахъ, рассказывалось, какъ такой-то церковный староста тягася съ регентомъ басами, заспорили о томъ, что такое „подголосокъ“.

Ужась овладѣвъ Иваномъ Алексѣвичемъ. Вѣдь и онъ, если поживетъ еще въ этой Москвѣ, очутится на изживеніи вотъ у такого любителя гонимыхъ турмановъ и партезнаго пѣнія.

Онъ собрался уходить. Литераторъ (Пирожковъ такъ и не вспомнилъ его фамиліи) удерживалъ его, обнималъ, потому началъ ругать его „дринью, ученой важнюшкой, аристократишкой“. Компанія гоготала; купчикъ пустилъ ему вдогонку:

— Прощайте-съ, безъ васъ веселѣй!

Иванъ Алексѣвичъ на улицѣ выбранилъ себя энергически. И подѣломъ ему! Зачѣмъ идетъ въ трактиръ съ первымъ попавшимся проходимцемъ? По „купецъ“ дѣлался просто какимъ-то кошмаромъ. Никуда не уйдешь отъ него... И на сатирической журналъ дастъ онъ деньги; не будетъ самъ бояться попасть въ карикатуру; у него въ услуженіи — голодные мелкіе литераторы. Они ему и пасквиль напишутъ, и карикатуру нарисуютъ на своего брата, или изъ думскихъ на кого нужно, и до „господъ“ доберутся.

— Вонъ! вонъ! — повторилъ Пирожковъ, спускаясь по Рождественскому бульвару.

День разгулялся на славу. Всю линію бульваровъ продѣлалъ Иванъ Алексѣвичъ и только на Никитскомъ бульварѣ немного отдохнулъ. Но пошелъ и дальше.

XXX.

Пречистенскій бульваръ пестрѣлъ гуляющими.

Говорили про дѣло Палтусова, про сумасшествіе Нѣтова, про разводъ Станицыной. Толки эти шли больше между коммерсантами. Дворянскія семьи держались особѣ. Бульваръ уже нѣсколько лѣтъ какъ сдѣлался моднымъ. Высыпала публика симфоническихъ концертовъ.

Пирожковъ столкнулся съ парой: маленькая фигурка въ черномъ и блондинъ съ курчавой головой въ длинномъ темно-сѣромъ „дипломатѣ“.

— Иванъ Алексѣвичъ!—окликнули его.

Ему улыбалась Тася. Ее велъ подъ руку Рубцовъ.

— Вотъ мой женихъ,—представила она его.

Рубцовъ молча протянулъ ему руку. Его лицо понравилось Ивану Алексѣвичу.

Онъ повеселѣлъ.

— Вотъ какъ!—вскричалъ онъ.—А сцена?

— Сцена впереди,—выговорила съ увѣренностью Тася.— Я съ этимъ условіемъ и шла...

Рубцовъ тихо улыбнулся.

— Васъ это не пугаетъ?—спросилъ его Пирожковъ.

— Авось, пройдетъ,—сказалъ съ усмѣшкой Рубцовъ;— а не пройдетъ, такъ и слава Богу!

„Купецъ,—подумалъ Пирожковъ,— такъ и есть... И тутъ безъ него не обошлось“.

Тася немного потупилась.

— Андрея Дмитрича давно не видали?.. Я хотѣла къ нему поѣхать, но онъ передавалъ... (она промолчала, черезъ кого), что не надо...

Ей было совѣстно. Пирожковъ продолжалъ глядѣть на нее добродушно.

— Онъ надѣется...

— Выгорить его дѣло?—кунеческимъ тономъ спросилъ Рубцовъ.

Звукъ этого вопроса покоробилъ Пирожкова.

— Онъ говорить,—продолжалъ уже барскими нотами Пирожковъ,—что его незаконно арестовали.

— Будто-съ?—переспросилъ съ усмѣшкой Рубцовъ.

— Хорошо, кабы!..—вырвалось у Таси.—А вы знаете... бабушка здѣсь... вонъ тамъ, черезъ три скамейки направо.

— Пойду раскланяться... очень радъ повидать Катерину Петровну... А вы еще погуляете?

— Да, еще немножко, — отвѣтила Тася и поглядѣла на Широкова.

Въ ея взглядѣ было: „вы не думайте, что я стыжусь своего жениха: я очень счастлива“.

„И слава Богу“, — подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, приподнимая шляпу.

Онъ чувствовалъ все приливающее раздраженіе.

Старушки сидѣли однѣ на скамейкѣ.

Катерина Петровна держалась еще прямо, въ старушечьей кацавейкѣ и въ шляпѣ съ длиннымъ вуалемъ. На Фифинѣ было свѣтлое пальто, служившее ей уже больше пяти лѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ подошелъ къ рукѣ Катерины Петровны. Она усадила его рядомъ.

— Видѣлъ сейчасъ вашу внучку, — заговорилъ онъ, — и поздравилъ ее...

— Ахъ, вы знаете, милый мой... И слава Богу!

Катерина Петровна оглянулась на обѣ стороны и продолжала:

— Такое время, mon cher monsieur, такое время. La noblesse s'en va... Посмотрите вотъ, какіе туалеты... все въѣдъ это купчихи... Куда бы она дѣлась?.. А онъ—директоръ фабрики. Немного мужиковать, но умный... Въ Америкѣ былъ... Что дѣлать... Намъ надо потише...

Она понизила голосъ. Фифина приниженно улыбалась.

— Съ нами почтителенъ, — добавила Катерина Петровна.

„И кормить васъ будетъ“, — подумалъ Широковъ.

Онъ бы съ охотой посидѣлъ еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексѣевича защемило дворянское чувство. Онъ долженъ былъ сознаться въ этомъ. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засѣкина—и на хлѣбахъ у куличика, жениха ея внучки!..

Посмотрѣлъ онъ черезъ бульваръ, и взглядъ его уперся въ богатые хоромы съ башней, съ галлереей, настоящей замокъ. И это—купеческій домъ! А дальше и еще, и еще... Началъ онъ стыдить себя: изъ-за чего же ему-то убияться, что его сословіе бѣднѣетъ и гложетъ? Онъ—любитель наукъ, мыслящій человѣкъ, свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ, демократъ...

А на сердцѣ все щемило, да щемило.

— У насъ не побываете? — спросила его глупенькая Фифина.

— Гдѣ же, mon ange... онѣ заняты,—сказала Катерина Петровна.

„Онѣ! — чуть не съ ужасомъ повторилъ про себя Пирожковъ. — Точно мѣщанка или купчиха... Бѣдность-то что значитъ“.

Ему положительно не сидѣлось. Онѣ простился со старушками и скорыми шажками пошелъ къ выходу въ сторону храма Спасителя. По обѣимъ сторонамъ бульвара проносились коляски. Одна коляска заставила его поглядѣть вслѣдъ... Показалась ему знакомой фигура мужчины. Цвѣтное перо на шляпѣ дамы мелькнуло красной полосой.

„Точно Палтусовъ“, — подумалъ онѣ и пересталъ глядѣть по сторонамъ.

— Вотъ и опять встрѣтились,—остановилъ его голосъ Таси.

Пришлось еще разъ остановиться.

— Какъ нашли бабушку?..—спросила Тася.

— Бодра.

— Старушки у насъ будутъ жить,—сказала съ удареніемъ Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Этотъ взглядъ значилъ: „ты не думай, мой будущій мужъ все сдѣлаетъ, что я желаю“.

— А генераль какъ поживаетъ?—спросилъ Пирожковъ.

— Онѣ — при мѣстѣ... Жалуются... Можно будетъ его иначе пристроить.

„На конеческіе хлѣба“, — прибавилъ мысленно Пирожковъ.

Въ эту минуту прогремѣла коляска. Они стояли почти у перилъ бульвара и разомъ обернулись.

— Анна Серафимовна! — вскрикнула Тася. — Съ кѣмъ это?

— Да это Палтусовъ! — вскрикнулъ и Пирожковъ.

— Вашъ пріятель-с? — спросилъ его съ улыбкой Рубцовъ.

— Да-съ,—отвѣтилъ ему въ тонѣ Иванъ Алексѣевичъ.

— Стало, его выпустили! — искренно воскликнула Тася. — Ну, вотъ видите,—обратилась она къ Рубцову. — Разумѣется, онѣ не виновенъ!

Тотъ только выпустилъ воздухъ подъ носъ, скосивъ губу.

— Третьяго дня онѣ еще сидѣлъ, — сказалъ Пирожковъ, — но для него это не сюрпризъ... Все доказывалъ, что статья 1711-я къ нему не примѣнима.

— Да, еще немножко, — отвѣтила Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Въ ея взглядѣ было: „вы не думайте, что я стыжусь своего жениха; я очень счастлива“.

„И слава Богу“, — подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, приподнимая шляпу.

Онъ чувствовалъ все приливающее раздраженіе.

Старушки сидѣли однѣ на скамейкѣ.

Катерина Петровна держалась еще прямо, въ старушечьей кацавейкѣ и въ шляпѣ съ длиннымъ вуалемъ. На Фифинѣ было свѣтлое пальто, служившее ей уже больше пяти лѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ подошелъ къ рукѣ Катерины Петровны. Она усадила его рядомъ.

— Видѣлъ сейчасъ вашу внучку, — заговорилъ онъ, — и поздравилъ ее...

— Ахъ, вы знаете, милый мой... И слава Богу!

Катерина Петровна оглянулась на обѣ стороны и продолжала:

— Такое время, *mon cher monsieur*, такое время. La noblesse s'en va... Посмотрите вотъ, какіе туалеты... все въ это купчихи... Куда бы она дѣлась?.. А онъ—директоръ фабрики. Немного мужиковать, но умный... Въ Америкѣ былъ... Что дѣлать... Намъ надо потише...

Она понизила голосъ. Фифина приниженно улыбалась.

— Съ нами почтителенъ, — добавила Катерина Петровна.

„И кормить васъ будетъ“, — подумалъ Пирожковъ.

Онъ бы съ охотой посидѣлъ еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексѣевича защемило дворянское чувство. Онъ долженъ былъ сознаться въ этомъ. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засѣкина—и на хлѣбахъ у купчика, жениха ея впучки!..

Посмотрѣлъ онъ черезъ бульваръ, и взглядъ его уперся въ богатые хоромы съ башней, съ галлереей, настоящей замкъ. И это—купеческій домъ! А дальше и еще, и еще... Началъ онъ стыдить себя: изъ-за чего же ему-то убияться, что его сословіе бѣднѣетъ и гложетъ? Онъ—любитель наукъ, мыслящій человѣкъ, свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ, демократъ...

А на сердцѣ все щемило, да щемило.

— У насъ не побываете? — спросила его маленькая Фифина.

жителями въ сибиркахъ и высокихъ сапогахъ—покрывались верхнимъ платьемъ. Стоящій при входѣ малый то и дѣло дергалъ за ручки. Шелъ все больше купецъ. А потомъ стали подѣзжать и господа... У всѣхъ лица сіяли... Справлялось чисто-московское торжество.

Площадь передъ Воскресенскими воротами полна была дребезжанія дрожекъ. Извозчики-лихачи выстроились въ рядъ, поближе къ рельсамъ желѣзно-конной дороги. Вагоны ползли вверхъ и внизъ, грузно останавливаясь передъ станціей, издали похожей на большой птичникъ. Изъ-за нея выставляется желтое зданіе старыхъ присутственныхъ мѣстъ, скучное и плотно-сколоченное, навѣвающее память о „ямѣ“ и первобытныхъ приказныхъ. Лавчонки около Иверской идутъ въ гору. Снопъ зажженныхъ свѣчей выдѣляется на солнечномъ свѣтѣ въ глубинѣ часовни. На паперти въ два ряда выстроились монахины съ книжками. Поднимаются и опускаются головы отвѣщающихъ земные поклоны. Тонительно тащатся пролетки вверхъ подъ ворота. Дѣѣ остроконечныя башни съ гербами пускаютъ яркую ноту въ этотъ хоръ впечатлѣній глаза, уха и обонянія. Минареты и крыши историческаго музея даютъ ощущеніе настоящаго Востока. Справа рѣшетка Александровскаго сада и стѣна Кремля съ пѣлой веревницей желтыхъ, свѣтло-бирюзовыхъ, персиковыхъ, желтыхъ стѣнъ. А тамъ, правѣе, огромный золотой шишакъ храма Спасителя. И пылъ, пылъ гуляетъ во всѣхъ направленіяхъ, играя въ солнечныхъ лучахъ.


Куда ни взглянешь, вездѣ воздвигнуты хоромины для необъятнаго чрева всѣхъ „хозяевъ“, приказчиковъ, артельщиковъ, молодцовъ. Сплошная стѣна, идущая до угла Театральной площади,—вся въ трактирахъ... Рядомъ съ громадиной „Московского“—„Большой Патрикѣвскій“. А подалѣе, на перекресткѣ Тверской и Охотнаго ряда,—опять каменная многоэтажная глыба, недавно отстроенная: „Большой Новомосковскій трактиръ“. А въ Охотной—свой, благочестивый трактиръ, гдѣ въ общей залѣ не курятъ. И тутъ же внизу Охотный рядъ развернулъ линію своихъ вонючихъ лавокъ и погребовъ. Мясники и рыбаки въ запачканныхъ фартукахъ молятся на свою заступницу „Прасковею-Пятницу“: — красное пятно церкви мечется издали въ глаза, съ свѣтло-синими пятно главами.

Гости все прибываютъ въ новооткрытую залу. Селянки,

растегая, ботвиньи чередуются на столахъ. Все блеститъ и ликуеть. Желудокъ растагивается... Все вмѣститъ въ себя этотъ луженый котель: и русскую и французскую еду, и ерофеичъ и шато-икемъ.

Машина загрохотала съ какими-то остервенѣнiемъ. Захлебывается трактирный людъ. Колокола зазвенѣли пверху разговоровъ, ходьбы, смѣха, возгласовъ, сквернословiя, поверхъ дыма папиросъ и чада котлетъ съ горошкомъ. Оглушительно трещитъ машина побѣдный хоръ:

„Славься, славься, святая Русь!“



Оглавленіе I тома.

Китай-городъ.

Романъ въ 5 книгахъ.

	стр.
Книга первая	5
Книга вторая	92
Книга третья	173
Книга четвертая	256
Книга пятая и послѣдняя	344